

НОВЫЙ  
МИР

973  
НОВЫЙ МИР

7

---

1973

# Н О В Ы Й М И Р

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  
Л И Т Е Р А Т У Р Н О - Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й  
И О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К И Й Ж У Р Н А Л

издания XLIX

№ 7

Июль, 1973 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

## С О Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
А. БЕРУЛАВА — Ленину, стихотворение. Перевел с грузинского А. Межиров	3
КАШТАНОВ — Заводской район, повесть	4
АЛЕКСАНДР ЯШИН — Границы души, стихи. Публикация З. К. Яшиной	62
ГЕОРГИЙ БЕРЕЗКО — Дом учителя, роман. Окончание	66
<b>ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ</b>	
АНАТОЛИЙ ПРИСТАВКИН — От Братска до Усть-Илима	145
<b>ПУБЛИЦИСТИКА</b>	
И. КОН — Дружба. Историко-психологический этюд	165
<b>ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ</b>	
А. И. МИКОЯН — На Северном Кавказе	184
А. М. ВАСИЛЕВСКИЙ — Дело всей жизни. Продолжение	207
<b>В МИРЕ НАУКИ</b>	
И. ПУШКОВА — Полемика и ее издержки (По поводу спора «Машина и ворчество»)	225
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
<i>К 80-летию со дня рождения В. В. Маяковского</i>	
ПЕТРУСЬ БРОВКА — Как грозовой дождь	236
МАРГАРИТА АЛИГЕР — Маяковский продолжается!	239
Л. АНТОПОЛЬСКИЙ — Пути и поиски	247
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	
А. Нуйкин. Коммунисты.— Е. Рябчиков. Жизни яркие приметы.— Г. Трефилова. Возвращение героя.— В. Камянов. Любовь и кибернетика.	258

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Стр.

### *Политика и наука*

274

**В. Кузнецов.** Рассказ о II съезде РСДРП.— **В. Дмитриев.** Размышляя над книгой.

КОРОТКО О КНИГАХ — Валерий Гейдеко.— Игорь Шкляревский. Воля. Новая книга стихов. ◆ Павел Антокольский.— Яков Белинский. Двое, идущие рядом. Книга стихов. ◆ Владимир Лифшиц.— Александр Иванов. Не своим голосом. Литературные пародии. ◆ И. Мороз.— Маргарет Дрэбл. Один летний сезон. Роман. ◆ Т. Мотылева.— Нора Галь. Слово живое и мертвое. ◆ П. Черкасов.— В. Д. Ежов. Записки очевидца

2.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

---

---

---

ХУТА БЕРУЛАВА

★

## ЛЕНИНУ

*С грузинского*

На камне гробовом от века  
Две даты ставились всего:  
Одна — рожденье человека,  
Другая дата — смерть его.

Одной-единственной датой  
Венчает время жизнь твою —  
Год восемьсот семидесятый  
Я прославляю и пою.

Грохочет горным водопадом  
Десятилетий череда,  
Но встать с твоим рожденьем рядом  
Смерть не посмеет никогда.

*Перевел А. МЕЖИРОВ.*



---

А. КАШТАНОВ

★

## ЗАВОДСКОЙ РАЙОН

Повесть

Глава первая

АНТОНИНА БРАГИНА

1

Она проснулась около шести и успела нажать кнопку будильника, чтобы звонок не разбудил мужа.

Каждое утро, просыпаясь, Тоня лежала несколько минут и старалась вспомнить что-нибудь приятное из того, что ждало ее сегодня. Иногда заботы заслоняли это приятное, и, спасаясь от них, можно было снова провалиться в сон. Чтобы этого не случилось, то, что надо было вспомнить, Тоня заготавливала с вечера.

Она поднялась, еще не проснувшись, бережно сохраняя в себе ожидание радости. Улица за окном была белой, пустой и тихой, в пятиэтажном доме напротив светились несколько кухонь.

В Олиной комнате было совсем темно. Девочка спала, привалившись лбом к деревянным прутьям кровати. Ножка ее, как всегда, вылезла из-под одеяла, и Тоня положила дочку удобнее...

В ванной она бездумно постояла в рубашке перед зеркалом, решившись, открыла кран холодной воды, плеснула на лицо несколько пригоршней и проснулась окончательно.

Форточка в кухне оставалась на ночь открытой. Холодно поблескивал белый и кирпично-красный пластик, никель ручек и кранов. Тоня любила свою кухню и любила этот час, когда никто не мешал, когда все спорилось и жизнь была простой и разумной. Бурлила на голубом огне вода, прыгала под струей из-под крана очищенная картошка, полз из мясорубки сочный красный фарш...

Тридцать пять лет. Не такая это уж и радость — тридцать пять лет, но и не будни. Каждый год в день ее рождения Степан оставляет на холодильнике подарок: духи и открытку. Знала, что на этот раз забудет. Собиралась как бы невзначай напомнить, да сама забыла. Может быть, и к лучшему. Пусть останется за ним этот должок, авось пригодится.

Пора было будить Олю. Хоть несколько секунд постоять над кроватью...

— Оля, подъем!

И сразу начала ее целовать. Оля уползала от губ матери, зарывалась головой в подушку. Тоня смеялась, поднимала, прижимала к себе теплое льнущее маленькое тело, стаскивала с дочери пижамку.

— Одевайся скорее, соня!

— Мам-ма, ну мам-ма, что-то у меня живо-отик боли-ит...

Тоня понимала — дочка хитрит, чтобы поспать и не пойти в дет-

ский сад, и все-таки каждый раз пугалась: а вдруг сейчас Оля не обманывает? Но не подавала виду:

— Вот мама нашлепает сейчас, так все перестанет болеть.

— Но у ребенка болит живо-отик...

Точь-в-точь свекровь.

— А как ты себя чувствуешь, когда болит?

Когда-то у Оли действительно болел живот и на такой вопрос она, к восторгу бабушки, ответила: «Как будто меня волк ест». Теперь Тоня давала ей возможность повторить удачное слово.

— Как будто меня волк ест.

Губы девочки весело расплзлись, ей уже не удавалось сложить их в печальную трубочку.

Тоня ловко одевала ее. Балует свекровь Олю.

Казалось, времени совсем не остается, однако она успела умыться дочку, одеться и в чистой, сияющей кухне оставила мужу аккуратно приготовленный завтрак.

На улице Оля молчала, обхватив мамину шею руками. Потом, когда Тоня устала ее нести, терпеливо бежала рядом, вцепившись в руку. Она понимала, что мама опаздывает, что сейчас не до нее, и каждое утро Тоня была благодарна ей за это понимание. Только перед зеленой калиткой детского сада Оля немножко похныкала, надеясь задержать мать. Пришлось прикрикнуть.

Через четверть часа Тоня уже не вспоминала о дочери. Она вбежала в цех за несколько минут до гудка, не переодеваясь направилась прямо на участок.

На плавке выпускали первый металл. С сухим треском вспарывали серый, пропыленный воздух оранжевые струи жидкого чугуна. Над ковшами ослепительным паром роились звездочки искр. Поднимались на свои площадки заливщики.

— Весна уже сегодня, Антонина, а?

Разве весна? Она и не заметила. Теперь уже только вечером узнаешь, какое время года на дворе.

Она перелезла через конвейер между формами ночной смены; формы еще дышали после заливки, дымили, пахли горелым мазутом.

Из-за стука формовочных машин все другие движения казались бесшумными. Бесшумно неслась вверх и вниз по десяткам резиновых лент жирная, курящаяся паром земля. Бесшумно вращались тяжелые катки в трехметровых чашах бегунов, разминали смесь. Бесшумно двигались редкие фигуры женщин в брезентовых комбинезонах. Одна из них что-то прокричала другой, но ее голоса не было слышно.

Тоня нагнулась к уху пультовщицы:

— Почему вторые бегуны стоят? Где Жанна?

— Ленту в подвале засыпало.

Пультовщица не отрывала глаз от стрелки прибора. На неподвижных ее плечах лежал слой молотой глины — сыпалось сверху.

Надо было лезть в подвал, по узкому трапу спускаться в квадратный люк. Белое облако пара и дыма, подсвеченное снизу, поднималось оттуда и скрывало нижние ступени. Тоня помедлила: жалко было пальто пачкать.

Внизу тянулись вдоль узкой бетонной галереи ленты с горелой землей. В нескольких шагах от люка все исчезло в плотном ядовитом дыму. Тоня шла согнувшись: чем ниже, тем прозрачнее дым. Сквозь шум цеха слышались удары кувалды по железу. Звук был еще далекий, когда перед Тоней в тумане возникла худая, детская фигура Жанны.

— Почему вторые бегуны стоят? — прокричала Тоня.

Жанна показала на уши: не слышно. Потом вверх: там поговорим

После подвала воздух стержневого участка показался чистым и приятным.

— Двадцать седьмую ленту завалило,— сообщила Жанна, отряхиваясь.— Уже разгребают.

— Почему вторые бегуны стоят?

— Ой,— сказала Жанна,— стоят?

Ругать Жанну — себе дороже. Один раз Тоня не сдержалась, так та проплакала весь день, подала заявление об уходе. Они работают на пределе. Подмены нет. Вот не вышла сегодня на работу земледел Гринчук, некого поставить вместо нее, и стоят вторые бегуны.

— Туннельщицу поставь,— сказала Тоня.

— Все же ленту разгребают...

— Ладно, ты занимайся лентой, я поищу человека.

Тоня побежала в гардероб, надеясь застать кого-нибудь из третьей смены. В гардеробе было пусто и тихо, но в душевой шумела вода, и Тоня заглянула туда.

Утром в душевой холодно. От горячей воды поднимается пар, оседает крупными каплями на потолке и вспухшей краске труб. Под душем замерла разомлевшая худая женщина с выпяченным животом. Прибитые водой длинные жидкие волосы закрывали лицо, только торчал остренький кончик носа.

— Федотова, ты?

Женщина вздрогнула от неожиданности:

— Кто гэта?

Она потеряла равновесие, отступила в сторону, и вода забарабанила по плиткам пола. Женщина нащупала рукой гладкую стену, тряхнула головой, откидывая волосы. Их блестящие мокрые пряди на мгновение открыли мигающий глаз и снова сомкнулись.

— Антони-и-ина...

— Ты что, беременна? — удивилась Тоня.

— Ну...

Может быть, потому и моется так поздно, чтобы никто не видел?

— Как же это тебя угораздило? — спросила Тоня, обдумывая в это время, как ей уговорить Федотову.

Место в общежитии та недавно получила, отгулом и приплатой ее не соблазнишь, да и где ее взять, приплату... Нелегко вытащить человека из-под душа после ночной смены снова в цех.

— А чаго? — откликнулась Федотова.— Или у меня пуза бракованная?

— Ты уж как скажешь,— фыркнула Тоня.

Не рассмеяться значило потерять налаживающийся между ними контакт. Сколько ее помнила, эта маленькая юркая женщина долгом своим почитала всех смешить. Себя не жалела, равно радовалась и смеху над своими шутками, и смеху над собой. Это уж Тоне особенно повезло — встретить в душевой именно Федотову.

— Гринчук сегодня на работу не вышла,— осторожно сказала она.

— Мабыть, осложнение,— покачала головой Федотова со всегдашней своей готовностью пожалеть.— Вот Галина...

Тоне некогда было сейчас говорить о Гринчук.

— Вторые бегуны стоят. Цех остановим.

Федотова пригорюнилась. Тоне было скверно, словно она у ребенка обманом игрушку отбирала. Если б та умела отказывать...

— Ты ж знаешь, за мной не пропадет. Выручи сегодня, а?

Женщина под душем ответила вяло:

— Добра, Антонина. Я зараз прыду.

И обещать ей ничего не пришлось.

Тоня торопливо переоделась в гардеробе в рабочее белье и платье,

натянула сверху черный халат и побежала на участок. Не дожидаясь Федотовой, включила вторые бегуны, сама встала за пульт.

И у Федотовой любовь. Такая болтливая, а вот не рассказывает.

Эстакада с лентами отгораживала площадку бегунов от остального участка, сквозь стальной переплет Тоня видела, как у конторки топчется технолог Валя Тесов, разыскивает ее. Опять будет приставать со своей селитрой. Тоня надеялась, что он не заметит, но он заметил и, нырнув под ленты, оказался рядом.

— Привет, Антонина, хошь анекдот?

— Хочу,— сказала и тут же пожалела: мало ли что он может ляпнуть, потом не знаешь, что и ответить.

— А ты мне что за это? Селитру попробуешь?

Он всегда начинен новыми идеями. Всякими — и хорошими и нелепыми, где уж Тоне разбираться. Теперь у него идея сэкономить щелок в смеси за счет добавок селитры.

— Не нужен мне твой анекдот, только отстань с селитрой,— сказала она.

— Антонина, ты не понимаешь. Двадцать пять процентов щелока экономим! Давай рацию кинем. Кучу денег загребешь.

«Рацию кинуть» — значит рационализаторское предложение написать. Тесов приглашал в соавторы — не только из корысти, но и по дружбе.

— Кстати,— вспомнила Тоня.— Одолжи до полочки.

— Сколько? — Он забренчал мелочью в кармане.

Она только рукой махнула. Ей нужно было тридцать рублей. Жанна вчера предложила английские туфли — самой велики, — а теперь Тоня подумала: отчего не сделать себе подарок? Тридцать пять лет.

— Антонина, так пишем рацию? Деньги же сами в руки плывут!

— Ну да, получу десятку...

— Полсотни!

— Ну полсотни, а потом срежут нормы на щелок, как работать буду? Вдруг в один прекрасный день селитру твою не завезут? Зачем мне лишние хлопоты?

На это Вале нечего было возразить.

— Частный собственник ты... Негосударственно мыслишь... Лишь бы себе спокойнее...

— Твоя селитра революцию не сделает. Научно-техническую.

— У тебя, Антонина, неправильное представление о революции.

— Иди себе, Тесов, куда шел.

— Со всеми вытекающими последствиями.

— Иди, иди.

Тоня сегодня еще не была у пескодувок, она спешила, но Валя не отходил:

— Ладно, слушай анекдот. Даром рассказываю. Важник утром накрутил хвост моему начальнику — брак-то в марте вверх полез, и тот теперь сидит, сочиняет. Что бы ты думала?

— Проект распоряжения?

— Точно. «Начальника стержневого участка Антонину Брагину лишить премии за март месяц на сто процентов». Это рублей сорок, а?

— За что?

— Работали вчера на негодном щелоке?

— Мы и сегодня работаем. А если другого нет?

— Ну, Антонина!.. Так виновных никогда не найдешь. Брак есть — должны быть и виновные. Вот Корзун и сочиняет...

— Все вы в.techчасти сочинители,— сказала Тоня, а Валя, воздав Тоне добром за зло, довольный собой, заспешил дальше.



«Брак есть — должны быть и виновные». Это Тоне объяснять не надо. Тем более что в марте брак полез вверх. Еще бы ему не полезть. Людей не хватает.

Тоня обдумывала Валину новость.

Корзуна можно понять. Он начальник техчасти. Он первый отвечает за брак. Важник, конечно, уже кричал в кабинете: «Я неграмотный! Я слушать ничего не хочу! Или твоя технология ни к черту, или ее не выполняют! Тогда дай мне виновного!» Вынь да положи ему виновного. А тут Брагина работает на негодном щелоке. И искать не нужно. Садись и катай распоряжение.

Однако Тоня не собиралась уступать. Как только освободилась от самых срочных дел, позвонила из своей конторки Корзуну.

— А, Антонина.— Конечно, он не обрадовался.— Как жизнь?

— Тридцать рублей не одолжишь? — спросила Тоня.

Она подумала: если у него есть, то сейчас, когда он пишет распоряжение, чтобы лишить ее денег, последние отдаст.

— Поищем,— оживился Корзун.— Для хорошего человека...

— Спасибо,— перебила она холодно.— Значит, до полочки. А сейчас я к тебе вот по какому делу: щелок завезли с низким удельным весом.

Корзун долго молчал, соображая, куда она клонит. Тоня разглядывала прокопченный потолок. Вдоль грязных стен стояли деревянные лавки, а у мутного окна — Тонин стол с телефоном и школьной чернильницей. Столешница из крашеной фанеры вся была изрезана ножом — именами и женскими фигурками. Тоня заметила свежие чернильные каракули и стала машинально разбирать их, пока не поняла, что читает похабщину.

— Ты не мне звони,— наконец ответил Корзун.— Снабженцам.

— Другого щелока не будет,— сказала Тоня, замазывая пером надпись на столе.— Или работать на этом, или цех остановить. Ты начальник техчасти. Ты решаешь.

— На негодных материалах работать нельзя.

— Значит, не работать? Стоять?

— Это твое дело. Я тебе не начальник.

— Дай предписание, что на этом щелоке нельзя работать. Тогда я не буду.

— Не дам. Есть технические условия, там все сказано.

— А начальник техчасти у нас есть? Чтобы оперативно решать?

— На негодном щелоке работать нельзя.

— Дай предписание.

— Нечего бюрократию разводить, понимаешь.

Бойтся. Останови цех — Важник с потрохами съест. Тоня выдвигала и задвигала ящик стола. Он был набит всякими бланками, штуцерами и гнутыми проволочками — кусочками арматуры. На одну проволочку кто-то нацепил окурочек «Беломора».

— Значит, работать? — Тоня повысила голос, разозленная видом окурка в своем столе.

— Я же тебе сказал...

Открылась железная дверца конторки, Валя Тесов втащил бракованный стержень — бурую загогулину из твердой смеси.

— Здравствуй, Николай Александрович! — сказала Тоня так, чтобы Корзун в трубке слышал.

Валя огляделся и вытаращил глаза. Николаем Александровичем звали Важника, но его здесь не было. Тоня явно обращалась к нему, Вале.

— Николай Александрович, снабженцы опять завезли щелок с низким удельным весом. Я вот с Корзуном советуясь: что делать?

Валя сообразил, что происходит, напыжился, как будто он Важник, но сказал свое:

— Что делать? Селитру пробовать.

Тоня показала ему кукиш и крикнула Корзуну:

— Так что ж нам делать? Не останавливать же цех!..

Корзун засопел и разразился беспомощной руганью, поминая снабженцев.

— Перед фактом, Брагина, ставишь, да?.. Какой удельный вес щелока?

Тоня зажмурилась от удовольствия: другой разговор.

— Один и две десятых.

— Ну, это еще терпимо...

— Николай Александрович,— сообщила она радостно Тесову.— Корзун говорит, терпимо.

Еще бы! Как будто у него могло хватить духу при Важнике потребовать, чтобы остановили цех. А теперь, раз он сам разрешил нарушение, пусть и распоряжение пишет сам на себя. За низкое качество. Свои сорок рублей Тоня отстояла. Да и не только деньги. Она знает: в цехе всегда в любой мелочи надо быть победителем. Только тогда легко.

— Так как жизнь, Антонина? — Корзун, спасая свое достоинство, пытался перевести разговор на приятельский тон.

— Отлично.

— Степану привет. Видел его вчера в булочной. Эксплуатируешь мужа.

— Вас позэксплуатируешь...

Она повесила трубку.

— Тесов, отчего Корзун твою селитру мне не предложил?

— А шут его знает.

— А ты поинтересуйся. Тут что-то не так.

Валя принял это к сведению и сказал:

— Ну, Антонина, умеешь ты отбрехаться.

Хороша была бы она, если б не умела.

Отбрехаться — цеховое выражение. Это уже инстинкт — отбрехаться, права ты или виновата. Корзуну вот при неудачах нравится считать себя жертвой несправедливости. Ему хорошо. Но Тоня должна работать на плохом щелоке, у нее нет людей, двадцать седьмая лента из-за механика до сих пор стоит — и все это не оправдания, за количество и качество стержней отвечает она. И за работу на плохом щелоке тоже. А грехи всегда есть, если про иные из них Корзун разнюхает, никак не выкрутишься. Главное — не трусить. Когда ты все время помнишь о своих грехах, обязательно на чем-нибудь попадешься.

Изолятор брака — открытая площадка между двумя воротами в обрубке — еле освещается запыленными лампами. Сюда краном свозят бракованные отливки. По серым чугунным этим холмам черными четырехногими жуками ползают в тумане контролеры и технологи. Изъясняются жестами. Трещат пневмозубила, визжат наждаки, и голосов не слышно. Недалеко стоит дробеметная камера, и стальные дробинки, минуя заградительные щиты, иногда долетают сюда. Они уже на излете, но бьют больно, и Тоня, ползая среди отливок, прикрывала глаза ладонью. Бывает спорный брак, по виду не отличишь: то ли брак плавки, то ли ее, Тонин. Опять нужно отбрехаться, и тут помогает репутация: Брагина всегда побеждает, с ней лучше не связываться, она «глоткой возьмет», она всегда права.

Лишь перед самым обедом Тоня заглянула в лабораторию, а там новый сюрприз — сухая прочность смеси девятнадцать килограммов

вместо четырнадцати положенных. Федотова накрутила. Ну, Федотова...

— Корзун не заходил? — спросила Тоня лаборантку.

— Не видела.

— А Тесов?

— Бегал тут...

Тоня — к Федотовой. Катятся на оси по кругу тяжелые колеса в трехметровой чаше бегунов, разминают желтую смесь. Федотова притаила ведро щелока и привалилась спиной к заросшей загустевшим щелоком стенке. Отдыхает.

— Перекручиваешь, — сказала Тоня. — Девятнадцать килограмм дала на блок.

Федотова встрепелась, перегнулась через стенку чаши, из-под бегущего катка выхватила жменю земли и стала разминать ее между пальцами. Глаза ее испуганно заморгали.

— Як же это я...

Заревела сирена, и сразу остановился конвейер, перестали стучать машины. В тишине стали слышны голоса людей в цехе. По проходу шли на обед стерженщицы.

— Пойдем обедать, — сказала Тоня.

— А, не хочется, — сказала Федотова, а сама пошла за Тоней. Даже в этом она не умеет отказывать. Все же она очень устала и нерешительно остановилась у конторки: — Посижу трохи...

— Я тебе из буфета что-нибудь принесу... Вот что, ночью отдохай, а завтра выходи в первую смену до конца недели.

Ну вот. Теперь нужно кого-то посылать в ночь вместо Федотовой. И некого. Хоть бы Гринчук завтра пришла.

— Что с Гринчук, не знаешь? — спросила она.

— Мабыть, осложнение?

— Какое осложнение?

— Ну в голову.

Осенью Федотова три недели пролежала с воспалением легких, с тех пор она равнодушна к медицинским терминам. Но у Гринчук не «осложнение». В прошлый четверг она появилась в марлевой повязке — от правого уха через всю голову поверх черных, с проседью гладких волос. Гринчук прятала повязку под платком, но кто-то увидел. Опять она, оказывается, поссорилась с мужем и он нахлобучил ей на голову кастрюлю с горячей картошкой.

— ...Врачи ее напугали, — рассказывала ей одной известные подробности Федотова, — говорят, след останется. Знаешь Галину... Она горяча — в милицию. Протокол составили, на два дня мужика забрали. Уж и просила она за него, да поздно хватилась... Нешта там разбираются?

Федотовой приятно пожалеть Гринчук. Она любит жалеть. Уж, кажется, столько натерпелась от вздорной своей Галины, а вот поди ж ты. Впрочем, как же иначе? Галина — деспот, а деспота лучше любить. Тогда как будто и нет деспотии.

Очередь в столовой вытянулась человек на пятьдесят, но туннельщицы стояли близко от раздачи. Тоня попросила, чтоб взяли ей обед, а сама пошла в буфет за молоком и сметаной для Федотовой. Она задержалась там, и за это время гороховый суп в тарелке подернулся твердеющей по краям зелено-желтой неаппетитной пленкой. Тоня торпливо съела суп, потом посмотрела на клейкий серо-коричневый бифштекс с холодными макаронами и, вздохнув, решила не есть. Лучше бы она взяла сметану с булочкой.

— Вот ты где, Антонина. Почему вчера на цехкомме не была?

Придвинув стул, сел сбоку предцехкома Андрюшин. Андрюшин, должно быть, еще с детских лет смирился, что фамилию его превратили в имя, и не замечал этого. Вечно он выбирает для своих дел неподходящее время, можно подумать — самый занятой человек.

— Забыла, Андрюша. Что-нибудь срочное?

— Жилье распределяли с Важником.

— Как распределяли? Корзун первый на очереди.

— Корзун отказался.

— Ну?! Почему?

— Откуда я знаю? Дали Сущевичу.

Ясно. Сущевич — опытный механик, его стальцех от них сманивает. Важник старается его удержать. А Корзуном он не дорожит. Бедняга Корзун, столько лет ждал квартиру... Мог же не отказываться, все права были у него. Струсил.

— Это точно?

— При Корзуне решали. Владимир Михалыч!

Корзун стоял в очереди, показал жестом: получу обед и подойду.

Андрюша очистил место на столе, разложил бумаги.

— Подпиши протокол. Ты же у нас жилбытсектор.

Тоня взяла у него авторучку — самодельная, из разноцветных кусочков плексигласа, сам на токарном станке вытачивал — расписалась.

— Я слышал, ты уходить надумала? — спросил он. — В отдел, на чистую работу?

— Когда надумаю, я сама тебе скажу.

Вот уж ни к чему ей такие слухи. Шемчак действительно приглашал в отдел, и хорошо было бы ходить на работу нарядной, спокойно бумажки писать, но она все не могла на это решиться. Пятьдесят рублей в месяц терять тоже не хочется, да и привыкла она к цеху за двенадцать лет. Андрюша говорил о соцсоревновании. Март кончается, пора итоги за квартал подводить, а стенгазета у Тони еще новогодняя висит...

Он говорил, а Тоня нетерпеливо ковыряла вилкой в тарелке и незаметно для себя съела бифштекс. Тьфу ты черт.

— Андрюша, а отчего ты польсел так рано? — неожиданно перебила она.

Андрюша растерялся, не понимал, отчего она рассердилась. Не мог же предположить, что из-за бифштекса.

— Женщины много любили, — ответил он и захохотал, показывая, что шутит. И хохотал старательно, потому что не шутил.

Подошел с подносом Корзун, стал располагаться.

— Ну? — спросил, не глядя на Андрюшу. — Чего ты хотел?

Он понимал, о чем у них был разговор.

— Уже не нужно, — мягко сказала Тоня.

Она с удивлением подумала, что Корзун красив — высокий брюнет, крепкий мужчина. В нем много осталось от четырехлетней морской службы — не только походка враскачку на широко расставленных ногах, не только... Но, наверно, никто никогда не сказал ему, что у него лицо красивое. Он гордился ростом, рассудительностью, силой и не знал, что красив.

Андрюша поднялся, потрепал Тоню по плечу, прощаясь:

— Загляни в цехком после смены. Что на ходу обсуждать.

— Я сегодня не могу задерживаться. У меня день рождения.

Это сорвалось нечаянно. Она удивилась: ведь не собиралась ничего устраивать. Столько хлопот, опять же расходы лишние.. Зачем ей это? Бифштекс да Андрюша виноваты. Лучше бы она взяла сметану с булочкой.

Андрюша и Корзун поздравляли с обычными шуточками, но Корзуну шутки давались с усилием. Едва Андрюша отошел, он устало уткнулся в тарелку.

— Приходи вечером к нам, Володя,— сказала Тоня.— И всю тех- часть приводи.

И опять удивилась себе. Устала она, что ли?.. А, впрочем, почему не устроить праздник? Если праздники свои забывать, чего же будни стоят? Она пригласит полный дом гостей. Приготовит что-нибудь на скорую руку...

— Ты видела анализы?

Нет, ей никогда нельзя расслабляться.

— Видела.

— Девятнадцать килограмм на блоке видела? Вот отсюда и брак.

Поймал ее все-таки. Он любит быть справедливым и, если уж решил свалить вину на нее, не успокоится, пока не найдет для этого основания. Тоня попробовала защищаться:

— Ну и что — девятнадцать? Автозавод держит девятнадцать.

— Ты меньше на других смотри,— посоветовал он. Теперь он был победителем, а она бестолковой бабой.— Тебе верхний предел восемнадцать дан, вот и работай, и нечего болтовней заниматься.

Ему нравилось делить человечество на болтающих и действующих. Будучи от природы неразговорчивым, по этой классификации он автоматически попадал к последним.

Через час Тоню вызвал к себе Важник. В крохотной его приемной она заглянула в машинку секретарши — не печатают ли уже о ней распоряжение. Как будто нет.

Важник сидел в белой тенниске, распахнутой на груди, отрывисто кричал на кого-то по телефону: крикнет, обиженно сморщится, слушает, опять крикнет, опять долго слушает. Кивнул: садись. Пиджак его висел на спинке стула.

Тоня оглядела бумаги на столе, но распоряжения не заметила. Важник положил трубку. Он поймал взгляд Тони и нахмурился:

— У тебя нюх, как у собаки.

Тоня немного обиделась, но улыбнулась:

— О чем ты?

— Чего ты ищешь на столе?

— Ничего.

— Глазами.

— Да ничего.

Он выбрался из-за стола, открыл форточку. Ему пришлось под- няться на носки — он был невысоким.

— Накурили тут.— Поморщился и удивился мимоходом: — Весна?

Тоня как зашла в кабинет, сразу почувствовала что-то странное и только теперь поняла: это ж весна! Не слепящая синева за окном, не теплые желтые полосы наискосок по полу, а что-то не определенное в воздухе, не вытравленное табачным дымом и запахом горелого мазута,— весна.

— Что же ты брак гонишь, Брагина?

Сказать, что людей нет,— значит, взять вину на себя. А людьми он все равно не поможет, где он их возьмет. Тоня ответила:

— Щелок плохой завезли.

— А анализы на блоке?

— А-а! — Тоня пренебрежительно махнула рукой.— Было бы из- за чего шум поднимать.

— Не из-за чего? — любопытствовал он, и Тоня подумала, что зря она про людей не сказала.

— Я вижу, ты неплохо живешь,— заметил Важник, уселся за стол и, как бы выяснив все и утратив к Тоне интерес, стал листать бумаги. Потом сказал небрежно: — С завтрашнего дня дашь двух человек на земледелку.

— А я как же?

Зря она про людей промолчала, теперь он решил, и его не переубедишь.

— Ты пока еще конвейер не держишь, а земледелка держит.

Придется все-таки послать Федотову в ночную смену. Дорого ей всегда трусость обходится, роскошь это. В другой раз Тоня просто бы сказала: «Не дам!» — и хлопнула бы дверью. Она может себе позволить такое, она человек, которым дорожат. А сегодня она вошла в кабинет с надеждой на снисхождение, где уж тут дверью хлопнуть, не то настроение. Тоня была недовольна собой. Правда, ее не наказали. И то хорошо.

— Вот и невестка твоя меня подводит, не вышла на работу.— Тоня вспомнила о Гринчук.— Не знаешь, что с ней?

Ей показалось, что Важник смутился.

— Бог их знает,— буркнул он, посмотрел на Тонию и сказал уже мягче: — В конце месяца поможем. Директор обещает на недельку инженеров к нам на конвейер пригнать. Из отделов.— Помолчав, добавил: — В целом... работать можно.

Если с вечера лечь пораньше, утром встать свежей, успеть всю домашнюю работу сделать, не спеша пройти с Олей по морозцу до детского сада, посмеяться с воспитательницей, глядя на детей, и снова по морозцу, чувствуя свой румянец, на завод, мимо деревьев в инее, мимо желтых уличных фонарей, по мотающимся под ногами желтым теням, по скрипучему снегу — бодро, молодо, скоро,— кажется: день впереди огромен. И с удивлением подумаешь: чем заняться сегодня в цехе? Изо дня в день по раз навсегда налаженному циклу работают конвейеры, машины, люди, а ты постоишь около, поговоришь с мастером и займешься чем-нибудь интересным — есть одна идея... Но так не бывает никогда.

## 2

В гастрономе Тоня и Федотова увидели мужа Гринчук, Ивана.

— Поглянь, Антонина,— шепнула Федотова.— Галины нашей мужик. Нешта из тюрьмы выпустили?

После первой смены в гастрономе всегда людно, а тут вообще было не протолкнуться. Весна, что ли, людям дома не сидится? Тоне нужно было во все отделы — и колбасу купить, и сыр, и селедку, и сладкое что-нибудь, и Ольке ужин. Технологи — народ понимающий, они водку принесут, но бутылки три надо и самой купить. До лета еще далеко, можно потерпеть с туфлями. А к винно-водочному отделу не подступишься, очередь сбилась, конца не найдешь. Хоть получка во всех цехах на той неделе была. Весна.

Тоня и Федотова стояли, озираясь, и Иван заметил их, подошел. В руке он держал женину сумку, из нее торчали горлышки молочных бутылок.

— Вот это я понимаю! — закричал он по-свойски.— Вот это жена мужа любит, заботится, за водочкой ходит. Не то что эти горемыки сами стоят.— И спросил у очереди:— Или все холостые? Смотри, Федотова, сколько холостяков, а ты все не выберешь. Я вот тоже думал постоять, но смотрю, очередь, решил: уж ладно, на молочко перейду. Говорят, ведро кефира сто грамм заменяет.

Тоня засмеялась и спохватилась с опозданием: как же она улыбается ему? Он ведь жену ошпарил!

— Кали б себе молочко,— сказала Федотова.— А то дитям. Вы уж трезвенник.

Она показала, что понимает шутку и что ее не обманешь.

— Я что? — прищурился Иван скромно.— Мне сто грамм — самая норма.

Он очень рассмешил Федотову.

— Вам... Это мне еще — норма... Вам...

В общем-то, встреча с Иваном была удачей. Он с шуточками прогалкивался к прилавку через очередь.

— Товарищи... Товарищи дорогие, любимая теща померла, дайте тещу помянуть, товарищи... Ай, как нехорошо, у человека горе, а вы... Гесть с утра в рот не брал, помрет же... Ну товарищи дорогие...

Вернулся с бутылками. Да еще помог нести тяжелую сумку до самого детского сада.

— Приболела моя Галина,— рассказывал он по пути.— С утра уже с уколами были. Сердце у ней на ниточке держится, а она туда же — пить. Вчера у нас маленький праздник вышел, я ж ей говорил, да что там... Вы ж знаете Галину. А теперь вот лежит, а я кручусь со своим колхозом. То за молоком, то кашку, то бумажку...

«Маленький праздник — это он из милиции вернулся», — догадалась Тоня и спросила:

— Сколько младшему-то? Третий год?

— С декабря третий год.

Она опять спохватилась, что улыбается. Они уже пришли к детскому саду, и Тоня попрощалась со спутниками. Она была недовольна собой. Иван — родной брат ее начальника Николая Важника. Это, что ли, на нее действует? Смотрит ему в рот, как Федотова.

По дороге домой Оля торопилась рассказать матери про все, что было сегодня:

— Мама, а Валерка меня толкнул...

Степан никогда не забирает Олю из сада. Рабочий день у него кончается в пять. Без десяти минут пять он складывает карандаши и циркули в ящик стола, закрывает газетой чертеж — компоновку очередного станка. Ровно в пять выставляет на стол шахматную доску, торопливо, чтобы не терять ни секунды, расставляет фигуры. Двое сослуживцев, прихватив с собой стулья, бросаются к нему с разных концов комнаты. «В какой руке?.. Ты начинаешь». — «Играем на вылет». Поднимаются они из-за шахмат через час, а то и позже. Потом Степан не спеша идет по улице пять автобусных остановок пешком. Корзун говорил — видел в булочной. Напутал Корзун. Вот в «Культтовары» Степан всегда заходит, спрашивает про фотобумагу, любезничает с продавщицами, чтобы оставили ему дефицит, глазеет на новинки...

— Мама, ну честное слово, он меня нарочно толкнул!

— Оленька, сколько раз я тебе говорила, никогда не жалуйся, сама разбирайся. Посмотри, как другие дети. Разве они жалуются родителям? И ты играй, как все.

— Но Валерка плохой. Бабушка сказала, он плохой, мама! Я с ним не буду играть.

— Ох, Оля, он ведь еще маленький, со всеми надо играть...

Весна. Весной оттаивают запахи. Не только запахи осени, но и запахи детства... У мамы, учительницы младших классов, не было времени баловать мужа и дочь пирогами. Но в день рождения Тонечки... В день рождения Тонечки на завтрак — любимые оладьи со сметаной, в обед — фасолевый суп. К вечеру покупались специально для нее бутылки лимонада, мама и Тоня резали тонкими кружочками копченую колбасу, прозрачными ломтиками — голландский сыр. А посреди стола на плоской тарелке он — круглый пирог с вареньем, валиками

из теста вязь: «Тоне 12 лет». Папины и мамины сослуживцы приносили подарки. Гости засиживались допоздна, и Тоню не гнали спать: где же спать в единственной их комнате? Папино удлинненное лицо с мешочками под глазами становилось умиротворенным и добрым. Иногда он вскакивал, начинал бегать за спинами гостей между стеной и стульями, сутулясь, размахивал руками: «Нет, это нельзя понять! Невозможно понять!.. Оказывается, я плохо учу детей! Оказывается, я недостаточно раскрываю слабость Чехова! Слабость Чехова!! Нет, нет, я не понимаю, я, я...» «Ми-иша»,— говорила мама. Это было вечером. А днем Тоня приходила из школы раньше родителей и ждала. Быстро темнело, она была одна. За стеной у соседа слышался нечеловеческий голос репродуктора. Нечеловеческий — потому что его не спутаешь с живым голосом, если слушаешь долго. Мамы и папы все не было, еще не было, и в Тонином ожидании было что-то такое, из-за чего взрослым людям дорого свое детство.

— Со всеми надо играть, Оленька.

Степан никогда не станет обедать, если ему не подать. Будет лежать на тахте и ждать. Воспитание. Тоня посмеивается, но, в общем, любит эту устойчивость его привычек.

Однако сегодня он пообедал. На счастье, пришла его мама и спасла сына. Теперь он дремал на тахте. Оля кокетливо помахала ручкой отцу и бабушке, но встретила холодность — часть той холодности, которая предназначалась матери и перепала на ее долю. Тоня, будто не замечая ничего, радостно поздоровалась, поставила на пол сумку, стала раздеваться.

— На улице-то весна, мама! Прямо в дом неохота заходить.

Свекровь промолчала. Они со Степаном всегда сердились, если Тоня задерживалась.

— Вы накормили Степана, мама? Вот спасибо, я как чувствовала, что вы придете.

Оля заглянула в комнату:

— А где деда-а?..

— У дедушки головка болит,— потеплела бабушка.— А бабушке ты не рада?

— А что ты мне принесла?

Оля знала, что спрашивать нельзя, но знала, что иногда взрослым это нравится. Так оно и случилось.

— О-оля.— Мать укоризненно покачала головой, лукаво взглянув на бабушку.

— Оленька, я это не люблю,— строго сказала бабушка.— Ты красиво себя ведешь. Почему я должна тебе что-то принести?

А сама уже шла к вешалке и вытаскивала из пальто шоколадку.

Тоня сняла с Оли ботинки, надела сандалики.

— Оля, помоги маме. Только не разбей, осторожнее.

У свекрови глаза округлились. Степан, увидев бутылки сквозь полуопущенные веки, приподнялся на подушке. Тоня будто не замечала их изумления. Ей-богу, из-за этого стоило потратить тридцать рублей.

— У нас сегодня гости будут,— сказала Тоня.— Я ничего не могла поделать. Пристали ко мне в цехе. Тридцать пять лет, говорят, такая дата! Напросились...

Свекровь наконец поняла, вспыхнула: как это она забыла! Она попробовала выкрутиться:

— Постой, постой, сегодня ведь девятнадцатое...

— Что вы, мама, сегодня двадцатое,— поддержала ее игру Тоня.

— Разве? Ах ты господи, почему я была уверена, что девятнадцатое? Ты не ошибаешься? Все я перепутала, склероз... А дома-то у меня



подарок лежит, была уверена, что завтра двадцатое... Ну, поздравляю тебя.

Свекровь шла, раскрыв руки для объятия. Тоня обняла ее, поцеловала в щеку и незаметно подмигнула дочери — надо же было кому-нибудь подмигнуть. Оля в восторге захохотала.

— Мама, вы мне можете сделать салатик? Я сказала, чтоб раньше восьми не приходили.

— Конечно, конечно...

Просто счастье, что они забыли про день рождения.

Степан соскочил с тахты, подошел, положил руки на плечи жены, поцеловал, искательно заглядывая ей в глаза, изображал подавленность и одновременно готовность улыбнуться своей милой виноватой улыбкой в ответ на ее улыбку — ладный и молодой в тонком тренировочном костюме. Он привычно играл в провинившегося мальчишку-шалуна. Тоня должна была невольно рассмеяться, побежденная его обаянием, и легонько щелкнуть мальчишку по лбу. Она рассмеялась, но по лбу не щелкнула, а высвободилась и пошла на кухню — пусть Степан не считает, что они квиты.

Свекровь пыталась дозвониться домой и дочери, но никого не застала. Потом, когда они с Тоней возились на кухне, она дала немного воли своему раздражению: то яйца несвежие, то нож тупой. Тоня понимала, что старушка досадует на свою забывчивость и досаду эту переносит на нее, Тоню. Она приветливо улыбалась:

— Да, мама... да, мама...

— Степан, звонят!

Степан успел переодеться, пошел открывать в белой рубашке, в лучших своих брюках и туфлях. У Тони представительный муж. С ним хорошо пойти в театр или просто прогуляться по улице, особенно в летние вечера, без пальто, когда Тоня надевает английский костюмчик за девяносто рублей, купленный в прошлом году.

Технологи тоже не подвели, все были при галстуках. Жанна немного стеснялась своего нового платья с кружевами на груди и рукавах, в нем еще сильнее бросалась в глаза ее чрезмерная худоба.

Все они словно впервые увиделись сегодня с Тоней:

— Поздравляем, поздравляем!..

— Ну, Степан, веди же гостей в комнату... Корзун, ты куда? Нечего тебе на кухне делать!

— Да мы тут принесли кое-что, хочу положить.

— А это тебе, Антонина.

— Ого! Спасибо, товарищи.

— Постучи по ней вилкой — хрустальная!

— Ой-ой-ой!

Самое трудное — первые минуты. Разговор не вяжется, после нескольких натянутых попыток все замолкает. Тоня знает опасность первых минут и, хоть салат еще не готов, быстро рассаживает гостей, командует наливать, ну, за новорожденную, поехали, и тут же, не давая закусить, — по второй, за мужа, а где свекровь, как же за свекровь не выпить, Степан, приведи маму из кухни, ну, мальчики, картошка стынет, задвигались, заговорили... Расшевелились. Теперь не остановишь.

Плыл дым в комнате, плыла сама комната, расплывались розовыми пятнами лица мужчин.

Говоря-ат,  
Не повезе-е-ет,  
Если черный кот дорогу перейде-е-ет...

Песня рождалась, как сытое мурлыканье кошки, и делала свое дело: создавала ощущение общности. Тоня откинулась на стуле, полузакрыла глаза. Она устала.

— ...это был такой человек... Сам в драку никогда не лез, боялся, что прибьет... А с виду — так, замухрышка. Шел он как-то вечером, кругом — ни души. Подваливают трое. «Дядька, дай пиджачок померить»... А в пиджаке у него получка...

Песня затихла, за столом слушали. Мужчины любят силу. Хотя чего им бояться? Что получку отберут?

Тоня прошла в комнату Оли. Свекровь читала, сидя у кровати, кивнула ей: спит девочка.

— Шли бы к столу, мама,— виновато (она развлекалась, а старушка укладывала спать девочку) сказала Тоня.

— Ничего, я почитаю. А ты иди, Тонечка.

Почему-то трудно к этому привыкнуть. Свекровь вынынчила Олю, она предана Тоне, как мать, и ничего не ждет для себя, только хочет, чтобы это ценили. Невелик грех, но утомляет очень. Тоня устыдилась своего недоброго чувства.

— Что вы читаете, мама?

— Всучили чепуху какую-то в библиотеке,— пожаловалась с охотой свекровь.— Обывательщина.

В знак протеста против этого слова — мол, ей оно еще ничего не говорит — Тоня посмотрела на обложку и даже пустила веером страницы. И о Тоне после первого знакомства свекровь сказала: «Бойкая такая мешаночка». Тоне передали. «Бойкая такая мешаночка, то, что Степану надо. Он у меня звезд с неба не хватает». И дети у матери научились, любят это слово. Старушке это, пожалуй, простительнее, она всегда мечтала работать, а была обречена сидеть дома всю свою кочевую жизнь офицерской жены.

В комнате заспорили мужчины. О знаменитой паре фигуристов. Женаты они или нет. Корзун один против всех доказывал, что женаты, и очень нервничал из-за этого, даже ненароком обидел Жанну. Валя попытался перевести разговор на селитру, но не смог и, сдавшись, стал от скуки дразнить начальника: доказывал, что танцоры женаты фиктивным браком.

— А я что говорю? — торжествовал Корзун.

Степан смеялся и правой рукой обнимал соседа. Он всегда, когда выпьет, должен кого-нибудь обнимать.

Тоня по-хозяйски оглядела стол. Гости увлечены, никто не буянит, в бутылках еще есть водка и закуски хватает... Все хорошо.

— Кавалеры, кто со мной потанцует?

Наверно, не расслышали, заговорились. Бог с ними.

Она направилась было в кухню, и в это время в дверь позвонили. «Кто это может быть? Наверно, дедушка. Конечно, дедушка», — убеждала себя Тоня, открывая дверь, потому что ей вдруг очень захотелось, чтобы за дверью оказался другой человек, и она боялась разочарования, которое не сумеет скрыть от обидчивого дедушки.

«Конечно, дедушка»...

— Лера! Аркадий!! Какие вы молодцы.

Какие они молодцы! И тут же Тоня смутилась: вот раскричалась.

— А я иду открывать и думаю: вдруг вы?

Аркадий пропустил сестру вперед, церемонно вручил Тоне красные тюльпаны.

— Совсем не вдруг. Поздравляем. Наш долг родственников — поддерживать тебя в трудный день.

— Какой трудный день? — не поняла Тоня.

— Молодец,— сказал он.— Ты хорошо держишься.

— Тоня, какая ты красивая.— Лера сбросила пальто на руки брата.— Ты прямо как пират. Вперед, люди Флинта.

«Перестань улыбаться,—скомандовала себе Тоня.— Я совсем пьяна».

Аркадий пытался повесить пальто на переполненную вешалку, а оно все соскальзывало. Наконец он как-то закрепил его и, опасливо поглядывая, отошел. Только теперь Тоня разглядела его и расхохоталась:

— С ума можно сойти!

Он улыбался. Он всегда был щеголем, а сегодня к ярко-синему, чрезвычайно модному своему костюму надел огненно-красный галстук.

— На это и рассчитано.

— И папа тебе позволяет так ходить?

— Не говори,—махнула рукой Лера.— Папа мечтает о дальтонизме, чтобы видеть этот галстук хотя бы зеленым.

— Тоня, я имею право проявлять свою индивидуальность?

— Аркадий, тебя когда-нибудь что-нибудь тревожит?

— У-у!

— Трудно поверить. Что же?

— Зубная боль,—шепнул он как бы по секрету.

— Новая?

— Все та же.

Тоня опять рассмеялась, но уже несколько принужденно. Зубная боль у них означала любовь. «А у меня зубная боль в сердце, и помочь от нее может только свинцовая пломба и тот зубной порошок, который изобрел монах Бертольд Шварц». Это тоже игра. Если со свекровью игра была во взаимную сердечность, если Степан попеременно был шаловливым мальчиком и строгим мужем, то Аркадий, когда они собирались вместе, вступал в роль отвергнутого поклонника Тони, завидующего счастью своего старшего брата. Тоня легко принимала игру, и тут не было лицемерия. Наоборот, добровольные эти роли помогали им быть искренними, спасали их искренность, так как неизбежная между ними ложь становилась наперед заданным условием игры. И поскольку каждый выбирал себе роль сам, выбирал то, что хотел, то в маске неожиданно обнаруживалось истинное лицо. Недаром говорят, что в каждой шутке есть доля правды. Тоня смутно чувствовала, что она всегда нравилась Аркадию, что он и вправду завидует Степану, и с удовольствием играла желанную и недоступную женщину, какой и была для Аркадия на самом деле. Однако эту игру невозможно было продолжать наедине, и оттого наедине им обоим становилось неловко.

— Бедный мальчик,— сказала Тоня.

— Лерка, а где наш подарок?

— А-а, сестрица! Братик!—В коридор вышел Степан.— Вот это молодцы. А мы-то с мамой сегодня опростоволосились!

Из Олиной комнаты появилась свекровь, шепотом поздоровалась с детьми.

— Склероз... Аркаша, ты-то что мне не сказал? Ты домой не заходил? Прямо с работы?

Лера поцеловала мать, пряча глаза. Она стыдилась ее манерности, и шепот среди общего шума (мол, я вам не хочу говорить, что нужно вести себя потише, это ваше дело) ее оглушил. Она вытащила из своей потерявшей форму сумки коробку и отдала Тоне:

— Вот, получай. Английские.

— Туфли? — обрадовалась Тоня. — Ой, Ле-ера-а, как раз какие искала! С ума сошли, такие расходы!

Она быстро примерила туфли перед зеркалом, повернулась одним боком, другим, заметила в зеркале улыбки братьев и сестры и покраснела. Все-таки тридцать пять лет, это надо помнить, тридцать пять лет. Но в общем-то... Привлекательная молодая блондинка, больше тридцати не дашь.

— Спасибо. — Она поцеловала Леру в щеку.

— Ага, — сказал в своей роли Аркадий.

Тоня и его поцеловала.

— Я посижу около Оленьки, — сказала свекровь, — беспокойно она спит.

Оля спала, как сурок, но спорить со свекровью было бесполезно. Лера подтолкнула Тоню и Аркадия к комнате:

— Идите, я тут братику по секрету несколько слов скажу.

Валя потеснился и с нескрываемым восторгом разглядывал галстук Аркадия. Он, Валя, сам бы ни за что не решился надеть такой, но ценил оригинальность везде и во всем.

— Штрафную! — закричал Корзун.

Тоня остановила его взглядом.

Он осекся, выпил свою рюмку, поддел вилкой кружок колбасы, недружелюбно поглядел на него и проглотил.

— Смертельный номер, — сказал Валя.

Тоня рассмеялась. Лера поздоровалась со всеми и села рядом. Степан как-то сник после разговора с ней. Отчего? Что она могла ему сказать?

— Смеешься, — покачал Корзун головой. Он пытался придать своим словам шуточный тон, но получалось слишком серьезно. — Всегда ты надо мной смеешься.

— Давай выпьем, — сказал Валя.

Все-таки он был молодец. Корзун не успокаивался:

— Интеллигент ты, Антонина. Не обижайся, но ты интеллигент.

— Ты тоже интеллигент, — заметила Тоня.

— Какой я интеллигент? Я инженер.

— Говоря-ят, не повезе-ет, — заголосил Валя и подтолкнул соседей: давайте.

Они подхватили песню.

Брат и сестра около Тони шепотом обменивались мнениями:

— Над Испанией безоблачное небо?

— Друг Аркадий, не говори красиво.

У них был свой, непонятный другим язык.

Корзун решил, что он обижен Тоней, и потому вдруг возлюбил Жанну.

— Хороший ты человек, Жанна. Хлопцы, давайте выпьем за Жанну. Выпьем, чтоб в этом году у нее на свадьбе погулять!

Все потянулись к ней с рюмками. В цехе ее любили. Ее неустроенность привлекала мужчин.

— На твоём месте я знаешь что сделал бы? — толковал кто-то. — Квартиру кооперативную построил. Невеста с квартирой — знаешь, сколько женихов найдется? Отсюда до самого завода очередь выстроится!

— Да где ж я столько денег возьму? — смеялась Жанна, польщенная общим вниманием.

— Куда ж ты их деваешь? — Теперь Корзун обиделся на нее. — Столько зарабатываешь, а семья — один человек. У меня две дочери,

жена семьдесят рублей получает — и хватает. Жена не хуже тебя одета.

- А мне не хватает!
- Так нечего жаловаться!
- А я не жалуясь!

Корзун уже всерьез сердился. Его симпатии, вскормленные на почве его неприязней, никогда не жили долго.

— Валя, спой им что-нибудь,— попросила Тоня.— Только не про кота.

- Мы гео-ологи о-оба с тобо-ою...
- Не страшны нам ни до-ождь, ни пурга-а-а,— присоединился Корзун, откидываясь на стуле.

Занятая гостями, Тоня, однако, не спускала глаз с Леры. Та положила руки на колени и, храбро улыбаясь, слушала песню.

- Пойдем-ка в кухню,— сказала ей Тоня.

Лера отыскала свободную табуретку. Тоня сдвинула посуду и устроилась на краешке стола.

- Ты молодец,— сказала Лера.— Ой, Тоня, какой ты молодец!
- Как у тебя дела?
- Поругалась сегодня с заведующей,— похвасталась Лера.
- Ну? — Тоня встревожилась.— Ты поругалась?
- Думаешь, я не могу? Еще как! Фортепьяно полгода расстроено, все не могут настройщика пригласить.

Лера работала в детском саду.

— А... на западном фронте как? — спросила Тоня. Она знала, что у Леры было какое-то увлечение.

— На западном фронте без перемен,— ответила Лера, и обе они рассмеялись.— А этот парень славный,— сказала Лера.— Который с бандитской физиономией.

- Его Валя зовут.

Аркадий появился с четырьмя рюмками в руках. За ним Тесов принес начатую бутылку водки.

— Антонина, хошь анекдот? — с порога спросил он.— Вам, Лера, это тоже будет интересно.— Он почему-то решил, что Лера — химик.

— Только давай без химии,— предупредила Тоня.— У всех есть специальность, никто же не говорит о своих делах.

— Антонина, но это ж такой анекдот! Ты, оказывается, была права.

- Вы счастливый человек, Валя,— сказала Лера.— Правда? Валя самодовольно заулыбался.

— Ну давайте,— сказал Аркадий.— За счастье.

Лера выпила свою рюмку и сказала уже совсем смело:

- Счастье? Но им же коровы кормятся.

— Лера, конечно, шутит,— любезно пояснил Аркадий Вале Тесову.

— Это, конечно, не я шучу. Это, конечно, Марина Цветаева шутит.

— Ну, Тоня, Валя, поехали. Без формулировочек. Давайте, Валя.

Валя наблюдал за братом и сестрой: что за птицы диковинные?

— Аркадий, снял бы ты галстук,— попросила Лера.— А то я чувствую себя матадором.

- Но ежели над Испанией...

— Братцы,— спохватилась Тоня,— пойдете к столу, я же хозяйка!

Она вытолкала мужчин из кухни. Лера поднялась:

- Мне уже пора. Там и без меня не скучно.

В прихожую вышла Жанна.

— Антонина, я пьяная. Где у вас вода?

Тоня завела ее в ванную, пустила холодную воду. Жанна пыталась подставить голову под струю, Тоня с трудом удержала ее:

— С тебя ж вся краска полезет.

Она намочила полотенце, приложила ко лбу Жанны.

— Какая ты счастливая, Антонина... Такой муж у тебя красивый, скромный, серьезный... И дочка, и квартира какая... Все у тебя есть в жизни...

— И у тебя так будет, только не трусь.

— Так теперь таких парней и нет, как твой Степан.

О господи! Кому что.

— А обрубщик, как его, Костя Климович, чем он тебе плох? Все заглядывает к тебе на смену.

— Ты тоже скажешь, Антонина.

— А что? Денег вдвое больше Степана получает.

— Ну кто он? Я инженер как-никак...

Лицо Жанны одрябло, язык плохо слушался.

— Не квартиру тебе надо, девочка. Мозгов бы тебе прибавить.

— И поглупее меня замуж выходят.

— Ну, будет, идем к ребятам.

В кухне кто-то был. Тоня хотела заглянуть, но услышала голос Степана и замерла.

— ...мать с тобой вместе жить не смогла... Я же тебе не мешаю жить... Что тебе от меня надо?..

Голос Леры прерывающийся, незнакомый:

— Не знаю, как Тоня может с тобой. Но раз уж это так, ты не смеешь, Степа, не смеешь! Или совсем уходи! Оставь ее!

— Тише ты! Что ты все в чужую жизнь...

Тоня бросилась в ванную, заперлась на задвижку. Кто-то дернул дверь. Она открыла кран. Зашумела вода. Тоня прижалась затылком к стене. Спокойно. Лера, наверно, ошиблась. Степан? Этого быть не может, он же кисель, в нем крови нет. Этого не может быть! Спокойно. «Видел его в булочной», — сказал утром по телефону Корзун. Что Степану делать в булочной? Он же не покупает хлеба. Кто он Тоне? Чужой человек. Всегда был чужим. Ну привычка появилась, за девять лет появилась привычка...

Почему-то вспомнилась Федотова под душем. Жидкие волосы прибиты к неровному, словно помятому, словно мягкому черепу... Пол в душевой был грязный, мокрый, холодный, скользкий... Спокойно. Тоня оттолкнулась от стены и увидела себя в зеркале. Противная дряблая баба, жирная, отяжелевшая... Она ладонями стала растирать лицо от подбородка вверх, к глазам, возвращая ему кровь...

Разговор в комнате двигался вяло, отяжелели уже гости. Только самый молчаливый и незаметный из технологов, Ярошевич, как всегда разговорился к концу, вдруг и не в меру. Он хватал Корзуна за локоть, жаловался на жену: хочет, мол, в дом тещу взять, будто у тещи сыновей нет.

— А кто я ей, если разобраться, а? Точно? Почему я должен?..

Корзун в это время рассказывал ему свои обиды, тоже повторяя «почему» и «должен», и со стороны казалось, что Корзун навязывает Ярошевичу свою тещу, а Ярошевич отказывается.

Аркадий наполнял рюмку Жанны.

— За нашу встречу... Вы необыкновенная девушка, Жанна, можно, я буду вашим пажом?.. Вас никто не понимает. И меня.

— Вы, парни, такие смешные, когда выпьете...

Странный он сегодня, Аркадий.

Слышно было, как в прихожей Валя рассказывал Степану и Лере цеховые истории. Жанна ускользнула от Аркадия к ним. Тоня села на ее место, вышла из ее фужера лимонад.

— Аркадий...

Он собирался последовать за Жанной, но Тоня удержала его:

— Посиди.

Она хотела спросить: «Правда, что ты любил меня?» Об этом нельзя спросить, эти слова не произносятся языком и губами, словно язык и губы чувствуют их противоестественность. Они непонятны, эти слова. Она нравилась когда-то Аркадию, об этом не надо было и спрашивать. Вот ведь хорошее и понятное слово «нравилась». Как легко произносится.

— Тебе нравится Жанна, Аркадий?

— Тоня, ты же знаешь, мое сердце разбито навеки...

Тоня поднялась. Зря он. Не смешно. Не вовремя...

В двери она столкнулась со Степаном. Оба опустили глаза.

— А я ищу тебя, — сказала Лера. — Мы уходим.

— Понимаете анекдот? — весело кричал Валя. — Красть тоже надо уметь! Антонина, ты как в воду глядела!

Он принялся объяснять свой анекдот Тоне. Когда-то где-то Валя случайно вычитал, что ультразвук может разбивать химические связи. Захотел попробовать на щелоке. Просто попробовать, что получится. Тогда ему Корзун и Важник не дали экспериментировать. А сейчас Корзун и главный металлург подали заявку на изобретение и будут проводить эксперимент у них в цехе. Вот почему Корзун против селитры. Но Валя уже знает, что ничего не получится, ультразвук только ухудшает качество щелока.

Аркадий помогал Жанне попасть в рукава пальто.

— Да ладно тебе, Валька, надоел ты всем со своим щелоком, — говорила Жанна. — Ой, я пьяная...

— Отличный сюжет, — сказал Аркадий. — Ретрограды крадут у несчастного изобретателя его последнюю идею.

— Заметь, — сказала ему Лера, — что тебя ничего не возмущает.

— Говорят, мне очень идет аморальность. Может быть, льстят?

— Бессовестно льстят. Она тебе не идет.

— У грехов, сестренка, своя мода. В восемнадцатом веке я бы нервничал из-за жеманства и вероломства. В девятнадцатом — из-за стяжательства и бесчестности. В двадцатом мы с тобой не любим внушаемость, стереотипность мышления и глупые песенки.

— Для меня во все времена одни грехи — трусость и бездуховность.

— Дело вкуса, дело вкуса... Если только трусость не есть мать духовности.

— Интересная мысль! — закричал Валя.

— Вы идете? — Лера потеряла терпение.

Валя не замечал, что он уже не в квартире, а на лестнице, и продолжал рассуждать. Аркадий поддерживал Жанну под руку и порывался перебить его.

Тоня спускалась по лестнице вместе с ними.

— Лера... Она работает в булочной?

Лера растерялась. Смотрела под ноги. Шепнула:

— Да...

Зря спросила. Какая ей разница? Какая вообще разница? Не нужно им с Лерой говорить об этом.

На крыльце их ждали мужчины и Жанна.

— Ты, Аркадий, я вижу, парень умный, — внушал Валя, — а говоришь не подумав. Я про духовность. Вчера телевизор смотрел? Пере-

дачу о Японии видел? И в «Известиях» на эту тему толковая статья была. Между прочим, наш начальник цеха ездил в Японию, рассказывает, они литейный песок из Португалии в мешках получают. Представляешь, покупают песок, как мы апельсины. Понятное дело, в таких условиях научишься экономить, есть чему у них поучиться. Я это к тому, что японцы молодцы, технику толкнули будь здоров. Их конкуренция подгоняет, закон джунглей. А что вот конкретно меня заставляет селитрой заниматься? Мое дело десятое: выдал типовую технологию — и только поглядывай, чтоб ее не нарушали. Но я ж так со скуки подохну! Я ж не могу не мыслить! Я про Японию не скажу...

— Опять завелся,— с досадой сказала Жанна.— То про свой щелок, то про политику.

— На одной духовности, конечно, не уедешь, Аркадий. Нужна и организация производства. Должна быть гармония...

— Фисгармония,— сказала Жанна.

— Куда ты в платье на мороз? — прикрикнул Аркадий на Тоню.—

Иди.

— Тоня, я...

Тоня успокаивающе дотронулась до Лериной руки:

— Ну, счастливо вам. Спасибо, что пришли.

...За столом Корзун горячо доказывал соседу:

— А я тебе говорю, что у нас было двенадцать космонавтов! Считай: Гагарин — раз...

— Раз,— загнул палец сосед.

— Титов — два. Терешкова — три...

— Товарищи, ну и закурили вы тут! — сказала Тоня.— Хоть бы форточку открыли! Степан, что я вижу? И ты куришь?

Она отобрала у него сигарету, навалилась сзади локтями на плечи Корзуна:

— Хватит спорить! Давайте споем!

Кто-то начал:

— И-и-из-за о-острова на стре-е-ежень...

Тоня не любила эту песню. Но все подхватили, и она стала петь.

Проснулась и заплакала Оля. Тоня оставила гостей, ушла к ней. Над девочкой склонилась свекровь:

— Спи, рыбонька, это дяди поют... У мамы день рождения...

Если бы она узнала о сыне.

— Оставайтесь ночевать, мама,— сказала Тоня.

— Нет, я скоро пойду.

А гости уже толпились в прихожей.

— Покойной тебе ночи, Антонина... Счастливо, Антонина... Спасибо, Антонина... До завтра...

— Спасибо вам.

Степан дремал, сидя на стуле. Тихо стало в квартире, неторопливо засобирались и свекровь.

— Я вас провожу,— сказала Тоня.— Не спорьте, мне хочется.

— Холодно, надень под пальто кофточку.

К ночи подморозило и было скользко. Они ступали осторожно, держась друг за друга.

— Как ты одна назад пойдешь?

— Не беспокойтесь.

Она и провожать пошла, чтобы возвращаться одной. Была звездная морозная ночь. Сколотым углем блестел асфальт, отражал уличные огни. Хрустели, лопались льдинки под ногами, бежали по ним белые трещинки. Улица опустела. Тоня жадно вдыхала холодный чистый воздух.



«Привлекательная молодая блондинка, больше тридцати не дашь»... Нужен Илюша. Степан любит возиться с маленькими детьми. Когда Оля была грудной, он даже в шахматы играть не оставался на работе. Мужчине необходимо занятие. Нужно родить ему Илюшу, тогда он всегда будет дома. Степан красив, девушки на него заглядываются, он не виноват. Тоня давно замечает, что он поглядывает на молодых, она давно подумывает об Илюше, но все духу не хватает: бессонные ночи, пеленки, кашки, Оля на руках, а уже тридцать пять лет, и все-таки начальник участка в литейном цехе — это не в отделе сидеть, бумажки писать... Но нужен Илюша. Ах, какая все ерунда! Лера напутала. Ничего не было, Лера все напутала...

Тоня знала правду, но ей удалось убедить себя, что эта правда — ложь. Правда и ложь существовали в ней одновременно, Тоня по своему желанию как бы задвинула правду в тень, оставив ложь на свету, и успокоилась.

Степан по-прежнему дремал за столом. Тоня растолкала его и заставила лечь в постель. Не умеет он пить. В общем-то, ей достался довольно спокойный муж. Гринчук может позавидовать.

Она навела порядок в комнате и перемыла в кухне посуду. Потом проверила кран на газовой плите, дверной замок и выключила свет.

...Они познакомились со Степаном девять лет назад. Тоне шел двадцать шестой год. В то время она жила возле самого завода, на Промышленной улице, в комнате одинокой пенсионерки, платила той за угол пятнадцать рублей в месяц. Сыновья хозяйки жили в том же поселке отдельными семьями, были в ссоре с матерью, и необходимость держать под старость рядом с собой чужого, случайного человека воспринималась старухой как огромная несправедливость. Отвечать за эту несправедливость пришлось Тоне. Найти другое жилье она не сумела, пришлось терпеть вздорный характер, придирки, ворчание, пришлось вечерами приходить домой не позднее одиннадцати, вскакивать по нескольку раз за ночь и смотреть на часы, чтобы не проспать, — хозяйка запретила заводить будильник. Два-три раза за год приезжала на несколько дней из дома мама. Они спали с Тоней на одной кровати. Каждый раз хозяйка допоздна выговаривала маме в темноте все свои жалобы на Тоню и советы по воспитанию, а мама и Тоня, лежа рядом, беззвучно хохотали.

А потом мама не могла заснуть. И зачем Тоня стала литейщиком, если в их городке нет ни одного литейного цеха? Поступая в институт, она выбирала, где конкурс меньше, и мать согласилась с ней. Хотели как лучше... Мать боялась умереть, не выдав дочь замуж. Она всегда гордилась Тоней, ровным ее характером, хозяйственностью — тем, чего всю жизнь так недоставало и ей самой и ее мужу. Она всегда была спокойна за дочь, и вдруг — двадцать пять и никого нет у Тони, кроме матери. Тоня как будто не думает о замужестве. Не слишком ли она разборчива? Мама считала себя виноватой. После рождения Тони она не захотела больше детей, и Тоня, когда мать умрет, останется одна на свете.

А помогла им хозяйка. Была у нее приятельница, у приятельницы своя приятельница, а у той сын. Тридцатилетний инженер, то ли разведенный, то ли вдовый. Как в старинном сватовстве, привели сына в гости. Хозяйка увлеклась затеей, они с мамой готовились с утра, потратили уйму денег. Гости пришли по-зимнему рано — две женщины и молодой человек. Женщины были дородными, снисходительно-спокойными, двигались и говорили неторопливо, и оттого казалось, что мама суетится.

Молодой человек появился вроде бы лишь для того, чтобы женщин на машине подвезти, его вроде бы уговорили выпить стакан чая,

и он просидел весь вечер. Он как будто сам стеснялся своего обаяния и улыбкой извинялся за него. Весь вечер он развлекал женщин, мимоходом дал понять, что приехал ради мамы, не мог не сделать ей приятное. Она, мол, считает, что он еще ребенок. В его чрезмерной обходительности, в его внимательности к старым хозяйкам была щедрость высшего существа, дарящего себя другим. А мама тяготилась этим, сознавая свою недостойность. Она даже виноватой себя чувствовала, что из-за нее он так себя утруждает. «Он слишком хорош для нас», — молча решила мама. Тоня держалась скромно, предоставляла маме поддерживать разговор, сама следила за тарелками. Особого усердия не проявляла. В меру смеялась шуткам. Вечер как будто удался.

Больше всех была довольна хозяйка. После ухода гостей уже и посуду перемыли и, улегшись по кроватям, свет погасили, а она все рассказывала, как ей удалось уговорить приятельницу, как она расхваливала Тоню... Мама терпела, терпела и сказала: «Мы вам очень благодарны. Вечер был очень приятным».

Мама задержалась тогда на целую неделю. Никто из их новых знакомых не показывался. Мама и Тоня о них не говорили. Хозяйка тоже. Сделав Тоне доброе дело, она полюбила ее за это и теперь невнимание к девушке воспринимала как личную обиду. Мама, теряя надежду, хотела уже признаться, что инженер ей совсем не понравился, но тут он приехал в старом серо-голубом «Москвиче», и она, довольная, что промолчала, обрадовалась, встретила его благодарная и преданная.

В следующий раз он приехал через три дня, потом через день, а потом уж как получалось: то чаще, то реже.

Он любил рассказывать о себе. Тоня слушала в меру заинтересованно. Она хотела, чтобы у него появилась привычка ей рассказывать, но и опасалась проявить слишком сильный интерес. Он должен был чувствовать, что интересен ей он сам, а не его работа. Она уловила тон, который ему нравился: чуть-чуть насмешливая материнская снисходительность вместе с легким приятельским поддразниванием. Она старалась стать его идеалом женщины: любезной, заботливой, но в то же время достаточно здравой, чтобы не посягать на священную мужскую независимость, иногда легкомысленной, иногда и слабой, но слабой необременительно.

И Тоня добросовестно расспрашивала о его работе, старалась ничего не забыть и не перепутать, болтала о своей портнице, иногда просила купить конфет. Ей нравилась эта игра, в которой она обманывала себя, потому что эта игра все-таки не была игрой. Незаметно Тоня привязалась к молодому человеку. Когда заметила это, испугалась. Боялась разочарования, если ничего не получится.

Время шло, а в их отношениях ничего не менялось. Очевидно, они удовлетворяли его полностью. Бессознательно Тоня чувствовала опасность, что они станут для него слишком привычными; нужно было встряхнуть его.

Кончилась зима. Влажными теплыми ветрами, темными низкими облаками дотянулась до города далекая Балтика. Снег во дворах и по обочинам потемнел, отсырели стены домов, город стал грязным и серым. Промозглая сутолока неустойчивых ноющих ветров подгоняла людей, торопящихся к автобусным и троллейбусным остановкам, к хлопающим дверям магазинов и домов. В такую погоду Тоня становилась нетерпеливой и раздражительной. Молодой человек долго не появлялся. Однажды Тоня поссорила с хозяйкой. Жить стало негде, она взяла отпуск и уехала домой.

И вдруг 8 марта он явился! Приехал, мол, навестить родню и заодно к ним заглянул. Какое торжество для Тони, какая радость для мамы! Подарки его к празднику маму совсем доконали, она даже про-

слезилась. Тоню задела чрезмерная и жалкая благодарность мамы, и поэтому весь вечер она была подчеркнута невнимательной. Молодой человек сначала опешил, но сказал себе: «Женские капризы» — и успокоился. Тоня отказалась провести вечер у его родни, и хорошо сделала: в этот день произошло несколько чудес.

Во-первых, позвонили у двери, и в квартиру неожиданно-негаданно ввалилась галдящая толпа молодежи со свертками в руках — бывшие ученики мамы, спутники Тониного детства. Мальчишки первых послевоенных лет, бедных не только хлебом, но и книгами, они выросли в этой комнате, у полок с остатками семейной библиотеки. С пустырей за поселком со снарядами гильзами, несгоревшими ракетами и другими бесценными для мальчишек вещами они приходили по вечерам сюда.

Теперь они принесли вино, свертки из гастронома, кто-то пришел с гитарой. Крики, смех, толкотня и без конца: «Вера Львовна, Вера Львовна!»

Его забыли представить. Он сидел около Веры Львовны молчаливый, но спокойный и уверенный. «Черт с ним, — подумала Тоня. — Черт с ним, тем лучше». Она была с друзьями...

Поздно ночью Тоня лежала в кровати, и было покойное чувство освобождения. Теперь он уже не придет, он видел ее настоящей. Он узнал пренебрежение, а это не прощается. И хорошо.

Она ошиблась — и в нем и в себе. Он пришел, а она обрадовалась. Он не заметил пренебрежения, как не замечал других неприятных для себя вещей. Но в тот вечер он увидел привлекательную женщину, которая нравится другим. Через месяц они поженились, и фамилия Тони стала Брагина, потому что его звали Степан Алексеевич Брагин.

## Глава вторая

### АРКАДИЙ БРАГИН

Они проводили женщин и остались вдвоем. Морозны и гулки были ночные улицы.

Валю Тесова дома ждала жена, но ему жалко было терять слушателя. Жене, «малой», как он ее называл, все уже было рассказано, в такой поздний час она только заворчит и не станет его слушать. А Аркадий боялся, что Валя вдруг свернет в какой-нибудь переулок и оставит его одного.

Мать вернулась давно, и родители уже спали. Через прихожую пришлось идти на цыпочках. В комнате Валя заглянул в разбросанные по столу книги.

— «Элек-тро-ценфа...»... «Электрозцефало...»... Ты врач?

— Я медик.

— Так что же я тебе про щелок рассказываю, тебе ж неинтересно!

— Ты говори, я пойму. Так что же Корзун?

— Корзун в лужу сядет. Рано или поздно. Правда, Аркадий, она всегда свое возьмет. Но из-за этого они зажмут мою селитру. Им селитра поперек горла! Но я не сдаю-юсь...

— А что, собственно, она дает, селитра?

— Тысячи рублей экономии!

— В месяц?

— Ну да, в месяц. В год. Мало?

У матери оставалась с 8 Марта начатая бутылка портвейна. Аркадий нашел ее на кухне и принес в комнату.

— Ну, за твою селитру.

У Вали круглая голова, а волосы торчат ежиком. Может быть, его селитра вроде талисмана? Нацепить ее с кольцом на палец и носить?

— Звонят,— сказал Валя.— Или мне кажется?

— И мне к-кажется, кажется. Звонят?

— Вроде звонят. Пацан мой ночами не спит. Орет, черт.

— Сколько ему?

— Пять месяцев.

— Ну пусть орет, глотку развивает.

— Это точно. Только не высыпаюсь. Малая хоть днем часок соснет... А ведь звонят...

— Я вижу, у тебя свет,— сказал, вваливаясь с чемоданом в квартиру, Кошелев, сослуживец Аркадия.— Отчего не открывал?

— Тише. Мои спят.

— Ну, если их звонок не разбудил...

— Почему ты уверен, что не разбудил?

— Я ж говорил, что звонят,— сказал Валя.

— Вы, безусловно, знакомы...

— Нет, мы не знакомы. Кошелев Дмитрий Сергеевич.

— Валя. Садись, Дмитрий Сергеевич, ты вовремя...

— Знакомьтесь, это Валя. Он выдумал селитру. А из селитры Бертольд Шварц выдумал порох... Кажется, так.

— Не хотелось тащиться в Боровое,— сказал Кошелев,— до утра ждать автобуса. А на такси в такую даль денег нет. Сам понимаешь, после отпуска... Все деньги жене оставил, она задержалась.

— Молодец, чего там. Как отдохнул?

— Бесподобно! Две пары лыж сломал!

— Кошелев, где ты потерял инстинкт самосохранения? Или ты его дразнишь?

— Ничего я не дразню. Это ты меня дразнишь.

— Валя, разве я его уже дразню?

— Кстати, об инстинктах,— сказал Кошелев.— Я есть хочу.

— В мире есть царь,—вспомнил к случаю Валя,—этот царь беспощаден. Голод — название ему.

— Ты не прав,— указал ему Аркадий.— Ты меня извини, ты, Валя, не прав.

— Ты идеалист, Аркадий,— влюбленно сказал Валя.

— Ты извини меня...

— Он признает свою ошибку,— успокоил Аркадия Кошелев.— Правда, Валя?

— Конечно, я не прав,— согласился Валя и заинтересовался: — А впрочем, почему?

— Ты меня извини...

— Он тебя извиняет,— сказал Кошелев.

— А все-таки,— выяснил Валя.

— Теперь у родителей главная забота — заставить детей есть. Не хотят дети есть. В России голод уже не царь...

— Точно,— мгновенно согласился Валя.— Вот взять моего пацана...

— Мы живем по ту сторону голода. У нас нет голода.

— У меня он есть,— напомнил Кошелев терпеливо.— Голод.

— Почему же ты дразнишь?..

— Да ничего я не дразню!

— Ты меня извини. Мы все дразним свои инстинкты.

— Кто это «мы»?

— «Мы»? Спроси у психологов. Шизотимики по Кречмеру, или пребротоники по Шелдону, или, как это...

— Дальтоники,— подсказал Валя.

— Плагиат. Это я сказал — фисгармония.

— При чем тут фисгармония? — обиделся Валя.

— А я говорю — плагиат...

Кошелев откинулся в кресле.

— Ну и набрались вы, братцы.

— Я-то при чем? — спросил Валя.— И, кстати, это Жанна сказала: фисгармония. Тебе сказала.

— Вы молодцы,— сказал Кошелев.— Вы вместе сказали: фисгармония.

— Представляешь, Валя: Кошелев познакомился с девушкой, а она оказалась социологом. И что ты думаешь?

— Поженились?

— Кошелев, разве вы поженились?

— Привет, старик.

— Ах да... Я лично социологов не люблю. На трон свергнутого голода они посадили временщика — шлюху потребления. Что они сделали с человеком, Валя?

— Я, кажется, того,— сказал Валя.— Немного. Мне пора.

— Социологи не говорят, что личность исчезает,— сказал Кошелев.— Личность создается творческим характером труда.

— Кошелев, у меня труд какой? Творческий?

— Жениться тебе надо,— сказал Кошелев.

— На социологе?

— Хоть на черте.

— До свидания,— сказал Валя.— Малая, наверно, уже милицию на ноги подняла.

— Погоди, Валя. Ты, Кошелев, гуманист. За это я принесу тебе домашнюю наливку.

— Ты ему есть принеси,— сказал Валя.— Он весь голодный... Жениться, конечно, надо,— говорил он Кошелеву.— Взять мою малую. Кажется, она кто? Дите еще, двадцать лет. И образования у нее всего десять классов, да и то вечерних, да и то десятый не закончила. Но она все понимает...

— Брагин, ты что тащишь? Разве такие наливки бывают? По цвету — денатурат!

— Ничего, тут у нас специалист по химии, он тебе определит, что это.

Однако Валя уже исчез. Он знал свою меру и умел незаметно исчезать из компании. Эта его способность обычно очень сердила друзей.

Кошелев стал объяснять Аркадию смысл жизни. Аркадий разложил ему кресло-кровать и слушал, пока Кошелеву не надоело говорить. Ему жалко было, что Валя ушел так внезапно. Потом Кошелев уснул, а Аркадий спать не мог и стал думать, что же с ним сегодня случилось. Может быть, просто тревожит какой-нибудь пустяк, просто засела где-то заноза и надо все хорошенько вспомнить, найти ее, вытащить и заснуть спокойно.

...Сегодня утром он дремал в институтском автобусе. Институт онкологии стоит среди соснового леса, в двух десятках километров от города, и весна, которая уже началась в городе, здесь еще не чувствовалась. Лаборатория у Аркадия была такая маленькая, что, сидя на стуле, можно было дотянуться до любого предмета в ней. За спиной в углу стоял баллон со сжиженным газом, и от него вдоль всей стены тянулся спектрофотометр. Над письменным столом на самодельных полках до потолка лежали справочники, книги и катушки кардиограмм. Слева у ног была смонтирована центрифуга, когда ее изредка включали, то от ее грохота весы под стеклянным колпаком теряли точность.

Справа за окном был виден лес. Низко над соснами, разворачиваясь в полете веером, пролетела стая ворон, черных в белесом небе. Аркадий слушал их нервное весеннее карканье и ничего не делал.

Его работа, длинное название которой начиналось со слов «К вопросу о влиянии...», а дальше состояло из терминов иностранных, определяющих, какие именно вещества и при каких условиях влияют на состояние других веществ,— эта работа, двадцатая или тридцатая в его жизни, и по методам своим и по результатам мало отличимая от предыдущих, эта работа показалась ему скучной и нелепой канителью. Аркадий собирался до начала опыта просмотреть полученные вчера кардиограммы собак, но вместо этого открыл свежий номер журнала. Ему сразу попалась статья его знакомого, совсем молодого парня. Статья была интересной, много интереснее работы Аркадия, и усилила его недовольство собой.

(«Может быть, это и есть заноза?— подумал он, вспомнив о журнале.— Зависть? Да, но почему же никогда прежде у меня не было зависти? Может быть, она приходит с возрастом?») Однако признавать в себе зависть к чужим успехам очень не хотелось, и Аркадий решил, что заноза сидит где-то в другом месте.)

Он еще не дочитал статью, когда позвонил Михалевич, его начальник, сообщил, что приняли к печати сборник, в котором была их совместная работа. Михалевич засмеялся: «Жди теперь письма от Филимона». Филимоном в институте прозвали английского онколога Фенимора Дугласа, о котором узнали три года назад. Прочитав реферат диссертации Аркадия, он послал ему письмо почему-то в Академию наук, «профессору Брагину», и письмо несколько месяцев плутало по академии, пока его случайно не увидела будущая жена Кошелева, которая сообразила, что «профессор Брагин» — это Аркадий Брагин из Бороваго.

(«Нет, не зависть,— подумал Аркадий.— Какой чепухой я занимаюсь, однако. Надо спать.»)

Сегодня он должен был продолжать опыты на собаках: вводить им в кровь вещество, действие которого он исследовал, и отмечать результаты этого действия, предугаданные им еще полгода назад. Он позвонил в собачник: «Анна Евменовна, пришлите мне в эксперименталку псину килограмм на шесть».

Надо было зайти в библиотеку. В вестибюле главного корпуса сидели вдоль стен больные и посетители. Там была и старуха Почечуева. В третий раз попала она сюда, все здесь уже ее знали. И не любили. И опять около нее — вишневого цвета пальто племянницы. Почечуеву навещали ежедневно — либо, как сейчас, племянница в стареньком пальто с воротником и шапкой из рыжих лисьих хвостов, либо муж племянницы, во все времена года примелькавшийся здесь своей нейлоновой курточкой.

Племянница выгружала из сумки баночки и свертки с едой и виновато говорила: «Я на два дня принесла. Завтра, наверно, приехать не смогу, Маринка температурит, ночами не спит, Сережа совсем с ног сбился...» — «Да зачем ездить,— кивала старушка,— я и есть ничего не могу, не надо мне ничего... Вот если б, я тебя просила вчерась, огурчика свежего достала...» — «Нет их нигде, тетя, они в мае...» — «Не доживу я до мая». — «Мы поищем, тетя». — «Тут одной принесли, я спрашивала, в «четырнадцатом» брали, что у базара. Ну ладно... Завтра отдыхай, ко мне не надо. Разве что огурчик достанешь, так завези. Это недолго — только через сестру передать и этим же автобусом домой. Они не воруют, сестры, им тут и так хватает...» — «Мы поищем, тетя...»

Как-то Аркадий оказался в автобусе вместе с мужем племянницы.

Разговорились. Четыре года, кроме работы и самых необходимых домашних дел, они знают только одно — долгую автобусную дорогу к тете. Муж и жена почти не видят друг друга. Сегодня муж с ребенком, а жена с тетей, завтра наоборот. А когда Маринка болеет, совсем плохо. Денег нет. В марте тетя просит огурцы, в мае клубнику, все не по сезону, когда очень дорого. Маринке своей они огурец не дадут... Тетка даже не спросит о внучке, кроме еды и лечения, ее ничего не интересует...

Из сочувствия молодой паре Аркадий пожелал смерти старухе и, поняв это, поморщился.

(Поморщился он и теперь, вспомнив, и не захотел об этом думать: «Об этом я еще как-нибудь подумаю потом... Конечно, проклятая Янечка всадила занозу. Непрошенные благодетели.»)

Почему — Янечка? Янина Войтеховна. Два года до пенсии осталось. Ординатор лечебного корпуса. Но уж так повелось — Янечка. Она встретилась ему в коридоре и затащила в ординаторскую: «Аркадий, ты ужасно выглядишь». Когда-то он имел глупость измерить себе давление в пустой ординаторской, и она поймала его за этим. А было тогда восемьдесят на пятьдесят. С тех пор она считает себя его другом. Вот и сегодня усадила и заставила поднять левый рукав, укрепила манжету. «Ага.— Она посмотрела на шкалу.— Головные боли есть?» — «Нет. Разве что после выпивки...» Он не видел шкалу. «Чем ты расстроен, Аркадий? Дома неприятности?» — «Резина на «Москвиче» облысела, Янина Войтеховна. Не знаете, где новую достать?» — «Ты разве купил машину?» — «Нет, это у брата. Как не переживать, брат все-таки». — «Сердце не болит?» — «Ну что вы, Янина Войтеховна, вы уж совсем меня не уважаете». Она неодобрительно рассматривала его. «Тебе сколько? Тридцать? Нет еще? Объясни мне, старому человеку, почему ты превращаешь работу в самоедство? Переутомление — пустяк, но не для тебя. Ну отдохнешь, снимешь его, а потом? Опять? Тебе нужно себя переделать. Просто, по-человечески жить. Присмотрись к людям, Аркадий, к обычным людям, поучись ты жить просто, по-человечески. Ведь все работают, не только ты. Но не изматывают себя так. Что тебя дергает? Чего ты добиваешься? И так тебе завидуют. Торопишься доктором наук стать? Успеешь. Уверена, что и с девчатами ты как с работой — самоед. Нет у тебя чувства меры. И парень ты интересный, а не любят тебя девчата, верно?» — «Выдумываете вы все, Янина Войтеховна. Меня обожают,— возразил Аркадий и вдруг неожиданно, застигнутый врасплох сочувствующей ее грустной улыбкой (купила-таки, проклятая старуха!), признался: — Наверно, в прошлой жизни я был вьючным мулом. Атавизм».

В экспериментальной операционной все уже было готово к опыту. Сестра ввела морфий Шарiku — маленькой рыжей дворняге с черной подпалиной на носу. Шарик был весь оплетен проводами от датчиков к показывающим приборам. Собачьи глаза смотрели на Аркадия. Аркадий надрезал вену и ввел в надрез тонкую трубочку — катетер. Шарик не чувствовал боли. Ужас и ярость привязанного пса сменились равнодушием наркоза. В трубочке появился маленький красный столбик — первая проба крови. Сестра понесла ее в лабораторию. «Нечего так на меня смотреть,— сказал Аркадий собаке.— Подумаешь, переживания. А ты как хотел? Даром никого не кормят».

(Кажется, он даже прочитал собаке стихи. С него станется. Наверно, Есенина. «Счастлив тем, что целовал я женщин, пил вино, валялся на траве и зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове». Теоретически он весьма одобряет такую программу. А практически... «До свиданья, друг мой, до свиданья...» Практически

он ничего лучшего для себя не нашел, чем мучить «братьев наших меньших». Конечно, он оправдывает это гуманизмом. Чего стоит его гуманизм, подумал он, если в нем не осталось места даже для старухи Почечуевой, которой он по пути в эксперименталку пожелал смерти?)

Кончился день. Ушел служебный автобус и увез в город сотрудников. Аркадий всегда на него опаздывал. Позвонил Михалевич: «Тебя женщина спрашивает. По городскому телефону». Михалевич был хорошим начальником. Более того, он умел отделять работу от своих пристрастий. Но Аркадий знал, что Михалевич его не любит. Так же, как и другие сотрудники. Они все были хороши с ним, и всех их отпугивала его, как они говорили, одержимость.

(«Люди всегда предпочитают общество ленивых весельчаков угрюмым работягам, Стиву Облонского предпочитают Константину Левину. В этом пристрастии должен быть какой-то смысл».)

Телефонный аппарат стоял на столе Михалевича. Аркадий взял трубку. Звонила Лера. Подарок она уже купила, с Аркадия двадцать рублей, пусть он за ней заедет. Он ничего не понимал. «У Тони день рождения, ты, конечно, забыл?» «Я помню»,— соврал он и положил трубку. «День рождения?»— догадался Михалевич. Аркадий кивнул и вдруг признался: «Не работается мне». «Но в срок-то уложишься?»— «Не в этом дело. Никчемная вещь получается».— «А тебе надо, чтобы сразу докторская? Торопишься ты, брат. Молод ты для докторской». «Ты домой не идешь?»— спросил Аркадий. Михалевич не ответил. Вытащил из кармана сверток, развернул его. «Смотри, галстук мне подарили. Иностранный. Боюсь я его надеть: не слишком ли яркий?»— «Да уж ярче не бывает».— «Значит, не советуешь?»— «Ни в коем случае! Ты что, жизнь свою погубить хочешь?» Михалевич обиделся: «Да ну тебя, я серьезно...» «И я. Во-первых, ты всегда будешь чувствовать на себе этот галстук и думать про него. Во-вторых, женщины, конечно, будут пялить глаза, а ты решишь, что они не на галстук, а на тебя. Вещи— коварная вещь, особенно такие, как огненный галстук! Через месяц ты бросишь семью, через полгода...» «У меня сегодня тоже день рождения»,— сказал Михалевич. «Ну? Поздравляю, что ж ты молчал? Сколько тебе?»— «Пятьдесят». Аркадий осекся. «Во-от как... Я не знал... Мы не знали, Игорь...»

Михалевич, хромя (в сорок четвертом ранило в ногу), прошел от окна к столу, открыл дверцу. Он долго рылся в ящиках, спрятав за дверцей голову, и Аркадий понял, что он не хочет показываться, пока не справится с лицевыми мускулами. Потом он выставил на стол бутылку коньяка, две рюмки, тарелочки с нарезанным лимоном и бутербродами (Аркадий узнал посуду из институтского буфета). «Ждал, что придут поздравить. Ты садись». Аркадий представил, как он нес все сюда, тайком резал лимон, придумывал остроумные ответы на поздравления, ждал с самого утра, смотрел на часы и ждал. «Я сейчас, на минуту, погоди...»— «Куда ты?»— остановил Михалевич.— «Все уже уехали».— «Черт, как же мы...» Михалевич вытащил из ящика третью рюмку, в столе звякнуло: конечно, были еще. «Знаешь что, Демину из восьмой палаты позови. Рыжая такая, в очках, с печенью».— «Знаю я Демину. А галстук возьми. Бери, бери, я его все равно не надену».

Этот час прошел невесело. «Я же не ждал поздравления через газету,— говорил Михалевич.— Хотя пятьдесят лет и могли бы...»— «Черт нас возьми, ну, забыли...»— «Не забыли, Аркадий. Я кое-кому неделю назад намекнул».— «Не расстраивайтесь, Игорь Васильевич,— нерешительно сказала Демина.— Эти юбилеи так неприятны, сухая официальность...»— «Так разве я не заслужил официальнойности? Воевал, двадцать шесть лет работаю».



Он был так жалок, Михалевич, и так симпатичен в скромности своих желаний...

(Аркадий вспомнил, как он разволновался, как захотелось бороться за справедливость. Отчего он принял так близко к сердцу страдания Михалевича? Отчего они в ту минуту были ему понятней, чем страдания Почечуевой?)

«Вот она, та наживка, которую я сглотнул. Тщеславие».

Он стал вспоминать, как следил за успехами людей моложе себя, как радовался, узнав чье-нибудь лестное о себе мнение, как старался всегда понравиться. Вспоминал свои отношения с женщинами, свою заботу о внешности, бесконечные попытки сказать что-нибудь остроумное даже наедине с собаками.

«Тщеславие, почему его надо стыдиться? Самое полезное чувство — искать одобрения общества. Нелепо этого стыдиться. Мы не можем жить иначе. Сколько бы нам ни доставалось в жизни любви, нам никогда не будет ее хватать. Потому что человек рождается в любви, окутан ею, дышит ею, весь мир для него вначале — родительская любовь. Без нее он погибнет, но она никогда уже не будет для него равной целому миру. Она может только убывать. А мы всегда стремимся сохранить ее, данную нам в младенчестве, как необходимое условие... Конечно, не одно и то же — подвижничество и тщеславие обывателя. И само слово выразительное: тщеславие. Может быть, не так уж я и тщеславен; но дьявол тут ничего не лишился...»)

Демина успокаивала Михалевича. У себя в палате она все время работает. Она математик, им для работы нужен только карандаш да листок бумаги.

(«Она застенчива. У нее впалая грудь — наверно, всегда была болезненна. Когда мир вышел для нее за пределы родительской любви, у нее были причины сомневаться в себе, в своем праве на любовь. Она нашла призвание. Призванию приносилось в жертву то, что для других составляет высшую ценность жизни. Всякая жертва, которую мы приносим на алтарь, привязывает нас к нему все сильнее и сильнее, и в конце концов остается принести последнюю жертву — себя».)

«Я вас давно заметила,— сказала она Аркадию.— Вы уходите поздно, позднее всех». — «Я должен был закончить работу». — «Брагин, если вам нужны добровольцы для экспериментов, я бы... Я с удовольствием...» — «Моя работа в онкологии — маленькая, локальная тема. Это даже не терапия». «Я слышала, появилось какое-то новое лечение?» — спросила она. Он знает эти вопросы. «Да, да, много нового,— поторопился он сказать.— Часто помогает». — «Идите же домой,— сказала Демина.— Нехорошо оставлять жену одну». — «Я не женат». — «Это очень плохо. Вы обязательно женитесь». — «Говорят, и женатые люди не всегда счастливы». — «В счастье я не разбираюсь. Но запасных выходов должно быть несколько. На случай пожара.— Ей нужен был собеседник, у нее много накопилось.— Вы такой же, как я, Аркадий. Вы ничего не умеете, кроме работы. Вы не можете представить себя в ином состоянии. Но это... из-за петелек. Жизнь — как узор на ковре. И есть два способа исполнения. Есть люди, которые ткнут от петельки к петельке. Сегодняшняя, случайно затянувшаяся петелька рождает в них желания и действия, которые соткут завтрашнюю петельку, а завтрашняя обусловит послезавтрашнюю. Узор зависит от всяких случайностей и получается запутанным и пыльным. А мы с вами сначала создаем себе идеальный узор в голове, а потом начинаем набивать его на канве. Мы стараемся исключить из жизни случайности, и узор получается прямой, как стрела. Все поле ковра остается чистым. Иногда мы способны восхититься или огорчиться

чем-нибудь посторонним, но это жалкие крохи. И мы беззащитны. Неудача в работе для нас катастрофа, потому что запасных выходов нет. Ведь наш узор ткался из наших жил, адская боль — вытягивать их из узора, чтобы начать новый. То ли дело пышный, запутанный узор: не получается вправо — он пойдет влево, нельзя влево — пойдет назад. Подумайте об этом, Аркадий. Инерция петелек называется привычкой. Попробуйте сдвинуть их, потом они начнут вязаться сами. Вот я прожила жизнь, не узнав ее. Я струсилась, у меня не хватило мужества жить для себя. Конечно, работа, как панцирь, страхует нас не только от жизни, но и от многих страданий. Это удел трусов — жить в панцире. Жизнь стоит страданий, по-моему».

А потом автобус добирался до городских улиц, задерживался у светофоров. Был первый весенний вечер в городе, тихий и теплый. Солнечные лучи нагрели стекло, к нему приятно было прикоснуться лбом. За окном чистенького беленького домика дремал между цветочными горшками рыжий кот. Жмурился на солнце, дышал боками. На стуле у крыльца застыла старушка в валенках, длинном пальто и теплом платке. Перебежали улицу три девушки, шесть белых сапожек и открытых коленок прочертили в воздухе веселый узор, и его унес куда-то поток машин. Фазаньими крыльями, петушиными хвостами прыскали из-под колес тугие водяные веера. Чем ближе к центру, тем гуще становилась веселая суета вокруг.

Приятно было медленно идти в толпе, слушать городской гул, как шум перламутровой раковины, жмурить глаза в весенней слабости. Каждую весну становится как будто тяжелее жить, словно глаза делаются слабее, воздух гуще, а весна уже пульсирует в твоей крови, и телу, ослабленному зимним смирением, трудно выдержать ее напор.

(«Не болезнь ли это — самокопание в поисках микроскопической мошки, занозы? Самоотравление мышлением? Философская интоксикация? Старухе Почечуевой не нужно мое сочувствие, ей нужна моя работа, и эту работу я делаю как могу. Я ничего не должен ни ей и никому другому. Янечка права. Надо учиться жить просто, по-человечески... А вдруг эта микроскопическая мошка — самое мое важное, самое мое человеческое, для самообмана прикрытое высокими материями?.. Я как будто пытаюсь убедить себя, что я не червяк. Нет, надо учиться жить просто...»)

### Глава третья

#### АНТОНИНА БРАГИНА

##### 1

Утром она оставила Степану завтрак, такой же аккуратный, как всегда. Утром труднее. Утром обидно за себя. Утром не скажешь, что Лера ошиблась.

Бывало, приятели-мужчины пошучивали при Тоне о своих грешках, она посмеивалась вместе с ними не потому, что смешно было, а просто тема такая, не всерьез же о ней говорить. И нужно было Лере все принять всерьез! И вообще какое ей дело до Тониной жизни? Не знала бы Тоня ничего...

Первой, кого Тоня увидела в гардеробе, была Гринчук. Поверх ее черных с проседью гладких волос, закрывая правое ухо, протянулась марлевая повязка.

— Ты зачем приплелась? — сказала Тоня. — У тебя же приступ! Гринчук втискивала в комбинезон свое объемистое тело.

— А-а, приступ. Моему деду аппендицит вырезали, так он наутро

уже плугом пахал. Шов разошелся, кишки вывалились, а он их назад в живот запихал и опять пашет. Пока не свалился.

— Смотри, чтоб у тебя кишки не вывалились, мне потом отвечать,— сказала Тоня, для удовольствия Гринчук преувеличивая грозящую той опасность.

Мимо них из душевой прошла Федотова, обмотанная полотенцем. Она увернулась от дружеского шлепка Гринчук и перед шкафчиком стала растирать полотенцем сухое тело — согревалась. Кожа не покраснела даже — как будто устала за двое бессонных суток кровь.

— Можешь сегодня взять отгул,— сказала ей Тоня.— Отдохнешь.

Вчера она пообещала Важнику послать людей на земледелку, но не пошлет, подождет до завтра. Может, за сегодняшний день он и не хватится.

Федотова не ответила.

— Так берешь отгул? — спросила Тоня. Она уже переделась и теперь стояла в чулках на газете.

Федотова опять не ответила.

— Ты что? — удивилась Тоня.— Возьмешь отгул, а завтра выйдешь в первую смену на земледелку, за пульт. Меня Важник просил двоих дать.

— Як на земледелку, дык Федотова, а як горилку пить...

Вот оно что! Обижена, что ее на день рождения не пригласили. Тоня покраснела. Она просто не подумала о Федотовой.

— Так что ж ты не пришла? Чудачка...

Поди знай, кому что надо.

— Я и не приглашала никого,— продолжала оправдываться Тоня.— А земледелка тебе ж лучше: сиди и кнопки нажимай. Я думала, ты обрадуешься...

— Страх як радуюсь,— буркнула Федотова.— Пошукай кого по-дурней.

Так она и не согласилась на земледелку. Знала, что Тоня из дружбы предлагает, знала, что там ей лучше будет (действительно сиди и кнопки нажимай — все автоматизировано), и не согласилась. Отстояла право на обиду.

— Не гоношись,— сказала Гринчук.— Нервы стреплешь, замуж никто не возьмет.

— Як у тебя мужик, дык лучше никого не надо.

— Чем же мой тебе плох? — Гринчук удивилась. Она забыла, что бинт на ее голове виден всем. Сама-то она его не видела.

Перед своим шкафчиком неслышно появилась Жанна. С утра она, как Гринчук говорит, квелая. Едва ходит, еле слышно бормочет. Пока не разоидется. А после вчерашнего совсем раскисла. Поздоровалась — только губами шевельнула. Шарф сняла — будто тяжелый хомут.

— Ты что, нездорова? — спросила Тоня.

Жанна слабо шевельнула губами. И она на Тоню сердится. Утром она всегда сердита на всех.

Не было девяти, когда Тоню разыскал Валя Тесов.

— Здравствуй, счастливый человек,— улыбнулась она.

— Угадай, Антонина, зачем я к тебе пришел?

— Опять селитру сватать?

— А что, пишем рацию?

— У меня еще голова на плечах есть.

— Зря, пожалеешь. А пришел я к тебе по категорическому приказу моего любимого начальника. Согласовать место, куда поставить ультразвуковую установку.

— Озвучивать щелок? Ты ж говорил, это ничего не даст?

— Корзун начальник, ему виднее.

— Так мне он не начальник,— к удовольствию Вали, сказала Тоня.— Я этим заниматься не буду. Пусть Важнику жалуются.

Важник не любит, когда подчиненные жалуются друг на друга. Мол, сами должны все улаживать. Так что Корзун еще прибежит к Тоне.

Однако раньше него на участке появился Важник. Остановился посреди пролета — руки в карманах халата, пальцы что-то ощупывают там, перебирают,— посмотрел в одну сторону, в другую. Подлетела Жанна. Он показал ей глазами на беспорядочную кучу сушильных плит. Жанна сразу послала туннельщиц, чтобы сложили их аккуратно. А он с обычной своей медлительностью пошел к бегунам, остановился, наблюдая за работой. Пальцы в карманах продолжали чем-то бренчать.

— Антонина,— позвал он.— Что это такое — ультразвуком озвучивать щелок?

Тоня объясняла как могла то, что Валя ей когда-то рассказывал

— Ну и как ты смотришь на это?

— Темное дело. Валя Тесов уверен, что ничего не выйдет.

— Тесов еще не Академия наук.

— Корзун тем более не академия. И мой участок не академия чтобы эксперименты производить.

— А где их производить? Каждый за новую технику, но только не на своем участке. Лишь бы забот поменьше.

— Так с Тесовым поговори. У него расчеты, а я науку давно позабыть успела.

Важник вытащил руку из кармана, и Тоня увидела связку ключей.

— С Тесовым я говорил.

— Сколько стоит установка? — спросила Тоня.

— Предварительная смета — две тысячи. Считаю, значит, все четыре.

— Лучше бы транспортер для плит сделали. Мои бабы их на горбу таскают.

— Вот что, Антонина,— сказал Важник.— Ты Корзуну не мешай. Ясно? Делай, что он скажет. Не торопись, но делай.

— Мне-то что. Деньги не из моего кармана.

Сказала, чтобы задеть: мол, и не из твоего, ты и не беспокоись.

— Отдала двоих на земледелку? — Важник переменял тему.

— Завтра будут. Не могла же я сразу после третьей смены людей посылать.

Он не стал ругаться. Даже усмехнулся. На один день Тоня его обманула, но он заранее знал, что она обманет. Только сказал:

— Смотри.

Похоже, Важник готов выложить четыре тысячи за ката в мешке. Бойтся главного металлурга?

Хорошо, когда есть указание начальника. Ультразвук так ультразвук, Тоне больше об этом думать не надо. День и без того полон беготни, хлопот и вопросов, которые, кроме нее, никто не решит. Людей не хватает, муфта пошла с браком, на «ноль-пятнадцатую» крышку перепутали стержни. И некогда вспомнить что-то очень важное и неприятное, память старательно обходит это неприятное. Но вот и домой пора, домой как будто не хочется, и тогда вспоминается: Степан.

Ничего в жизни не изменилось. Ничего не убавилось и не прибавилось. Ничего не произошло. А надо что-то делать. Почему надо? Как будто кто-то требует у Тони: «Ты должна действовать». Кто требует — неизвестно. Что требует — непонятно... Может быть, ничего не нужно, пусть будет что будет?..

Оля держалась за мамину руку, стараясь залезать в лужи. Тоня

устала ее одергивать и пошла по теневой стороне, где еще лежал серый лед и луж не было.

— А меня сегодня наказали,— рассказывала Оля.— Отвели обещать в другую группу.

— За что же тебя наказали?

Хоть посмотреть на эту женщину. Зайти в булочную. Посмотреть. Там видно будет.

— Я плохо ела. Ну и что? Я как раз хотела побыть в той группе... Они там мой компот выпили.

— Как — выпили?

В конце концов, просто она купит хлеб сегодня не в гастрономе, а в булочной. Разве так не может быть? Какая разница?

— Сказали, что лишний, и выпили.

— Они не знали, что он твой, и думали, что лишний?

— Нет, они знали.

— Зачем же выпили?

Вот будет весело, если она там Степана застанет.

— Они меня выручали.

— Почему же выручали?

— Откуда я знаю? Что ты все почему да почему?.. Дежурные сегодня плохие были.

— Какие дежурные?

— Ну, дежурные, что ты, мама, не понимаешь!

— А что они делают, дежурные?

— Со стола посуду убирают, что.

— И почему же они плохие?

— Не выручили меня.

— Как не выручили?

— А дежурные с кем дружат, у того еду забирают, а с кем не дружат, у того не забирают.

— Да зачем же забирают?

— Так выручают же!

— И ты, когда дежурная, забираешь?

— Я у Светы забираю, у Мосиных, у Катьки Юркиной...

Господи, такие малыши! Тоня почти с уважением посмотрела на свою пятилетнюю дочь. Молодец, Оля. Кажется, мы учились этому позже.

— Оля, надо хлеба купить.

Она? За прилавком в белом халате рослая девка — белотелая, гладкая, с роскошным шиньоном. На неподвижном, свежем, грубо раскрашенном лице недовольство. Очевидно, она приучила себя к этому выражению, путая его с выражением достоинства. Почему бы и не она?

Тоня уложила в сумку хлеб, поймала у своего бедра беспокойную Олину руку и потащила дочь к выходу. И тут сбоку, над стеклянным прилавком кондитерского отдела, над вазочками конфет вдруг увидела она испуганно следящие за нею глаза. Привороженная этими глазами, Тоня замерла у самой двери, будто с поличным попалась, пока кто-то торопливый не толкнул ее плечом и они с Олей не оказались на улице.

Черт понес ее в булочную. Конечно, эта девчонка знает ее. Доверчивое детское личико, полуоткрытые губки. В белоснежном халатике полцентнера женской преданности и беззащитности. Уж лучше бы та, другая, молочно-восковой спелости...

Степан отдыхал на тахте. С газетой. Накрыла ему на кухне. Подала первое, второе... Это ежедневно повторяется много лет, и, оказывается, в это время они не смотрят друг на друга. Лоб его, увеличенный залысынами, склоняется к тарелке. О чем он думает?

— С завтрашнего дня покупай, пожалуйста, хлеб,— неожиданно для себя сказала Тоня.— Все равно в булочной бываете.

Он не поднял глаз. Как будто не слышал. Он всегда выбирает самый трусливый способ действий.

После обеда вернулся на свою тахту. Оля играла с куклами. Тоня убирала со стола. Вдруг она услышала, как хлопнула дверь. Выглянула — ушел. Даже так. Небось успел убедить себя, что несправедливо обижен. Ушел, а она сиди дома. Ужин готовь, укладывай Олю спать.

— Оля, хочешь, пойдем гулять?

— Куда, мама?

— Да просто гулять. К бабушке можем зайти.

Перед дверью бабушки Оля спряталась за мамину спину. Сейчас бабушка откроет, и Тоня скажет с ужасом: «А Олю волки съели». Бабушка начнет стонать и искать ружье, чтобы убить волков и освободить внученьку, а Оля выскочит с радостным визгом. Это ритуал, отступлений от него Оля не терпит.

Дверь открыла бабушка.

— А нашу Олю волки съели,— сказала Тоня.

— Какой ужас! — закричала бабушка.— Леша, где твое ружье! Нашу Оленьку волки съели!

У Оли не было больше сил притворяться, она выскочила:

— А вот и я!

— Родная ты моя внученька!

Для Оли естественно: ее существование — источник радости для всех. Настолько естественно, что она не ставит это себе в заслугу. Она несет в грязных своих ботинках через просторную прихожую, через комнату на диван к бабушке.

Тоня поцеловалась со свекровью. За раскрытой дверью увидела в кухне незнакомую женщину в домашнем халате. Женщина торопливо поднялась, вытирая красные от слез глаза.

— Ох, надоела я вам, соседка,— сказала она.— Пойду уж...

— Сидите, сидите! Тонюшка, ты извини нас...

Значит, Степана здесь нет. Только теперь Тоня поняла: была еще у нее эта надежда.

Бабушка раздевал Олю, а она вырывалась, тянулась к уголку со своими игрушками.

— Как чувствуете себя, лапа? — крикнула Тоня (свекор был глуховат).

— Поздравляю тебя, Тонечка. Вчера-то мы сплеховали. Мать, где наш подарок? Мотор мой барахлит.— Старик показал на сердце.

Красивый он был старик. От него Брагины все пошли — красивые. Оля подлетела, навалилась ему на живот:

— Бабушка, а покатать? Ты обещал меня покатать!

— Оленька, у бабушки сердце болит,— сказала Тоня.

— Ну, раз обещал...— Поднимаясь, старик закричал.

Тоня попыталась ему помешать. Больной, мнительный старик, который лишний шаг боялся сделать, крутил на вытянутых руках девочку.

Умница ты моя, Олька. Пусть воздастся тебе за деда.

Семь лет назад, дослужившись до полковника, он вышел в запас и никак не мог приспособиться к жизни пенсионера. Другие как-то устраиваются: у кого специальность есть и он работает, у кого дети нуждаются в помощи, кто садоводством увлечется, кто — коллекционированием, а он ничего для себя не нашел. Он пытался вмешиваться в домашние дела, в хозяйство, в жизнь своих детей и стал невыносим. Жена жаловалась на его вздорный характер и плохое настроение, они ссорились. «Что же мне, петь? — говорил он.— Я в этой комнате как

в клетке. Есть же птицы, которые не могут петь в клетке». Так он, всю жизнь служивший, говорил о появившейся свободе. Жена не понимала его или не хотела понимать: «Если тебе здесь не нравится, давай переедем. Хоть в другой город, хоть в деревню. Куда ты хочешь?» Но куда можно уехать от свободы? За год он заметно постарел. Началась гипертония, стало сдавать сердце. Он никогда раньше не болел, поэтому упал духом, охал, кряхтел, стал думать о смерти. Может быть, врачи помогли ему не столько лекарствами, сколько требованиями: в такое-то время гулять, так-то спать, того-то не делать, то-то обязательно делать... Это были приказы, и приказы организовали его жизнь, сделали ее похожей на прежнюю. Он купил шагомер, ходил с ним по улицам, он знал теперь длину всех улиц поселка и рассчитывал свои маршруты. В кармане он всегда держал распорядок дня, где с точностью до четверти часа было расписано, когда есть, когда и как принимать многочисленные лекарства, когда гулять и смотреть телевизор...

Но давно уже Тоня не видела, как он, надев очки, присаживается с этим листком к столу и вносит в него исправления либо переписывает его заново ради вновь назначенного лекарства. Наверно, и листка этого уже нет. Теперь есть Оля. Вначале ему было тяжело с ней. Он, совсем больной, боялся за себя. Жена уже не могла следить за ним по-прежнему. Оля многого требовала. Отец и мать работали, у бабушки сил было мало, и дед стал необходим...

Умница ты моя, Оля, приказывающая инстанция...

— Ну, хватит, хватит.

Тоня, смеясь, поймала дочь в воздухе, оторвала от деда и бросилась с ней на диван. Оля вырывалась, и обе они хохотали, а дед, побледнев, ходил по комнате, успокаивая сердце.

Соседка все еще прощалась:

— Ох, вы уж извините...

— Что вы, что вы... Заходите...

— Господи, сколько горя на свете.— Свекровь появилась в комнате. Взгляд и голос ее вопреки смыслу слов выдавали приподнятость духа. Свекровь любит жалеть и сочувствовать. Как Федотова. Разговор, в котором она утешительница, для нее всегда радость.— Соседка из девятой квартиры приходила, жена водопроводчика... Как у него получка, она одевает детей и уводит гулять, пока он не заснет... Иногда до полуночи по улицам ходят...

Тоня слушала невнимательно. Она не любит рассказы о чужих несчастьях. В рассказах мир всегда, кажется ей, выглядит более несправедливым, чем увиденный собственными глазами.

Оля первая услышала, что пришли Аркадий и Лера. Она помчалась к ним за своей данью — знаками любви. Аркадия, правда, она стеснялась. Он и сам всегда стеснялся детей, потому что побаивался их и не умел находить с ними нужный тон. Прижавшись к тете Лере, Оля ерзала, не глядя ему в глаза. Он пощекотал ее шейку, и она глупо захихикала.

Бабушка кормила Олю перед телевизором, а детям своим накрыла на кухне. Тоня сидела с ними.

— Где Степа? — спросил Аркадий.

— Не знаю.— Тоня беззаботно пожала плечами, не желая замечать взгляда Леры.— А вы где были?

— Аркадий меня в кино водил, бедняга.

— Тоня, какую мы страсть сегодня видели!

— Аркадий,— сказала Лера.— Тебе не кажется, что над этим слишком легко смеяться?

— Сестренка,— посоветовал Аркадий,— ты всегда смейся, когда это легко.

— Да жалко время тратить. Хочется иногда и поплакать. Правда, Тоня?

— Не знаю,— сказала Тоня.— Как-то все некогда.

Сегодня она не могла относиться к Лере как всегда, Лера это поняла и виновато на нее посмотрела. Аркадий тоже что-то понял и сказал:

— Слезы теперь подорожали.

— Бог с ними, со слезами,— сказала Тоня.— Что это вы за разговор затеяли? Мне уже идти надо, Ольке спать пора.

— Балует папа Ольку,— сказала Лера.

— Ну и что? — Тоне все время хотелось противоречить.— Меня тоже баловали — и ничего.

— Я люблю разбалованных людей,— сказала Лера.— Но только разбалованных в детстве, не позднее. Правда, смотрю я у нас в саду на детей, и кажется — все разбалованные, как они жить будут?

— Чего ты боишься? — сказал Аркадий.— Это только со страха так кажется. Ты у нас герой, тебе ли бояться?

— Ну да, герой. Чуть что не по мне, сразу тебе звоню — и в кино... Сегодня меня один родитель довел. У нас фортепьяно настраивали, я от нечего делать пошла в старшую группу, рисовала им акварельки. А он за сыном пришел. Немолодой уже, габардиновое синее пальто, серый каракулевый воротник... Воспитательница ему говорит: «Ваш мальчик игрушку сломал, там гвоздями надо сбить, у нас молоток есть, вы сделали бы». А он ей: «У вас же плотник есть». Она говорит: «Плотник всегда занят, у нас всегда отцы игрушки чинят, если могут». А он уже вообще понес чепуху. Сад, говорит, государственный, и ребенок мой государственный... Наверно, двадцать минут сын одевался, и двадцать минут он спорил. А там и работы-то для мужчины — два раза молотком стукнуть. Понимаете, у него тоже есть принцип. Ему нетрудно починить, но ему важна справедливость. И мне отчего-то так страшно стало, я бросилась звонить Аркадию — и в кино.

Аркадий и Тоня рассмеялись.

— Ты не думай, Тоня, ему ведь тоже фильм понравился. Он только делает вид, что не верит...

— В страсть?

— Ну, Аркадий...

— Страсть — это тот же голод. Восхвалять его могут только объевшиеся. Лечение голоданием.

— Твоя беда, Аркадий, что ты считаешь себя обязанным быть счастливым.

Вошла мать и сразу стала рассказывать про соседку. Аркадий пытался перебить ее. Зачем рассказывать такие вещи при Лере? Она пугается, и потом целый вечер нужно потратить, чтобы ее развеселить.

— Я бы на ее месте давно его бросила,— сказала мать,— чем так-то мучиться. Да и деньги он никогда домой не приносит, наоборот, еще с нее тянет.

Тоня пошла одевать дочь.

## 2

Зимой Тоня договорилась с одним маляром, чтобы сделал в апреле ремонт. Маляр явился в срок, а она раздумала: на две недели станет дом нежилым, Степан совсем в нем бывать не захочет. С ремонтом надо потерпеть.

Степан любит Олю. Если Оля не удержит его дома, ничего не по-



может. Тоня взяла на воскресенье билеты в кукольный театр и попросила Степана:

— Сходи ты с Ольгой, у меня стирки полно.

Отец и дочь вернулись из театра довольные. Степан пообещал Оле каких-то чертиков смастерить, весь вечер они вдвоем рисовали и клеили.

Может, все обойдется. Надо только выдержку иметь. Никаких разговоров и упреков. Она вообще ничего не знает.

Она старалась оставлять мужа и дочь вдвоем, но не слишком долго, а то ему надоест. Оля, умница, как будто понимала, что от нее требуется: вдруг попросила купить шашки. Оказывается, у них в саду два вундеркинда без конца играют. Глядя на них, и Оля ходам научилась. Тоня на следующий день принесла шашки и доску, Степан три дня подряд никуда не выходил и играл с девочкой. Задумал ее и в шахматы учить. Тоне стало казаться, что она снова любит его.

В чем он виноват? Мужчина интересный, конечно, девушки липнут. Кому это не понравится? Та, продавщица, скромненькая, наседистая, конечно, у них ничего серьезного нет. Просто ему приятно, что свеженькая девушка влюбилась, а серьезного ничего нет.

Мужу должно быть хорошо дома. Его должно тянуть домой.

Тоня купила себе халатик, такой дорогой, раньше ни за что не решилась бы. Красивый и очень ей подходит. Яркий, пушистый — японский. Когда его бросишь на спинку кресла, в комнате веселей. И еще купила ночную сорочку. Немецкую, затейливую, с цветочками и рюшечками. Дороже приличного платья эта сорочка, уже в самой дороговизне было что-то смущающее.

За собой тоже надо следить. Отмыться под душем от литейной копоти — это для женщины мало. Хорошо, с волосами ей повезло, на них время тратить не надо. А вот руки совсем никуда не годятся. Тоня стала бывать у маникюрши.

Как-то вечером возилась она на кухне: у женщин в бухгалтерии списала рецепт какого-то пирожного, теперь раскатывала тесто — в переднике поверх японского халатика, надушенная... Степан забрел, разыскивая газету, и наконец заметил:

— Что-то ты в последнее время все прихорашиваешься? Хотел бы я знать, для кого ты стараешься?

Говорил шутливо, но смотрел внимательно. Неужели ревнует? Это даже удачно получилось. То ли она читала, то ли по телевизору видела, как женщина удержала мужа, заставив его ревновать. Но ревности его хватило лишь на этот вопрос. Неужели ревновать нельзя? Она перебирала в памяти всех знакомых мужчин. Действительно, ревновать не к кому.

Еще не так давно ей приятно было услышать вопрос: «Кто вы?» Приятно было лукаво сказать: «Угадajte». «У вас такие тонкие пальцы, сильные, гибкие пальцы музыканта, в вашей речи, в ваших движениях живет скрытый ритм музыки... Я угадал?» — «Нет...» И вдруг тот болван в поезде: «Эта девушка — инженер, цеховой инженер, технолог или мастер, я прав? Я сам тридцать лет на производстве». Как скромно он прятал самодовольство — прав! Он ждал награды за свою принципиальность — изумления, восхищения... Аур-рак!

После ужина Степан тщательно оделся и собрался уходить. И тут — как она потом проклинала себя за эту глупость! — Тоня взбунтовалась. Остановила его у двери:

— Ты далеко, Степан?

— Да нет, — смутился он. — Скоро буду.

— Куда ты?

Он привык, что она не спрашивает, и не приготовил ответа, начал мямлить, неудачно соврал, она тут же поймала на лжи. Начался мучительный для обоих скандал с криками и оскорблениями... Оля впервые увидела своих родителей такими. Девочка, всегда надоедливая и капризная, сейчас повела себя как большая: незаметно юркнула из кухни в комнату, затаилась там среди игрушек, как будто играла и ничего не слышала. Затем стала тихонько хныкать, а уж потом заревела, бросилась к матери и прижалась к ней.

— Можешь уходить! — кричала Тоня. — У меня не гостиница!

Степан отодвинул ее от двери и вышел.

Нет, она правильно поступила. Она не тряпка, не позволит себя топтать. Хватит играть в поддавки. Двенадцать, половина первого... Тоня разделась, легла в постель. Она ненавидела его. Неужели не придет? Баба есть баба, всегда напортит себе языком. Зачем она сорвалась? Она заставила его лгать, заставила быть мелким, противным, она сама толкнула его к той девчонке, и теперь для того, чтобы оправдать себя и успокоить свое самолюбие, он должен будет выдумать романтическую любовь, даже если ее нет. Она его знает, Степана.

Среди ночи зацарапался в двери ключ. Пришел. Тоня притворилась спящей.

Совершенная в запальчивости ошибка обладает силой инерции. Она тащит человека к следующей ошибке. Тоня решила повидаться с этой продавщицей. Вечером она молча поставила перед мужем обед и ушла. Пусть как хочет занимается с Олей.

За прилавком кондитерского отдела стояла незнакомая женщина. Тоня с трудом объяснила, кто ей нужен: маленькая такая, симпатичная, тоненькая, волосы каштановые, вот так сзади сложены...

Та почему-то жила в заводском общежитии. Вот уж действительно если не повезет... В общежитии — половина ее стерженщиц. Да еще дверь в комнату оказалась заперта. Никого нет. Тоне и вернуться ни с чем домой было страшно, и ждать здесь, под дверь, невозможно. Ей нужно было все знать, как нужно человеку дотрагиваться до раны, которая болит при прикосновении.

И вдруг из туалета вышла Федотова, ведя под руку толстушку Клаву из стальной, бледную, прижимающую ко рту платок.

— Антонина! — Федотова обрадовалась. — Ты чего тут?

Федотова была нарядная, даже красивая. Оказывается, в этот вечер приехал из деревни ее жених. Он собирался перебраться в город, и Федотова пригласила знакомых — поговорить что и как. Жених был маленький, жилистый, с темными кудрями. Как это бывает с невысокими и худыми людьми, он выглядел совсем мальчишкой. Сидел на стуле далеко от стола, локтями упирался в колени, а подбородком — в ладони и с радостным лицом слушал обрубщика Костю Климовича.

Коренастый тяжеловес Костя, сложив на груди короткие руки и поджав под себя короткие ноги, все сползал со стула и все пытался на нем утвердиться. Говорил он с барственным доброжелательством (приглашен совета ради!), а сострив, поглядывал на Жанну.

— Отчего, можно и к нам. Поговорю с ребятами, раз твоя землячка тебя так... как это будет скажут по-русски... рекомендует.

Жених смеялся, скрывая смущение, но простакон тоже не хотел показаться.

— А что у вас дают?

— Двесспядьдесят. — Костя с удовлетворением поджал губы.

— У-у! — изумился жених.

— Няма дурных в обрубку, — сказала Федотова категорически.

Костя не обиделся, не стал отстаивать честь профессии. Он спросил по-деловому:

— А куда тебя душа тянет, Виктор... как по батюшке?..

— Да чего там...

— Михалыч,— сказала Федотова.

— Как Полесова? — заметила Жанна.

— Якога Полесова?

— Слесарь-интеллигент,— напомнил Костя.— Кустарь без могора.

И покосился на Жанну.

Виктор понял, что Костя шутил, осторожно засмеялся и также осторожно (а вдруг его высмеивают?) сказал:

— Я бы по дереву пошел. Немного столярничаю.

— Можно. В модельный цех. Учеником — семьдесят рублей.

— А долго — учеником?

— От тебя будет зависеть. Чертежики научиться читать, в литейной технологии разобраться — полгода ухлопаешь. Так, Антонина?

— Обязательно на завод? — спросила Тоня.

— Так он же без прописки.

— К жене всегда пропишут,— сказала Тоня.

Федотова зарделась, а ненаблюдательный Костя сказал:

— Виктор Михайлович холостяк-с. Хотя все в наших силах. Можно найти ему с жилплощадью «к поцелуям зовущую, всю такую воздушную». — И опять поглядел на Жанну.

Она сидела на подоконнике безучастная к разговору и смотрела на улицу.

Виктор и Федотова смущенно улыбнулись друг другу, и Тоня позавидовала Федотовой. Вот ведь он любит ее. И слушает, полагается на нее во всем. Наверно, у себя в деревне она совсем не такая, как в цехе.

— Что хлопцу семьдесят рублей? — грустно сказала Федотова.

— А чего? — возразил Виктор.

— Тутока тебе не деревня, парася в хате держать не будешь.

— Так это ж пока я учеником буду! Полгода!

— А полгода як? — Федотова посмотрела на свой живот.

Почему-то их спор посторонним слушать было неловко.

— Не выдумляй,— горячо говорила Федотова,— ни в якую обрубку ты не пойдешь.

Вот тебе и Федотова.

Клава, которая до сих пор полулежала на кровати с платком у рта, вдруг вскочила и пробежала мимо Тони в коридор.

— Не пей восьмой стакан,— сказал Костя.

— Вось девка,— пояснила Федотова Тоне.— Жанна от батьки посылку получила, так та два кило фисташек съела. На дармовщину. А уже три года в городе, на заводе.

— Как это будет скажите по-русски... гегемон,— сказал Костя.

Тоня усмехнулась. Чувство юмора прорывалось у него вопреки потугам на остроумие и нелепым шуточкам. В цехе Костя был знаменит эпиграммами. Тоня подозревала, что он грешит и лирикой. Точно это могла знать только Жанна Куманина. Костя давал ей свою тетрадку. Худобу, одинокость и высшее образование Жанны он считал несомненными признаками интеллигентности. Недаром он все посматривал на нее.

Тоня попрощалась. Хорошо, что Федотова встретилась. Чуть было глупость не сделала. Тоне всегда везет. На людях стыдны мысли и намерения, которые появляются в одиночестве. На людях все проще. Так оно проще и есть.

Степан ушел в пятницу.

Казалось, Тоня к этому приготовилась. Казалось, успела себя убедить, что, быть может, все к лучшему. Но вот закрылась за ним дверь, и пришлось убеждать себя заново — что и лучше, что все к лучшему. И как-то не чувствовалось, не понималось, что это навсегда.

Она затеяла уборку. Оля ей помогала. Никогда еще Тоня не любила дочь так, как в этот вечер. С замиранием сердца следила, как девочка старательно сопит, водит неумело тряпкой по столу, оставляя серебристые полумесяцы пыли на полированной плоскости. Любовь всегда переживалась Тоней как благодарность. Тоня всегда была в долгу перед дочерью за огромный детский труд — расти и взрослеть. И Оля счень бы удивилась, если бы, научившись чему-нибудь, не увидела маминой благодарности.

Вечер выдался для Оли счастливым. Мама не гнала спать, вместе работали, нашли на антресолях позабытые старые игрушки. Потом сидели, обнявшись, в кресле, смотрели по телевизору взрослый фильм, и, хоть ничего в фильме, по мнению Оли, не было страшного, мама всплакнула. Потом мама почитала про ежика-почтальона, и под чтение Оля заснула в своей кровати.

Зачем им Степан? Им никто не нужен. Тоня закончила уборку и легла спать. Раньше у нее было так: в институте плохо — ей и дома все постылым становится и на вечеринку не хочется идти, дома плохо — занятия невыносимы. С возрастом появился какой-то механизм, какой-то рычажок внутри, который направляет ее интерес туда, где доступна радость. При неудачах в цехе милее становится для нее дом, а при домашних неурядицах — цех. Ушел Степан, повернулся рычажок — и все тепло, припасенное для Степана, передается теперь Оленьке. Но все-таки заедает иногда рычажок. Особенно по утрам. Надо проснуться, и думаешь: зачем? И не хочется просыпаться. Чего ему не хватало? Ну, сорвалась, накричала лишнего, бывает же... Почему ничто не дается ей даром?

Тоня вспоминает свою унижительную попытку помириться и тихоно мычит от стыда. Надо было спокойно поговорить, а ей вдруг вздумалось напустить на себя игривость, как будто все так, пустяки, как будто ей просто смешон Степан, этот ребенок, который не ведает, что творит, который, недогляди за ним, обязательно нашалит, да, да, он нашалил, и он смешон, да и она хороша — принимать за трагедию чепуху... И главное, эта нелепая ее игривость помогла бы и Степан — он все молчал, не шел навстречу, ведь и вправду уверил себя, что обижен, — Степан остался бы, если б у нее хватило духу перенести унижение до конца, молить его, всплакнуть, быть женщиной. На это не хватило мужества, и она проиграла. Надо встать, заняться чем-нибудь.

А встанешь, разойдешься — и ничего.

Опять Оле выгода. Весь день были вместе. В кафе-мороженое ходили — для Оли впервые. В гости было нельзя — пришлось бы говорить о Степане. Они гуляли по улицам, покупали то сладости, то игрушки. Оля к вечеру даже разошлась от слишком большого счастья, не могла уgomониться — хохотала, кричала, прыгала по всей квартире, а за ужином тарелку разбила. И сказала, как бабушка:

— К счастью.

Тоня устала. Она сидела против дочери, около плиты и бездумно глядела перед собой. Прошло много времени, пока почувствовала: что-то мешает, раздражает глаз. Наконец сообразила: трещина на штукатурке. «Буду делать ремонт», — решила она.

## Глава четвертая

## СТЕПАН БРАГИН

Он любит яркие лаковые коробочки иностранных сигарет и покупает их, хоть сам почти не курит. У него много миниатюрных зажигалок. Он любит вещи. И в своих чертежах он видит, кроме технического их смысла, гармонию, ускользающую от других. На его листах не встретишь пустующие белые места или, наоборот, излишнюю густоту. Его чертежи красивы. Небрежно заточенный карандаш раздражает его. Он любит свои карандаши и циркули. Он не скуп и никогда не был стеснен в деньгах, но два сработанных до размеров спички карандаша соединяет встык бумажной муфточкой на клею, чтобы продлить им жизнь.

Так же, как свои чертежи, Степан любит шахматы, он — вторая доска отдела. Сегодня их отдел играл с автоматчиками, ему достался кандидат в мастера, молодой парень, еще года нет, как из института. Парень играл авантюрно, на третьем десятке ходов сделал грубую ошибку, а потом едва свел партию на ничью. Было положение на доске, когда Степан мог выиграть, но он сыграл неправильно, и теперь ему казалось, что этот ход — досадная и единственная его ошибка в партии, а так он сильнее соперника. Досада ускоряла его неторопливый шаг.

Продавщица «Культоваров» еще издали заулыбалась ему и вытасила из-под прилавка заранее упакованную в оберточную бумагу — от любопытных глаз — пачку бромпортрета номер три. Болтовня с ней в благодарность за услугу вернула Степану хорошее настроение.

Однако надо было торопиться. По привычке он свернул с Советской на Кировскую и через несколько шагов сообразил, что идет к старому своему дому. «У тебя удивительно устойчивы условнорефлекторные связи,— сказал ему как-то брат.— Будь ты животным, карьера в цирке тебе была бы обеспечена». Теперь он жил в двух кварталах от Кировской. Комнату, конечно, нашла Мила, сама и договорилась с хозяевами. И устроила она все хорошо, только телевизора не было. Квартира старая, просторная, в кирпичном доме с высокими потолками, прихожая большая, с выступами и нишами в стене, многочисленные углы загромождены всяким хламом — тумбочками, вывороненными из коммат, санками, старыми фанерными ящичками. На вбитых в неровную зеленую стену гвоздях — верхняя одежда хозяев, внизу в беспорядке — грязная обувь.

В кухне стряпали и болтали женщины, хозяйка жарила что-то на старом сале, запах пропитал прихожую. Заревел малыш, Мила его успокаивала, сюсюкая. Мила любит детей. Про ребенка она пока молчит, они со Степаном еще не расписаны. И про развод с Тоней она молчит. Один раз заговорила. Степан согласился, что надо поторопиться.

— Алексеич! — позвал из комнаты хозяин.— Начинается!

В приятном волнении Степан сбросил на тахту серый твидовый костюм, натянул шерстяной тренировочный и побежал на кухню. Мила уже разогревала обед, но он сказал: «Некогда, что ты», схватил ломоть хлеба и, жуя на ходу, постучал в комнату хозяев. Мила догнала на пороге, сунула кусок колбасы.

Счет еще не был открыт. Степан и хозяин — Костик — болели за одну команду, и когда та забила гол, кричали так, что хозяйка на кухне сказала снисходительно:

— Оглашенные. Глотка есть — ума не надо.

Игра была интересной, кончилась победой, и болельщики поднялись с дивана бодрые, как после хорошей утренней гимнастики. Они курили в прихожей и обсуждали игру. Костик предложил сходить к

пивной бочке на углу их квартала. Степан отказался, и Костик ушел один.

Прежде Степан не любил смотреть футбол по телевизору. Только на стадионе он в полную силу чувствовал волнение, свою связь с тысячами людей, болельщиков одной команды, ощущал себя частью огромного целого, живущего едиными с ним надеждами и огорчениями. Тогда, как и теперь, он не понимал, что именно этим успокаивающим ощущением привлекает его стадион, а неудовлетворение телевизором объяснял тем, что на экране не видит сразу все поле. Позднее, как и другие болельщики, он привык к телевизору. Оказалось, что чувство единства с многотысячной толпой можно испытывать каждому порознь у себя дома и так же, как на стадионе, заразиться общим азартом.

Пока он разговаривал с Костиком, Мила в их комнате придвинула стол к тахте и накрыла его. Степан уже привык к ее неразговорчивости, впрочем, неразговорчивость эта не была обременительной, казалось, Миле совсем не нужны слова. Ритм ее медлительных движений, спокойный пристальный взгляд, когда она слушала, застенчивая улыбка были наполнены для Степана смыслом, порою непостижимым. В то же время, оставаясь на кухне вдвоем с хозяйкой, она говорила охотно, говорила много и быстро, и это было так же естественно и шло ей, как молчаливость при мужчинах. Сейчас она радовалась хорошему настроению Степана. Она была очень чутка к его настроению, изменение его угадывала раньше, чем сам Степан, и, если он бывал угрюм, чувствовала что-то вроде вины.

Приподнятость духа после футбола не оставляла Степана. Он набросился на еду и, добавляя в тарелку из кастрюли тушенную с картошкой говядину, сказал:

— Милка, ты гений.

Милка суеверно боялась незаслуженных похвал и возразила:

— Чего там...

Она ела очень мало. Положила себе две ложки, причем постаралась, чтобы не было мяса, а одна картошка.

— Фигуру испортить боишься? — пошутил Степан.

Милка неловко рассмеялась и покраснела.

— Я, пока стоговила, попробовалась, — объяснила она.

Потом она убирала со стола, а Степан откинулся на тахте, прижался затылком к обоям и вспомнил:

— Я получку принес. Возьми в пиджаке в кармане.

Мила промолчала, с горкой посуды ушла на кухню. Лазить в чужие карманы она не приучена. Степан отодвинул стол к середине комнаты, выложил на него деньги из пиджака. Потом сам разложил постель, разделся и лег. Ожидая Милу, развернул газету. Сначала прочитал на последней странице о спорте, от конца добрался до первой страницы. Он чувствовал себя молодым, сильным и не похожим на других.

Он сказал Костику: «Я на все пошел». Это было 1 Мая, они с Милой отмечали праздник вместе с хозяевами. Женщины остались смотреть праздничный «Голубой огонек», а они с Костиком вышли на кухню размяться после тяжелой еды, покурить и поговорить. Степан тогда расчувствовался, обнимая, довел Костика до кухни, поглаживал по спине. Костик предложил «Приму», Степан щелкнул зажигалкой, затянулись, и захотелось все рассказать.

— Мать с отцом перестали меня признавать, — сказал Степан. — Дочка у меня. Думаешь, я про нее не вспоминаю? Но у нас с Милкой любовь. Надо же и для себя пожить, верно? Смотри, вот уже лысина намечается. Я квартиру кооперативную оставил, все оставил. С одни:

чемоданчиком ушел. Все это добро, всякие удобства — все это мещанство, Костик. Засасывает это человека. Я для жены был вещью, просто вещью. Без души. И она для меня. Никаких общих интересов. Милка ведь не такая уж красавица, верно?.. Верно?

Костик не пошевелился, не понял, что ждут его ответа. Он сидел на табуретке, из уважения к серьезности разговора опустил голову на грудь и печально стряхивал пепел между колен на пол. Степан добился, чтобы он сказал: «Верно».

— ...не такая уж красавица, но у нее есть душа. Мы ж друг друга без слов понимаем, потому что любим. А всякие там вещи, гарнитуры — это все мещанство...

— Ты простой парень, — ответил Костик, — простой, весь как есть. Я уважаю простых. Вначале я подумал, знаешь... ты только не обижайся... думаю, стилига такой, знаешь... Все на вы, всякие там... Ты не обижайся.

— Да чего там обижаться, ты говори.

— А ты совсем простой. Я, между прочим, такое не каждому скажу. И бабу мою на мякине, ее, знаешь, не проведешь, так она тоже говорит: ты человек. Ты не обижайся. А Людмила твоя, она, между нами, девка отличная, но ей палец в рот не клади. Она постоит за себя. Я таких девок знаю. Она в тебя вцепится, не отпустит, свое возьмет. Заметь, как на кухне, это я не в обиду, к слову, заметь, она сразу — столик наш в сторону, свой поставила, эта конфорка твоя, эта моя... Молодец. Она за тебя десять шкур своих отдаст, но ты всю жизнь... ты только, Алексеич, не обижайся... ты всю жизнь будешь под ней. Я ведь что думаю, то и говорю...

Нет, никто не поймет Степана.

Милка вернулась из кухни с посудным полотенцем на плече, заметила деньги на столе, пересчитала их и часть положила в плоскую коробку из-под шоколадного набора — на жизнь, а часть — в жестяную банку от леденцов — на телевизор. Обе коробки засунула на полку шкафа под белье. Она уже истратила на мебель все свои сбережения, а когда Степан предложил достать деньги на телевизор в долг, отказалась с необычной твердостью. В долг да в кредит она не берет.

— Милка-копилка, — пошутил, складывая газету, Степан.

Ему показалось, что она обиделась, и он поспешил ее развеять:

— Как, Людмила Ивановна, хотите реванш?

В прошлый раз она проиграла. Они играли в дурака. Если Мила проигрывала, Степан целовал ее правую руку, если выигрывала — левую. Мила волновалась, хотела выиграть.

Степан лежал под одеялом, Мила сидела на краешке тахты и раздавала карты. Она трижды подряд проиграла и, отдавая Степану правую руку в третий раз, почти легла на постель. Потом она высвободилась, быстро собрала колоду и в чулках пошла гасить свет. Степан подумал, что надо было бы принести провод и приспособить так, чтобы свет выключать, не вставая с постели. Он любил придумывать такие усовершенствования и дома понаделал их немало и всегда аккуратно и красиво, потому что назначение вещи все-таки имело для него меньший смысл, чем сама вещь, сделанная аккуратно и красиво. Степан видел в темноте силуэт Милы и опять сознавал себя молодым, и не было чувства, вдруг нахлынувшего в середине жизни и замутившего чистую его душу, — чувства невозвратно исчезающего времени и упущенных возможностей, чувства, которое приговорило беззаботного Степана к необычным для него поступкам, показавшимся одним блажь, другим — уязвленным самолюбием, а третьим и ему самому — любовью.

## Глава пятая

## АНТОНИНА БРАГИНА

## 1

Была середина мая. Зелень на деревьях быстро густела, теряла солнечно-желтый глянец и насыщалась серебристыми и темными тонами. Листья на липах вокруг цеха зеленели раньше, чем на уличных,— они как будто спешили совершить свой круг, пока в середине лета не начнут желтеть под слоем литейной пыли. Тоня глядела на них с неотвязной своей мыслью о ремонте. Впервые в жизни она начала замечать оттенки зеленого цвета, удивлялась их бесконечному разнообразию в траве и деревьях и искала свой оттенок для кухни, прикидывая, сколько крона лимонного нужно смешать с окисью хрома.

Степан вспоминался без острой боли, заслонялся усталостью и заботами о красках, шпаклевке, о тысяче мелочей. Тоня угадала себя. С ядом горя она справляется без участия сознания, только нужно отвлечь его на время, пока совершается эта подспудная работа.

Квартира пропахла сыростью, пустые полы покрылись белыми следами. Накрытая тряпками мебель громоздилась посреди комнат. Тоня спала теперь вместе с Олей среди узлов и вороха одежды в маленькой комнате дочери.

Малырь и его помощник побелили потолки, развели всюду грязь и исчезли, оставив инструмент. Два дня Тоня их прождала. Потом решила работать сама. Приготовила клеевую краску, присоединила к пылесосу пульверизатор и выкрасила стены. Покрыла белой эмалью оконные рамы. Теперь все ее разговоры в цехе и со знакомыми были о том, где достать то белую эмаль, то пигмент, то плиточный клей. Каждый вечер она надевала джинсы, старую рубаху Степана, повязывала голову платком и принималась за работу. Такой и увидела ее свекровь.

— Тонюшка, да что ж это такое? Почему сама?

— Запил, видно, мой мастер, мама.

— Батюшки, что ж нам не позвонишь? А я все вас не застаю.

В субботу никого нет, в воскресенье нет, вчера не было...

— Вчера мы по магазинам ходили. Краску искали.

Оля — тоже в косынке и во всем плохоньком — приволокла из кухни тряпку. Теперь, после ухода Степана, бабушка особенно заискивала перед ней:

— Оленька, голубушка, а что я тебе принесла!

Пока Оля осваивала подарки, бабушка торопливо закрывала окна.

— Это немислимо! Простудится ребенок как пить дать. Оленька, где твой лобик?.. Ей-богу, Тоня, она горячая! Где градусник?

— Где его сейчас найдешь, мама.

Тоня не сказала, что Оля уже третий день кашляет и чихает по утрам.

— Это немислимо — держать ребенка в таких условиях. Как ты хочешь, а я забираю ее к нам. Пока здесь такой ералаш. Я тебе говорю, она горяченькая.

— Ничего, перед сном я ей ножки в горчице попарю.

Так Тоня и не отдала дочку.

Бабушка и дедушка сразу приняли сторону невестки против сына. Степану было запрещено показываться на глаза отцу. Но Тоню это не умиляло: старикам нужен был только один человек на свете — Оленька. И Тоня всегда была с ними настороже.

Ночью Оля кашляла и металась в постели. Утром совсем была больна, а остаться с ней дома Тоня никак не могла, обязательно нужно было быть в цехе. Пришлось все-таки отвести ее в сад.



Весь день Тоня казнилась виной, отпросилась у Важника на час раньше, но когда прибежала в сад, узнала, что Олю забрала к себе бабушка.

Оля лежала в дедушкиной постели, вокруг были новые игрушки, и она не тяготилась ни жаром, ни тяжелым своим дыханием. Ждали врача. Аркадий отыскал стетоскоп, попытался выслушать племянницу, но только развел руками:

— Ничего не пойму. Все позабыл. По-моему, пневмония.

Старики не смотрели на Тоню. Этого они простить ей не могли.

С тех пор Тоня с завода бежала к дочери, поздно ночью возвращалась в свою нежилую квартиру, натываясь на ведра и жестяные банки, добредала до кровати и долго не могла заснуть. Она не замечала разрухи в своей квартире, времена уюта казались ей бесповоротно давними. Может быть, маляр и приходил в эти дни, но никого не застал дома.

Оля похудела, личико заострилось, временами она задышалась. Уколы измучили ее, и, услышав звонок медсестры, девочка начинала плакать. А потом врач признал бронхиальную астму и посоветовал, когда пройдет обострение, везти Олю в Крым.

Тоня приносила ранние ягоды и южные помидоры и каждый раз настороженно оценивала радость дочери. Как бы ни радовалась Оля маме, Тоне все казалось мало. Она ревновала. Она полночи переживала замечание свекрови, что помидоры иногда обостряют астму. Почему помидоры? Когда Оля заболела, она не ела помидоров, значит, не из-за них заболела. Свекровь, наверно, ненавидит ее! Как только Оля чуть-чуть поправится, Тоня заберет ее домой, будет сидеть дома по справке, деньги на жизнь возьмет в кассе взаимопомощи.

Днем она старалась судить стариков по справедливости, и они старались быть справедливыми с ней, но вражда росла. Ничего тут нельзя было поделать: Оля нужна была всем троем.

Наконец девочка начала поправляться, появился аппетит, прибавлялись силы, и она повеселела. «В пятницу заберу,— решила Тоня.— Они, конечно, не захотят, но все равно заберу. Они ей теперь чужие люди».

В этот день она волновалась перед разговором и потому не заметила волнения, смущенных улыбок и преувеличенного оживления стариков. Свекровь прикатила из кухни столик на колесиках и начала сервировать стол для чая. Она не глядела на Тоню, когда заговорила:

— Тонюшка, представь, какая удача, у Алексея Павловича оказался старый друг в Крыму.

Алексей Павлович помогал жене разливать чай. Красивый он был старик, высокий, со спины совсем молодой, в шерстяной кофте алюминиевого цвета. Такого же цвета густые волосы были аккуратно выбриты на красной крепкой шее.

— Точно,— сказал он.— Киреев в Мисхоре живет. Помнишь, ко мне приезжал?

— Не помню,— насторожилась Тоня.

— Обещает с первого числа нам приличную дачку снять.

— Зачем же,— сказала Тоня, холодея.— У меня в августе отпуск, мы с Олей поедem. Правда, Оленька, ты с мамой поедешь?

Оля ползала в пижамке по кроватке, озабоченная своей игрой, и высказалась веско:

— Дедушка, я с мамой поеду.

— Мама к тебе приедет в отпуск! — крикнула, волнуясь, бабушка.

— До октября девочку подержим, вернется здоровенькая.— Алексей Павлович старался не замечать молчаливого сопротивления То-

ни.— Я вот у Аркадия на полке книжку нашел. Бронхиальную астму у детей в Крыму лечат очень неплохо.

— Папа,— тихо сказала Тоня,— я вам Олю не дам.

— Мать! — закричала свекровь.— Ты угробишь ребенка! Мать!

Старик сел боком к столу, задвигал по скатерти масленкой.

— Неразумно,— сказал он.— Очень неразумно.

Они отберут у нее дочь. Через два месяца Оля отвыкнет от матери. Они и в октябре ее не привезут. Они придумают что-нибудь, в Болгарию на Золотые Пески увезут, куда угодно, на край света, лишь бы Оля забыла мать и осталась с ними. Нельзя ее отдавать сейчас. Но что делать? Оле нужен этот проклятый Крым!

— А за свой счет ты пару месяцев не можешь на заводе взять? — спросил Алексей Павлович.— Поехали бы вместе.

— Не отпустят меня с работы.

— Врач справку даст. Я через твоего директора добьюсь — отпустят.

— А на что я жить буду?

— Как-нибудь свою невестку я прокормлю.

— Вы и так в долгах. Нам квартиру построили, Лере...

— Долгов у нас нет,— сказала свекровь.— Все выплатили.

Она повеселела: обсуждались мелочи — значит, Тоня побеждена.

— Нет, это невозможно,— сказала Тоня.

— Оля, чай пить! Тоня, садись к столу.

Старики мудро откладывали решение вопроса.

— Нет, мы пойдем. Я на выходные Оленьку к себе заберу.

— Как? — заволновалась свекровь.— Ты шутишь?

— Нет, почему.

— Она просто неспособна думать о ребенке! Леша, покажи ей это место!

Алексей Павлович принес из комнаты сына толстую книгу, нервничая, бегал по комнате, искал пропавшие очки.

— Никогда ты их на место не положишь!

Старики начали ссориться, забегали вместе, мешая друг другу. Им почему-то казалось очень важным, чтобы Тоня сама прочла, а не на слово им поверила.

— Штукагурка как раз и бывает причиной астмы! Нам и врач подтвердил! Очень может быть, все и началось из-за твоего ремонта! Сейчас мы тебе покажем...

— Ладно,— сказала Тоня.— Не ищите.

— Нет, мы найдем... Чего ты боишься? — Свекровь перестала сдерживаться.— Что мы, съедим твою Оленьку?

Оля захохотала.

— Оставайся у нас ночевать,— предложил Алексей Павлович.— Зачем тебе домой идти?

Оля помчалась к ней из спальни:

— Мама, оставайся!

— Оля! Босиком! — Свекровь перехватила девочку, потащила было назад в кровать, но потом что-то сообразила и отнесла на колени Тоне. Из эта предупредительность, словно она капризная больная, сразу убедила Тоню в их правоте. Она оставила им Олю.

Однако Тоня не сдавалась. Ходила в цехком, завком, в поликлинику и, когда увидела, что добилась своего, устыдилась, как будто готовила старикам удар в спину. Поэтому она честно рассказала им во вторник:

— Кажется, я достану на июль путевку для Оли. В специальный санаторий. В Крыму.

Шел дождь, и в комнате было темно. Брагины жили в старом доме

с просторными и высокими комнатами. Стена с окном — четырехгранной призмой, — как кормовая каюта фрегата, выдавалась в сад. Как зеленые морские волны, шумели за окном деревья.

Свекровь поднялась с кресла и молча вышла на кухню. Алексей Павлович сказал хрипло:

— Что ж, хорошо... Мы там будем рядом... — И вдруг он приблизился со стулом к Тоне, наклонился к ней: — Зачем ты отбираешь у нас Оленьку? Тебе нас не нужно бояться. Ты мать. Ты всю жизнь будешь с ней. А для нас жизнь кончается. Я ведь не успел побыть отцом, Тоня. Я воевал, когда мои росли. Сейчас им отец не нужен. Что мне в жизни остается, кроме Оли? Мемуары писать?.. Не отбирай ее у нас... Пойди скажи что-нибудь матери. Она там плачет, наверно.

Тоня не отвечала, она смотрела в запотевшее окно, как ветер машет пушистыми ветками. Потом пошла на кухню. Свекровь сразу задвигала ящичком серванта, как будто искала в нем что-то.

— Не обижайтесь, мама, — сказала Тоня. — Как вы захотите, так и будет.

Спустя неделю она провожала их. Поезд уходил в двадцать три сорок пять, и Оля сладко зевала на руках у матери. Алексей Павлович распорядился носильщиками, проводницей и попутчиками, и Тоня, как всегда в таких случаях, удивлялась, как послушно выполняют его указания незнакомые люди, как при всех обстоятельствах окружающие признают за ним право командовать. Свекровь отдавала последние указы Аркадию и Лере. Тоня не спускала Олю с рук, старалась отойти с ней подальше от своих, чтобы последние минуты не делить ее ни с кем. Оля вертела головой по сторонам и вдруг прочитала буквы вдоль вагона:

— «С и м ф е р о п о л ь».

Тоня умилилась до слез, стала целовать дочь:

— Ты умеешь читать? Кто тебя научил?

— Я сама. — Она увидела приближающихся Аркадия и Леру и вынуждена была признаться: — И дядя Аркадий помогал.

За время своей болезни она подружилась с Аркадием.

— Оля, а буква «а» какого цвета? — строго спросил он.

— Белая.

— А «в»?

— Белая. То есть серая.

— А «п»?

— Конечно, голубая.

Аркадий сверил с записной книжкой:

— Правильно.

— Что это значит? — спросила Лера.

— Не знаю, — пожал он плечами. — Может быть, ничего. Я заметил, у нее каждая буква имеет свой цвет.

— Зачем это тебе? Ты же не психолог.

— На всякий случай.

Алексей Павлович, не задерживаясь взглядом на лицах, перецеловал всех. Прощаясь с Аркадием, взял из Тониных рук Олю и полез в вагон. Он был увлечен делом — организацией отъезда, и он привык не думать о человеческих чувствах при выполнении дела. А Тоне показалось, что у нее забрали дочь навсегда.

Дома Тоня стала не спеша собирать и складывать разбросанные в спешке вещи. Через окно слышны были женские голоса внизу:

— Что я, сидеть около тебя должна, да?

— Можно и посидеть, когда мать больна!

— А то я не сижу...

— Совести у тебя нет в первом часу домой являться!..

Год назад Оля откусила кончик градусника и проглотила ртуть. Тоня всполошилась, и, глядя на мать, Оля тоже перепугалась. Лежала ничком на тахте, била себя пальчиками по губам и причитала: «Глупые мои губки, зачем вы послушались мою головку? Глупые мои зубки... Мама, мне так обидно умирать...»

## 2

Цех высотой с пятиэтажный дом далеко тянулся вдоль заводского забора. Пять минут нужно, чтобы пройти его из конца в конец.

Двенадцать лет она работает в цехе — с первых его дней. Она знает каждый его закоулок, каждый водосток на крыше и весь лабиринт туннелей под землей. Но ночью, когда пусты заводские аллеи, когда стоишь около цеха и кругом не видно ни души, и ты одна перед серой громадой, а она рокошет, лязгает, гудит, и не слышны людские голоса, становится жутко. Необходимо хотя одна человеческая фигура, чтобы исчез этот детский страх.

А на участок приходишь как в свой дом. Стучат «интернационалы», шипят и плюются пескодувки, ползут гусеницы конвейеров. Есть особое спокойствие в работе третьей смены, когда люди молчаливы и скупы на движения. При свете неоновых ламп зелеными кажутся лица рабочих и литейный песок.

Тоня сразу наткнулась на гору бракованных стержней у дробилки. Сквозь сплетение рольгангов пробралась к линии блока. Старик Саковец, мастер смены, расставив острые локти и изогнув плоскую спину, мерил шаблоном стержни.

— Плынут,— сказал он Тоне.

— Отчего?

— Шут их знает.

Он всю жизнь провел на плавке, теперь, как пенсионер, работал на более легкой участке и в стержнях разбирался слабо.

Тоня проверила анализы в лаборатории, полезла на бегуны. Кончилась третья смена, на час цех затих, и начала собираться первая.

Пришла Гринчук, спросила Тоню:

— Эмаль достала?

— Какую эмаль?

Тоня забыла про ремонт.

— Белила.

— А... Нет.

— Может, мне сегодня достанут... Смотри, опять щелок, как сметана в буфете, разбавленный.

Щелок? Тоня побежала за ареометром, сунула в ведро — так и есть, вот отчего стержни плывут — щелок плохой. Гринчук это и без ареометра видит, глаз у нее привычный.

За бегунами с установкой для ультразвука возился Валя Тесов.

— Ну, что скажешь? — спросила Тоня. — Щелок опять завезли плохой. Стержни плывут. Хоть бы твой ультразвук помог.

— Я ж говорил, что ультразвук ничего не даст.

— Очень ты у нас умный, Валя, да толку что?

Валя обиделся. Отвернувшись, полез руками в электрошкаф — мол, я делом занят, не мешай.

— Шараш-монтаж,— сказала Тоня. — Грохнуть бы на вас докладную.

— Давно пора. Чем языком трепать.

Валя не подозревает, что его бесполезный ультразвук сослужит Тоне хорошую службу. Ведь на освоение новой техники отпущены средства, и Тоня этим пользуется, списывает на освоение любой свой

брак. И сегодняшний брак можно списать. А щелок плохой — невелика беда, надо давать его в смесь побольше, а с перерасходом ей не впервой выкручиваться... Но Тоне это надоело. Она сказала:

— Давай пробовать твою селитру.

Валя вытаращил глаза. Что это с Брагиной? Спокойная жизнь наделала? А она и сама не могла бы объяснить, что с ней.

— Да кто ж тебе позволит? — сказал Валя. — Сейчас, когда ультразвук осваивают?

— Но будет прок от селитры?

— Верное дело, Антонина! Ты ж меня знаешь.

Она усмехнулась:

— Ультразвук тоже ты выдумал.

— Вспомнила. Когда это было!

— Ладно, Тесов, пиши рецептуру с селитрой, я дам команду. Мне твой Корзун не указ.

— Осмелела ты, Антонина. Партизанить?

А сам уже писал на листке из блокнота.

— Ты не бойся, — сказала она. — Мне отвечать.

— Плевал я на них.

Валя для убедительности расписался под рецептурой и сверху поставил число.

Тоня опять усмехнулась:

— Герой. Корзуну ничего не говорить, ясно? Будем работать, никто и не узнает. Умный не спросит, глупый не разберется.

— Припишут ультразвуку. Мол, из-за него качество.

— Мне все равно, чему припишут. Лишь бы участок не стоял.

И надо же было, чтобы Корзун появился у бегунов как раз в ту минуту, когда тащили по лестнице на площадку мешок селитры. Он остановился — видно, заинтересовался. Тоня наблюдала за ним через окошко конторки. Он поднялся к бегунам, прочитал над пультом рецептуру Тесова. Оглянулся, не видит ли его кто-нибудь из инженеров, и ушел. Значит, решил пока выждать и помалкивать. Все правильно.

Стержни из смеси с селитрой шли отличные. Тесов рискнул еще уменьшить количество щелока -- и опять получилось. Он хотел еще уменьшить, но тут уж Тоня не позволила. Они ушли из цеха поздним вечером. Как ни торопился Валя домой, он остался ждать, пока Тоня мылась в душевой. Он просто не мог с ней расстаться.

А Тоня еле ноги волочила. Пришла домой, с тоской поглядела на ведра и кисти и повалилась в чем была на кровать. Едва задремала — звонок. Пришел маляр. Веселый, наверно выпивший.

— Хозяйка, где ж ты гуляешь, дорогая? Я к тебе сегодня в третий раз захожу. — Ни тени смущения. — Завтра чтоб дома была, я приду. Надо ремонт кончить, а гулянки потом.

— Забирайте свои кисти, — сказала Тоня.

Он прошел в комнаты, включил всюду свет, заметил Тонину работу и начал ее критиковать:

— Без понятия делалось, хозяйка. Мне теперь все переделывать.

— Ничего, меня и так устраивает. Забирайте кисти, мне спать надо.

— Здорово живешь, хозяйка. Мы с тобой еще за работу, кажется, не посчитались.

— Не за что считаться.

Он продолжал улыбаться, скользнул взглядом, неожиданно трезвым, по лицу Тони и, очевидно, понял, что ничего у нее не добьется.

— Ну хоть на бутылку.

Тоня промолчала. Тогда он стал угрюмо собирать кисти.

— Кисть надо в воде держать, хозяйка. Сохлась кисть. Попорти-

ла кисти, они по четыре рубля штука, кисти. За кисти ты уж мне заплати, если ты человек.

— Оставьте испорченные мне,— холодно сказала Тоня.— Я заплачу.

Он подумал и одну оставил. Взял у Тони деньги, сказал на прощание:

— Жадная ты баба, хозяйка. Нерусская, что ли?

После его ухода Тоня немного повеселела. Решила поужинать. Нашла в холодильнике колбасу, а хлеба не было. Между мешочками и баночками с крупой разыскала пачку панировочных сухарей. Поставила чайник.

Опять позвонили, и ввалилась Гринчук, нагруженная двумя тяжелыми сетками, а за ней муж с такими же. В сетках постукивали яркие жестяные банки с эмалью. Тоня знала, как чувствительна Гринчук к изъявлениям благодарности, и поблагодарила как могла. Повела показывать квартиру. Рассказала про маляра — им понравилось.

Гринчук посмотрела кисть:

— Она и рубля не стоит.

Иван покачал головой:

— Три пятьдесят штука.

Гости от чая отказались, Тонину работу похвалили сдержанно. Прощаясь с ними, она спросила:

— Сколько я должна за краску?

— Много не возьмем,— сказала Гринчук.— Завтра жди, в шесть часов явимся. Мы тебе за два вечера квартиру как игрушку отделаем.

— Брось ты.— Тоня растерялась.— Зачем?.. Я сама.

— Видели мы, как ты сама.

На следующий день они появились на час позже, чем обещали, одетые для работы. За этот час Тоня успела приготовить угощение, чтобы не отвлекаться потом. Вчера Иван показался Тоне скованным, а сегодня держался по-свойски.

— Здорово, хозяйка. Настроение рабочее? — спросил он.

— А у вас?

— А у нас, ежели бутылка будет, всегда рабочее.

Гринчук искоса поглядела на Тоню: понимает ли, что муж шутит?

— А это мы посмотрим, какая работа будет,— сказала Тоня, сразу попадая в нужный тон.

Иван командовал. Жену поставил шпаклевать трещины на кухне, Тоню — готовить краску, а сам открыл банки с эмалью и стал поправлять покрашенные уже Тоней окна. Все трое были в разных комнатах и, напрягая голоса, перебрасывались шуточками, смеялись из-за каждого пустяка.

Гринчук кричала из кухни:

— Иван! Поглянь: как, сгодится?

— Хозяин, не густо будет? — спрашивала Тоня.

Иван смотрел:

— У-у-у, постаралась, хозяйка... Ты что, кашу варишь?

И хоть ничего смешного не было сказано, у обоих губы вздрагивали от смеха.

— Иван, ты скоро? — кричала Гринчук.

— Скоро только кошки родятся, да и то слепые!

— Фу, бесстыдник!..

Иван ушел помогать жене, слышно было, как она взвизгнула от чего-то, а он захохотал.

В десятом часу Тоня потребовала, чтобы кончали работать. Муж и жена увлеклись, не слушали и остановились, только когда она погасила свет.

— Ух, хозяйка,— сказал Иван.— Недоработать — что недоесть.

Пока гости умывались в ванной, Тоня собрала с кухонного стола строительный мусор, постелила газету и вытатила уже нарезанные огурцы, колбасу, хлеб, поставила салат, достала из холодильника водку. Увидела в стекле серванта свое отражение — вот уродина! В платке, скрывающем волосы, лицо мятое, скучное, на щеке пятно. Сдержала платок. В джинсах в ее возрасте и с ее полнотой ходить уже нельзя. Впрочем, по взглядам Ивана она заметила, что ему нравится.

После двух рюмок он окончательно освоился. Шуточки стали такими, что Тоне только и оставалось, что не слышать их. Жена его одергивала. Щадить Тонины уши, она по цеху знала, нет нужды, но не хотела, чтобы муж выглядел таким некультурным. Сама держалась за столом чинно, шуткам не смеялась, хлеб брала вилкой, а потом снимала с вилки рукой. Рюмку подняла двумя пальцами:

— Давай, Антонина, за твое счастье. Ты еще кого угодно можешь найти.

Тоню непрощеное сочувствие застало врасплох. Иван понял это и деликатно помог:

— Зачем искать? Правильно сделала, что прогнала, я бы давно от своей хозяйки куда подался, да детишек полон воз, с собой не потащишь.

— А так бы подался? — переспросила Гринчук.

— Вспомнил бы молодость.

— Ха! Когда она была-то, молодость твоя!

Иван уже размяк, настраивался на воспоминания:

— Микола-то сразу в город врос, в литейку, корни пустил, а меня в молодости по России помота-ало...

— Николай Александрович вам родной брат? — спросила Тоня.

— Да вроде одна кровь.

— Вроде?

— Спросить-то нам не у кого. Мы как мальцами попали в сорок первом к партизанам, так с тех пор о батьке своем и не слышали.

— По лицам так родные братья и есть,— сказала Тоня.— Даже близнецы. Как же фамилии у вас разные?

— У нас не разные. Почему разные?

— Важник он,— сказала жена.— Это я Гринчук. Что за фамилия — Важник? Смех.

— Не нравится.— Иван подмигнул Тоне.— А мы поищем кому нравится.

— Ну, уже готов,— недовольно сказала Гринчук.— Пошли, герой... Как там Верка справляется с малышами.

— Вот если б найти такую, как хозяйюшка...

Он опять подмигнул.

— Все мозги у него в одну сторону,— сказала Гринчук с досадой и тут же попыталась оправдать мужа перед Тоней:— Он только языком, Антонина, а так...

— Все мужики одинаковые,— сказала Тоня. Сказала как раз то, что нужно было, и неловкость исчезла.

— Пошли, балаболка...

Тоня спустилась с ними до крыльца и вспомнила:

— Я же вам за краску должна.

— Ладно,— сказала Гринчук.

— Как ладно?

— Ладно,— сказал Иван.— Она мне ничего не стоила.

— Как это может быть?

— А вот уметь надо. Я что захочу, то мне завтра принесут. Говори, хозяйка, что хочешь?

- Что же за должность у вас такая?
- Зам — моя должность.
- Ну так что?
- Уметь надо, — опять сказал он.
- Расхвастался, — тянула его жена. — Ну пока, Антонина.
- Спасибо вам!

Уже засыпая, Тоня попыталась представить себе Ивана надевающим на голову жены кастрюлю с картошкой и не смогла. Заснула. Ночью ей снился Степан, он сжимал горячим ободом ее голову, но ощущение от этого во сне почему-то было приятным.

На утренней оперативке Тоню насторожил Важник:

- Брагина, что у тебя со смесями?
- Все нормально, — сказала она. — А что?
- Тесов опять что-то выкинул?

Корзун поторопился ответить за нее:

- Тесов занимается ультразвуком. Говорит, смеси идут хорошие. Он хотел показать, что сам в это дело не вмешивается.

Важник больше о смесях не говорил, но Тоня забеспокоилась. Она разыскала Жанну на линии блока.

Жанна проверяла шаблоном стержни, а Костя Климович ей помогал. По крайней мере, так со стороны казалось.

— Начальник, отчего стержни плохо выбиваться стали? — спросил он. — Пожалей обрубщиков-то.

— Иди, иди, работай.

— Как это будет скажите по-русски... волюнтаризм, товарищ Брагина.

Все он знает. Может быть, и правда, что в обрубке от селитры стало тяжелей. Надо предупредить Тесова.

— Иди, иди, — сказала Тоня.

Костя одарил на прощание экспромтом:

Белокурая нимфа литейного цеха,  
Антонина, тебе я не буду помехой.

Посмотрел на Жанну и ушел.

- Ты кому про селитру рассказывала?
- А что, нельзя про нее рассказывать?
- Божий одуванчик ты, Жанна.

Жанна надулась.

— Откуда мне знать, что вы тут с Тесовым мудрите? Мне дела нет.

- Так кому ты рассказывала?
- Да никому не рассказывала!.. Вот ей-богу...

Конечно, это растрепался Валя. Он ходил именинником, каждому встречному все объяснял и подсчитывал экономию в масштабах Союза.

— С тобой связываться, — рассердилась Тоня, — самой в петлю лезть.

— Чего ты паникуешь? Все же получилось!

Поди объясни ему.

— Завтра начнем новую емкость, — сказала Тоня, — там щелок нормальный. Переходим на старую рецептуру. Без селитры. Порезвились — и хватит.

Все было сошло, если бы не Гринчук. После вчерашних двух рюмок у нее было сердце. В такие дни Гринчук становилась невыносимой. Отпрашиваться у Тони она не могла: получилось бы, будто после вчерашнего вечера она считает Тоню обязанной. К врачу обращаться тоже не хотела: врач накричал бы за водку. Упреки Гринчук не переносила.



И в ней начала бродить беспредметная злоба. А тут еще Жанна велела ей вместе с напарницей притащить мешок селитры. Права свои Гринчук знала. Селитра в нормативах не записана, таскать ее она не обязана. Кроме того, сколько она работает на бегунах, селитру в замес не давали. Это все блажь Тесова. Гринчук не стала спорить с Жанной, просто за мешком не пошла и крутила замесы без селитры.

После обеда стержни стали расплываться и разваливаться. Линия блока делала только брак. Начался скандал.

Тоня и Валя проверяли лабораторные анализы и материалы, но причину брака найти не могли.

Как раз накануне на завод приехал Рагозин. Главк искал резервы, чтобы увеличить план. Сборщикам не хватало моторов, моторщикам не хватало литья. Рагозин послал одного из своих инженеров в литейный цех, и тот увидел гору бракованных стержней блока. Главного металлурга и Важника по этому поводу вызвали к директору. Участком Тоня неожиданно заинтересовалась все.

Теперь появился Корзун, который до этого два дня обходил стержневой участок стороной. Тоня ждала, когда он заговорит, со страхом чувствуя, что взорвется от первого же его слова.

— Антонина, что вы тут с Тесовым намудрили? Какие-то эксперименты устраиваете?

— Какие?

— С селитрой.

— А ты не знал?

Она снизу вверх смотрела на неподвижное его лицо, всегда надутое, всегда сохраняющее выражение брезгливой отрешенности от собеседника, и сорвалась:

— Иди ты!..

И побежала от него, спасаясь от собственной злости.

Под площадкой бегунов стояли нетронутые мешки с селитрой, и Тоня наконец все сообразила. Она поднялась по лесенке к Гринчук:

— Ты что же селитру не давала?

— А мне никто ее не принес.

— Ты понимаешь, что наделала? Посмотри на блок!

— Ну да, я наделала. А как мы всегда без селитры крутили?

— Эх ты, Галина...

Нужно было срочно разыскать Тесова. Тоня нашла его в комнате техбюро. За столом Корзуна сидел главный металлург Шемчак. Он поставил локти на стол и смотрел на свои молитвенно сложенные ладони. Валя сидел напротив и, избегая высказывать свое мнение, отчитывался о работе с ультразвуком. Тоня не решилась перебить и, чтобы оправдать свое присутствие, подошла к телефону, вызвала лабораторию. Одним ухом она слушала про результаты анализов, другим — Валин рассказ. Валя заметил, что начинает по привычке залезать в теорию, и замолчал.

— Что с селитрой? — спросил Шемчак.

— Решил я попробовать одну штуку, Сергей Владимирович...

Неслышно вошел Корзун, присел сбоку.

Тоня закрыла рукой трубку и, словно бы не замечая напряжения мужчин, весело крикнула Вале:

— Ты знаешь, в чем дело? Гринчук, оказывается, сегодня селитру не давала. Совсем не давала! Ну а щелок-то был уменьшен...

От неожиданной радости Валя забыл про ультразвук:

— Так... Так, Сергей Владимирович! Я ж говорил, верное же дело!

— Потому и ультразвук туго внедряется, — сказал Шемчак Корзуну и почти с сочувствием посмотрел на Валу. — И рацпредложение по селитре написал?

— Почему же не написать...

И вдруг лицо Шемчака изменилось. Тоня почувствовала, что сейчас произойдет что-то нехорошее, быстро отвернулась и сказала в трубку:

— А? Повтори, пожалуйста.

И услышала, вздрогнув, как Шемчак ударил кулаком по столу:

— Безграмотность и самомнение! Корзун, чтобы завтра этого человека в цехе не было!

— ...двенадцать, одиннадцать, двенадцать,— повторяла Тоня в трубку, как будто она ничего не слышала, чтобы Вале не было стыдно перед ней.

Валя молчал. Шемчак успокоился и опять стал невозмутимо-вежливым:

— Антонина Михайловна, вам телефон еще надолго нужен?

— Что? — переспросила Тоня.— Да, мне надолго.— И сказала в трубку: — Повтори, пожалуйста, тут мешают.

— За что? — наконец сказал Валя.

Шемчак не ответил ему.

— В бухгалтерии телефон,— подсказал начальнику Корзун.

— Спасибо.— Шемчак вышел.

— Антонина, за что он меня? Я же с ультразвуком все выполнял, что мне говорили...

— Не надо было тебе пререкаться,— вздохнул Корзун.

Он еще изображает сочувствие. Тоня угрожающе посмотрела на него.

— Тебя Важник ищет,— несмело сказал он в ответ на ее взгляд.

— Но я же не пререкался! — удивился Валя.— Антонина, ты же слышала, я не пререкался. За что?

— Струсил? — спросила Тоня.

— Если справедливо бьют, то пускай, а тут... Я же все с ультразвуком им делал...

— Кому это им? — автоматическиотреагировал Корзун.— Не им, а цеху.

Тоня вспомнила, как выругала его сегодня, и подумала: «Это хорошо».

В кабинете начальника цеха было пусто, только Важник писал что-то за своим столом. Тоне понравилось, что он спокоен, даже весел. Она и сама приободрилась.

— От кого, от кого, но от тебя, Антонина, я не ожидал,— сказал Важник.

Тоня без приглашения села напротив.

— Селитра, между прочим, двадцать процентов щелока экономит, а может, и больше. Это не ультразвук.

— Ты одна о цехе заботишься.

— Похоже на то.

— А ты знаешь, что Рагозин здесь? Представь, он нами интересуется. Поди ему объясни, отчего мы блок не подали на сборку. Отчего сегодня полсмены сорвано.

— Оттого, что не давали селитру.

— Или оттого, что давали?

— Не давали. Взяли и не дали. Рабочего я еще накажу за это.

— А может, все-таки оттого, что давали? Я человек темный.

— Нет. Виноват земледел.

— Вот скажи это главку! Сегодня должен быть протокол о причинах срыва! Виновник должен быть! Кто виновник? Земледел?

— Шемчак. И Корзун.

— Иди, Антонина. Не хочу я сейчас с тобой ругаться.

Тоня молча пошла к двери.

— В шесть совещание по блоку,— сказал Важник.— Чтобы была. Шемчак организует тебе похороны.

— Я на твою помощь и не рассчитывала.

— Ты ничего не понимаешь! — крикнул он.— Ты или рабочий твой — это все равно я виноват, это же мне всыпят! Цех виноват! Шемчаку это и нужно — доказать, что цех виноват, а не он! Давали или не давали селитру... Кто сейчас тебя будет слушать с селитрой и ультразвуком? Выбрала момент! Надо же понимать, когда что говорить!

— Мне надоело все понимать,— тихо сказала Тоня.— Как будто я не знаю, зачем ты вызвал меня, на что надеялся. Так вот радуйся: брак оттого, что отдел снабжения завез негодный щелок, а другого не было. И селитра поэтому. Тебе это нужно?

— Это точно? Акт ты составила?

— Акт пусть составляет Корзун.

В коридоре она слышала, как Валя Тесов выяснял у кого-то:

— Нет, ты скажи, за что он меня?..

Гринчук уже ушла домой, обиженная на Тоню. В цехе было тихо, слесари ставили стержневые ящики для второй смены. В темной конторке четверо электриков играли в домино, изо всей силы лупили костяшками по фанерному столу.

— Засушил! Давай.

— Погоди...

— Ну, давай, давай, примак. Думает — будто корову проигрывает.

Тоня зажгла им свет и позвонила Корзуну:

— Зайди ко мне на участок.

— Ты, слышь, как начальник приказываешь,— отметил он.

— Не трепли без толку свое самолюбие, оно тебе пригодится, Корзун...— Ребята,— сказала она.— Забирайте свои кости, у меня совещание.

Они торопливо застучали костяшками.

— Беру конца. Ходи, примак.

— Сашок, дай ему. Скажи, примак тоже человек.

— Как же. Тещину кошку на вы называет.

— Рыба. Считай очи. Семнадцать. Козлы.

— Скажи ему, у нас равноправие. У нас что теща, что примак — все равны.

— Ну давайте, давайте, ребята,— вытолкнула их Тоня.

Пропустила Корзуна и закрыла дверь.

— Ну что, начальник? — усмехнулся он.

— Зарвался ты, Корзун. С ультразвуком ты промахнулся.

— Тебе ругаться хочется? Так мне некогда. Ругаться на колхозный рынок иди.

Тоня вытащила из стола пачку протоколов, бросила на стол:

— Здесь весь твой эксперимент. Так вот, три дня установка не работала, ее чинили, и в сменном журнале энергетика это записано. А анализы за эти дни ничем не отличаются от прочих, с ультразвуком. Это раз...

— Что ты мне суешь анализы? Расход щелока нам удалось уменьшить?

— Только на бумаге. Нормы расхода были завышены. Это я добились, мне это нужно было, а ты подписал. Учти, если сегодня на совещании ты хоть слово скажешь против селитры, тебе на заводе не работать. Ты меня знаешь. Надеяться на поддержку Шемчака не советую.

Она подумала, что надо бы говорить с ним мягче.

— Погоди, Антонина, что ты в бутылку лезешь? Я тебе говорил разве против селитры? Просто действовали вы с Тесовым неумно...

Он даже забыл обидеться, и Тоня пожалела его. Если разобраться, ему в цехе нелегко. Ему бы полегче работу. Однако она помнила: расслабляться с ним нельзя.

— Сядешь около меня на совещании,— сказала она,— и только пикни. Учти, с Брагиной ссориться не лучше, чем с Шемчаком.

Дверь открылась, заглянул Валя.

— Пора, Антонина.

Он шел рядом и рассказывал:

— Хорошо, что я удержался. Как он мне это сказал, я чуть было его не двинул... Сжимаю кулаки и думаю: за что?

— Если ты еще раз скажешь «за что»,— перебила Тоня,— я тебе сама объясню. По-своему.

— Не понял.

В кресле Важника сидел заместитель главного инженера Сысоев. «Директора не будет»,— с облегчением подумала Тоня. Важник и Шемчак устроились по обе руки Сысоева друг против друга. Сысоев, человек вообще веселый и компанейский, держался по-домашнему:

— Ну что, начнем? Не вовремя вы, ребята, дров наломали, как раз к приезду комиссии. Теперь надо Рагозину ваши головы принести. На блюдечке с голубой каемочкой. Ну, давайте. Сами будете признаваться или как?

— Сами не будем,— скромно поддержал шутку Шемчак.

— Я так понимаю: освоение новой техники, ультразвуковой установки, вызвало временное увеличение брака,— подсказал Сысоев.— Потом это с лихвой окупится, у вас, конечно, уже продуманы необходимые мероприятия...

По кабинету прошел легкий шум. Так бывает, когда вдруг спадает напряжение и люди одновременно принимают удобные позы, расслабляются, переводят дыхание, улыбаются. Хорошо иметь дело с понимающим человеком. Однако Шемчака это не устраивало.

— Позвольте мне,— сказал он.— Вы нам даете удобную лазейку: освоение новой техники. Но ультразвук уже освоен. Он дал значительную экономию и не вызвал никакого брака. Прятаться за него и покрывать им свои безобразия нам не с руки. Произошло же событие не совсем ординарное. Сегодня мне доложил об этом начальник части. Не знаю, поставлен ли в известность Николай Александрович, но без моего ведома начальник участка Брагина провела доморощенный эксперимент, который кончился весьма плачевно...

Сысоев, как и все, недолго любил и побаивался Шемчака, поэтому сначала он слушал с иронической улыбкой, но потом растерялся, словно не знал, каким выражением лица эту улыбку заменить.

— Что вы там натворили? Корзун, ты можешь мне объяснить?

— Да тут, Виталий Борисыч... — замялся Корзун.— Тут, в общем-то... Партизанила, конечно, Брагина... Эксперимент надо проводить по правилам, карту опыта открыть... Поторопилась. Но я не думаю, что брак из-за этого... Идея, может быть, неплохая...

— Так кто же виноват, что брак? — нетерпеливо спросил Сысоев.

— Вы ж знаете, литейное дело темное... бывает...

— Вот так здоров! Так я и скажу директору. А он мне знаешь что скажет?

Корзун улыбнулся, приготавливаясь услышать шутку.

— Он мне скажет: ты, Сысоев, виноват. И правильно скажет.

— Так что же, Корзун? — жестко спросил Шемчак.— Сделав столь неожиданное заявление, вы, наверно, имеете в виду объяснить, откуда брак?

— Может быть, мне дадут сказать? — тяжело задышал Важник. Сысоев кивнул. Важник надел очки, приблизил лицо к листку бумаги и начал: в мае цех поставил столько-то отливок блока, план был столько-то, брак — столько-то. В июне...

Он долго сыпал цифрами, потом снял очки.

— Как видите, мы в состоянии обеспечить литьем все потребности завода. Но на этой неделе действительно выскочили по браку стержней. Как я понял, главный металлург не разобрался еще в причине этого, а разобраться он должен, потому что в помощи его мы нуждаемся очень. Мы уже неоднократно обращались к вам, Сергей Владимирович, с этим вопросом...

Шемчак не понимал, куда он клонит, однако скрывал это и слушал с безмятежным лицом.

— Нам не впервые завозят негодный щелок, — продолжал Важник. — Был один случай в марте и вот на этой неделе опять. Может быть, надо сменить поставщика, может, еще что-то, мы тут своими силами сделать, естественно, ничего не можем. Слезно вас просим, Сергей Владимирович, помогите нам как главный металлург, урвите время от своих изобретений...

Сысоев прикрыл веками заблестевшие глаза. Он был доволен, что Шемчака «поставили на место».

— Николай Александрович ничего не сказал о селитре, — напомнил Шемчак.

Важник умел когда надо проявить праведный гнев, эдакое отсутствие дипломатии, эдакую прямоту:

— Да за селитру скажи нам спасибо! Щелок негодный шел, а твой ультразвук ничего не давал, что нам было делать?!

— Стоять, если негодный материал.

— Мы здесь, кажется, обсуждаем, почему литья не хватает. Если стоять, его не прибавится!

— Так что же с щелоком, Сергей Владимирович? — спросил Сысоев. — Может быть, поставщика сменить?

— Важник выносит на обсуждение сырой вопрос. Я еще не могу на него ответить.

— Да, хорошо было бы преподнести это Рагозину, — мечтательно сказал Сысоев.

Шемчак дозвонился по телефону до отдела снабжения и передал трубку Сысоеву. Все молча слушали, как тот распекал начальника отдела, потом вернул трубку Шемчаку и сказал:

— Кто будет вести протокол? Корзун, пиши: «Просить министерство принять меры по улучшению качества поставляемых...» — Закончив диктовать, он весело посмотрел на всех: — Однако не надейтесь, что всем это сойдет Пиши, Корзун: «За использование в производстве негодного щелока начальнику чугунолитейного цеха Важнику Н. А. объявить замечание, начальника участка Брагину А. М. лишить премии на сто процентов».

— Что же мне, стоять надо было? — для приличия возмутилась Тоня.

Сысоев лукаво подмигнул:

— Ох, какая горячая! Будто я вас первый день знаю. Вас не очень-то и обидишь...

Возвращаясь домой, Тоня вспоминала лицо Корзуна, когда к нему обратился Сысоев, и улыбалась. В почтовом ящике было письмо от стариков и свернутый вчетверо листок из записной книжки. Сначала Тоня развернула листок и прочитала:

«Дорогая невестка! Надеюсь, ты ведешь себя хорошо. Сегодня получил письмо от наших из Крыма. Они довольны жизнью. Ольга по-

правляется. Если тебе что нужно — звони. Привет от Валерии. Дай знать о себе. Мать почему-то о тебе беспокоится, а я уверен, что ты как всегда молодец. Хотел познакомить с тобой симпатичного человека. Аркадий».

В конверте был Олин рисунок — обычные ее домик, елки и цветы ростом с елку, но теперь правый нижний угол был исчеркан синим карандашом — море. Растроганно улыбаясь, Тоня прочла четыре странички мелких, аккуратных строчек свекра — дотошный, с массой цифр отчет о дороге в Крым, о погоде, режиме дня, описание жилья, перечень цен на базаре, пересказ беседы об Оленьке с каким-то очень крупным местным специалистом. В конце стояла роспись: Брагин. Несколько строчек свекрови: «Как ты, наша Тонюшка?» И в конце большими печатными буквами: «Мама целую тебя приезжай Оленька». Буквы «у» и «е» были нарисованы неправильно. «Господи,— счастливо вздохнула Тоня.— Только бы все были здоровы». Она с удивлением подумала, что за весь день ни разу не вспомнила о дочери.

*(Окончание следует)*



---

---

АЛЕКСАНДР ЯШИН

★

## ГРАНИЦЫ ДУШИ

А душа у меня все-таки есть.  
И у нее свое зрение, слух и память  
и свой сказочно богатый мир.  
Это целая держава,  
в которой царит воображение  
да желание добра и правды.

Зрение души удивительно —  
оно тоньше ультрамикроскопов,  
сильнее локаторов.  
Душа видит в пространстве  
и во времени,  
проникает в глубь веков,  
заглядывает в самое себя.

И слух у души  
совершеннее морских эхолотов —  
слышит она музыку вечности,  
голоса цветов и трав,  
их рост и дыхание.  
А память души —  
это граничит с чудом...

Берегите душу,  
раздвигайте ее границы,  
расширяйте ее полезную площадь,  
чтобы приблизиться к будущему.

1964.

## ВЯЗЫ

К вам иду с верою,  
В вашу мощь уверовав...  
Не оскорблю ни одного дерева —  
Ни на одном не повешусь.

Милые мои вязы,  
Вы мне как братья,  
Давайте начнем с азбуки,  
Всю жизнь с начала.





А уже уходят годы  
И немолод я.  
Словно перед непогодой,  
Тяжело, друзья...

1946.

\* \* \*

Только дождь да ветер за оградой,  
Стонет лес, и листья опадают.  
Зори над землей меня не радуют,  
Золота в садах не замечаю.

Боль в душе тупая, деревянная,  
Вспышки гнева — приступы падучей.  
Ревность! провались ты, окаянная,  
Не своди с ума,  
Не старь,  
Не мучай.

1946.

### ТИМОНИХА

Деревни, как сказания,  
В длину и в ширину.  
Уже одни названия  
Плотны до основания,  
Что сруб —  
Бревно к бревну.

Тимониха, Лобаниха,  
Тетериха, Печиха —  
В них что-то есть от Палеха,  
От песни тихой.

И все — по кромке берега  
На Сохте неглубокой,  
Извилистой, негромкой,  
Затянутой осокой.

От этой речки быстрой  
Любого мужика  
Вводи в Совет Министров,  
В Политбюро ЦК.

А я живу в Тимонихе  
У Васи у Белова...

Там избы, словно бабы,—  
Добротны и плотны,  
А бабы, словно избы,—  
Степеньные.

Коли не Колотіловы,  
То уж Колоколёны:  
На песни волокнистые,  
На сказы — мастера.

1966.

\* \* \*

И когда,  
может быть, впервые  
мне стало невыносимо тяжело —  
ты меня не поняла.  
Ты отвернулась от меня,  
не увидела меня  
и не пожалела.  
И я остался один.  
Я должен был бы стерпеть  
эту боль и обиду,  
смолчать...  
Но я не стерпел.  
И на этом все кончилось:  
я потерял тебя.

1966.

\* \* \*

Схороните меня  
на Бобришном угоре.

Только на Бобришном.  
Там есть против крыльца  
моего охотничьего дома  
старая береза  
с муравейником —  
самое чистое место на земле,  
самое дивное и сухое.  
В грозы обмывается,  
в ветры обдувается.  
Отсюда  
в детстве съезжали мы с горы,  
потом — охотились здесь  
на рябчиков и глухарей...  
Вот место,  
которое я для себя выбрал.  
Прошу только сюда:  
на Бобришный угор.

1967.



---

---

ГЕОРГИЙ БЕРЕЗКО

★

## ДОМ УЧИТЕЛЯ\*

Роман

Тринадцатая глава

ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО СЫНА. ВРАГИ

1

**М**ладший Синельников, Дмитрий Александрович, вернулся в родные места...

На рассвете после удачного, кучного приземления, когда его небольшая группа в пять человек вся собралась и парашюты были закопаны, он вывел ее на опушку Красносельской Дачи — Дмитрий Александрович помнил этот на редкость красивый бор, мощную сосновую колоннаду. Отсюда были уже видны сады и крыши городской окраины, и отсюда он даже без бинокля рассмотрел в осенней просквозившей листве длинную, с тремя печными трубами, покрашенную суриком крышу... Утро стояло росистое, пахло хвоей и чуть уловимо хлебным квасом, запахом палых, намокших в росе листьев — по опушке росла лещина. И будто хмель ударил в голову Дмитрию Александровичу — он был дома, почти что дома! Через каких-нибудь полчаса он мог увидеть свою дочь, которую никогда еще не видел, своих сестер — Олю, Машу, что сулило нечто неиспытанное, нечто из мира тех словно бы ветхозаветных отношений, которыми живет, по видимому, большинство людей и которые называются у них любовью и добром. Словом, его ожидал праздник, а праздника он и искал, закусав в своих буднях, где все уже было испробовано и обычно.

Дмитрий Александрович если и испытывал когда-нибудь чувство, близкое к любви, то только к старшей сестре, заменившей ему рано умершую мать. И не это было главное — сестра Оля запомнилась ему необычайно красивой, он восхищался ею еще в том возрасте, когда его сверстники презирали слабый пол, он ревновал ее ко всем кавалерам. И глядя сейчас на крышу отчего дома, Дмитрий Александрович ощутил себя тем самым озорным мальчишкой, которого часто за шалости корила старшая сестра. Случалось, она плакала, узнавая о его проделках. А ее слезы доставляли ему почему-то необъяснимо сладкое переживание...

Дмитрий Александрович потер ладонью свои загорелые, цвета обожженной глины щеки. «Надо бы побриться», — подумал он.

С широкой хозяйской улыбкой он обернулся к своей команде... Все молодые, рослые — подкачал один только радист: коротенький, узкоплечий, с вытянутой вперед мордочкой шпица, но проворный и

---

\* Окончание. Начало см. «Новый мир» №№ 4, 5, 6 с. г.

цепкий,— все обвешанные автоматами, гранатами, ножами, все спортсмены, а двое из пяти чемпионы по плаванию, все натасканные в своей боевой специальности, это были brave парни, настоящие молодые волки, он сам их отобрал. И его великолепное настроение словно бы передавалось в это безоблачное утро всей команде. С живым интересом его волчата посматривали по сторонам, точно принохивались в новых местах, где им предстояло нападать и кусаться.

— Guten Morgen<sup>1</sup>, — растянув в ответной улыбке толстые губы, проговорил высушенный здоровяк с белокурыми усами.

Красноармейская шинель, в которую он был обряжен, едва сходилась на его выкаченной полушарием груди; в растянутом воротнике гимнастерки стояла сильная бело-розовая шея. Его товарищи были также перед вылетом переодеты в шинели и пилотки, снятые с русских военнопленных; на самом Дмитрие Александровиче ладно сидела подогнанная портным командирская шинель с советскими капитанскими знаками различия. И этот маскарад тоже веселил парашютистов... Коротенький радист сдвинул пилотку с красной звездочкой на затылок, растопырил руки и вытаращил круглые глаза, изображая глупого Ивана. Другой десантник, румяный, голубоглазый — лицо его с выпуклым лбом и со сломанным, вдавленным носом напоминало кавалерийское седло,— одобрительно хлопнул радиста по плечу с такой силой, что тот присел, и они оба рассмеялись.

Десантники переминались с ноги на ногу, ожидая команды, готовые тут же приступить к своей работе. «Как перед гоном... — с удовольствием подумал Дмитрий Александрович.— Пусти их — пойдут рвать!» Он переживал сильное искушение... Следовало бы, конечно, прежде чем входить в город, разведать обстановку, но решительно ничто в этих осенних садах на окраине не говорило об опасности...

Послышался в стороне шумок: на дороге показались три повозки; бабы правили лошадьми. Тарахтя по засохшим колеям, погромыхивая молочными бидонами, повозки проехали и скрылись за окраинным забором. А над крышами домов, прятавшихся в садах, поднимался уже кое-где столбиками дым, розово окрашенный ранними лучами,— хозяйки готовили завтрак. И покой и прелесть этой картины, ее мирная незащищенность заставили Дмитрия Александровича рискнуть. Слишком уж близкой — только выбраться на дорогу, а там до первых домов рукой подать — и слишком соблазнительной представилась ему возможность позавтракать сегодня в кругу семьи, в отцовском гнезде!

Но на въезде в город у первого же углового дома с заложенными болтами ставнями, с отцветшим палисадником их, к немалой досаде Дмитрия Александровича, остановил патруль.

Два юных паренька в пальтишках, в кепках, в шарфиках, но с винтовками выскочили из палисадника и потребовали документы: удостоверение и командировочное предписание. Юнцы держались в высшей степени официально потому, вероятно, что и самим было неспокойно: тот, кто спросил документы, поминутно откашливался. И так как предписания у Дмитрия Александровича не оказалось — не запасся таковым, не предусмотрел,— а удостоверение вызвало какие-то сомнения, то один из пареньков приказал другому идти за разводящим. Отступить было поздно, и Дмитрий Александрович подал взглядом команду своим людям. Те предусмотрительно обступили уже обоих патрульных, взяли их в кружок, и с одним из мальчишек было покончено мгновенно, другой, раненный, отбилсЯ прикладом, выстрелил. И из дома с закрытыми ставнями высыпали и стали

<sup>1</sup> Доброе утро (нем.).

палить другие молодые люди... Первая попытка пройти в город потерпела, таким образом, полную неудачу — пришлось отстреливаться и что было сил удирать. А радисту, самому маленькому и проворному, более всех не повезло — две пули догнали его.

От патруля группа отстрелялась и ушла, унося на руках своего раненого, — помогли заросли черемухи, тянувшиеся вдоль заборов. Но затем перед Дмитрием Александровичем встал вопрос: как быть дальше с неудачливым радистом? Пули попали в ногу и в спину, передвигаться самостоятельно он не мог, а умирать мог довольно долго... Его перевязали, положили под деревом, прикрыли шинелью — он подрагивал в начавшемся ознобе и быстро слабел. Но, догадываясь, видимо, о тех соображениях, что забродили в головах его товарищей, и страшась заснуть, он отчаянно боролся с обволакивавшей его слабостью. Подманивая пальцем к себе то одного, то другого, кривясь и охая от боли, он говорил о своей жене, которая должна скоро родить, — все о ней одной. В его остро блестящих выпуклых глазах была голодная мольба.

Товарищи что-то ободряюще бормотали и поспешно отходили с замкнутым выражением. Оставаться здесь, в такой близости от схватки, они опасались; таскать раненого повсюду на себе им было бы обременительно, а оставить его в живых одного значило рисковать слишком многим. Попади их радист к русским, он, спасая свою жизнь, навел бы, чего доброго, на след всей группы, кроме того, он знал код. И десантники, отворачиваясь, вопросительно поглядывали на своего командира.

Тот понимал, что ситуация подсказывает только одно решение. А раненый радист как бы и сам пошел ему навстречу: вдруг на полуфразе он забылся с полуоткрытым ртом, веки его сомкнулись. И Дмитрий Александрович тотчас жестами приказал своим десанникам забирать рацию и уходить. Их спины еще виднелись между стволов сосен, когда он, вытащив из кобуры парабеллум, подошел к уснувшему радисту. С чувством благодарности, как за своевременное содействие, Дмитрий Александрович сунул ему в рот вороненое дуло, раздвинул легко поддавшиеся зубы и нажал на спуск. Радист дернулся, у него затрепетали веки, и он обмяк, так и не успев проснуться. А из его рта вылетел сероватый дым, точно это высвободилась из его коротенького тела и унеслась душа. Улыбнувшись своей мысли, Дмитрий Александрович обтер об его шинель ствол пистолета, а потом закидал труп сухими сосновыми ветками с осыпавшейся хвоей...

В последовавшие двое суток он потерял еще двух человек: один был напав уложен в перестрелке, когда на вторую ночь группа вышла из леса, чтобы поохотиться на одинокие машины, другой не вернулся из разведки. И конечно, потери вызывали у Дмитрия Александровича деловую досаду; особенно неприятной была неизвестность с разведчиком — пришлось уходить глубже в лес и там тихо сидеть некоторое время, ничего не предпринимая. Однако предвкушение праздника, которое испытывал в родных местах младший Синельников, не покинуло его... Он твердо верил в то, что случай неизменно служит сильнейшему, а за ним стояла теперь вся немецкая армия. Ну а, кроме того, ему всегда в последнюю минуту везло... Вот и после недавней командировки на швейцарскую границу, где он занимался весьма хлопотливым делом — похищением немецкого эмигранта-антифашиста, — он мог и не попасть сюда, на Восточный фронт, его начальство, Geheime Staatspolizei<sup>2</sup>, намеревалось послать

<sup>2</sup> Тайная государственная полиция, гестапо.

его в Африку, в армию Роммеля, что также не сулило большого удовольствия — пустыня, пески, жара... Но в последний момент все переменялось, он получил другое назначение и, очутившись в России в штабе группы армий «Центр», уже сам напросился на эту второстепенную операцию.

Дмитрий Александрович никогда не мог себе ни в чем отказать, да, собственно, и не находил нужным отказывать, он был полон жадной обладания и не сомневался в своем праве на утоление этой жажды. Запретное лишь возбуждало его, вызывая дразнящее искушение...

Восемнадцати лет, перед самой Февральской революцией, он был призван в действующую армию и, оказавшись на юге страны, в юнкерском училище, с охотой принял участие в карательных операциях денкинцев (о чем, кстати сказать, никогда не рассказывал своим близким из некоего презрительного снисхождения к их добродетельно-однообразному существованию). Там, откуда он спустя три года появился, у него не было недостатка в примерах удивительной дешевизны человеческой жизни. А скрытые влечения, которыми, по видимому, он вовсе не был обязан своим ближайшим родственникам — благодушно-бесхарактерному отцу, добрейшей матери, — заговорили в нем в полный голос. Ему удалось скрыть свою службу в белой армии и вовремя убраться с юга домой, вскорости он женился... Но и в те давние времена, став служащим местного почтового отделения, он, франтоватый молодой человек во френче и в галифе с кожаными наколенниками, как тогда одевались, был воспламенен не одними только планами моментального обогащения. Высиживая положенные часы в окошечке под табличкой «Прием заказной корреспонденции и продажа марок», Дмитрий Александрович задавал себе и такие вопросы: «А что, если я промакну этим пресс-папье эту потную рожу?» Он отнюдь не утратил своей жизнерадостной энергии, но заскучал. Мысленно забавляясь, он улыбался гражданину, проснувшему в окошечко лицо: враждебности к нему он не испытывал, попросту не задумываясь над тем, что перед ним существо, подобное ему самому, он словно бы поддразнивал себя... «Преступление и наказание» Достоевского он осилил не без любопытства, хотя нравственные терзания Раскольникова показались ему совершенно надуманными, более понятной была философия личности, которой все позволено. И, почти что забавляясь, он приступил к делу... Экспроприация почтовой кассы полностью удалась Дмитрию Александровичу — его и не заподозрили. Но когда он совсем уж было успокоился относительно своего белого прошлого, его все же таки арестовали: кое-какие сведения о его первых шагах на жизненном пути дошли до местных властей и его препроводили для следствия и суда в Смоленск. По дороге Дмитрий Александрович удивлял своих конвоиров — он словно бы не понимал, что его ждет, посмеивался, пошучивал. И он действительно не чувствовал ни сожаления, ни страха — страха, надо сказать, он также еще не знал...

С тех пор его и погнало по жизни из одного опасного приключения в другое.

Редчайший случай — опять же случай! — помог ему накануне суда бежать из домзака в Смоленске, перебраться через границу в Польшу, а затем в Германию. Там он попытался обосноваться прочнее, пользуясь своим отличным с детства знанием немецкого языка — в семье языкам учила мать. И в Германии его арестовали во второй раз — слишком многое вокруг соблазняло его... Хозяин лавочки «Аптекарьские товары», в которую Дмитрий Александрович проник перед ее закрытием, так напугался, что не протестуя расстался со своей дневной выручкой. Старика можно было и не убивать, но в лавчонке

з этот момент, кроме них двоих, никого не оказалось и острое искушение овладело Дмитрием Александровичем... Впоследствии ему иногда вспоминались плоские, в розовых пятнах экземы ладони аптекаря, которыми тот заслонялся от ударов. А вообще-то он испытал чувство странного облегчения: захотел вот — и убил и никакого потрясения с ним не произошло.

Обвинение в убийстве осталось недоказанным, и он в итоге довольно продолжительного следствия был освобожден. А вот знакомства, завязавшиеся у него в мюнхенской уголовной тюрьме, оказались чрезвычайно полезными после прихода к власти нацистов — товарищей по заключению. И Дмитрий Александрович быстро сделал карьеру в той области, где его склонности получили возможность свободного проявления. Он стал убивать не только потому, что за это ему платили и давали награды, но и потому, что убийство тоже было какой-то формой обладания — обладания чужой жизнью. Он выполнял теперь специальные поручения гестапо, и его настоящая фамилия — Синельников — затерялась среди многих других, которые он переменил за эти годы; ныне он был Францем фон Штаммом из небогатой помещичьей семьи в Восточной Пруссии.

Случалось, что Дмитрий Александрович чувствовал симпатию к своей жертве, как чувствует ее охотник к своему зайцу или к своей куропатке. А весь человеческий мир представлялся ему огромным отъезжим полем, необозримым охотничьим угодьем с разнообразной дичью. Берлинское начальство простило за услуги младшему Синельникову его славянское происхождение — он дослужился до оберштурмфюрера. Ну а сослуживцам пришелся по вкусу его нрав. Самое, может быть, удивительное во Франце фон Штамме заключалось в его постоянном до недавнего времени хорошем настроении. Это, по общему мнению сослуживцев, был славный малый, что редко встречалось в их угрюмой, подозрительной среде, легкий в общении, предприимчивый в веселой компании.

Но как ни ладно, по мерке пришлось Дмитрию Александровичу его новое обличие, совсем забыть, кто он и откуда, он не мог. Это не сделалось ностальгией, тоски по родине он не испытывал, как не сознавал и вины перед ней. Но с годами он стал уставать — не телесно: в свои сорок с немногим лет он был крепче, чем в двадцать, заматерел, как говорят в таких случаях. У него лишь притупились интерес к той работе, которую он теперь из года в год делал, — его жизнь становилась кроваво-однообразной... Дмитрий Александрович ни о чем и ни о ком не сожалел, в конце концов, он был только исполнителем, он — черт возьми! — служил обществу, как утверждали его начальники. Но сам-то он знал про себя правду, как раньше или позже узнаёт ее о себе каждый: до общества ему решительно не было дела — ему становилось до уныния скучно, пусто. И теперь он нуждался в некоем эмоциональном разнообразии, в новых ощущениях — ему потребовалось почувствовать себя и вправду добрым малым, даже подобным в чем-то своим жертвам. Именно в те моменты, когда такая потребность обострялась, он переносился мысленно в родительский дом в маленьком русском городе, где о нем ничего не знали. Там он и сейчас был не Францем фон Штаммом, а Митей, самым младшим в семье и потому самым любимым...

Еще до начала этой войны Дмитрий Александрович дознался, что его сестры здравствуют, живут все в том же старом доме, что у них воспитывается девушка, по всей вероятности его дочь. И ему вообразилась картина возвращения домой после столь долгого отсутствия: общая радость и его щедрость... О, он сумел бы вознаградить сестер Олю и Машу за заботы о его дочери: зажили бы на старости как

помещицы, свою дочь он одарил бы сверх меры, одел во все парижское, отправил в Берлин — там у него было кое-что накоплено. И он услышал бы наконец слова, которые ему так непривычно было бы слышать: слова признательности и любви. Ему просто необходимым показалось теперь поохотиться и в этих угодьях — угодьях родственности, семейных привязанностей, великодушия. Всю жизнь Дмитрий Александрович избегал недовольства собой и душевных огорчений — он улыбался, даже убивая; кстати сказать, это создало ему особую популярность в его среде. А ныне дошло до того, что его уже только раздражало бесполезное сопротивление его жертв или их чувствительность. Вот и этот доверчивый идиот, попавший в ловушку на швейцарской границе, так давился рыданиями, когда его увозили связанным, с кляпом во рту, что Дмитрий Александрович чуть не прихлопнул его на месте, в машине...

...На четвертый день младший Синельников сам пошел в разведку, трусом он, во всяком случае, не был. И он смог удостовериться в поражении советских войск: дороги на восток были забиты отступающими тылами — интендантскими автоколоннами, обозами; на километры растягивались разорванные вереницы беженцев, вдоль обочин валялись брошенные повозки, околевшие лошади — все это показалось ему достаточно убедительным. А с запада доносилась артиллерийская канонада: дивизии фон Бока, державшие направление на Москву, были уже хорошо слышны.

В этой неразберихе тотального отступления никому не было дела до одиноко шагавшего вместе со всеми пехотного капитана. Дмитрий Александрович старался лишь не выдать своего оживания и прятал внимательно-веселые глаза. Выйдя к реке у монастыря — как хорошо помнил он эти белокаменные стены, эти пузатые башни с контрфорсами, с покрывшимися зубцами! — и поглядев на обозников, съезжавшихся к мосту, послушав их ругань, злобные понукания, завывание моторов, треск сцепившихся тележных колес, он, почти уже не рискуя, решил побывать и в самом городе. Никто в этот раз не спросил у него командировочного предписания, что тоже было признаком всеобщего расстройтва.

В его, Дмитрия Александровича, время 'окраинная улочка, на которой стоял родительский дом, называлась 2-й Земской, теперь на жестяной табличке, приколоченной к забору, он прочитал: «2-я Трудовая», — тут он опять не сдержал улыбки. Сделав еще несколько шагов, он остановился у знакомой тесовой калитки и провел взглядом по окнам... До этой минуты он как-то не задумывался, бежали его сестры от войны или нет, сейчас он забеспокоился: было возможно, что они и сами эвакуировались и увезли его дочь... Но дом не показался ему необитаемым: ставни были распахнуты, в окнах белели занавесочки, цвели на подоконниках цветы, и только бумажные крест-накрест полоски на стеклах напоминали о войне. А во дворе за воротами раздавались голоса... И младший Синельников узнал голосок сестры Маши; что она там говорила, разобрать было невозможно, но он тотчас же вспомнил этот певучий алыт. Потом застучал во дворе автомобильный мотор, и Дмитрий Александрович попятился. Полотна ворот разомкнулись, выехала грузовая машина с двумя военными в кабине, и открылся зеленый, в мохнатой травке двор. У сарая белела березовая поленница, та самая как будто, что стояла двадцать лет назад, при отце; в травке перекрещивались те же узкие протоптанные дорожки к поленнице, к колодцу, к баньке... Дмитрий Александрович, улыбаясь, вбирал в себя эту картину. На открытое место выбежала девушка в желтом плащике, мелькнула светлая копенка



волос, и ворота опять сомкнулись, затем стукнул деревянный засов.

Перейдя на противоположную сторону улочки, Дмитрий Александрович еще постоял, вода по окнам веселыми глазами. В доме и не подозревали, конечно, что он стоит здесь живой и невредимый, унесший ноги из черт знает каких переделок и вот возвратившийся с богатым прибытком! Он ощущал сейчас себя самого как бы живым, дорогим подарком, которого заждались там, за бревенчатыми стенами, за белевыми занавесочками...

Из-за угла вытянулась цепочка одинаково серых от пыли, трудно, гуськом бредущих красноармейцев — долгонько, должно быть, пришлось им топтать... И Дмитрий Александрович, спокойно повернувшись, чтобы не встречаться с ними, зашагал своей дорогой. В отчий дом он в этот день не постучался — разумнее все же было повременить денек-другой. А там, совершенно ничего не опасаясь, он поднимется на это крылечко, дернет деревянную ручку звонка, ему откроют, и он переступит порог... «Здравствуйте, сестренки, — скажет он, — как вы тут без меня?..»

## 2

Инструкция, полученная обер-штурмфюрером фон Штаммом, командиром диверсионной группы, не ограничивала его инициативы: ему предписывалось действовать на коммуникациях, а как именно, он волен был решать сам. В атмосфере победной воинственности, царившей в немецких штабах в эти последние перед завершающим ударом на Москву дни, задача фон Штамма представлялась не слишком сложной. «Пинайте их в задницу, пусть поджигают хвосты, — напутствовал его с той красочностью, что должна была свидетельствовать о солдатской простоте, эсэсовский генерал. — Седлайте дороги. Побольше шума! Возьмем Москву — придется подчищать остатки, это будет хлопотнее...» Однако оказалось, что, при всех успехах, хлопот и сейчас немало — препятствия возникали на каждом шагу. И все вблизи было не похоже на ту прогулку по родному краю, что воображалась самому Дмитрию Александровичу, когда он летел сюда, и слабо светившиеся под луной облака, похожие на неисчислимые овечьи стада, закрывали землю.

Лишившись в первых же попытках половины своей небольшой группы, Дмитрий Александрович отнес это на счет неизбежных на войне потерь. Но он серьезно задумался, как он будет выглядеть на докладе начальству: похвалиться покамест было особенно нечем. И в разведке у реки, на переправе, у него родилась идея диверсии на мосту. Однажды в Польше в тридцать девятом он устроил нечто подобное: его люди взорвали мост с беженцами, а сами ушли на лодке. Здесь в его группе были отличные пловцы, пока еще, к счастью, уцелевшие: один, с вогнутым, как седло, лицом, работал некогда в цирке в водяной пантомиме человеком-акулой. И Дмитрий Александрович заторопился — не сегодня-завтра его начальство могло уже появиться здесь — и заторопил своих чемпионов.

Добыть повозку с лошадью им удалось без большого труда: диверсанты в красноармейской форме остановили на лесной просеке какого-то колхозного деда и через минуту сбросили с повозки его труп; горючим они запаслись раньше, во время охоты на одинокие машины, взрывчатка у них была, с нею они прыгали. Но целые сутки еще ушли на то, чтобы перебазироваться ближе к реке, отыскать там укрытие, приготовить специальный заряд, обговорить все подробности. И лишь на следующее утро из березнячка на большак недалеко от переправы выехала рысцой крестьянская повозка с двумя ранеными.

Один покоился на соломе, прикрытый до глаз рядом, другой, с забинтованной половиной лица, в наброшенной на плечи шинели, нахлестывал вожжами гривастую колхозную лошадку.

Повозка вклинилась в общее движение, въехала на мост, и на середине моста раненые соскочили с нее. Через считанные секунды рядом грохнул взрыв, вспыхнул разлившийся бензин, деревянный настил загорелся, заскакал по мосту огненный конь... И Дмитрий Александрович, наблюдавший издалека, пожалел, что лично не участвовал в том, что творилось,— это была настоящая охота! А главное, мост остался теперь только на карте, переправа прекратилась. И, следовательно, все богатое армейское имущество, что скопилось на берегу и продолжало накапливаться,— все должно было стать трофеем победителей.

Дмитрий Александрович поджидал своих десантников в условленном месте, за изгибом реки. Оба чемпиона благополучно туда доплыли и, посиневшие, выбрались на песок. Весь день потом они отлеживались в прибрежном лесу в овражке, пили спирт из неприкосновенного запаса, обсыхали, слушая «музыку боя», как выразился их обер-фюрер... После полудня в лесу стал слышен звон танковых пушек: бой шел где-то у города, а может быть, и в нем самом. Казалось, вот-вот, еще полчаса, еще четверть часа — и они выйдут из укрытия и чокнутся фляжками с танкистами, взявшими город. А он, Дмитрий Александрович, сегодня уже будет сидеть дома с сестрами и с родной дочерью!

В сумерках он выполз из пещерки в овражке. Прискучило тереться там боками друг о друга, к тому же от пловцов пахло несвежим бельем,— и более всего надо было также выяснить, что означала наступившая к вечеру тишина: может быть, и в самом деле город уже капитулировал? Дмитрий Александрович не сделал и десятка шагов, как уловил шум движения: шорохи шагов, шелест ветвей... А через несколько минут ему и его десанникам ничего не оставалось, как бежать: лес прочесывали советские истребители. Пловцы не успели натянуть сапоги, бежали босые, высоко подпрыгивая, когда под ноги попадала еловая шишка. Позади трещала пальба, и пули проносились над головами и стукались, как жуки, о стволы деревьев.

Туман с реки укрыл бегущих, но ненадолго и непрочно... Оба пловца были убиты, когда, спасаясь, карабкались по береговому откосу,— их застрелили сверху почти в упор. Дмитрий Александрович, сунувшийся наудачу в сторону, вполз на животе под старую ель и распластался там в колючей запаутиненной тьме. Он слышал совсем рядом разгоряченные голоса погони, команды; лучики фонариков протягивались к нему наподобие пулевых трасс. Однако его и сейчас не обнаружили. Покричав, потоптавшись, погоня ушла, уехали автомашины, что стояли здесь, наверху, и он вылез и отер от приставших паутинок потное лицо.

Торопясь укрыться надежнее, он двинулся в глубь леса. Но пошел дождь, и в мокрой тьме, потеряв направление, он неожиданно для себя очутился на опушке, у самого большака. Слева в отдалении всплывали в дожде тусклые ракеты, справа обозначались громады монастырских стен; Дмитрия Александровича окликнули: «Кто идет?» — должно быть, он напоролся на боевое охранение.

— Свой,— буркнул он и устремился вперед через дорогу, оскальзываясь в залитых водой колеях.

Насквозь уже промокший, продрогший, он проходил по 2-й Грудовой — неотчетливое побуждение привело его сюда. Он решительно не знал, куда ему лучше податься: залечь ли где-нибудь в куче обго-

релых обломков или рискнуть напоследок и взойти на крыльцо своего дома? — там бы он, конечно, согрелся. Вероятно, он так и не рискнул бы — нельзя было бесконечно искушать судьбу. Но вдалеке на улочке в толще дождя просочилась голубая капля — появился фонарик: может быть, это опять была погоня. И Дмитрий Александрович метнулся в калитку, во двор.

Его дом стоял весь черный — ни светлой щелки в окнах! — и совершенно безмолвный — ни живого звука! Только плеск ручьев, вырывающихся из водосточных труб, выделяясь в однообразном шуме потопа, заливавшего землю. Дмитрий Александрович обошел угол, поднялся на кухонное крыльцо, еще послушал и нажал осторожно на дверь — она оказалась незапертой. Очувтившись в темных сенях, он придержал дыхание — в кухне разговаривали, явственно слышались женские голоса.

Передохнув, он собрался уже постучаться — женщины не представляли для него опасности. Но во дворе раздались чмокающие по грязи шаги, кто-то сюда шел, может быть все та же погоня, — и он отпрянул к стене. Его шарящие пальцы натолкнулись на точеные балясины — это была лестница на чердак! Дмитрий Александрович помнил эти балясины и эти крутые ступеньки, помнил количество ступенек — четырнадцать! И, взбираясь поспешно по лестнице, он вновь машинально их сосчитал: ступенек действительно было четырнадцать. А маленькая дверца, через которую, пригнув голову, попадали на чердак, свободно болталась на ослабевших петлях.

В полном мраке, притворив за собой дверцу, Дмитрий Александрович ступил шаг, другой и натолкнулся еще на что-то, оказавшееся большой плетеной корзиной. С размаху боком он сел на нее. И некоторое время так и сидел в неудобной позе в этом сухом чердачном мраке, пропахшем пылью и птичьим пометом.

«Наконец!.. Вот я и дома!..» — подумал он с долей иронии над собой: он почувствовал себя обманутым.

Собственно, у него не было причины для жалоб, скорее наоборот, он мог благодарить судьбу. И конечно же, ему оставалось совсем недолго ждать: немецкие танки, почему-то замешкавшиеся сегодня, ворвутся в город завтра, в этом можно было не сомневаться. Однако как там ни ссылайся на неизбежность потерь на войне, а от всей его группы уцелел только он один. И вообще не так, не таким путем должно было произойти его возвращение домой!.. Хорошо еще, если чердак отчего дома не окажется для него новой западней: опасности подстерегали в родных местах буквально повсеместно. А на чердаке, как он помнил, имелся только один выход, и в его пистолете сохранилось только два патрона — остальные он расстрелял во время этого бега у реки. Дмитрию Александровичу особенно обидно было думать, что запасные обоймы, оружие и все другое снаряжение, брошенное в овражке, достались юнцам в кепчках и они курят сейчас его папиросы и развлекаются его фонариком с усиленной батареей, который так пригодился бы ему здесь.

Шаря по карманам — не завалились ли в них случайно патроны? — Дмитрий Александрович нащупал зажигалку, высек огонек, поднял высоко над головой. И в колеблющемся свете ему открылся словно бы скелет исполинского животного: ребра-стропила, наклонно сходящиеся к позвоночнику — продольной балке, такой длинной, что концы ее терялись в темноте. Нечто подобное скелету мерещилось ему и в детстве, когда он спасался на чердаке от наставлений старшей сестры. Получилось даже забавно: чердак тогда уже служил ему убежищем, в котором он часто отсиживался, но и это воспоминание не смягчило его обиды...

Сбоку между стропилами вырисовался бездонно-черный квадрат чердачного окна — все стекла вместе с переплетом рамы были выбиты. И Дмитрий Александрович погасил зажигалку — не хватало еще, чтобы свет на чердаке был замечен со двора.

Стащив с плеч свою намокшую шинель, он, спотыкаясь о торчавшие понизу из песка поперечные балки, добрался до окна и выглянул наружу. Там немолчно гудел, разбиваясь о железную крышу, океанский прибор, поглотивший все живое, — сама стихия вмешалась в человеческие дела и прекратила их на эту ночь... Занавесив окно шинелью, Дмитрий Александрович вновь достал зажигалку... Прямо перед собой, только руку протянуть, он увидел на крюке фонарь — стеклянный колпак, оплетенный проволочной решеткой; в круглом бачке плескался керосин — это была удача! И, засветив фонарь от зажигалки, Дмитрий Александрович пустился в обход по чердаку, заглядывая во все углы. Еще одно окно он занавесил старым, в плешинах персидским ковром, который поднял тут с песка. В какую-то минуту ему почудилось было, что на чердаке находится кто-то еще и, скрываясь, не выпускает его из виду; он резко оборачивался, поднимал фонарь. Но вокруг царило запустение и только тень от проволочной решетки плясала на внутренней стороне крыши — это фонарь покачивался в его напряженной руке.

Постепенно Дмитрий Александрович успокоился — на чердак давно уже, как видно, никто не поднимался: пыль непорухенным, плотным налетом лежала повсюду, ворсисто мохнатила на паутине, заткавшей углы, свисала бахромой с балок. И конечно, никакой угрозы не таилось в этих вынесенных сюда, погребенных, как под пеплом, древностях: в обломках диковинных кресел и кушеток с тоненькими, как у насекомых, ножками, в этом ящике допотопного граммофона с уродливо огромной трубой, в этой люстре с бисерными подвесками, что висела когда-то в родительской столовой над обеденным столом. Все вещи сразу же узнавались, возникая как бы из самого детства, но не будили, надо сказать, никакого умиления — Дмитрий Александрович видел, в сущности, только старый хлам.

В шатающемся свете фонаря появилась вдруг и ученическая одиночная парта, стоявшая в его, Мити Синельникова, комнате. На покато крышке под бархатным слоем пыли чуть заметно проступали вырезанные ножиком крестики, цифры, чей-то профиль и буквы «Л. М.». Дмитрий Александрович их расшифровал — то были инициалы его первой симпатии, гимназистки Любы Медведевой, с которой он катался на коньках в городском саду под вальсы духового оркестра пожарной дружины... Попытавшись вызвать в душе какой-то отклик и не вызвав его, Дмитрий Александрович отвернулся. Дальше в полосе света, перекрещенного тенью от проволочной оплетки, выплыл как из небытия большой, обитый сафьяном, окованный на уголках медью сундук. К его родителям этот семейный ларь-хранитель перешел от их родителей, а к тем от его прапрадедов. Дети любили замечательный ларь за особое свойство: когда его открывали, раздавалась музыка, невидимые колокольцы вызванивали маленькую веселенькую мелодию. И Дмитрий Александрович, пытаясь хоть как-то утешить себя, откинул тяжелую крышку. Взлетело облако пыли, сундук засипел, умолк и заиграл — чисто и звонко, точно не безмолвствовал целые годы.

— Тише ты, тише... — испуганно сорвалось у Дмитрия Александровича.

Он опустил крышку, но музыка еще некоторое время раздавалась, пока не кончился завод. «Вот дьявол, разбудит всех...» — как о живом, подумал Дмитрий Александрович.

А вскоре до его слуха дошло совсем легкое, словно бы воздушное поскрипывание — его опасения оправдались: музыка старого сундука была услышана внизу, кто-то всходил по лестнице. В несколько быстрых шагов Дмитрий Александрович очутился на другой стороне чердака, у окна с высаженной рамой — отсюда он в крайнем случае мог вылезти на крышу. Он погасил фонарь, достал пистолет и залег на песке за балкой.

Момента, в который открылась дверца и кто-то невидимый вошел, он не уловил. Из абсолютной темноты послышалось:

— Может быть, вам помочь? Кто вы?

Это было произнесено удивительным голосом сестры, слепой Маши, будто пропела она во мраке.

— Маша! — выдохнул Дмитрий Александрович.

— Кто здесь? — спросила она.

— Это я, я... Маша! — сказал он, вставая.

Она не отозвалась.

— Я, Митя! — запнувшись, назвал он себя.

#### Ч е т ы р ь н а д ц а т а я   г л а в а

##### ДОМАШНИЕ ДЕЛА. ЛЮБЯЩИЕ СЕРДЦА

###### 1

Пани Ирена и пан Юзеф Барановские возвратились в свою комнату, засветили свечу и как бы в нерешительности остались стоять у стола друг подле друга... Еще утром сегодня они собирались уйти всей своей маленькой группой, но то, что происходило здесь, задержало их и Осенка назначил уход на следующее утро. А теперь надобно было хотя бы немного поспать перед отправлением в новый поход. Пани Ирена обеспокоенно следила за мужем; тот пристально смотрел на огонь свечи.

— Как ты, Юзеф? — спросила она мягко. — О чем ты?

— Ни о чем!.. Так, фантазия... — Он перевел взгляд на нее. — Как ты?

— Надо ложиться, мой коханы, — сказала она. — Нам мало осталось.

— Да, да, последняя ночь... — Он не окончил фразы. — Нам здесь было хорошо... Ведь верно, Ирена?!

— Эти русские пани — прекрасные пани, — сказала она. — Я не знала, что такие есть.

— Мне здесь было просто сказочно... сказочно... — сказал он. — Я не прятался и не убегал. Я уже не помню, когда я не прятался и не убегал.

— Не надо, Юзеф! Как ты себя чувствуешь? Как твоя шея? Будем ее мазать? — спросила она.

— Знаешь, совсем хорошо! — Он размотал ослабевший, хомутиком лежавший на шее бинт. — Я могу уже больше не бинтовать ее.

— Дай я посмотрю.

Он нагнул голову, и пани Ирена, подняв свечу, внимательно оглядела его шею — длинную, бледную, с коричневыми пятнышками от заживших нарывов.

— Слава Иисусу! — сказала она. — Тебе помогла эта мазь пани Ольги. Все-таки завяжи еще шею. Тебе нельзя простуживаться.

— Я завяжу, — сказал он.

Пани Ирена направилась к постели, сдернула покрывало и быстро и аккуратно сложила его — все, что она делала, получалось у нее

и быстро и ловко,— но затем вдруг села на постель и ее руки упали на колени.

— Устала,— она виновато улыбнулась,— а спать не хочется.

— Да, последняя ночь,— повторил он.

— Я не могу забыть этих двух раненых. Они так и не вышли из шока... Их так и отвезли.

Он кивнул.

— А что дождь пошел — это хорошо. Это очень хорошо... — сказала она. — Летать нельзя в такую погоду.

И они опять замолчали. В коридоре то усиливались, то ослабевали звуки шагов, слышались восклицания, неясный говор — люди расходились по своим углам. Шумел дождь за стенами.

Барановский присел боком к столу, потрогал зачем-то стеариновый наплыв на свече, отломал комочек, помял.

— А ты знаешь, обошлось... — заговорил он. — Я думал, что не смогу без музыки, я смогу... Я уже целую неделю не играл — и ничего. И я значительно лучше себя чувствую.

— Вот и хорошо,— сказала пани Ирена.

— Меня даже не волнует уже, что я не играю.

Это было, конечно, неправдой: Барановский не просто помнил все время о своей музыке — он непрестанно ощущал ее утрату, как можно ощущать некую часть себя, свою руку, когда лишишься ее. Дело в том, что после многих тяжелых припадков он и пани Ирена пришли к выводу, что он не должен и не будет пока что играть. Да он и не в состоянии был исполнить сейчас до конца ни одной пьесы — за пианино он раздражался слезами, им овладевало отчаяние. И после последнего случая Барановский пообещал жене не прикасаться больше к клавишам.

— А когда мы с тобой опять заночуем в лесу, играть вообще будет не на чем,— сказал он. — В этом доме, между прочим, хорошее пианино, и не расстроенное.

— Когда кончится война, ты снова начнешь играть,— сказала пани Ирена; она-то понимала мужа.

Барановский резко мотнул головой: редкие, истончившиеся волосы — несмотря на молодость, двадцать пять лет, он уже полысел — поднялись и воздушно заколебались над его макушкой.

— Юзеф, я тебя умоляю,— сказала она. — Мы должны надеяться. Это все, что мы можем.

— Да, да, мы должны надеяться,— повторил он. — Я все забываю, что мы должны надеяться.

— Юзеф, милый!.. — На ее лице мелькнула растерянность, маленькие губы приоткрылись.

Он положил на стол руки и стал рассматривать свои пальцы.

— Обрубки,— сказал он. — Деревянные обрубки, они скоро совсем перестанут сгибаться... На что мне надеяться, моя добрая пани?!

— Мой коханы!.. — Она протянула к нему руку ладонью вверх. — Что же еще у нас есть, кроме надежды?!

И не слова, но этот жест, каким просят подаяния, заставил его умолкнуть.

— Прости меня,— после паузы сказал он.

— С надеждой нас уже трое. — Она через силу улыбнулась.

— Удивляюсь, как у тебя хватает на меня терпения,— сказал он. — Ах, нам так часто говорили: «Надейтесь!» И мы надеялись... Мы всегда на что-нибудь надеялись: на весну, на зиму, на доброе сердце человека, на климат... И мы прятались, и ждали, и говорили другим: «Надейтесь!» Я играл Шопена эсэсовцам, пьяным зверям... И они уби

вали у меня на глазах. Насиловали девочек, а потом убивали, поджигали старикам бороды. А я все надеялся.

Пани Ирена встала, подошла и, положив руки на голову мужа, стиснула ладонями его виски; он закрыл глаза. А она постояла так, чувствуя, как он подергивается, как дрожь ходит по его телу. Наконец он как будто стал спокойнее.

— Ну вот, мой коханы, ну, не надо,— сказала она.

Он разомкнул веки, повел головой...

— И ты видишь, что со мной... А что, если... я никогда больше?..— спросил он негромко.

— Юзеф, пора спать... Уже, наверно, двенадцать,— сказала она.

— Да, наверно... Будем спать.

Она перенесла свечу на столик у кровати и, сняв свою неизменную клетчатую жакетку, заботливо повесила ее на спинку стула. Затем так же бережливо она сняла туфельки, завернула их в кусок материи и в одних чулках тихо прошла по комнате, чтобы уложить сапожки в свою сумку; ее походные, на низких каблуках сапожки стояли уже у кровати, приготовленные на утро.

— Раздеваться совсем, я думаю, не надо,— сказала она мужу.— Мало ли что... Снимем только ботинки.

— Я и фуфайку сниму,— посоветовался он.— Душно у нас.

— Можно и фуфайку,— сказала она.

Торопливым движением, точно все еще стесняясь, она легла и привычно отодвинулась к стене. Кровать была узковата для них обоих, и пани Ирена вытянулась, оставляя мужу больше места. Когда он тоже лег и тоже вытянулся, она некоторое время ждала, что он ее поцелует, но он все мешкал, погруженный в свои мысли. И тогда она напомнила ему:

— Юзеф, ты уже не любишь меня.

Он повернулся, она выпятила губы, и они поцеловались, потом она сказала:

— Потуши свечу.— И, подумав, добавила:— Посмотри, будь ласков, где спички? Надо, чтоб они были под рукой.

— Спички здесь, я их вижу,— сказал он и дунул на огонь.

Она длинно, с облегчением вздохнула: наконец-то наступил этот час покоя и как бы одиночества... Ее муж лежал рядом, так близко, что она своим плечом касалась его плеча, и это было необходимо для ее покоя, но в то же время в наступившей темноте она впервые за весь день осталась как бы наедине с собой, с тем, что было пережито за этот долгий день, и со всей своей тревогой, обращенной в день завтрашний. Осторожно, чтобы не привлечь внимания мужа, пани Ирена неслышно перекрестилась где-то между грудей совсем маленьким крестом... Ох, ей было очень уж трудно — ведь ей приходилось держаться за двоих! «Нет, Юзеф не прав...— мысленно проговорила она.— Бедный, бедный Юзеф! Надо надеяться и надо верить... Иначе как жить?! Как мы могли бы завтра встать и опять идти?.. Куда?.. Мы и сами плохо знаем. Но мы надеемся. Бедный мой, гениальный Юзеф!» И она подумала, что ей было бы, наверно, легче, если б она не так сильно любила. Но она тут же упрекнула себя... Юзеф был ее мужем — ее судьбой, и ее жизнь имела значение только в той мере, в какой она была нужна ему.

Вскреле она уснула, она действительно очень устала. И Юзеф поднялся на локте, охваченный внезапным страхом,— жена так тихо дышала, что ему почудилось: ее каким-то образом вдруг не стало. Низко наклонившись над нею, он долго всматривался в едва заметные во мраке черты: чуть выступавшую покатошь щеки, полуоткрытый рот, слабый эмалевый блеск ровненьких зубов. И ему пришло в

голову, что, если б он был одинок, он так бы не испугался сейчас и вообще ему не было бы так трудно! Ведь эта женина любовь не только оберегала его и нянчила, но и чересчур много требовала: сил, которые уже истощились, надежд, которых не осталось. Если он еще держался, то только потому, что это было необходимо ей. «Бедная Иренка, ей было бы, наверно, веселее без меня»,— подумал он.

## 2

В этот день Лену покинули все ее маленькие расчеты, все соображения о том, что ей можно и чего нельзя, что прилично, а что неприлично. И чувство необычайного, чувство особенной напряженности и силы жизни, охватившее ее как бы в ответ на жестокость этого дня, уничтожило все ее благоразумные опасения.

— Федерико, я должна... у меня есть секрет,— сказала Лена, когда они вышли из библиотеки в залыце.

— Ого, у тебя завелись секреты... Ты становишься большой.— Федерико усмехнулся.

Все в его душе кипело... И та доброта и любовь, что были разлиты в этом доме, подогревали его злость — Федерико не мог простить доброте ее слабости. Ему не в чем было упрекать себя — он мстил за ее обиды везде, где воевал. Но он уже не верил в ее смысл: побежденная на его родине, преданная в Испании, она терпела поражение и в этой северной, такой огромной стране. И разве сама воплощенная доброта — люди, приютившие его здесь, эта русская, влюбленная в него девчонка не были завтрашними жертвами нацистов, лишь случай пощадил их сегодня. Доброта сама по себе ничего не стоила, если не была подкреплена превосходством в танках и авиации. И в душе Федерико поднималось саднящее чувство, которое можно было бы выразить словами: «Так вам и надо, хорошим и добрым!.. Если не можете постоять за себя — погибайте!»

— Тебе смешно, а я *criminel*<sup>3</sup>,— звонко проговорила Лена...— *Criminel*. Я правильно сказала? — перебила она себя.

Вообще-то ее успехи во французском языке за одну неделю были просто необыкновенными, правда, она очень старалась: французский словарь все эти дни был ее настольной книгой.

— Ты типичная *criminel*,— сердито буркнул Федерико.

— Моя тетя Оля!..— воскликнула Лена.— Что будет, когда тетя узнает про меня? Я не смогла ей сказать.

Лена собралась объявить сию минуту Федерико, что она уходит из дома, вернее, бежит тайком вместе с ним. И это было почти то же, что объясниться в любви,— она чувствовала себя как в жару, да же уши у нее пылали.

— Пойдем, нам надо поговорить... Тут неудобно,— сказала она.

В зале укладывались на ночь солдаты, и Ольга Александровна ходила среди них, откидывая горделиво голову, раздавая подушки, одеяла, фуфайки,— она опустошила все свои хранилища.

— Куда же мы пойдем? — спросил Федерико.

— Хочешь, пойдем ко мне? — храбро сказала Лена.

В коридоре, освещенном лишь слабым светом из кухни, тоже были люди — стояли, проходили. Из комнаты тети Оли вышли Сергей Алексеевич и старший лейтенант — командир ополченцев; с ними шел и польский товарищ Войцех Осенка. Задержавшись возле Лены и Федерико, Осенка сказал, что к утру он вернется и что его обяза-

<sup>3</sup> Преступница (франц.).



тельно надо подождать. Лена перевела это Федерико, и тот насмешливо кивнул:

— Bon voyage <sup>4</sup>.

А Осенка учтиво пожелал:

— Dobranos<sup>5</sup>, панна Елена.

И козырнул ей. Из зальца протопал тяжелыми ботинками мальчик-солдатик, которого привезли с собой интенданты; на нем была уже вязаная кофта Ольги Александровны.

— Почему не спишь, Гриша? — окликнула его Лена. — Тебе надо спать.

— Я попить, сестрица! — ответил он.

И это «сестрица» ново и радостно отозвалось в ней... Их старый дом словно бы раздался в стороны, стал Домом для всех, кто нуждался сегодня в доме, — тут и спали, и ели, и совещались, и перевязывали раны, и баюкали младенца. И все добро, что имелось в доме, что было накоплено за многие годы и бережно хранилось, — все и обесценилось сразу, и одновременно словно бы выросло в цене, потому что служило теперь каждому, кто входил в дом. Ничего решительно не было жалко ни для кого — тетя Оля точно вошла во вкус этого расточительства... И ни с чем не сравнимое ощущение легкости и свободы доставляло оно самой Лене. Ей хотелось оставить для себя только свою любовь.

Завидев в коридоре у стены еще два знакомых лица: длинное, вытянутое книзу — профессора-ополченца, похожего на Александра Блока, и толстошеекое, с редкой, точно поклеванной бородой — нового интендантского шофера, — Лена улыбнулась от переполнявшей ее симпатии ко всем, кто ее окружал. И она удивилась: оба были заметно не рады, когда она и Федерико подошли к ним. Федерико чиркнул спичкой, закуривая, и профессор взглянул так, будто они им помешали; шофер замигал и отвернулся.

— Да, Лена... вот что... — досадливо проговорил профессор. — Собирайтесь, поедете завтра с нами... Ваша тетя говорила с нашим командиром. До Ташкента не довезем, а куда-нибудь доставим.

— Я вам ужасно благодарна за приглашение. Но я, наверно, не смогу воспользоваться вашей любезностью, — сказала Лена и не удержалась: — Bon voyage!

Перед дверью в свою комнату она оглянулась на Федерико — он стоял большой, весь черный, и она запоздало заколебалась, вернее, ей нужна была эта остановка, чтобы укрепиться в своей решимости. В комнате было темно, Лена осторожно двинулась к лампе, и тут же твердая рука Федерико легла ей на плечо.

— Это ты? — спросила она, хотя можно было и не спрашивать.

А его твердые пальцы перебрались ближе к ее подбородку, и она вдохнула запах табака и ружейного масла.

— Это ты? — слабо, шепотом повторила она. — Зачем?.. Не надо.

Она вся сжалась, как от холода, но мысленно приказала себе: «Пусть, пусть... Ты ведь любишь его».

В ту же секунду Федерико ее отпустил. Он и сам не знал, что толкнуло его к ней: просто не подумал и обнял в темноте, как обнимал других; он был уже недоволен собой.

— Есть у тебя свет, малышка? — спросил он.

«Ну конечно!.. Он считает меня ребенком», — упрекнула себя Лена. Она долго не могла зажечь лампу, словно забыв, как это делается, и чуть не уронила абажур, когда надевала.

<sup>4</sup> Счастливого пути (франц.).

<sup>5</sup> Спокойной ночи.

Федерико стащил с плеча винтовку-полуавтомат, прислонил к стене, сдвинул на бок револьвер, засунутый за пояс, плюхнулся на диван и огляделся: в комнату Лены он попал впервые.

Это была довольно большая комната вся в синеньких букетиках на обоях и в бесчисленных фотографиях, приколотых кнопками везде где только можно: над диваном, над деревянной кроватью, по обе стороны настенного зеркала в ореховой раме, над стареньким секретером, заменявшим стол. Образы прекрасных женщин с деланно-приветливым выражением лиц и красавцев мужчин с демоническим или глубокомысленным выражением населяли во множестве комнату — то были знаменитые актеры и актрисы. И взирали они сегодня на страшный беспорядок, следы поспешных сборов: смятая постель была не покрыта, чулки свисали с подлокотника кресла, и у кровати на коврик валялась опрокинутая туфелька, похожая на тонущий корабль.

— А это твои *les jouets*<sup>6</sup>? — спросил Федерико, показав кивком на вдвинутый в угол треугольный шкафчик красного дерева с остекленными дверками. — Твои куклы? — И он захохотал своим ужасным хохотом, напоминавшим сухой стариковский кашель.

В шкафчике действительно были Ленины куклы — все подаренные ей, начиная с первой елки, а потом во все дни рождения. Они теснились на полочках разряженные, в шелковых платьях, и самодельные, тряпичные, в ситцевых косыночках — целое большое кукольное общество со своими аристократками и плебейками. А наверху на шкафчике, растопырив толстенные руки, уставившись перед собой фарфоровыми глазами, сидела кукла-великанша в голубом атласе и в белокурых локонах.

— Ты еще в куклы... с куклами? — Федерико хохотал, кашлял и никак не мог успокоиться.

Лена — она торопливо прибирала, набросила на постель покрывало — попыталась было возразить:

— Теперь уже не играю. Ну что ты?..

Но он бурно веселился, раскачивался, хлопал себя по коленям. И Лена тоже стала смеяться.

— Ну да, да! — крикнула она. — Ну и что? Ну, играла... Это был мой театр!

— Театр... — повторил Федерико. — Это был твой театр...

Он разом умолк и посмотрел на нее длинным и, показалось ей, недобрым взглядом.

А ему пришло вдруг в голову одно воспоминание об Испании...

Кончился бой, его батальон выбил из деревеньки фалангистов, и он приковылял в крайний домишко — пуля оцарапала ему колено, — чтобы обмыть рану. Там он увидел на полу мертвую женщину — ее крестьянские руки с большими загорелыми кистями были раскинуты, юбка задрана на живот, а низ живота и тощие белые ноги были измазаны кровью. В плетеной колыбели, подвешенной к потолочной балке, лежал голенький, как Христос в яслях, младенец — странный младенец... Федерико не сразу понял, что с ним такое: вместо головы у него было нечто похожее на раздавленный круглый плод граната — ему прикладом размозжили череп. И тоже какие-то игрушки: трещотка из высушенной тыквы, деревяшка, обернутая тряпочкой, валялись на каменном полу среди окурков...

Лена повернулась на одной ноге, поглядела вокруг и махнула рукой.

<sup>6</sup> Игрушки (франц.).

— Я приберу все, когда вернусь...— сказала она.— Когда-нибудь я вернусь.

— Сядь,— коротко скомандовал он.

И когда она села, он вытащил из-за пояса наган и протянул ей рукояткой вперед.

— Тяжеловатый, тебе бы поменьше калибром,— сказал он.— Но другого нет.

В первый момент Лена не поверила:

— Это ты мне?!

Федерико все так же нехорошо смотрел на нее... Он был необычно для себя бледен — смуглая кожа, посветлев, приобрела лимонный оттенок, глаза сузились, сделались из синих черными. И Лена только сейчас подумала, что он, пожалуй, пьян — опьянел за ужином от нескольких рюмок коньяка, которым угощал Веретенников.

— Хорошая штука,— сказал он,— никогда не отказывает. Ты должна всегда носить ее, спать с нею.

— Спасибо, Федерико! — выговорила Лена с чувством.— У меня теперь будет свой револьвер.

Она сложила подносиком ладони и приняла на них эту увесистую вороненую «штучку» с узкой трубочкой ствола, с круглым ячеистым барабаном, с рукояткой, заштрихованной мелкой насечкой; придерживав дыхание, она присматривалась к «штучке».

Федерико отвернулся, ему было трудно расставаться с оружием; правда, у него оставалась еще винтовка — советский полуавтомат с тесаком — и четыре гранаты, но и наган не помешал бы ему. И только эта ожившая в его памяти испанская картина толкнула Федерико на подарок. Конечно, пока он находился здесь, он бы защищал эту девчонку из всех видов оружия, но уже завтра его могло не быть с нею — вообще могло не быть.

— А она заряжена? — спросила Лена.— Как из нее стреляют?

— Ничего не стоит,— сказал он.— Видишь, это предохранитель. Перед тем как стрелять, сделаешь вот так... а заряжать надо... Дай я покажу.

Он ловко вытащил из барабана патроны, пощелкал курком, вновь зарядил наган и, вновь вынув патроны, вложил револьвер в ее пальцы.

— Давай заряди сама,— скомандовал он.— Постреляй завтра по мишени, по пустым бутылкам... А придут наци — по наци!

Лена зажмурилась от сознания этой ужасной силы, что отяжелела ее руку; заряжая, она словно бы укладывала в барабан семь смертей!

— Не бойся стрелять,— сказал Федерико.— Я тоже вначале боялся стрелять по людям. Но наци не люди, это волки... И они хуже волков. Это крысы величиной с волка... Увидишь наци — тут же стреляй, ничего не спрашивай, стреляй! Они хуже, чем крысы. И опаснее, потому что у них нет хвостов, они похожи на людей. Ну, а если... Ты понимаешь?.. И если меня не будет с тобой...

Он опустил взгляд; страшно было подумать, что ожидает эту девчонку в немецком плену.

— Я хочу сказать, что один патрон, последний, всегда должен оставаться... Один... Понимаешь? Чего тут не понимать?!

Лена кивала, соглашаясь со всем, что он говорил. Необычайное продолжалось в этот поразительный вечер.

— Ох, я поняла! — воскликнула она.— Федерико, я все поняла!

Щеки ее горели, а где-то у сердца появился ознобный холодок, совсем как бывало на сцене, когда она играла.

— Последняя пуля — в себя. Такой закон, да?

— До этого, конечно, не дойдет,— сердито сказал он.

— Ты думаешь? Все равно я так благодарна тебе!

— Убежден, не дойдет,— повторил он резко, с ожесточением, так как вовсе не был в том убежден.

По его впечатлениям, дело в городе, как и на всем русском фронте, обстояло безнадежно. А здесь после сегодняшней катастрофы на мосту они все оказались в западне, из которой вряд ли кому удастся выбраться. И здесь повторялась Испания...

Лена, сидя, выпрямилась — ее словно бы приподняла новая мысль, и она сказала звонко, сильно, как говорила на сцене в патетических местах:

— Но если мы будем вместе, ты... ты сам, Федерико, ты сам... если выйдут вдруг все пули,— она увлеклась и импровизировала,— ты и сам убьешь меня, если будет надо.

Раздумывая, он склонил голову, он отнесся к этой просьбе совершенно серьезно.

— Ты должен дать мне слово! Федерико! Ты убьешь меня?

И он кивнул, взглянув на нее прямым взглядом.

— О, я тебе заранее благодарна!..— воскликнула она.

Это было у нее очень искренно, и в то же время речь шла как будто не о ней, а о какой-то ее героине: все происходило, конечно, в жизни, но словно бы не совсем взаправду, как происходит в театре.

И они разом замолчали, сидя тесно, рядышком, потрясенные своим доверием друг к другу... В доме было тихо, все уже разошлись, улеглись; стукнули двери в кухне, и наступила полная тишина. Казалось, на недолгий час тишина распространилась на весь оглушенный войной мир, и все забылись, свалившись в изнеможении, а бодрствовали только они двое.

— Чудо какое! — прошептала Лена.— Чудо, что мы встретились. Мы могли не встретиться.

Ей мерещилось, что и объяснение в любви произошло уже у них, иначе как бы мог Федерико, если б не любил, пообещать убить ее.

— Удивительно все-таки... И я просто счастлива, что ты такой, Федерико!

Он поинтересовался:

— Какой?

— Прямой, смелый. Но может быть... Федерико, Федерико! — зашептала она.— А вдруг мы еще не умрем, еще поживем?

И это было то, во что она действительно верила всей жизнелюбивой верой юности,— в невозможность своего исчезновения.

— И ты не убьешь меня...

Федерико повертел отрицательно головой. «Лучше тебе от моей руки,— подумал он,— не получают тебя фашистские крысы».

— Это ты смелая,— сказал он вслух.— С тобой можно и на войну.

Она засмеялась:

— Со мной можно и на войну.

«Сволочная война, сволочной мир»,— мысленно проклинал он, проклинал от бессилия, от невозможности не убивать в этом мире... Только теперь Федерико почувствовал, кем стала для него — незаметно, день за днем,— эта русская Лена, единственное привязавшееся к нему существо: только любимой сестре можно было обещать то, что он ей обещал, а еще невесте,— он почувствовал себя вроде как обручившимся с Леной. И он всматривался в нее так, будто спрашивал: «Откуда ты взялась?..»

А Лена сделалась сейчас даже красивой. Федерико не сумел бы сказать, что в ней появилось новое: он видел то же простенькое ли-

чико, те же выветленные солнцем спутанные волосы, те же маленькие груди, слегка приподнимавшие кофточку... Никуда не делись и эти рыженькие веснушки на носу, родинка под ушной мочкой, царапины на пальцах, обломанные ногти, но и они наполнились для Федерико прелестью.

— А если ты не убьешь меня, мы будем долго жить... Интересно,— перебила себя Лена,— если бы Ромео и Джульетта не убили себя, какими бы они стали в сорок лет, в семьдесят? Может, они и умерли, чтобы не состариться.

— А какая у тебя тайна? — спросил Федерико.— Ты мне говорила.

— Ах, это не тайна! Я хотела сказать, что тоже иду вместе с вами... Вы возьмете меня? — Она ждала, что ее решимость, во всяком случае, произведет на него впечатление.

Но Федерико не удивился: конечно же, Лене надо было уходить — это подразумевалось теперь само собой.

— Мы только подождем Войцеха,— сказал он.

— Мне ужасно жалко тетю Олю, она такая старенькая... — Лена провела ладонью по щекам.— Что это со мной? Вся горю почему-то.

Федерико рывком встал и прошелся по комнате — большой, взлохмаченный, крупные космы черных волос осыпались на его лоб — и взял свою винтовку: он подумал, что дольше оставаться здесь ему не следует.

— Уже уходишь? — У Лены упал голос.— Но ведь мы еще не поговорили.

— Я буду близко, не бойся, малышка! — сказал он.

И вдруг она звонко по-русски задекламировала из своей лучшей роли — неволью ей пришло на память:

Прости, прости. Прощанье в час разлуки  
Несет с собою столько сладкой муки,  
Что до утра могла б прощаться я.

— Что это? Я же не понимаю.— Федерико насупился.

— Это Шекспир... Не уходи, Федерико! — сказала она, вновь перейдя на французский.— Еще совсем рано. Не уходи!

Она вскочила и точно так же, как делала это в своем выпускном спектакле, опустила руки и потупилась.

Да, мой Монтеки, да, я безрассудна,  
И ветреной меня ты вправе звать...—

тихо, будто застыдившись, прочла, а вернее, сыграла Лена.

Он опять ничего не понял, но восхитился — ее поза и голос показались ему совсем естественными.

— Ты славная девчонка,— сказал он,— ты сама как куколка!

Она приподнялась на цыпочки и положила пальцы ему на плечи.

— Поцелуй меня, Федерико! — сказала она.

Он нагнулся, темный, с затененным лицом, и она закрыла глаза, передавая себя в его руки. Осторожно коснувшись губами ее макушки, Федерико выпрямился. Он убоился того, что словно бы подстергало их, но чего делать не следовало, нет! — чего он не хотел сейчас. А она припала к нему своим невесомым телом и по-ребячьи посапывала, ее пальцы гладили его плечо. Не выпуская винтовки из руки, Федерико взирал сверху на эту светлую, пахнущую сеном копенку спутанных волос и не шевелился, чувствуя и неловкость, и досаду, и нежность.

Лена посмотрела снизу и проговорила едва слышно:

— Останься, Федерико!.. Останься со мной.

— Малышка,— пробормотал он.

Она уловила в его голосе колебание.

— Не бойся... ничего, ничего,— зашептала она.— Я тоже ничего не боюсь. Я люблю тебя... Возьми меня, если хочешь...— Это была фраза, вычитанная из какого-то романа и когда-то поразившая ее.

Внутренне Лена приготовилась к самопожертвованию... Федерико должен был у нее остаться — ему одному она должна была принадлежать. И не желание — она просто не знала еще, что такое желание,— но рисовавшийся ей образ любящей женщины, жертвующей собой, увлекал ее, а для Федерико ей поистине было не жаль и самой себя — ей хотелось отдарить его и за то, что он обещал ее убить.

Со смутным чувством, также не испытывая желания, Федерико кинул на диван винтовку и обеими руками прижал к себе это маленькое, послушное тело.

— Лампа... я погашу ее!..— вскрикнула Лена и задохнулась.

Раздеваясь в темноте, она все твердила про себя: «Так надо, надо... Федерико это надо... А я ничего не боюсь... И чего бояться? Так надо, так надо...» Но теперь, когда отступать было уже поздно, дрожь страха пробрала ее. И безотчетно торопясь, словно на приеме у врача, она пугалась в крючках, в петельках, а сбросив юбку, скользнувшую на пол, чуть не упала, споткнувшись. Слезы выступили на ее глазах, и она стала стыдиться себя: «Разревелась, дурочка! А Федерико это надо, и ты его любишь!.. Да, люблю, люблю!» — повторяла она как заклинание от всякой скверны.

Он осторожно сел на край постели, прогнувшейся под его тяжестью, и Лена вытянулась, вся напрягшись, как на операционном столе, пальцы ее вцепились в простыню.

Но затем она заставила себя выговорить:

— Я люблю тебя... А ты?.. Ты любишь?

— Да... люблю,— сдавленно сказал Федерико.

Он положил руку ей на груди, и она слабо застонала от томительного, скорее неприятного, вязкого ощущения.

...И она долго потом не открывала глаз, точно страшась вернуться в мир и в жизнь после того, что произошло. А Федерико совсем протрезвел и почувствовал сожаление — казалось, он совершил что-то противоестественное, был близок с ребенком. Пересиливая себя, он заговорил первый:

— Лена, ты... Ты славная девчонка... Ты не очень огорчайся... Рано или поздно это бывает со всеми... Я выкурю папироску, можно? — спросил он.

— Что?.. Как хочешь,— шепотом отозвалась Лена.

— Я зажгу лампу.

— Ах нет...— испугалась она, но тут же разрешила: — Зажги... Как хочешь.

И, заслышав шлепанье его босых пяток, она еще сильнее стиснула веки. Нашарив сбившуюся простыню, она натянула ее до подбородка так, что ноги ее обнажились до колен. И когда Федерико, зажег лампу, увидел эти тонкие ноги с узкими ступнями, глядящими в разные стороны, его охватило болезненное раскаяние. Бросив незажженную папироску, он вернулся к Лене и встал перед кроватью на колени.

— Малышка, сорвиголова!— воскликнул он.— Я-то не знал, что ты... А ты еще девчонка...

Он взял ее ступню в ладонь и прижался щекой к этой лепестково-гладкой коже на подъеме. Его нежность и жалость искали выхода,

но в лексиконе у него не было ласковых слов, и он хрипло бубнил одно:

— А ты еще девчонка... девчонка...

Лена открыла глаза и села на постели, опираясь на выпрямленную руку; простыня свалилась с ее плеча, открыв беленькие круглые груди. Не убирая своей ноги, она смотрела на Федерико, и в глазах ее появилось любопытство. А он завладел уже и другой ее ступней, целовал и хрипел:

— Девчонка, малышка!

Он переживал чувство, подобное отчаянию, не догадываясь, что это и есть любовь.

### 3

О чудесном появлении брата Ольга Александровна узнала от слепой Маши. И она никак не могла взять в толк, почему Митя не хочет, чтобы о его присутствии в родном доме знал кто-либо еще. С чердака он также не пожелал спуститься, и ей пришлось взбираться туда к нему.

— Говорит, что он инкогнито... Говорит, что так лучше для нас самих,— спешила все выложить Маша.— Просит, чтобы, кроме тебя, ни одна живая душа...

— Господи! Митя! — Ольга Александровна все порывалась ускорить шаг и останавливалась.— Митя! Он жив! Но чего он боится? Счастье-то!

— Я спросила: Митенька, откуда ты? Говорит: с неба,— и смеется.

— Смеется?! — не поверила Ольга Александровна.— Какой он, Маша? Он здоров?

— Ну, что я могу?.. Здоров, наверно...— сказала слепая.— Он хорошо пахнет, холодом, землей, как из ямы... И еще нафталином. Я просто теряюсь...

— О господи! Почему как из ямы? Что ты говоришь? Может быть, он?..— Ольга Александровна не досказала: у нее мелькнула мысль, что брат в бегах, бежал из заключения, где, может быть, он все время находился.

— Я тоже подумала это...— сказала слепая.

— Что?.. Что ты подумала?! — спросила Ольга Александровна.

— Я подумала то же самое... — Маша побоялась выговорить эту догадку вслух.

На лестнице она поднималась первая, боком, подав руку сестре, как бы втаскивала ее наверх.

— Надо Леночке сказать, разбудить...— спохватилась Ольга Александровна и остановилась на середине лестницы.— Ведь он не видел ее... никогда еще не видел!

— Он сказал, что не надо сейчас, что завтра,— ответила слепая.— Я просто ума не приложу... Нагнись, нагнись, здесь низко,— предупредила она сестру перед дверью на чердак.

— Митя!..— жалобно вскрикнула Ольга Александровна, увидев в полумраке черную фигуру, не в силах сделать еще шаг.

Обняв брата, она судорожно разрыдалась: от него действительно пахло сырой землей, как из могилы... Наконец все трое сели: он на продавленном чемодане — дедушкином кофре, сестры на маминой кушетке с дырявой штофной обивкой; керосиновый фонарь, поставленный на сундук, светил им. И Ольга Александровна растерянно всматривалась в немолодого уже, плотного сложения мужчину с тя-

желым, глинисто-бурым, в трещинах морщин лицом, проросшим черной щетиной, ища в нем родные, помнившиеся ей черты. Этот человек действительно был похож на ее младшего любимого брата, особенно когда улыбался и уголки его сизых мясистых губ приподнимались. Но признать в нем брата, которого она давно оплакала и похоронила, она в эти первые минуты затруднилась: было что-то пугающее в сходстве этого чужого сорокалетнего мужчины с ее Митей. Недоумение вызывала и его одежда: помятое, старомодное, с бархатным воротником пальто, наглухо застегнутое, и каракулевый потертый пирожок на голове, совсем такой же, какой носил покойный отец; а может быть, это и были вещи отца, которые брат нашел на чердаке?.. С непонятным ей самой замешательством Ольга Александровна расспрашивала:

— Митенька, где же ты был все время? Мы ничего не знали... Наводили справки, писали... И ничего, ничего!.. Боже, какое счастье, что ты жив! Но где ты был?..

А он, брат Митя, словно бы и не принимал всерьез ее расспросов — улыбался, отделяваясь ничего не значащими фразами:

— Бродил по свету, путешествовал... — И коротко похохатывал.

— Но как ты мог так долго молчать? Ни письма, ничего... И, значит, все кончилось хорошо? Тебя теперь оправдали? — Ольга Александровна сама невольно подсказывала ответы. — Слава богу!

— А мне везло, сестра, мне всегда везло... — ответил он.

— Слава богу, слава богу! — настойчиво повторяла она, убеждая самое себя. — Хоть бы ты папе написал, хоть бы одно слово.

— Отец не дожил, да!.. Жаль! Славный был старик, хотя и либерал. — И брат опять почему-то хохотнул. — Фейерверки любил, всякие там свечи, колеса.

— Ах, Митя, мы так настрадались, наплакались!.. — воскликнула Ольга Александровна. — Папа не мог утешиться... Неужели ты не понимал, что твое молчание жестоко!

— Весной к вам приходил человек от меня... Был у вас мой Лепорелло? — спросил он.

— Только напугал нас с Олей, — подала голос Маша. — Не сказал ничего определенного. Мы не знали, что подумать.

Улыбка держалась еще на лице Дмитрия Александровича, но он испытывал уже порядочную доuku. Решительно все в родных местах обмануло его, даже свидание с сестрами не доставило ни особенной радости, ни развлечения. Да и такой разве — на чердаке, среди древнего хлама — представлялась ему встреча со своей семьей, ради которой он предпринял эту опасную экспедицию!.. Не прошло и получаса, как он расцеловался со старшей сестрой, с Олей, единственной, кого он с удовольствием вспоминал во все годы, а ему уже не терпелось прервать их свидание. Прежней красавицы сестры, когда-то тревожившей его мальчишеское воображение, не было больше — была дряхлая не по летам старуха со свистящей одышкой, со слоновьими ногами. А ее дотошное любопытство — почему, да как, да откуда ты — вызывало раздражение, не мог же он сразу все о себе сказать! Эти две старушки могли его выдать даже по неразумию, случайно. И затем, ему вообще было не до разговоров: он охолодал, устал и ему хотелось есть, хотелось горячего чаю, а еще лучше коньяка — вот в чем он действительно нуждался!

— Митя, прости, возможно, я ошибаюсь, — извиняющимся тоном заговорила старшая сестра, — но мне кажется... Не обижайся, ради бога! Мне кажется, ты чего-то недоговариваешь. Прости меня, пожалуйста!



— Ну что ты,— возразил Дмитрий Александрович.— Какие у меня могут быть от вас секреты? Вы же мои дорогие сестры.

Но Оля все не унималась:

— Мы тебе самые близкие. А ты... прости, Митенька, ты что-то скрываешь от нас.

— Да, да! — запела Маша.— Ты нам не доверяешь, что ли?..

— Ну, пошли-поехали: доверяешь, не доверяешь!..— грубо оборвал он ее.— Я себе самому не всегда доверяю.

Досада разбирала Дмитрия Александровича, такой нелепой, такой обидно ненужной показалась ему вся ситуация. Чего, в самом деле, вяжутся к нему эти старые убогие женщины?! Больше всего в жизни, больше пули, пожалуй, страшился он сожалений и оправданий. А получилось, что именно за ними явился он, пробившись через столько преград...

— Не надо, не сердись! — испуганно заговорила сестра Оля.— Я хочу только, чтобы ты знал...

— Ну, что еще? — бросил он резко.

— Я только... Это счастье для нас, что ты вернулся. В такой ужасный день — и вдруг ты... Мне даже как-то спокойнее стало.

Ольга Александровна всем грузным телом потянулась с кушетки к брату, ее маленькие кисти сложились одна в другую, и она стиснула их.

— Ведь нет у нас никого роднее... И ты можешь ничего не говорить... Ты с нами, ты живой, и нам ничего больше не надо!

Ольга Александровна винила уже себя за черствость, за свое недоверие. Мысль, только сейчас пришедшая к ней, и ужаснула и устыдила ее: какой же, должно быть, тяжелейшей жизнью жил ее брат — в тюрьме, в Сибири, может быть? — если он так изменился, так огрубел. А она, вместо того чтобы смягчить его сердце, стала тут же дожимать его своим допросом, точно следователь.

— Поверь нам! Мы с Машей молились о тебе... только мы двое... Не отворачивайся от нас! Что мы можем сделать для тебя...— упрашивала она.— Боже мой, мы так бессильны! Вокруг такой ужас!.. В чем твоя самая большая нужда теперь?

— В стакане горячего чая,— сказал Дмитрий Александрович.— Ну, а если найдется что-нибудь покрепче...

— Сейчас, сейчас,— спохватилась старшая сестра.— Что же мы, в самом деле?..

И они обе, и старшая и слепая, принялись в два голоса уговаривать его спуститься с чердака в комнаты. Конечно, они и сюда могли принести поесть и выпить, но внизу, слов нет, это было бы приятнее, там нет такой пыли и можно было по-человечески отдохнуть, поспать — так логично рассуждала Оля.

Дмитрий Александрович смягчился и дал себя убедить. Собственно, он и наверху не был спокоен: в любую минуту кто-нибудь, кто намеревался еще воевать, мог заглянуть сюда, и тогда его присутствие на чердаке объяснить было бы нелегко. Возможно даже, в комнатах сестер он находился бы в большей безопасности.

Спуск с чердака прошел благополучно — в сенях им никто не встретился, а какая-то молодая женщина в кухне только скользнула по постороннему человеку утомленным взглядом.

— Все ходите, ходите...— сказала она сестрам.— Поспали бы, пока не стреляют.

Опустевшим коридором они, торопясь, прошли в комнату Маши — так сочла за лучшее Оля. И очутившись в тихой келье, уставленной вазами со всевозможными растениями — цветы были постоянной, еще помнившейся Дмитрию Александровичу страстью бедной Ма-

ши,— он почувствовал себя под защитой семейных богов. Кому действительно придет в голову искать его в этой непорочной обители?! Можно было, как после долгого бега, перевести дыхание.

Его усадили в кресло — Дмитрий Александрович помнил и это кресло, глубокое, черной кожи, из отцовского кабинета; он расстегнул воротник пальто, позаимствованного им на чердаке из семейного гардероба и скрывавшего его армейскую гимнастерку, вытянул по полу ноги и, расслабившись и подобрев, наблюдал за суетой сестер. Пожалуй, все же он был к ним не совсем справедлив. И его осенила мысль: «Это и есть голос крови»... Сколько он о нем, об этом таинственном голосе, слышался в нынешней Германии! — люди из ведомства доктора Геббельса не даром ели свой хлеб. Не было в третьем рейхе такого газетного листка, где бы на все лады не упоминалось: кровь, почва, раса. И что же, как не голос крови, заставляло этих двух старух — в сущности, совсем чужих после стольких лет разлуки! — из кожи лезть вон, чтобы только собрать ему угощение, приготовить ночлег? Сестра Маша раскрыла для него свою постель, застелила свежую простыню, взбила подушку — она, надо сказать, ловко управлялась, несмотря на слепоту.

— А обо мне ты не беспокойся, я себе местечко найду,— выводила она ангельской фистулой.— Я на диванчике, а тебе надо выспаться.

И кажется, все, что только имелось в этом доме лучшего из еды — не слишком богато, впрочем,— поставила перед братом Оля: яйца, картошку, сало, банку варенья. Принесла она и водку в зеленом отцовском штофе...

Дмитрий Александрович насыщался, а за едой и сам проявил к сестрам родственный интерес, коротко о чем-нибудь спрашивал:

— Как вы-то жили тут? Доставалось вам от властей?

И кивал, жуя и слушая пространные ответы.

— Жили, работали... Всякое бывало. Лена училась, она молодец, славная девочка, с добрым сердцем. Нам она как дочь... Училась отлично, на одни пятерки. Особенно хорошо шла по гуманитарным предметам...

Это ему поведала Оля, а Маша добавила:

— Она у нас артистка. Все говорят, что у нее большой сценический талант.

— Красивая она? — невнятно, с полным ртом, осведомился Дмитрий Александрович.

— Миловидная, ничего, завтра сам увидишь,— сказала Оля.

— Хорошенькая, хорошенькая, очень,— поправила ее Маша.— Я знаю! Я Лену так слышу — красивой!

— Дом у вас не забрали, вот что поразительно,— сказал Дмитрий Александрович.

— Ну, теперь это уже не наш дом,— ответила Оля.— Мы только живем здесь.

— Чей же он? К кому перешел?

— Теперь это Дом учителя, районный учительский клуб. А я заведующая Домом. Вот так, Митенька! — Она улыбнулась, но словно бы виновато.— И ты знаешь, у нас был неплохой Дом, все любили его.

— Хорошо, что вы сохранили дом,— сказал Дмитрий Александрович.— Это вам зачтется.

— Ах, Митя, кем зачтется, когда зачтется? — Она не поняла, что, собственно, брат имел в виду.— Сегодня мы еще живы все, а что завтра? Завтра, может быть, здесь будут немцы... Если б дело было только во мне, я бы не тронулась с места, мне уже слишком трудно. Но надо увезти Лену. Удастся ли, не знаю.

— И Лену не надо увозить, пересидите все в погребе,— сказал Дмитрий Александрович.

Он отвалился от еды и удовлетворенно вздохнул.

— Спасибо, дорогие швестерн<sup>7</sup>! — выскочило у него немецкое слово.— Мой дом — моя крепость... А уезжать вам зачем? Не надо вам уезжать. Погреб у нас просторный, я помню.

— Ты считаешь, немцев не пустят дальше, остановят?.. — спросила Оля.— Ты уверен? Но как ты можешь быть уверен?

Он вперился в нее благодушно-сытым взглядом. Вероятно, ему следовало все ж таки расспросить сестер, что они думают об этой войне и вообще что думают о многих других вещах. Но в голове его уже стоял приятный туман, хотелось растянуться, лечь... И даже если его сестры окажутся патриотками — чего не случилось с русскими интеллигентами! — какое это имело значение! При немцах, которые завтра придут сюда, эти дворянские старушки усвоят с его помощью новые взгляды — ничего другого им не останется.

— Сидите дома, скоро тут тихо будет, совсем тихо... — сказал он.

...В кухне, куда Ольга Александровна отнесла пустые тарелки, все еще хлопотала Настя; посуду от ужина она всю перемыла, чугуны вычистила и теперь прибиралась. В этом не было уже, наверно, никакого смысла, но Настя оставалась верной чему-то большему, чем смысл,— она привыкла к совершенному порядку в своих владениях.

— Ольга Александровна, вы послушайте только, что эти природы вытворяют,— сказала она.— Ваня вам расскажет.

Настя была не одна: у стола курил и занимал ее разговорами интендантский шофер Кулик.

Вышла в кухню и Маша, встала тенью за старшей сестрой, и Кулик с полной охотой еще раз поведал о диверсии утром на мосту, о сгоревших там и утонувших людях и о возмездии, постигшем диверсантов. Настя, информированная уже в подробностях, управляла его рассказом:

— Ты постой, ты скажи, сколько их было, душегубов. И всего-то двое на мосту...

— На мосту точно двое,— подтвердил Кулик.— А в лесу истребители подняли троих. В одних, извиняюсь, исподних спасались, сволочи. Побросали все свои манатки, но не спаслись.

— Задержали их? — спросила Ольга Александровна.

— С двоими рассчитались... И знаете кто? — Кулик развеселился.— Вы его знаете, товарищ заведующая! Наш ополченец, профессор из Москвы. Аккуратно так пометил обоих — по пуле в голову каждому.

— Виктор Константинович, литературовед!.. О! Подумать только! — пропела слепая.— Он не производил впечатления...

— Чистая работа,— сказал Кулик.— Не скажу, какой он там по своему предмету, но по стрельбе из трехлинейки — академик.

— Ты лучше скажи, как вы третьего упустили,— перебила Настя.

— Третий ушел,— сказал, будто повинился, Кулик.— Двоих профессор прищучил, а третий, который командиром у них был, ушел. Туман пал, он и воспользовался. Стреляная, видно, птица...

И Кулик пересказал дальше то, что слышал от истребителей... Вблизи города в лесу скрывались, а может, и сейчас скрываются, если их еще не перестреляли, немецкие парашютисты. Одеты в красноармейскую форму, они нападают на одинокие машины, устраивают засады, убивают на дорогах стариков, женщин, «сеют в тылу пани-

<sup>7</sup> Сестры.

ку»; взрыв и пожар на мосту, по которому шел санитарный обоз,— дело их рук. А командует ими одетый в форму советского капитана не то немец, не то русский предатель...

— Чисто по-нашему говорит! — сообщил Кулик.— Один истребитель раненый докладывал: чешет, говорит, паскуда, по-нашему, как по-своему.

— Ума можно лишиться,— сказала Настя.— Подходит к тебе наш капитан, ты ничего такого не думаешь, а он в тебя из пистолета...

— По-русски хорошо говорит? — переспросила тихим голосом Ольга Александровна и почувствовала, как ее плеча легонько коснулась сзади Маша.

— Вполне допустимо,— сказал Кулик.— Какой-нибудь недобитый белогвардеец.

...Когда Ольга Александровна и Маша вернулись к брату, он уже спал. Полулежал одетый, в пальто на Машинной постели, спустив на пол ноги; один сапог валялся на полу, второй был еще на ноге — сон свалил брата раньше, чем он разделся. И Ольга Александровна растерялась; она шла сюда с намерением задать Дмитрию еще только один вопрос: кто ты? — и получить сейчас же ответ. Но вот брат спал, и это не такое уж серьезное препятствие ее остановило — в глубине души она даже обрадовалась, так как страшилась того, что могла услышать... Ольга Александровна всячески отгоняла от себя мысль о том, что командовал немецкими убийцами он, ее брат, ее мальчик Митя, но она уже подумала об этом.

С Машей она не обмолвилась ни словом о своей догадке, та тоже молчала о своей и только приговаривала шепотом, пока они шли по коридору:

— Ради всего святого!.. Помни о своем сердце... Тебе нельзя... Ради всего святого!.. — И поддерживала старшую сестру за локоть...

А Ольга Александровна шла неожиданно легко, словно к ней вернулись в эти минуты все ее силы.

— Он спит? — прошептала полувопросительно Маша.

— Что же теперь? — подумала вслух Ольга Александровна.

Она присела на край диванчика, рядом села Маша и тесно прижалась, положила свою холодную ладонь на ее руку.

— Я слышу, как бьется твое сердечко,— сказала слепая.— Ужасно часто.

Ольга Александровна с отчаянным напряжением вглядывалась в спящего брата — темный профиль четко выделялся на белизне подушки. И в профиль это был вылитый отец — тот же короткий прямой синельниковский нос, слегка выпяченные полные губы. Невозможно было поверить, что эти черты родного человека принадлежали убийце, то есть не человеку. С постели свешивалась рука, испачканная в земле, в чердачной пыли, с набившейся под ногти чернотой, но... рука как рука, хорошей формы, человеческая — да, вполне человеческая! И было непостижимо, что эта рука убивала, а может быть, мучила, пытала...

— Он был маленький... — рассеянно проговорила Ольга Александровна и не кончила фразы.— Ты помнишь?

— Оленька, умоляю тебя!.. — жалобно сказала слепая.

И обе умякли и не шевелились... Брат спал совсем неслышно, ни звука не вылетало из его открытого рта с накипевшей в уголках слюной, ритмично поднималась и опускалась грудь — спал глубоким, покойным сном. И самый этот сон наводил на сестер оцепенение ужаса, лишал воли.

— Надо же его разбудить,— сказала Ольга Александровна, но не тронулась с места.

— Ах нет, подожди, не надо!

И Маша сжала пальцы сестры, удерживая ее.

Вдруг, точно обеспокоенный их неотрывными взглядами, брат задвигался, повернулся на бок, одна его нога приподнялась и повисла над полом. А на его груди разошлись лацканы пальто и стал виден воротник гимнастерки, бывшей на нем. Открылись и петлицы на воротнике с красненькими прямоугольничками, с одной шпалой на каждой,— пальто было надето на командирскую, капитанскую форму. И последняя слабая надежда покинула Ольгу Александровну.

— Боже, ты еще и это на нас...—выговорила она как бы спокойно, раздумчиво и поднялась.

— Подожди! — выдохнула Маша, но уже не пыталась удерживать ее.

Брат пробудился сразу — только Ольга Александровна нагнулась над ним и негромко позвала:

— Митя!

— Что? Что?..—открыв глаза, давясь слюной, невнятно спросил он.

— Вставай, Митя! — сказала Ольга Александровна.

Он тут же рывком сел на постели, озираясь, рука его нырнула в карман пальто и вынырнула с револьвером.

— Без паники...— Он откашлялся.— Без паники, сестрицы!

— Послушай, Митя,— медленно начала Ольга Александровна.— Это правда? Ты с ними?.. Ты у них?..

Она сама удивилась, как безучастно прозвучал ее голос.

— Да что такое?..— нетерпеливо спросил он.— Где? Что?.. Да говорите же!..

— Это правда, что ты служишь им? — продолжала Ольга Александровна тем же отрешенным голосом.

— А... ты вот о чем? Ну, а если...— Взвываясь было за сапог, Дмитрий Александрович вновь кинул его на пол, он почувствовал облегчение.— Я уж подумал...

И его перебил прерывистый голос Маши:

— Митя, что ты говоришь? Господь с тобой!

— Помяни меня, Маша, в своих молитвах,— сказал он, и трещинки-морщинки на его глинистом лице опять сложились в улыбку.— Ну, а если даже я служу у них?

— Как же ты можешь? Ты русский,— очень тихо сказала Ольга Александровна.

— Завтра разберемся, дорогие патриотки, завтра.— Он протяжно, со стоном зевнул.— Дайте поспать, мне надо хотя бы два-три часа...

Ольга Александровна постояла словно в задумчивости.

— Пойдем, Дмитрий! — сказала она.

— Это куда же?

— В доме у нас солдаты ночуют, они тебя отведут в штаб.. Пойдем,— повторила она.

— Да ты с ума сошла! — Он беззлобно изумился.

— Тебя помилуют, если ты сам придешь,— просительно сказала Маша.— Послушайся, Митя.

— Вы тут с ума посходили, идиотки! — Он был только изумлен.

— Нет, это что-то с тобой...— сказала Ольга Александровна.

Безмерная тяжесть вдруг обрушилась на нее, придавила, и как мольба о пощаде раздался ее вопль:

— О-о!.. Митя, убей себя!

Дмитрий Александрович соскочил с постели.

— Тише ты, дура! — сказал он.

Но и утишив голос, будто послушавшись, она затвердила:

— Убей себя! Убей!.. Как же ты мог!.. Там, на мосту, ты убивал нас!.. Ты стрелял в нас... в отца, в маму! Убей себя!

— Прекрати истерику,— сказал он.— Вам тут набили голову чепухой... Ты послушай меня.

Она замолчала. И он долго еще говорил, поглядывая то на дверь, то на зашторенное окно,— говорил о богатстве и почете, ожидающих все их семейство, о блестящем будущем своей дочери, которая поедет в Берлин, в Париж, о том, что немцы страшны только коммунистам и евреям... И Ольга Александровна слушала и кивала, будто соглашаясь. Но как только он замолчал, она сказала:

— Пойдем же, Митя!

Он укоризненно — вот какая упрямая! — покачал головой.

— Если не пойдешь, я позову на помощь,— сказала Ольга Александровна.

Тяжело шаркая, она подошла к двери и взялась за ручку.

— Митя, послушайся! — тоненько вскрикнула Маша.

— Постой, постой,— сказал он, зашпешив.— Не дури, Оля!

— Я закричу... — утомленно сказала она.

Он помедлил секунду, потом другим, жестким тоном командовал:

— Отойди от двери!

Ольга Александровна, не двинувшись, вздохнула как бы с сожалением.

Свет лампы, прикрытой абажуром, освещал только ее грузную фигуру в старой вязаной кофте с отвисшими карманами, домашние суконные туфли на вспухших ступнях, оставляя в тени лицо: слабо светилось над ее головой облако седины.

— Я жду, Митя! — негромко сказала она.

«А что, если и ее...» — пришла Дмитрию Александровичу мысль, и, как в давние времена, его пронизало дразнящее, острейшее ощущение...

— Назад, Ольга! — ровным голосом командовал он.

Ольга Александровна словно бы не заметила револьвера в его руке.

— Я сейчас закричу,— сказала она.

И он тут же выстрелил... Ольга Александровна откинулась назад, стукнулась затылком о дверь и тяжело сползла по двери на пол. Пуля ударила ее в середину лба, и она умерла мгновенно.

В дыму, наполнившем комнату, Дмитрий Александрович бросился к двери, толкнул ее и, переступив через тело сестры, побежал, хромая, в одном сапоге по коридору... Может быть, он и успел бы выскочить во двор, если б не Кулик, вставший перед ним на пороге кухни. Вскинув револьвер, Дмитрий Александрович самую малость помешкал, вспомнив, что у него остался только один патрон. И он вновь нажал на спуск в тот момент, когда Кулик, кинувшийся вперед, ударил его снизу по руке. Его последняя пуля ушла в потолок, и они оба упали, сцепившись. Настя закричала, схватила со стола кухонный нож. А по коридору топали уже разбуженные люди.

Когда Дмитрия Александровича связали, он, задыхающийся, с разбитой в кровь скулой, рассмеялся каким-то клокошущим смехом. И Кулик сунул ему в рот кляп — мокрую тряпку, которой Настя вытирала стол.

— Весело тебе, гад! — сказал Кулик.

Сразу же после ужина Самозуд со спутниками — новым начальником штаба Аристарховым и с Войцехом Осенкой, взятым для свя-

зи,—отправился к себе в полк. То была малоприятная поездка — под ледяным дождем, в крошечной тьме. И можно было только дивиться, как возница Кирилл Леонтьев — правда, коренной местный житель — находил верное направление, да еще по кружной дороге, в этом перевозданном смещении воды, зыбкой тверди и неожиданных, будто плававших в хаосе предметов: деревьев, пней, заборов, изб.

В полк добрались не так скоро — было уже около полуночи, — но Самосуд поднял на ноги и вызвал к себе всех командиров. После совещания с ними оставалось до подъема совсем немного, часа четыре, и надо было обязательно поспать, если только ему, Самосуду, командиру полка, идущего завтра в бой, удастся уснуть; хотелось еще стащить намокшие сапоги и посушить портянки... Но прежде чем лечь, Сергей Алексеевич прошел в клубный зал лесхоза, отведенный ребятам третьей роты. Теперь он даже сердился на них, как сердятся на свое постоянное, неутрачиваемое беспокойство: конечно же, он чувствовал бы себя легче, свободнее, если б его ребят не было здесь с ним. И, сердясь на то, что уже завтра, а точнее сегодня, его ребята тоже пойдут в огонь, Самосуд открыл к ним дверь...

В темном зале, этой случайной казарме третьей роты, спали все, спал и дневальный, подперевший рукой голову; и спали, как спят в юности: беззвучно, отрешенно, безгрешно; слышались лишь посапыванье, чмоканье, легкий вздох. Огонек коптилки на столике дневального чуть колебался от его дыхания, и воздушный шарик света тихо покачивался у раздумявшегося лица с толстоватыми щеками. Сергей Алексеевич, однако, лишь сильнее затосковал: в тихом мраке, наполнявшем зал, ему почудилась нависшая, как туча, угроза... Вообще-то он был реалистом, не склонным к фантазированию, и он подавил в себе вспыхнувшее желание немедленно поднять своих ребят, чтобы увести из-под этой грозовой тучи... Притронувшись к руке дневального, он разбудил его и напомнил, что спать на дневальстве не полагается. Дневальный — Саша Потапов, добрая душа, этакий толстячок, увалень, любимец всего класса, — сонно улыбаясь, слушал выговор, не чувствуя, должно быть, за собой особенной вины. И Сергей Алексеевич, оборвав на полуслове, вышел...

## Пятнадцатая глава

### БОЙ. ВСЕ, КТО МОЖЕТ СТРЕЛЯТЬ..

#### 1

Дождь к утру перестал, но небо было закрыто облаками и рассвет наступил с опозданием. С востока, уже не с запада, а из тыла, доносились глухие орудийные вздохи — там и ночью не ослабевал бой.

Первым у Дома учителя увидел немцев Истомин — это произошло на исходе его предутренних караульных часов. Только стало светлеть, когда на перекрестке в начале улицы обозначилось несколько расплывчатых теней; держась ближе к заборам, тени бесшумно приближались... Но и начав различать немецкие глубокие каски, Истомин не сразу уразумел, что перед ним враги, — таким неожиданным было их тихое возникновение. А те просто не заметили его, смотревшего на улицу сквозь щель в неплотно притворенных воротах.

В затылок друг другу они прошли мимо, осторожно ступая в ползутопленной траве, — прошли и исчезли за поворотом; их было пятеро, автоматчиков. И Виктор Константинович с заколотившимся сердцем побежал будить Веретенникова. А когда тот объявил трево-

гу и все уже были на ногах, в доме задребезжали уцелевшие стекла: возобновился бой на южной окраине города, на большаке — немцы начали там с огневого налета.

Веретенников, при всей своей боевой неопытности, рассудил правильно: Истомин видел немецких разведчиков — это означало, что теперь надо было ждать атаки и здесь, со стороны Красносельской Дачи. Немцы намеревались, видимо, ударить в тыл ополченцам, оборонявшимся на большаке... И техник-интендант 2-го ранга по мгновенному побуждению взял здесь на себя командование. Он отправил одного из ночевавших в доме бойцов с донесением к командиру ополченцев, а сам с теми, кто еще находился в доме, стал готовиться к бою.

Он не успел, да и не пытался рассчитать все «за» и «против» — вероятно, слишком уж несоразмерно выглядело это «за» и «против»: горсточка случайно оказавшихся в одном месте людей против регулярной части. Но Веретенников действовал сейчас не по расчету, по вдохновению, он и внешне изменился; Истому казалось, что в черненьких глазах маленького техника-интенданта, отдававшего звенящим тенорком приказы, горел огонек безумия. Однако и сам Виктор Константинович с какою-то заразной готовностью этим приказам подчинился.

— Занимаем все круговую оборону! — объявил Веретенников сбежавшимся к нему жильцам и постояльцам. — Задача: остановить противника и держаться до прихода подкрепления.

Он лишь понаслышке знал, что это такое — круговая оборона, и совсем не знал, когда придет подкрепление и придет ли оно вообще. Но ему было с безжалостностью понятно: если немцам удастся ударить в спину ополченцам, смять их и прорваться к переправе, то всем — и там, на реке, и тут — будет один конец: смерть или плен, то есть смерть с небольшой отсрочкой. Ну и, конечно, нестерпимо было бы видеть, как те богатства, которые он, Веретенников, раздобыл для своей дивизии — бочки сливочного масла, мешки сушеного картофеля, кадки с медом — попадут в загребущие руки фрицев.

— Есть вопросы?.. — осведомился он.

И обвел взглядом эту пеструю, встрепанную, полуодетую, безмолвную кучку людей: мужчин с помятыми во сне лицами; хозяйскую племянницу Лену с красными от слез веками (ночью убили ее тетку), сандружинницу из ополченцев, пани Ирену, торопливо закалывавшую волосы. Пулеметчик с замотанной шеей ступил вперед, желая что-то сказать...

— У вас что? — спросил, не дожидаясь, Веретенников. — Замечу, что книги жалоб и предложений у меня в данное время нет... Ага, вопросов тоже нет... Отрадно! — заключил он.

Маленький техник-интендант ощущал себя увеличившимся в росте и раздавшимся в плечах — с мальчишеских лет еще смутно, как в полусне предчувствовал он эту свою минуту. И ее ожидание жило в нем, чем бы он ни занимался — продажей хлебобулочных изделий или другими текущими, совсем не воинственными делами. Сегодня, сейчас эта его главная минута наступила — Веретенников был как никогда раньше самим собой. И словно бы ликование — гневное, хмельное — овладело его душой! А самое удивительное было в том, что и людям, внимавшим Веретенникову, он представлялся сейчас единственно имеющим право приказывать. Молодая женщина, прибежавшая вчера из Спасского, смотрела на него с упованием.

— Кормящую мать, а также граждан сверхпризывного возраста (это относилось к погорельцам) попрошу пройти в укрытие в саду.



И находиться там, в погребке, впредь до отбоя. Всем, имеющим оружие, остаться при мне! — скомандовал он.

Его взгляд нашел Лену, и он, смягчившись, проговорил:

— Не смею приказывать, однако же убедительно прошу — в укрытие. Искренне сочувствую!

Лена, заплаканная, бледная, будто оробевшая, оглянулась на Федерико. Тот кивнул ей; он выглядел злым, но словно бы просветленным, ясным.

А дальше Веретенников, действуя также по вдохновению, разместил людей по огневым точкам, то есть по комнатам и окнам. Пулеметчиков он посадил на главном направлении, в угловой общей спальне, откуда из окна можно было держать под обстрелом и улицу и перекресток.

— Меняйте огневую позицию — туда-сюда, по обстановке, — распорядился он.

Истомина Веретенников отправил на чердак.

— Рассчитываю на ваш снайперский глаз. Ведите круговое наблюдение. Желаю успеха, — напутствовал он Виктора Константиновича.

И тот послушно закарабкался со своей винтовкой наверх; за ним увязался и Гриша.

— Дядька, я вам дапомогать буду, — поднимаясь сзади по лестнице, пообещал мальчик. — На усе староны доглядать будем.

Кулик, Федерико и Барановский примостились у окон по заднему фасаду дома — кто на коленях, кто встав сбоку; пограничники-связисты и еще двое бойцов устроились на веранде и в зале. А для своего командного пункта Веретенников выбрал библиотеку — здесь он был примерно в центре всей позиции; вспомнив, что ему понадобится связной, он назначил на эту должность шофера Кобякова.

Тем временем сандружинница из ополченского батальона смыла со стола в зале вчерашнюю кровь — готовилась к приему новых раненых, а Настя поставила в кухне кипятить воду. Лена притащила охапку чистых простынь и принялась с пани Иреной рвать их на длинные полоски бинтов. Все молчали, спешили, подчиняясь одной общей необходимости, не оставлявшей места ни для размышлений, ни для жалоб...

И эта торопливая работа еще не окончилась, когда наверху, на чердаке, ударил выстрел — Истомин открыл огонь...

На этот раз первым обнаружил врагов Гриша. Мальчик был совсем простужен, чихал, сопел, узкое личико его блестело испариной, но видел он своими круглыми глазами по-птичьему зорко. Обзору из торцового окна, у которого он топтался подле Истомина, мешали крыши построек, стоявших ближе к перекрестку — чердак Дома учителя почти не возвышался над ними, — лишь вдалеке открывался кусок черного, распаханного под озимь поля и пустынной дороги, отливавшей ртутным блеском; дорога пропадала в лесу. И ни Истомин, ни Гриша не углядели, откуда немцы вышли к самой окраине. Вдруг Гриша схватил своей горячеей, с отросшими, царапающими ногтями рукой руку Истомина.

— Дядька, побачьте! — выдохнул он.

Внизу в соседнем саду между голых ветвей мелькали зеленые тусклые колпаки с рожками — каски. И Виктор Константинович, страшно заторопившись, сунул в окно винтовку, приложился и выпалил — точно так же, как палил вчера. Но сейчас до цели было гораздо дальше, каски двигались, и он ни в одну не попал. Вторая пуля, выпущенная, как и первая, впопыхах, тоже бесследно куда-то унеслась. Правда, среди зеленоватых колпаков произошло суетливое движение, они рассыпались, и их стало как будто меньше.

— Эх! — над ухом Истомина крякнул Гриша. — За молочком пошли.

— Что?.. За каким молочком?.. — не понял Виктор Константинович.

— Пульки, кажу, за молочком пошли, — объяснил Гриша.

— Иди отсюда, — отрывисто буркнул Виктор Константинович, — нечего тебе...

Он недоговорил: между веток блеснуло желтое пламя и над их головами грубо, дробно загремело — пули пробиты железный козырек над окном, тесовую обшивку на торце и ушли в чердачные балки; запахло сухой подогретой пылью.

— Яны так само, як невученые, — сказал Гриша, — так само мажуть...

— Иди, иди, — не помня себя, в тоске, в спешке повторял Истомин.

Взгляд его задержался на одной из оставшихся в саду касок — эта, казалось, висела на стволе дерева, фигуры солдата под нею не было видно. И Виктор Константинович как по наитию взял чуть ниже каски... Сквозь дымок выстрела он разглядел, что она словно бы сорвалась с дерева, а тело солдата ткнулось в кучу листьев и стало перекатываться.

— А!.. Ты видел?! — закричал он. — Видел, Гриша?!

В ту же секунду оба они растянулись на песке, что был насыпан здесь между балок: по крыше опять оглушающе загремело. Виктор Константинович подождал, пока не перестало греметь.

— Теперь беги, быстро! — крикнул он. — Беги, Гриша, поднимай тревогу!

Мальчик, однако, не отозвался, даже не шевельнулся, лежа ничком, спрятав лицо в песке. Он не поднялся и когда Истомин подтолкнул его, только откатнулась набок голова. А на этой стриженной плюшевой голове над ухом Истомин увидел крохотное темное отверстие и лишь несколько красных капелек... Он машинально сунул руку в карман за платком, чтобы вытереть капельки; не смея поверить в то, что произошло, в страхе, бормоча бессмысленно: «Сейчас, сейчас...» — он осторожно перевернул тело Гриши на спину, приложил ухо к узенькой груди — там было совсем тихо, словно бы пусто. И поняв, что мальчику ничего уже не надо, Виктор Константинович стал неумело, безобразно ругаться — впервые так в своей жизни. Ругаясь, он дозарядил винтовку и опять подполз на коленях к окну.

Теперь стрелял уже весь дом. Будто молотком по железу, бешено колотил внизу пулемет, хлопали вразброд винтовки и пистолеты. Истомин, тщательно прицелившись, свалил еще одну каску в сад; сад опустел, и он перебрался к другому окну, занавешенному ковром. Отведя винтовкой ковер, он обрадовался, точно увидел старых знакомых: на изгибе улицы стояли утренние автоматчики, возвращавшиеся из разведки... И Виктор Константинович мог бы поклясться, что одного из них он тоже уложил — наповал, головой в дождевое озерцо! Другие мигом исчезли — это принесло ему некоторое облегчение.

А в зале на кушетке сидели все вместе женщины: Лена, Настя, пани Ирена и сандружинница, которую тоже звали Настей. Пани Ирена молча однообразно поглаживала Лену по плечу, ее сочувствие было неподдельным, но и мысль о муже не покидала ее, она прислушивалась. И когда стрельба несколько утихла, она побежала на другую половину дома. Пан Юзеф, странно неподвижный, точно одревеневший, сидел с револьвером в руке у раскрытого окна в комнате Ольги Александровны и не сразу медленно повернулся к жене.

— Я посижу немного с тобой,— сказала пани Ирена, улыбнувшись через силу.

— Не надо! — попросил он.— Иди, иди к женщинам! Я сам...

Он принял прежнее положение у окна, но затем вновь повернулся:

— Ты видишь, я ничего... я в порядке,— он скривился, тоже пытаясь улыбнуться,— я уже стрелял...

Пани Ирена обняла его голову, поцеловала и отступила, не сводя с него глаз; за дверью, не сдержавшись, она всхлипнула, прислонившись к стене.

А Лена время от времени спохватывалась и совала руку в карман своего плащика, проверяя, лежит ли там ее наган. Настя силилась держаться, сидела прямо, со стиснутыми зубами, но съеживалась и закрывала глаза, когда стрельба становилась чаще. И Настя другая, сандружинница, громко говорила:

— Ничего, сестрички, ничего, отобьемся!

Самая бывалая, она считала себя обязанной подбадривать других.

Одиноко в своей келье у тела сестры сидела слепая Мария Александровна...

В ту минуту убийства у нее, оглушенной выстрелом, помрачилось сознание: она заметалась, натываясь на стены, на горшки с цветами, споткнулась и опустилась подле сестры на пол. Так ее и нашли сидящей на полу; слепая очень тихо окликала:

— Оля! Оленька!

Она так ослабела, что ее совестились расспрашивать,— едва шевелила губами. А на вопросы, которые ей все-таки задал Веретенников «для выяснения личности преступника», как он выразился, она лепетала одно и то же:

— Простите!.. Это я виновата... Простите меня! — И, позабывая об убийце, она просила: — Доктора скорее надо... Оленька, наверно, ушиблась. Ах, господи!.. Тут же близко госпиталь... А где Леночка?

— Я... Я здесь... — невнятно отзывалась Лена.

Стоя на коленях, беспомощная, растерянная, она, словно ожидая чуда, вглядывалась в родное лицо с открытыми, еще не остекленевшими глазами.

Затем ее пронзило раскаяние... Лене вдруг представилось, что тетка умирала в тот как раз момент, когда она, Лена, грешная, испорченная, тут же, совсем рядом была с Федерико. Она в голос, захлеб разрыдалась. Этот плач о матери — а ею и была для нее тетя Оля — смешался с ее плачем о самой себе: Лене померещилось, что и все вокруг знают об ее ужасном эгоизме, знают, что она уже не такая, какой была, и все осуждают ее.

В хмуре молчания, со своей полуавтоматической винтовкой на плече, взлохмаченный и босой, стоял за ее спиной Федерико, будто охраняя ее от недобрых взглядов. Но Лене смутно хотелось, чтобы и он не стоял сейчас так близко к ней. И страдая и отчаиваясь, она какими-то обрывками фраз: «...прости... я плохая, но прости... я виновата, но прости», молила простить их обоих — она уже не отделяла себя и Федерико.

В изнеможении она спросила у Марии Александровны:

— Но почему он выстрелил? Кто он? Как он попал сюда, к тебе?

— Это я виновата... Я первая... — все повторяла слепая. — Он был голоден, и Оля дала ему поесть. А где он? Ушел? Убежал?..

И хотя сознание Марии Александровны замыкалось перед ужасом случившегося, одно она все же понимала, скорее чувствовала: Лена не знает, что здесь был ее отец, и никогда, ни при каких обстоятельствах она не должна об этом узнать.

Все остальное в мыслях Марии Александровны перепуталось, реальное отступило перед нереальным. И она просто не в состоянии была постигнуть, что сестры Оли, ее заступницы в зрячем мире, больше нет, что поводырь покинул ее. Присев в изголовье кровати, на которую положили тело сестры, она упрямо прислушивалась, стараясь уловить ее дыхание... Близкая стрельба нестерпимо мешала Марии Александровне, ей чудилось — это некие злобные существа носятся вокруг, громяхая и лязгая доспехами, она отмахивалась от них, как от мух, гнала куда-нибудь подальше. И она так силилась услышать сестру, что порой и впрямь начинала, казалось, различать в этом адском железном шуме равномерный нежный шумок — живое дыхание...

— Лучше тебе?.. Я слышу, тебе лучше, — наполняясь надеждой, разговаривала она с сестрой. — Скоро тебя отвезут в госпиталь, тут близко... Сергей Алексеевич справлялся о тебе. — Она не лгала, ей мерещилось, что так и было. — Он скоро будет здесь. Ты слышишь меня, Оля?! Не отвечай, тебе нельзя разговаривать, лежи смиреннько, а я здесь, с тобой...

Ни словом она не упоминала о брате. И, наклоняясь ниже к сестре, осторожно кончиками пальцев касаясь ее волос, лба, слепая опять звала:

— Оля! Оленька!

...Встретив огонь там, где его нельзя было ожидать, потеряв нескольких человек, немцы попятились. Первое нападение удалось, таким образом, отразить сравнительно легко, наступило затишье. Но скорости могла последовать новая атака, это было более чем вероятно, и Верегенников послал к Истомину Кобякова с приказом оставаться на месте и продолжать наблюдение.

— А этот что же? — спросил, передав приказ, Кобяков, кивая на Гришу. — Отдыхает? Ну и ну...

Гришу действительно можно было принять за спящего: с неостывшего личика еще не сошел румянец лихорадки... И Кобяков вдруг оживился; с непостижимой интонацией какого-то дикого удовлетворения он проговорил:

— Вот так так, и пацана зацепило. — Только сейчас он разглядел отверстие над ухом Гриши.

— Надо бы отнести его вниз, похоронить, — сказал Виктор Константинович.

— У нас тоже есть потеря, — с тем же непонятым возбуждением сообщил Кобяков. — Пулеметчика нашего тоже в черепок.

Он не мог отвести взгляда от круглой почерневшей ранки.

— Давайте отнесем, — поторопил Виктор Константинович. — Берите мальчика.

Он подхватил Гришу под мышки, Кобяков взял за ноги под коленками, и они вдвоем подняли это податливое, легкое тело.

— Недолго попрыгал... А весу-то, весу, как у цыплака. — Кобяков пытливо посмотрел на Истомина, молча спрашивая: «Ну что ты об этом скажешь?»

— Да, легонький... — пробормотал Виктор Константинович.

— А чего полез, чего?.. Сидел бы дома на печке! Я и говорю... — И Кобяков неожиданно подмигнул Истомину

Вчера после ужина, прижав Истомина в коридоре к стене, он пытался убедить его в том, что он передумал и что он не собирается теперь сдаваться в плен. «Это ж я тебя жалеючи, вижу, мается хороший человек, — навалившись на Истомина, снизив голос, бубнил он. — А чтоб я сам — да ни в каком, разе! Чтоб я сам, добровольно — в немец-

кую каторгу?! Быть того не может. Что я, не русский, что ли? Я как все!»

Истомин не обманывался: его вчерашний снайперский успех заставил по-иному взглянуть на него, и Кобяков раскаивался в своей откровенности. Так оно было или нет, а Истомин пообещал ему вчера хранить молчание — он вообще не умел отказывать, да и выглядел Кобяков потерявшимся, загнанным. И нельзя было, по твердому убеждению Виктора Константиновича, преследовать человека только потому, что тот не способен на геройство; о себе Виктор Константинович тоже знал, что и он никакой не герой, — случай помог ему! Словом, вчера ему легче было поверить Кобякову, чем не поверить... Но сегодня, сейчас за диким возбуждением Кобякова, за этим его любопытством к смерти стояло: «Неужто же нам всем умирать? И мне тоже?.. Тоже лежать вот так с пулей в голове?.. А я жить хочу, жить!»

И Виктор Константинович испытал жаркое желание ударить этого человека, схватить за воротник и трясти, трясти! Его собственный страх перед собственным исчезновением как-то позабылся в эти минуты боя. «Разве Гриша не хотел, не должен был жить?!» — подмывало его крикнуть.

— И думать о том не смейте! — проговорил он нервно. — Вы понимаете, о чем я... Вы отлично понимаете!

— А что? Я ничего такого... — сказал Кобяков.

Они стояли друг против друга, держа тело Гриши.

— Если не перестанете о том думать... Вы знаете, о чем я... Я должен буду...

Все же Виктор Константинович не смог пригрозить Кобякову, что он расскажет начальству о немецком «пропуске», который тот хранил.

— Ну, постарайтесь, возьмите себя в руки, — сказал он. — Если вас поймают, вас расстреляют.

— Это уж точно, если поймают... — подхватил Кобяков, не замечая, что он выдает себя. — Народ у нас злой, не пожалеет.

«Жить, жить! Не хочу умирать, нельзя мне умирать!» — только и было сейчас в его сознании...

— Пускай за вас другие умирают, так, что ли? Пускай Гриша умирает! — закричал Виктор Константинович, точно услышав его тайный голос. — Подло это!.. Вы негодяй, Кобяков!

Они топтались на месте, не выпуская тела Гриши, и оно раскачивалось на весу: болтались, как плети, руки, болтались ноги в больших, как колокола, сапогах.

Кобяков заморгал — он не ждал такой вспышки от Истомина.

— Теперь ты обо мне всякие слова можешь, — другим тоном, с жалобной злостью проговорил он. — Твой верх... Теперь ты и к командире можешь... Он тебе награду выдаст.

— Вздор вы говорите! — закричал Виктор Константинович. — За чем вы?.. Вздор, вздор!

— Ты теперь как хочешь можешь меня собачить. Валяй, не стесняйся, — сказал Кобяков; он как бы закрылся, ушел в себя. — Давай мне Гришку, я один снесу.

А Виктор Константинович уже устыдился своей, как ему показалось, жестокости.

— Вы вот что... вы держитесь... — досадливо морщась, проговорил он. — Не обижайтесь на меня. Я вас даже понимаю — на войне всем страшно. Но если не поддаваться, то можно... можно пересилить себя. И не обижайтесь, пожалуйста...

Он отдал Кобякову тело Гриши, тот вскинул его и посадил на руку, как носят детей. Поддерживая его другой рукой, Кобяков понес

Гришу вниз... А Истомин, злясь и на этого несчастного труса и на себя, пошел в обход от окна к окну, ведя, как приказал Веретенников, круговое наблюдение.

На улицах и в ближних садах опять было тихо и пустынно. Тише стало и на южной стороне, откуда доносились лишь одиночные разрывы,— может быть, немцы и там, на большаке у переправы, перестраивались для новой атаки...

И тут Виктор Константинович услышал что-то совершенно невероятное — музыку! Она родилась внизу в доме и доходила сюда утишённой, но еще достаточно звучной для того, чтобы ее узнать,— снова кто-то играл Шопена... Кто же, как не польский пианист, беглец из Варшавы, однажды уже доставивший Истому своему своей игрой такое удивительное переживание! Сейчас поляк играл мазурку, одну из тех шопеновских мазурок, в которых и печаль изящна и нежна. Она, эта музыка, могла бы показаться бездушной здесь, на войне, где каждое мгновение и умирали и убивали. Но как чудо именно эта музыка и проникла сейчас глубоко в душу Виктора Константиновича, не оплакивая его, но лаская. Она ничего ему не обещала, ни защиты, ни спасения, но ее прелесть поразила его, как поразило бы здесь, в этих голых садах, где только что летали пули, расплывшее вдруг молодое деревце.

...Внизу, в зальце, позади игравшего на пианино Барановского стояла в крайней сосредоточенности в позе молящейся, сложив на груди у шеи ладонь к ладони руки, пани Ирена. Раненый пограничник, которому только что перевязали пробитый локоть, слушал с изумлением и то подергивался, как от укусов, то расслабленно кивал, как бы соглашаясь с музыкой... Вошел решительным шагом Веретенников, он вернулся из сада, куда ходил проведать погорельцев и женщину с ребенком, спасавшихся там в погребе, и задержался у порога. Вообще-то он был глуховат к музыке, вернее, безразличен, но и он одобрительно покивал: люди в его гарнизоне пребывали в неплохом настроении, если в перерыве между стрельбой занимались музыкой. Выглянул из коридора Кулик — ему захотелось было попросить пианиста сыграть что-нибудь знакомое, популярное, но и этот танец чем-то забрал его; слушая, он ухмылялся, поглядывая на Настю. И всех удивила девушка-сандружинница: расплакалась вдруг, такая невозмутимая и бывалая. Лена, сама плача, обняла ее, и та, давась слезами, стала оправдываться.

— У меня руки, руки от крови не отмытые,— с трудом выговаривала она, тряся своими свалывшимися кудерьками.— Я уже эти муки людей видеть не могу.

В дверях зальца бесшумно встала Мария Александровна, пришедшая на музыку, и Лена кинулась к ней.

— Леночка,— очень тихо, чтобы не помешать, сказала Мария Александровна.— Надо же что-то делать, надо доктора. Лучше, если б Олю положили в госпиталь, там все условия.

С испугом взглянув в пустые глаза тетки, Лена только крепче обняла ее.

Но и это движение вокруг и шепот не помешали Барановскому исполнить сейчас всю пьесу; отлетел последний звук, и он осторожно снял пальцы с клавишей.

Пани Ирена с таким выражением, точно это не он, а она благополучно добралась до конца пьесы, подошла к мужу.

— Юзеф, Юзеф! — И она продолжала по-польски: — Вот ты сам убедился? Ты замечательно все сыграл.

— Я все сыграл... — У Барановского было рассеянно-отрешенное лицо.— Я бы мог еще долго играть. Ты поверишь?

— Я ни минуты не сомневалась, что все к тебе вернется! — сказала она. — Уже все вернулось, ты играл прекрасно.

— Ну, это еще не все.

Растопырив пальцы в пятнах ружейной смазки, он оглядывал их, вертя кистями.

— Беглости еще нет, — сказал он.

Повернувшись на вращающемся стуле, он встал и взял с крышки пианино револьвер, тот, что он вчера получил. Это было первое оружие, доверенное ему, и он впервые сегодня употребил его в дело!.. Он, Юзеф Барановский, музыкант, артист, больной человек, сначала в комнатке Ольги Александровны, а потом выбравшись из дома, стоя на заднем крыльце на колене и положив для упора руку с револьвером на перильце, шатавшееся от отдачи, — он стрелял! Между деревьев в саду перебегали немецкие солдаты, и он стрелял по ним! Он отлично помнил этот зеленовато-мышинный цвет фашистского вермахта! До нынешнего утра он только убегал от него, чувствуя кожей спины, затылком, пятками вечное преследование, — сегодня он обернулся к преследователям лицом. Расстреляв по гитлеровским гренадерам целых два барабана патронов, он и сам плохо понимал себя сейчас. Но он словно бы отведал ударивший в голову целительный напиток.

## 2

Пауза длилась недолго — начался артиллерийский обстрел. Снаряды рвались поблизости, и то, что уцелело на окраинных улицах вчера в бомбежке, уничтожалось сегодня. Снова в Доме учителя хлопали двери от невидимых ударов, день потемнел, будто угас до срока, вздрагивала земля. И в черном дыму уже появилось пламя — проворные золотистые зверьки металась по обломкам, оставляя огненные следы.

Веретенников прокричал приказ всем покинуть дом. Но ни за что не хотела оставлять старшую сестру Мария Александровна. Дом вздрагивал и скрипел, с подоконника сорвался и разбился горшок с бегонией, а она не трогалась с места.

— Олю... Надо сперва Олю, — просила она. — Леночка, помоги мне...

Федерико, Барановский и еще один боец-пограничник бегом вынесли из дома тело Ольги Александровны, чуть не выронили его на заднем крыльце, но дотащили до сада и положили на скамейку. Слепая все порывалась бежать за ними, спотыкалась, цеплялась за Лену, и ее нежный голос летел вдогонку:

— Оля!.. Ты где?

Последними выбежали Веретенников с Истоминным и едва успели залечь у колодезного сруба, как в дом попало сразу два снаряда. От первого ощерилась стропилами и провалилась крыша над кухней, второй окутал дымом и пылью развалины Настинной пристройки... Выглянув из погреба в саду, Настя увидела внутренность своего жилища: кровать, засыпанную мусором, и кусок стены с овальным зеркалом, утыканным по краям бумажными цветами. Трещина разделила зеркало пополам, а через мгновение на ее глазах верхняя его половина выпала из рамы, полетела вниз и сверкнула осколками.

— Тетя Маша-а! Лена! — дурным голосом завопила Настя, которую ужаснула эта плохая примета — разбитое зеркало. — Где Кулик, не видели Кулика?! Ваня-а!! Ваня!

— Настя? Ты где? — ответил со двора Кулик.

Как только разрывы прекратились, Веретенников позвал своего связного Кобыкова: надо было готовиться к отражению новой атаки.

Но тот не появился и не отозвался. А с улицы, куда выскочил Кулик, в тот же момент донеслось:

— Ты куда, куда?.. Да там немцы.. Назад, дурья голова!

Веретенников, а за ним и Истомин побежали за ворота... По улице, над которой еще носилась копоть, уползал на четвереньках Кобяков, уползал, огибая обломки, тыкаясь в одну сторону, в другую. Тем не менее он постепенно удалялся, в его движении было определенное направление.

— Сдуру! — закричал Кулик. — Разрешите, я его приволоку.

Веретенников не успел ничего ответить — Кобяков вскочил и, согнувшись и подняв руки над втянутой в плечи головой, развалисто побежал теперь уже по прямой к перекрестку.

— Ох гад! — Кулик почему-то рассмеялся. — К немцам чешет...

— Куда, куда? — переспросил Веретенников, словно не поняв.

А Кобяков перемахнул через поваленный фонарный столб, оглянулся и побежал дальше.

— По предателю — огонь! — торопливым фальцетом скомандовал Веретенников.

И сам первый выстрелил из пистолета... Но Кобяков как ни в чем не бывало продолжал бежать; Веретенников выстрелил еще раз и еще и опять не попал.

— Истомин, по сволочи! — криком приказал он.

Виктор Константинович торопливо вскинул свою трехлинейку, поймал на мупику спину в сером ватнике — и опустил винтовку.

— Уложите его! Вы ведь снайпер!.. Огонь!

— Но это же Кобяков! — воскликнул Виктор Константинович. — Я не могу! Простите, ради бога!

— Я вас самих... за неисполнение в боевой обстановке... Огонь! — Маленький техник-интендант притопнул от нетерпения и гнева.

Выстрелил Кулик — добряк Ваня пришел на выручку. Но и пуля Кулика пролетела мимо. А Кобяков добежал уже до перекрестка, где все было затянуто дымом, еще мгновение — и Кобяков скрылся бы в этой плывущей мгле.

— Огонь, огонь! — пронзительно раздавалось в ушах Виктора Константиновича.

И послушаться он не смог... Его мушка вновь подколола снизу серую спину в ватнике, и он плавно, как его учили, нажал на крючок — он действовал механически... Кобяков подпрыгнул, изогнулся всем телом, взмахнул руками и опрокинулся на спину. А Виктор Константинович, как бы не веря своим глазам, растерянно огляделся...

Бой тут же возобновился, словно этот его выстрел явился сигналом. Немцы, решив, что их артиллерия достаточно поработала, опять бросились в атаку, выскочили из дыма со стреляющими автоматами, и опять были встречены огнем.

Федерико стрелял, лежа теперь на дощатой крыше дровяного сарая. Самозарядная русская винтовка, полученная от Осенки, была для него оружием новым, и он проверял ее в деле. Вчера он лишь предварительно познакомился с нею: разобрал, почистил, смазал, собрал. Сегодня в бою он нашел ее приемлемой: винтовка не давала осечек, не подводила при точном прицеливании, была сравнительно легкой. Но, конечно, она не могла заменить его автоматов, тех, что он отдал при переходе фронта, — о них он вспоминал и сегодня. Хуже обстояло дело с патронами: запас их близился к концу.

Еще тревожила Федерико мысль о Лене: он был уже не одинок, их было двое в мире, и он закрывал собой ее, а она здесь, за его спиной, ждала исхода боя. Ничего подобного с ним раньше не бывало. Воюя, Федерико мало думал о том, что он защищает человечество.



или кого-нибудь из человечества, и это нисколько не ослабляло его свободной отваги. Ныне его главная забота сосредоточилась на единственной девчонке, полюбившей его, и он испытывал чувство несвободы. Получив Лену, он вместе с тем словно бы чего-то лишился, все время возвращаясь мыслью к ней и мучаясь оттого, что его девчонка подвергается опасности.

В сущности, любовь мешала Федерико почувствовать себя сейчас счастливым, если счастьем называть ощущение себя в гармонии со своим призванием. Этот юноша из Ассизи, соотечественник блаженного всепрощенца Франциска, был воином, прежде всего воином, он ненавидел фашизм и мстил ему. И талант Федерико — некое особо удачное сочетание телесных и духовных качеств — полностью раскрывался и цвел своим жестоким цветением в бою, в открытой схватке. Федерико и сейчас был внешне холоден и инстинктивно расчетлив. Отыскав цель, он выжидал ровно столько, сколько было необходимо, чтобы наверняка ее поразить. И его палец на спусковом крючке так мягко увеличивал нажим, что курок совсем незаметно, как бы сам по себе приходил в движение. Федерико и не спешил, вглядываясь в задымленную перспективу перекрестка, где вновь возникли расплывчатые серо-зеленые фигуры, и выбирая мишени. Но когда после очередного выстрела человекоподобный силуэт вдалеке комкался, кувыркался и оставался на месте, лицо его светлело, смягчалось. Он успевал поглядывать и по сторонам, чтобы не потерять общей ориентировки.

Справа и слева от него вели огонь русские, и тоже, кажется, не впустую. Интендантский писарь в очках или кладовщик — кто их разберет? — залег в развалинах дома и стрелял из дверной рамы, с которой были сорваны обе створки. Кто-то заполз под поваленный забор и палил из-под него, прикрытый как щитом. А по двору перебежал — к одному подскочит, к другому — маленький интендантский офицер в фуражке с зеленым околышем, с пистолетом в руке и что-то по-русски звенящим голосом выкрикивал, вероятно подбадривал. Офицерику каждую секунду могли продырявить, но выглядел он хорошо, даже шикарно.

Словно бы опьянение, особое, ясное и трезвое, охватило Федерико, оно было похоже на то, что чувствует чемпион, наслаждаясь своим высшим умением.

Но вот курок его винтовки щелкнул, как пустой орех, и выстрела не последовало — патроны кончились. Федерико сполз по дощатому скату, легко с двухметровой высоты прыгнул, присел и что было силы помчался на улицу. Невдалеке там он приглядел немца, застреленного еще в первой атаке, — кучу шинельного тряпья, из которого высывались подметки с белыми шляпками гвоздей и торчал вороненый ствол автомата. Кидаясь из стороны в сторону, пригибаясь, Федерико добрался до трупа. Несколько пуль остренько взвизгнули над ним, пока он, укрываясь за трупом, довольно долго возился, снимая автомат; на счастье Федерико, немец был толст, высокий его живот прикрывал, как бруствер. В карманах шинели убитого нашлись запасные патронные рожки, а губную гармонику Федерико швырнул в уличную лужу.

Вернулся он вовремя: немцы обошли усадьбу — странно, что они не сделали этого раньше, — и застая стрельба раздавалась в стороне сада; он помчался в сад. Пробегая мимо беседки, в которой женщины устроили перевязочный пункт, Федерико увидел в полуовале входа, увитого сухими виноградными стеблями, Лену. Она и пани Ирена стояли на коленях перед кем-то, лежавшим на земле. Точно почувствовав приближение Федерико, Лена обернулась...

— Прекрасная погода! До встречи! — прокричал он.

На лице Лены отразилось непонимание — она не услышала его... В глубине сада железно колотились автоматы, оглушали удары гранат — бой шел на дистанции их броска. И Федерико, пригнувшись, выставив перед собой автомат, понесся дальше.

...Случилось так, что тревогу в саду поднял Осенка, возвращавшийся от Самосуда с донесением к командиру ополченцев; Осенке же поручено было привести в отряд на обратном пути всю группку его интернационалистов, шел с ним и партизанский связной. И выбрав кратчайший и, казалось, самый безопасный путь, они чуть ли не нос к носу столкнулись в кустах у садового забора с немцами. Хорошо еще, что Осенка и его спутник первые открыли огонь и первые оказались в саду Дома учителя — проползли сквозь прорехи в заборе. Кроме этого щелястого ограждения, сад отделяла от черемуховых зарослей еще дренажная канавка, в которой они двое и укрылись как в окопчике.

Когда Федерико добежал, а частью дополз до канавки — сад был велик, метров около ста в глубину, — там находились уже и Веретенников и его писарь, они стреляли по дырам в заборе, по щелям. А из щелей посверкивали автоматные очереди...

Осенка был ранен, кровь заливала его лоб, капала с бровей, но он тоже стрелял, сидя в бегущей по дну канавки воде. Федерико с ходу повалился около него и тотчас же дал по забору очередь. Подгнившие доски закачались под невидимыми ударами, как под ветром, одна сорвалась, и за забором раздалась хриплые, будто грачиные крики. Затем стрельба оттуда прекратилась.

— Войцех! — окликнул запыхавшийся Федерико. — Войцех!..

Он не знал, как по-польски сказать «иди на перевязку», и pokrutil пальцем вокруг своего лица. Осенка обернулся, несколько красных капель сорвалось и потекло по его щекам.

— А, Федерико! Дзень добры, — отозвался он и стал рукавом отирать лицо...

## Шестнадцатая глава

### БОЙ. ОТЦЫ И ДЕТИ

#### 1

Связные, ушедшие к ополченцам еще ночью — поляк Осенка и боец полка Теофанов, — все не возвращались: миновало позднее осеннее утро, время подошло к полудню — их все не было. И Самосуд медлил, колеблясь и не зная, что же там сейчас происходит, в городе и на переправе: прорвались ли немцы или их и сегодня удалось отбросить, восстановлен ли мост, началась ли эвакуация или немцы хозяйничают уже на реке?.. Вчера в Доме учителя с командиром ополченского батальона было договорено, что партизанский полк придет к ополченцам на помощь: партизаны в критический момент должны были ударить в тыл врагу, рвавшемуся к переправе. И командир ополченцев обязался прислать рано утром Самосуду со связным «обстановку», подтвердить договоренность и указать час атаки. Могло случиться, что лучший момент для удара еще не наступил, могло случиться и так, что этот удар уже опоздал. Если реденькое прикрытие на переправе было смято, сброшено в реку, то атака партизан оказалась бы не только бесполезной, но губельной для них.

А полк имени Красной гвардии, все три его роты — первые две, состоявшие в основном из коммунистов, советского актива и ветера-

нов гражданской войны, и третья, самая молодая, — с утра стоял на выходе из леса. Отсюда можно уже было в короткое время выйти на рубеж атаки. И истекали последние, быть может, минуты, когда эта атака могла сыграть какую-то роль. Не вернулись пока что и полковые разведчики, ушедшие на рассвете.

Звуки боя, доносившиеся сюда со стороны города, наводили на противоречивые заключения. Одно время там громыало как будто листовое железо — бучевал артиллерийский огонь; потом на защитников переправы двинулись танки — словно бы ударили гулкие далекие колокола, — и Самосуд готов уже был подать команду: «Вперед!» Но затем наступило относительное затишье, танковых пушек совсем не стало слышно, изредка татакали пулеметы. Это в равной мере могло означать и наш успех и нашу неудачу — тишину победы и тишину кладбища.

К Самосуду, одиноко прохаживавшемуся между деревьев, подошел, позывая шпорами, придерживая на боку шашку, командир первой роты Никифоров. Это была фигура заметная: заведующий районным пунктом Заготскота, а в гражданскую войну — командир эскадрона в бригаде Котовского; Никифоров и внешне походил своим высоким ростом и полным округлым лицом на знаменитого комбрига. Он и в конторе Заготского одевался с оглядкой на комбрига: носил широкие галифе, короткую, отороченную серым каракулем бекешу, а на голо обритой голове Никифорова низко сидела фуражка с малиновым верхом — он сохранил ее с давних героических лет.

— Стоим, Сергей Алексеевич! А время, между прочим, идет, — проговорил он с рассеянным видом, как о вещи, лично его не волнующей.

— Что вы имеете в виду? — спросил Самосуд, хотя отлично понял командира роты.

— Остывают люди, Сергей Алексеевич. Боевой дух уходит, как пар из самовара...

И Никифоров улыбнулся, показывая изрядно попорченные коричневые зубы, — он был уже немолод, этот удалой комэск.

Самосуд, стоявший к нему вполоборота, резко повернулся.

— Вы что же, пришли ко мне плакаться? За боевой дух своей роты вы лично отвечаете. — Он и сам был обеспокоен, раздражен и сам подумывал, что это затянувшееся ожидание плохо действует на людей. — Что за разговоры, товарищ Никифоров: боевой дух уходит, боевой дух приходит... У вас что же, рота неврастеников?

Никифоров постукивал по сапогу казацкой шашкой с георгиевским оранжевым, в черную полоску темляком.

— Ну, в своих людях я уверен, — сдерживаясь, сказал он. — Народ закаленный, золотой фонд... Я из третьей роты сейчас, Сергей Алексеевич. Жалостный вид у ребятешек... Нахохлились, как мокрые галчата, и скучают.

— Что вы сказали: галчата? — спросил Самосуд.

— Так ведь совсем еще зеленые... Об мамкиной юбке скучают.

Никифоров расплачивался с Самосудом за неврастеников: он знал о пристрастном внимании командира полка к третьей роте, сплошь состоявшей из его воспитанников.

— И смех и грех, Сергей Алексеевич, — продолжал он, все хлопывая шашкой по голенищу, — один вояка сахар грызет, набил себе карманы сахаром, другой стихи декламирует.

— Что, что? — Самосуд в связи со стихами подумал о Серебрянникове; сахар грыз, наверно, Потапов, у которого всегда было что-нибудь во рту. — Стихи? А чем же это плохо?..

— Сховался под деревом и бормочет: «кровь — любовь» и те де

А сам аж посинел, носик красный. Девчонки сбились в кучку, сию минуту заревут.

— Благодарю вас, товарищ Никифоров, за информацию,— сказал Самосуд,— и можете быть свободны.

— Есть, товарищ командир!

И Никифоров опять приоткрыл в улыбке коричневые зубы — он был удовлетворен. Но и вправду эти мальчишки и девчонки из третьей роты вызывали у него жалость: вероятно, все ж таки их не следовало брать в отряд.

А когда он уже уходил, Самосуд его окликнул:

— Я просил вас, товарищ Никифоров, сменить свою фуражку на что-нибудь менее бросающееся в глаза. Что за ребячество! Вы и сами напрасно рискуете и можете демаскировать весь полк таким оперением.

Сергей Алексеевич почувствовал себя по-родительски, то есть лично, обиженным. Что бы там ни было, а о своих ребятах он ничего подобного не хотел слышать. И по тому, как он сказал об оперении, Никифоров понял, что возражать не стоит: старый учитель был довольно опасен в какие-то минуты.

А Самосуд направился в третью роту — она стояла тут же, надо было только перебраться через ручеек, бежавший в траве... Утром, когда полк покидал лагерь, ребята держались хорошо, на взгляд Самосуда, запели песню, которую он сам прекратил — двигаться надо было скрытно. А Богомолов, командир, твердым голосом доложил ему, что рота готова к бою, что бойцам роздано удвоенное количество патронов, что все получили гранаты и индивидуальные санитарные пакеты... Сергей Алексеевич, надо сказать, не был уверен в том, что поступил правильно, назначив, хотя и временно, Богомолова командиром (он так и не подыскал еще никого другого, кому со спокойным сердцем мог бы доверить третью роту): парень, при всех своих достоинствах, не имел боевого опыта. Но пока что Богомолов производил впечатление полной уверенности в себе. А может, и более того: решимость была в его сосредоточенном взгляде... Саша Потапов — тот, стоя в строю, со смешливым выражением поглядывал по сторонам, он словно бы забавлялся. Женя Серебрянников был, правда, бледнее обычного, а у Лели Восьмеркиной, стоявшей на правом фланге — ростом она превосходила всех, — начали слегка косить глаза, так у Лели бывало и на экзаменах. Но другие ребята больше лобызывали и с особенной старательностью выполняли команды «смирно!», «кругом!», «шагом марш!». Конечно, это естественное их возбуждение могло так же естественно смениться упадком и испугом — Сергей Алексеевич достаточно много знал о ранимости еще не окрепшей души. И может быть, действительно тяжким грехом было, что его увлек первоначальный порыв ребят, что он не охладил их жара?.. Но и сожалеть об этом было уже поздно.

Вновь стал накрапывать дождь, и лес вновь зашептал, забормотал. Сделалось пасмурно, и слабо засеребрились осыпанные каплями темно-зеленые ели. Бойцы третьей роты кучками, прижимаясь друг к другу, теснились под деревьями. Их сжавшиеся пригнувшиеся фигурки, окутанные холодным сумраком, имели и в самом деле какой-то «сиротский» вид.

Из-под качнувшейся еловой лапы, ронявшей мелкое серебро, взглянул сторожоко шестнадцатилетний Юра Яковчик, большеглазый, большеносый, дождевые капли, как слезы, падали с его ресниц, дрожали на кончике носа; маленькая Таня Гайдай с санитарной сумкой на боку прятала лицо на плече у понурившейся Лели Восьмеркиной. У Саши Потапова что-то шевелилось за вздутой щекой, он и впрямь

что-то грыз, а его толстые губы вздрагивали — озяб, бедняга. Один Сережа Богомоллов вышагивал перед своими бойцами не прячась; за-видя Самосу, он пошел к нему навстречу.

Сергей Алексеевич поискал взглядом Женю Серебрянникова. В глубине души он питал к этому мальчику слабость, от него он многого ожидал и за него, как ни за кого другого, боялся...

Богомоллов вытянулся перед Самосудом, ожидая приказаний, и Сергей Алексеевич отрицательно покачал головой — приказывать пока что было нечего. А на его лице читалось огорчение: выходило, что Никифоров был прав, — эти мальчики и девочки не храбрились больше. И вместе с родительской жалостью Сергей Алексеевич, опять же по-родительски, почувствовал что-то близкое к разочарованию.

— Ждем наших разведчиков, опаздывают, — сказал он Богомоллову, он считал за лучшее ничего не скрывать, не темнить. — Можете объявить это. И состояние боевой готовности не отменяется.

— Есть не отменяется, — повторил твердо Богомоллов.

— Сводку Совинформбюро вчера читали?

— Читали, Сергей Алексеевич.

— Были у ребят вопросы?.. — Самосуд все пытался выяснить, чем объясняется эта перемена в настроении ребят. А может быть, во всем был виноват холодный дождик?

— Были вопросы. Гайдай интересовалась, можно ли ей написать домой маме, — очень серьезно ответил Богомоллов. — Серебрянников спрашивал, разрешается ли вести дневник.

Двоем они подошли к Серебрянникову. Тот, откинув голову в ворсистой кепке с прямоугольным козырьком, какие носили районные модники, засунув глубоко руки в карманы пальто, стоял под молодым дубком, еще не сбросившим своей медной чеканенной листвы. Кажется, Серебрянников и вправду читал стихи — чуть нараспев, с полузакрытыми глазами он что-то бормотал про себя; командиров он просто не увидел, не слышал, как они подошли. И Сергей Алексеевич напустился и прошел дальше. Затем он приказал построить роту.

В молчании ребята вышли, иные выбежали, ежась, будто броса-ясь в воду, из-под своих ветвистых зонтов и, потолкавшись, послушно встали неровной, изогнутой — мешали деревья — стенкой. Сергей Алексеевич оглядел этих только что испеченных бойцов и опять вспомнил Никифорова — они и точно в своих пальтишках, в курточках, подпоясанных ученическими ремнями, в обвисших кепочках, в картузах, в платках, в шарфах на тонких шеях наводили на мысль о птенцах, выпавших из гнезда. И неладно, как бы не по мерке выглядели на их плечах длинные винтовки со штыками, торчавшие в разные стороны, гранаты, оттопырившие карманы.

— Что же это, ребята? Неужто скисли? — громко начал Сергей Алексеевич и подождал немного, а его глаза невольно отметили: «Винокуров вырос из своего бушлата, перчаток нет, руки синие... Гайдай в легком платочке, как это я проглядел?»

Ребята молчали — замкнуто, непонятно... И Сергей Алексеевич нарочито бодро, громко заговорил о том, что вот наконец близок час, которого все они нетерпеливо ждали, час встречи лицом к лицу с ненавистным врагом, и что ребята докажут, он в том не сомневается, что они настоящие бойцы.

— Выше головы! Мы здесь не одиноки! — с подъемом воскликнул он...

Дальше он сказал, что на отпор фашистам встала вся страна, что самые разные люди побратались в этой борьбе, что идет великая всенародная война.

— А когда поднимается весь народ, — прокричал Самосуд, — то

никакая сила в мире не может ему противостоять!.. Мы обязательно победим! И мы с вами, дорогие мои ребята, будем еще с удовольствием когда-нибудь вспоминать, как стояли здесь, в лесу, под этим дождиком...— Тут Сергей Алексеевич почувствовал словно бы неуверенность в своем голосе, принужденность и закончил: — Разве же может этот осенний дождик охладить жар ваших комсомольских сердец?!

Он даже попытался польстить третьей роте, но и ему самому последние слова показались слишком выпренными. И он должен был признаться себе, что его речь не произвела должного впечатления: ребята слушали его не так, как ему хотелось, они переглядывались или вообще переставали слушать, с их лиц уходило внимание. Может быть, это объяснялось тем, что нового он, собственно, ничего им не сказал, многие из его учеников могли бы сами произнести такую же речь... Богомоллов не столько слушал, сколько следил за ротным строем, — реакция ребят, как видно, не понравилась и ему.

Вдруг на пухлом личике Тани Гайдай Сергей Алексеевич увидел взаправдашние слезы; она мигала, сбрасывая их с ресниц, а они вновь набегали. И он шагнул к ней...

— Таня, это что? Ай-ай-ай!..— притворно ужаснулся он.— По дому заскучала?..

— Я? Что вы! Совсем не по дому.— Девушка так замотала головой, что из-под ее платочка выпал светленький завиток.— Простите, Сергей Алексеевич!

— Но ты плачешь. Почему ты плачешь? — настаивал он.

— «Откуда эти слезы, зачем оне? — полупропел Саша Потапов, стоявший рядом.— Мои девичьи грезы, вы изменили мне!»

— Шут гороховый! — не повернувшись к нему, сказала Таня.

— Разговоры в строю... Прекратить! — скомандовал Богомоллов.

— Мы ждем, Таня! — сказал Сергей Алексеевич.

— Я просто не знаю... Я...

Она достала из сумки квадратик аккуратно сложенной марли, промакнула глаза и вытерла под носом — она тянула время. За школьные годы Таня, в свою очередь, отлично узнала Сергея Алексеевича, их бесменного классного наставника, и лишь только он появился перед строем, она поняла, что ему не по себе: и трудно и тревожно. Он и очень изменился за последние дни — осунулся, постарел, белки глаз сделались розовыми, как у кролика, наверно, от недосыпания, от всех своих забот и волнений; стоял сейчас под могучей, в три обхвата сосной какой-то усохший, низенький, в очках, заливаемых дождиком, которые он поминутно протирал пальцами. Да и пальцецо на нем было уже совсем плохонькое, посекшееся на обшлагах, а отросшие белые волосики, точно мокрые перышки, торчали над ушами из-под порыжевшей шапки. И хотя Сергей Алексеевич старался говорить бодро, Тане показалось, что он упрашивал ее с ребятами, не наставлял, не учил, а упрашивал: не подкачайте, мол, даже немножко заискивал. И она обиделась за него...

Ведь лучшего человека, так хорошо все понимавшего, она не встречала. Да и не было, наверно, лучшего... Когда на родительском собрании в школе мать Жени Серебрянникова назвала ее, Таню, распущенной девчонкой только за то, что ее видели гуляющей вечерами под ручку с Женей, Сергей Алексеевич первый за нее заступился, и так убедительно, что все осудили мать Жени. Ей и от родного отца, прослышавшего про эти вечерние прогулки, крепко досталось бы, если б не он. А сейчас вот он совсем извелся... И, отерев слезы, Таня собралась с духом.

— Не переживайте вы так за нас, не надо.— с просительным

упреком, как старшая младшему, сказала она — Милый наш Сергей Алексеевич, не надо! Не бойтесь за нас... Я расплакалась... не потому, что по дому заскучала. Конечно, я скучаю по маме. Но мне за вас обидно стало, так обидно!.. Ну что это, в самом деле?

И она наморщила носик, сиюсь удержать слезы, вновь заставшие глаза.

— За меня? — Сергей Алексеевич не поверил.

Богомолов открыл было рот, чтобы вмешаться, поставить Гайдай, так сказать, на место, но, взглянув на Самосуа, промолчал. А Сергей Алексеевич снял очки, протер, надел, провел взглядом по строю, по оживившимся лицам и вернулся к Тане.

— Ну, ты меня поставила в тупик... — Он рассмеялся своим сухим, трескучим смехом, ему сделалось невесть почему радостно, отлегло от сердца.

— Каюсь, я усомнился в вас, ребята! И прошу меня простить, да, да... бывает и на старуху проуха. Вот так!

Он кивнул, повернулся и пошел назад..

— Все ясно? Разойдись! — скомаңдовал Богомолов.

А шум боя в стороне города опять резко, скачком, усилился — опять стали слышны автоматы. Но что это означало, новую атаку врага или нашу контратаку, понять было невозможно, ни связные, ни разведчики еще не возвратились..

## 2

Держаться в развалинах Дома учителя не имело уже смысла, и, после того как немцы, пытавшиеся проникнуть в сад, были отброшены, Веретенников решил воспользоваться затишьем и отойти к ополченцам на большак. Он побежал во двор — надо было собрать людей, — и за ним, смахивая пальцами кровь с бровей, пошел, спотыкаясь, на перевязку Осенка. Федерико задержался немного у дренажной канавки, чтобы забрать у убитого партизанского связного его пистолет и патроны.

На поясе у связного висел кривой охотничий нож в кожаных ножнах. Федерико отцепил и его — нож тоже пригодился бы в бою. Потом он поднял с земли беличью ушанку связного, откатившуюся в сторону, и накрыл ею немолодое, в крупных оспинах лицо. Что еще он мог сделать для товарища, с которым судьба свела его в бою на несколько минут, он даже не знал его имени. И он еще постоял, опять заслышав шум в кустах по ту сторону забора: не возвращались ли немцы? Но это оказалась собачонка, серенькая, на коротких лапах, и вся такая пушисто-мохнатая, что и глаз ее не было видно, только черный нос торчал из шерсти. Протиснувшись в щель забора, она перепрыгнула через канавку и, тихо скуля, подошла, изгибаясь длинным туловищем.

— Chien... — проговорил Федерико неуверенно, точно вспоминая, как называется это животное. — Petit chien <sup>8</sup>...

Она ткнулась носом в его сапог, и Федерико стал ее гладить в ответ на доверие. Спohватившись, он выпрямился и быстро пошел разыскивать Лену: им всем надо было уходить в отряд к старому «профессору» — здесь они свое дело сделали.

Он ее увидел еще издали — ее канареечно-желтый распахнутый плащик реял в саду между яблоневых стволов, Лена бежала к нему. И незнакомое, словно бы семейное чувство согрело его. Добежав, Лена по инерции повалилась ему на грудь, и он судорожно ее обнял, по-

<sup>8</sup> Собака... Собачка... (Франц.)

ражаясь, что это она, именно она очутилась вдруг в его руках, еще помнивших усилие, с которым он только что удерживал трясущийся автомат. Все, что смутно воображалось Федерико как высшее напряжение человеческой близости, искренности, преданности — вещей как бы из нездешнего мира, — обрело сейчас живой облик, облик веснушчатой девчонки с пальчиками, измазанными йодом и кровью.

Первые ее слова сказались по-русски:

— Федерико! Добрый мой!..

Он не понял, она повторила по-французски, и он опять не понял — вот чего он не сказал бы о себе! По его счету, он уложил с утра что-то около десятка этих гитлеровских гренадеров, не считая тех, что орали по-грачиному за забором... Нет, он вовсе не был добрым и не собирался им быть!

— Я добрый?! — Он почти оскорбился. — Ну, эти скоты, которых я... не сказали бы. Они ничего уже не скажут.

— Добрый, самый добрый! — повторяла Лена.

Он и вправду представлялся ей сейчас воплощением рыцарственного великодушия. Здесь, у порога ее дома, на чужой земле, он, ее Федерико, сражался за всех, за своих и за чужих, — Федерико и языка не знал тех людей, которых защищал. И разве не высшей добротой были его сила, его умение, его храбрость?!

От Федерико пахло землей, потом, порохом, его автомат больно вдавился Лене в грудь, колючее сукно шинели царапало кожу лица. Но какое это было доброе успокоение — ощущать себя в его больших твердых руках. И насколько же легче становилось оттого, что ему можно было сию же минуту передоверить все свои главные заботы! С ним она ничего уже не боялась, и с ним ничего не было слишком трудно.

— Я не могу, Федерико! — воскликнула она. — Я не оставлю ее одну.

— Не можешь?.. О чем ты?

Оглушенный стрельбой, после всех смертей и всей ненависти он еще плохо понимал, что существует другой мир. Незаметно для себя он все сильнее прижимал к себе тоненькое тело Лены, пока она не вскрикнула:

— Твой автомат! Он вонзился в меня.

— Мой автомат? А, да... — Он сдвинул автомат на бок.

— Ты должен что-то придумать! — сказала Лена.

— Да, да... Хорошо! Что я должен придумать?

Федерико смотрел на нее так, точно навсегда запоминал эти прозрачные голубенькие глаза, заветрившиеся губы, спутанные волосы, отброшенные назад, пока она бежала, открытый чистый лоб.

— Ничего уже не придумаешь, — сказал он. — Нам всем надо уходить.

— Но я не могу оставить тетю Машу. Понимаешь, не могу!

Лена цеплялась за воротник его шинели, за автомат, за винтовочный ремень; Федерико был весь обвешан оружием.

— А где она? — спросил он.

— Она с тетей Олей. Не отходит от нее. Ты понимаешь, она все еще не верит. Я тоже не могу поверить...

— Ладно, — сказал Федерико. — Мы возьмем ее с собой.

— Тетю Машу? О, Федерико!

— Мы отведем ее к *gverrilleros*<sup>9</sup>, — сказал он.

— А нам позволят? — Она усомнилась. — Тетя Маша слепая.

— Если не позволят, мы создадим свой отряд *gverrilleros*. — Сейчас все казалось ему возможным.

<sup>9</sup> К партизанам (*исп.*).



Она закинула руки ему на плечи, потянулась на цыпочках, и они поцеловались — коротко и сильно.

— Я тебя так люблю! — сказала она со вздохом, словно печалась. — Ты — все мое... Ты теперь все мое, все, что у меня есть!

— Я не нравился старой синьоре, я знаю, — неожиданно сказал он: это задевало его, как видно, сильнее, чем можно было думать. — Но я бы ей понравился... Я бы ей служил как сын.

— Конечно, ты бы ей понравился, — сказала Лена.

— И я хочу, чтобы ты знала: я совсем простой парень. — Федерико и дела не было уже до того, где они стоят и что вокруг них. — Я ведь никогда не учился. Я даже не знаю алгебры, только четыре действия арифметики... Мне показал их мой Янек, и я быстро схватил... Но я грубый, простой парень.

— Ну что ты! — сказала Лена. — Я сама все уже забыла.

— У меня нет никакой квалификации. Я умею только стрелять.

— Ты самый храбрый и добрый! — воскликнула она.

— Но если мы все-таки выберемся отсюда, я мог бы стать инструктором в тире, я был докером. В Париже я расклеивал афиши, — сказал он. — Если только мы выберемся...

Он умолк и стал озираться... Не то какой-то неясный шумок в стороне, а скорее инстинкт новой опасности вернул его в этот сад, к еще не кончившемуся бою.

— Что ты? — Лена тоже точно проснулась.

— Беги же... — сказал он. — Мы сейчас все уходим.

И он легонько оттолкнул ее.

— Я побегу. Я скажу тете, что мы все уходим. Поцелуй меня!

Она ткнулась губами в его губы и помчалась по дорожке; запахнутый плащик вздулся за ее спиной... В этот бессолнечный день все в природе обесцветилось, все стало серым — и темная тускло-стеклянная слякоть садовых дорожек, и яблоневые стволы с намокшей побелкой; по облачному небу ползли, меняясь в очертаниях, серые тени. И ярко-желтый плащик Лены в серо-белесой глубине сада показался Федерико исчезающим солнечным лучиком...

Выстрелы, грохнувшие в стороне, он услышал одновременно с двойным толчком — в живот и в бок. И в его тело будто вошли кинжалы... Схватившись за живот, он упал, упал не от слабости еще, а из инстинкта самосохранения. Но когда он попытался вытянуться и лечь так, чтобы можно было стрелять, кинжалы в его теле повернулись, и он эхнул и облился потом. Не успев ни ужаснуться, ни проклясть судьбу, он мысленно проговорил внятно и отчужденно: «Плохо... Я убит...»

Между деревьев он увидел своих убийц — серо-зеленых, в касках: немцы все ж таки проникли в сад с другой стороны. А он вот промешкал — всего каких-нибудь несколько секунд!.. Но и винить себя не оставалось уже времени: ближайший из его убийц был шагах в полуста. Федерико видел, как бились по коленям немца полы длинной шинели, заляпанные грязью. А за ближайшим пригибались и бежали, оскальзываясь, другие...

«Лена, скорее!.. Беги, беги!» — мысленно крикнул Федерико.

Стараясь двигать одними руками, не тревожа туловища, он подтащил к себе автомат и нажал на спуск... Но тут же выронил свое оружие — отдача, ударившая в грудь, отозвалась в животе такой болью, что на мгновение он словно ослеп. Когда он опять взял автомат, немцы уже не бежали — ползли; первый в их разбросанной кучке поднимал автомат над головой, как будто плыл. И Федерико, кусая губу, попытался прицелиться...

Срезанная пулей черная ветка тихо опустилась перед ним, точно птица села на землю на палые листья у самого лица. И еще кто-то появился около него, лег рядом... Боясь шелохнуться — боль пылала в его животе, и он страшился расплескать ее по всему телу, — он скопил глаза. Рядом опять была она, Лена, — она вернулась... Как издалика сквозь боль до него дошло:

— Ты ранен... Федерико!.. Надо перевязать... Обними меня, я помогу...

Она что-то еще говорила, вскрикивала, но все это было уже ненужное, пустое. Никуда она не могла его утащить под немецкими автоматами, да и бесполезно было возиться с ним. «Зачем она вернулась?» — безмолвным криком пронеслось в его мозгу... Он быстро слабел, туманилась голова, и он силился удержать ускользающие мысли. Может быть, самой Лене и посчастливилось бы еще уйти, если б он задержал немцев.

— Уходи-и,— со стоном попросил Федерико.— Не надо было... Дурочка... дура!

И он перевел взгляд на врагов. Лена все выкрикивала над его ухом: «Идем же... обними» — и еще такую же бессмыслицу. А он искал прицелом немца, который полз первым... Поймав его и приготовившись встретить новый кинжальный удар боли, Федерико еще раз выстрелил... И сам вскрикнул, точно сам получил еще одну рану в живот. Но он услышал и длинный вопль врага — он его достал!..

— Уходи же,— сквозь закушенную губу промычал Федерико.— Дура!

— Я люблю тебя, люблю, люблю,— в ужасе повторяла Лена, точно в этом «люблю» была вся их защита.

Она подвинулась вперед и заглянула ему в лицо.

— Что с тобой?! — вскрикнула она, не узнав его, изуродованного болью, с кровоточащей губой.

А немцы вскакивали и сбегались к ним, тяжело шлепая по сочащейся земле. И тогда Федерико приподнялся, опираясь на левую руку, правой он вытаскивал из кармана шинели гранату. Но у него уже не хватило силы метнуть ее... Он завыл от небывалого страдания, граната вывалилась из его разжавшихся пальцев, и он сам упал лицом в мокрые листья. Их прохлада было последнее, что он почувствовал...

Лена всем телом прижалась к Федерико — все еще искала у него защиты, глядя исподлобья на подбегавшего солдата в каске. Немец держал на животе огромное голенастое насекомое — она не видела еще таких автоматов, — и хотя это было отвратительно и ужасно, она не могла отвести взгляда от гигантской железной ухвертки, прыжками приближавшейся к ней ..

И она не поняла, почему немец, не добежав нескольких шагов, вдруг упал со своей ухверткой на бок. А позади нее, в стороне двора, уже трещали частые выстрелы — там открыл огонь по прорвавшимся немцам Веретенников со своими людьми.

Был момент, когда казалось, что боевое испытание партизанского имени Красной гвардии полка, а следовательно, и его третьей роты откладывается. Осенка, хотя и с опозданием, принес Самосуду «обстановку», которая опровергла все недобрые предположения: немцы, наступавшие на город, были разбиты без помощи партизан и в беспорядке отходили, мост на реке был восстановлен, и первым на восточный берег начал переправляться госпиталь.

— Отступили?.. В беспорядке? — переспросил Самосуд, это казалось почти невероятным.— Как все произошло? Да вы садитесь, садитесь! Вот сюда, на пенек...

Осенка едва держался на ногах, было вообще непонятно, как он дошел. Толстая, как чалма, повязка на его голове вся пропиталась кровью, смешанной с дождем, в крови были лицо, руки, шинель; он шатался и приседал на подгибавшихся коленях.

— Дзенкуе, пан командир... товажиш!—медленно проговорил он.— Я зараз... А тот пан Феофанов, тот пан Феофанов убитый...

Как видно, и собраться с мыслями Осенке было трудно. Пошатнувшись, он ухватился за подвернувшуюся колючую ветку ели и не поморщился, словно утратил чувствительность. Держась за ветку, он продолжал докладывать — не очень связно, с паузами, будто вспоминая. И выяснилось, что в тыл немцам ударила красноармейская часть, вырвавшаяся из окружения, — из одного боя она тут же пошла в другой.

— Германцы не ждали... тот удар... то была внезапность... — выговорил он.

— Садитесь, прошу вас,— повторил Самосуд.

— Дзенкуе, товажиш командир!

И Осенка как стоял, так и опустился на землю на колени. Глядя снизу на Самосуда, он задергался, вскидывая головой в розовой чалме, силясь встать.

— Позовите наших девушек! — крикнул Самосуд, шагнув к нему, чтобы помочь встать.— Спасибо, товарищ Осенка! Вы принесли хорошие вести, чрезвычайно важные.

Осенка покивал как бы в подтверждение.

— Вы герой, Войцех Осенка,— нахмурившись, сказал Самосуд; на Осенку было тяжело смотреть.— Дайте же вашу руку! Сейчас вас подпечат, сменят повязку... Вы один шли? Где же ваши товарищи!

Осенка все кивал, словно не поняв вопроса.

— Никто не ждал тот удар пулковника Богданова.— Осенка запомнил эту фамилию.— То был Deus ex machina<sup>10</sup>...—Вдруг лицо его искривилось, и он затрясся как в ознобе.— Федерико! — выкрикнул он.— Федерико — то правдивы герой, антифашист!.. Убитый, убитый!.. Так само Ясенский, мой товажиш... Пан Барановский тяжело раненный... Все мои товажиши! Я еден тэраз<sup>11</sup> ..

— Слава вашим товарищам-интернационалистам! — сказал Сергей Алексеевич.— И вы не один... Мы все... — он хотел сказать «разделяем ваше горе», но эти слова показались ему слишком официальными,— все с вами...

К ним подбегали уже две девушки из медчасти. Осенку подняли под мышки и повели. Он обернулся, точно ему надо было поведать что-то еще, но девушки не остановились.

— Я потом проведаю вас,— крикнул Сергей Алексеевич,— отдыхайте!

Он подумал об Ольге Александровне, остававшейся и во время боя в городке: может быть, ей тоже удастся наконец эвакуироваться подальше в тыл. И вероятно, Осенка мог что-то рассказать о других обитателях Дома учителя... Сергей Алексеевич вообще корил себя за то, что очень уж мало уделял им внимания в последние дни. Но что было делать — он снаряжал людей в бой.

Вот и сейчас противоречивые чувства завладели им. Самосуд сожалел уже, что ему самому не пришлось участвовать в бою, которого

<sup>10</sup> Буквально: бог из машины (лат.).

<sup>11</sup> Один теперь.

с таким внутренним напряжением он ожидал. Конечно, все, что сообщил Осенка, радовало: сотни, если не тысячи людей были избавлены от ужасов плена, а немцам крепко, видно, досталось — возмездие началось! Да и его галчатам эта отсрочка пойдет на пользу — пообвыкнут, закалятся в походных условиях. Но побороть свою невольную обиду на то, что он и его полк были как бы обойдены, не позваны на этот жестокий праздник, Самосуд не смог: он слишком долго и самозабвенно к нему готовился, по одному собирая людей, укрепляя их души, добывая для них оружие. И его горечь от неудач в этой войне, его боль за все утраты требовали, чтобы добытое им оружие начало стрелять.

Сергей Алексеевич прямо-таки окрылился, когда спустя несколько минут его полковые разведчики принесли информацию, открывавшую новые возможности.

...Дождик по-прежнему мелко сеял, и связной Самосуда развернул и на вытянутых руках держал плащ-палатку над картой, пока командиры совещались. Это была единственная в полку подробная карта района, где они собирались действовать, и ее приходилось беречь, как драгоценность! А представившиеся возможности заключались в том, что остатки немецкой части, разбитой у городка, уходя от преследования, свернули на пролежавшую недалеко проселочную дорогу. И мало того, проселок этот изгибался дугой, внутри которой и стоял сейчас в боевой готовности полк. А значит, повернув к проселку и идя напрямик, партизаны могли опередить врага и затем ударить из засады. Немецкая часть была, по-видимому, сильно потрепана, и если даже по численности она превосходила полк имени Красной гвардии, то на стороне партизан были внезапность и желание сразиться. В полку имелось четыре станковых пулемета, десятков ручных, два батальонных миномета — не так много, но достаточно для хорошего огневого налета. Следовало лишь поспешить — времени оставалось в обрез, а идти надо было лесом.

Самосуд не поколебавшись отдал приказ на бой и, только отдав этот приказ, почувствовал, что у него словно опустело в груди и в этой пустоте сильно забилося сердце. Как-никак, а его партизаны должны были сразиться с регулярной немецкой частью.. Роты двинулись по прямой, через лес, командиры торопили бойцов, и вскоре старые деревья поредела, потянулось мелколесье: тонкие осинки, ольха, кустарник, молоденькие березки с еще не побелевшими, коричневыми стволами. А затем в частой сетке ветвей засквозило открытое место — дога.

Пока что она была пустынной, эта превратившаяся от дождей в нечто киселеобразное, полуутопившая в лужах полоса. Но там, откуда надлежало появиться немцам, слышалось завывание перегретых моторов и не то автоматная стрельба, не то выхлопы. Партизаны не опоздали: шум со стороны города приближался. И полк рассредоточился и залег в мелколесье, в кустах, между мшистых кочек; стрелять без команды, разговаривать и курить было запрещено. Холодный дождик все моросил, но этого никто уже не замечал...

Самосуд свел все свои пулеметы в две группы, в два «букета», как он выразился, чтобы взять врага в перекрестный огонь. Для НП он выбрал обомшелый бугор позади стрелков и, условившись с командирами рот о командах и сигнализации, насунув поглубже на голову шапку, приготовился ждать. Но он едва успел закончить все приготовления — ждать не пришлось.

Немцы и впрямь пришли в расстройство, получив сильный отпор под городом, — они двигались без головной заставы, без боковых дозоров. Впереди ползли, буксуя, две забрызганные грязью легковые

машины, и, вздымая грязевые веера, прыгали по лужам мотоциклы. За машинами длинной серо-зеленой толпой, теснясь к обочинам, где было все же потверже, плелась пехота; с нею тащился обоз — несколько грузовиков, крытых брезентом, заляпанные по брюхо лошади, повозки...

Самосуд выстрелил из нагана, когда голова колонны приблизилась к одному из его пулеметных «букетов», — это был сигнал: «Огонь». И два длинных пулеметных залпа слились в рвущий воздух, пульсирующий пламенем железный клекот. Командир первой роты Никифоров перебежал от одного станкача к другому, указывая цели, и его малиновая фуражка мелькала между осинок и березок, как диковинная птица.

«Вот черт! Молодцом! — восхитился Самосуд, но тут же вспомнил о своем приказе: — Черт! Не снял фуражки! Ну, я его!..»

Будто гибельный ветер носился над дорогой, валя людей с ног. Гренадеры метались, сталкивались, падали, ползали на животах, на четвереньках — и погружались в тусклый слякотный кисель... Бешено заскакали лошади, волоча перевернутые повозки, загорелся большой, как дом, семитонный грузовик. И, потеряв всадников, мотоциклы описывали пьяные кривые и валялись, уткнувшись в какое-либо препятствие. Одна из легковых машин окуталась черным, как сажа, дымом, вторая стояла с распахнутыми дверцами, точно выпотрошенная...

И уже сегодня, а не в некоем отдаленном будущем галчата Сергея Алексеевича смогли увидеть, как бегут их враги, — это именно и пришло сейчас в голову Самосуду.

«Так, хорошо, так! — мысленно одобрил он; на лице его, однако, выступила сумрачная и словно бы недовольная гримаса. — Удачно для начала! И пора кончать... Возьмем обоз и языка. И не будем зарываться».

Уцелевшие гренадеры скрывались в кустарнике на противоположной стороне проселка. Можно было ожидать, что оттуда они откроют сильный огонь, но раздалось лишь несколько выстрелов; должно быть, в легковых машинах были убиты офицеры, которые могли бы организовать сопротивление. Хвост колонны, понесший меньший урон, сразу же подался в кустарник, и кустарник как будто ожил, задвигался, сам побежал к далекому, на горизонте, лесу. Партизаны — иные уже не укрываясь, выходя из-за деревьев, — палили по улепетывавшим грязно-серым фигурам.

Но когда все уже, казалось, было кончено, новый лязгающий звук прибавился к треску пальбы — он вырастал, наполнялся гулом... И из-за поворота, из-за леса показалась на дороге темная, вся из углов и плоскостей, бронированная громадина — тяжелый танк. Он прикрывал колонну с тыла; оглушительно — молотом по железу! — грохнуло его орудие, а на стволе пулемета прерывисто забилась бело-желтая молния. Пули тут же стали повизгивать между осин и березок, и огонь партизан сразу ослабел. Никифоров присел было, но затем выпрямился, сорвал с головы свою необыкновенную фуражку и замахал ею круговым движением, точно гонял голубей, совершенно безрассудно.

— Готовь гранаты! — орал он. — По танку, по щелям гранатами! — И озирался с диким и вопрошающим выражением на полном, с трясущимися щеками лице...

Первой на пути танка — это тотчас подумал Самосуд — оказывалась третья рота, и ей выпадало первой принять страшный двадцатитонный удар!.. Сергей Алексеевич, не отдавая себе отчета, шагнул к дороге, стискивая наган, чтобы помочь, прикрыть, защитить, но сейчас же вернулся на свой НП — его место было там, полк ждал его приказов. И он навсегда запомнил то, что увидел в следующую мину-

ту, стоя среди тоненьких осинок на обомшелом склоне с бессильным револьвером в руке.

Из полюблетевшего, желтым дымком повисшего у самой дороги осинника выбежал Сережа Богомолов... Сергей Алексеевич узнал его по костлявой худобе, по длинному, болтавшемуся, как халат, пальто бутылочного цвета — оно принадлежало еще его старшему брату, окончившему школу год назад. В отведенной в сторону руке Сережа держал гранаты — три или четыре, связанные вместе... И будто споткнувшись, он упал вдруг на дороге прямо против катящейся, лязгающей своими стальными сочленениями машины. «Бросай! — вырвалось у Сергея Алексеевича. — Бросай, мальчик!» — хотя, конечно, Сережа не мог услышать.

Он все медлил, медлил — хотел ударить наверняка...

Следуя его примеру, из осинника выбежали Саша Потапов и чуть позднее Женя Серебрянников.

Потапов был из тех толстенных мальчиков с женской фигурой, что служат постоянной мишенью насмешек товарищей. Он и бежал по-девчоночьи, вихляясь и широко размахивая руками. Но в левой руке у него, левши, была граната...

Серебрянников, в кепке с модным козырьком, в пальто, перешитом из отцовской шинели, быстро на своих журавлиных ногах догнал Потапова, и они побежали рядом. А позади появилась еще Леля Восьмеркина — в платке, замotanном на шее, в синей жакетке, в огромных материнских сапогах, гранату она прижимала к груди, как цветок.

Сейчас Сергей Алексеевич видел только их, своих учеников! Богомолов боком вскинулся — танк, задравший широкий тупой нос, нависал уже над ним, — метнул свою связку и, сжавшись, словно бы нырнул головой в дорогу... Он промедлил, промедлил с броском! Или, может быть, пожертвовал собой в ясной решимости!.. И посверкивая траками, разбрасывая ошметки грязи, движущаяся гора навалилась на него. Под днищем танка блеснул лишь слабый огонь, и машина продолжала двигаться, точно все ей было нипочем.

Одновременно метнули гранаты Саша Потапов и Женя Серебрянников. Потапов недобросил свою гранату, Женина разорвалась на броне танка, видимо, не причинив ему вреда. Но за секунду до этого внутри него что-то утробно пошло громохатать и из его смотровых щелей заструился черный дым. Танк еще двигался, но дыма становилось все больше, а в щелях заблестел красный огонь. Бившаяся на стволе пулемета молния исчезла...

...Весь бой был коротким, и победителям-партизанам он показался даже слишком коротким по сравнению с тем, как много они о нем думали. Гренадеры — те, кому не удалось добежать до леса, — сдавались в плен. Из танкового люка, дымившего теперь как затопленная печь, вывалился весь черный танкист, сполз на землю и, корчась на спине, тоже поднимал руки... Успех — первый успех! — был полный, колонны как не существовало: десятки трупов валялись в расплесканной жидкой грязи и десятка полтора живых grenадеров, бросив оружие, ожидали, что с ними будет дальше... Странно было видеть, что кто-то в их кучке перевязывал другого, — это чисто человеческое поведение как-то не вязалось с ними. Партизаны собирали трофеи, снимали с убитых автоматы, доставали из пробитых пулями мундиров документы, солдатские книжки. Кирилл Леонтьев вел в поводу вспотевшего коня, отбитого у врага.

Самосуда обступили возбужденные, счастливые люди — они шумно докладывали, широко жестикулировали и с особенной охотой бросались исполнять приказания, которые он отдавал. Он не смог даже немедленно пройти в третью роту. Лишь когда кто-нибудь загова-

ривал. • Богомолоче, голоса стихали и лица менялись, от Сергея Алексеевича не ускользнуло, что не скорбь, а какое-то восторженное изумление охватывало бойцов. Казалось, что при упоминании о Богомолоче все спрашивали себя: «А ты сумел бы, как он?..» И кто-то, вероятно, отвечал себе: «Понадобится — да, сумею!» — а кто-то признавался: «Нет, не смогу!» И может быть, тот, кто так признавался, способен был уже порицать Богомолоча за жертвенность. Как и всегда, очень высокая доблесть воодушевляла одних и умаляла других в их представлении о себе.

А бойцы третьей роты копали у дороги могилу... В голос плакала Таня Гайдай, плакал Саша Потапов, Серебрянников с замкнутым лицом молчал и смотрел вбок: кажется, он считал себя виновным в том, что не опередил в броске Богомолоча. И придя наконец в третью роту, Сергей Алексеевич почувствовал горестное затруднение. Ребята ждали от него чего-то необыкновенного — он должен был и утешить, и примирить, и прославить. А он сам нуждался в том же — в необыкновенном, и его отцовской гордости учеником было слишком мало, чтобы утешить его самого. Сергей Алексеевич не мог отделаться от мысли, что несправедливости случались и в его классе: Сережа Богомолоч не был ни самым выдающимся учеником — по успехам он шел где-то в серединке, — ни самым любимым, его считали чересчур правильным... А вот каким он ушел от них всех — великим! Правда, на Богомолоча всегда можно было положиться — не подведет! И как же скромно это звучало: «Всегда можно положиться» — и как оказалось огромно: «Всегда можно положиться!»

Об этом Сергей Алексеевич, крепясь, и сказал своим школьникам.

...Полк снова приготовился к маршу, и он подошел проститься к раненым. Потери партизан к бою были невелики: один убитый — Сережа Богомолоч — и четверо раненых. Раненые были уложены уже на повозки — их спешили отвезти в госпиталь, — а вместе с ними Самосуд отправил в город к ополченцам пленных.

## Семнадцатая глава

### ТРУДНЫЕ ДОРОГИ ПОБЕДЫ. ГЕНЕРАЛЫ

#### 1

Когда бывшему командарму и недавнему заключенному немецкого лагеря для военнопленных стало известно, что нынешний командующий фронтом хочет его видеть, он понял это как вызов в суд и упал духом. Его страх был тем более удивителен, что он, человек вообще не робкий, находился уже, казалось, за пределом всех возможных человеческих страхов. Более ужасного несчастья, чем то, которое он пережил в октябре сорок первого, потеряв в окружении свою армию, невозможно было представить. И все, что касалось его лично — его отдельная жизнь с ее безупречным прошлым, с ее надеждами на будущее утратила уже всякое значение и смысл, у нее просто не стало будущего. Даже тот обвинительный приговор, который, как он не сомневался, будет ему вынесен высоким начальством, а впоследствии, быть может, и самой историей, не пугал его, потому что его собственный приговор себе был как бы приведен в исполнение. И он, пятидесятилетний человек, боевой генерал-лейтенант, кавалер двух орденов Красного Знамени, полученных за отличия в гражданской войне, хороший семьянин, муж и отец, он словно бы перестал существовать. А умерев, он ничего, естественно, не страшился...

Он и в безнадежной обстановке, в окружении, стойко держался, пытаясь спасти то, что еще способно было бороться. И он вновь и

вновь бросал на прорыв остатки своих дивизий, с которыми у него сохранилась связь. Случалось, что он сам с автоматом в руках шел впереди своих солдат и сам ложился в стрелковую цепь, к пулемету. Но ничто уже, казалось ему, не могло изменить его собственной участи. Конечно, генерал мог сослаться на не зависевшие от него обстоятельства: на огромное превосходство противника и в технике и в численности, на разительную нехватку артиллерии, авиации, танков. Но в вопросе командирской ответственности он был, на иной взгляд, педантичен, и в его понимании ничто не снимало с командующего армии вины за ее гибель, за всех пленных, без вести пропавших и за проломленные врагом ворота на Москву.

В середине октября, все еще сражаясь в окружении, генерал был ранен в голову, потерял сознание и попал в плен. Едва оправившись, он бежал из лагеря, и это ему удалось, потому что в решительный момент он опять же не испугался пули немецкого конвоира. После нескольких безуспешных попыток он перебрался через фронт и вернулся к своим, потому что его не устрасила и «своя» пуля, пуля по решению военного трибунала, и она была предпочтительнее плена.

...Ранним февральским утром сорок второго года стрелок из боевого охранения увидел ползущего по опушке леса белого, вывалянного в снегу человека в мохнатой маске инея на лице. И только в штабе батальона этот беглец из немецкого плена с полной достоверностью узнал, что немцы потерпели под Москвой поражение, что обскровлены целые их армии и что в Подмосковье освобождена громадная территория. Пробираясь к фронту, генерал питался противоречивыми слухами: добрые люди, прятавшие его, снабжавшие на дорогу ломтем хлеба и вареными картофелинами, одевшие его в овчинный зипун, сами толком ничего еще не знали. И эта весть о победе — такой долгожданной и спасительной! — принесла генералу также и личное облегчение: гибель его армии не имела непоправимых последствий.

Из штаба дивизии его сразу же отвезли в медсанбат — у него было обморожено лицо, обморожены пальцы на ногах и, казалось, обморожены легкие... Там, в медсанбате, ему дали сообщение Совинформбюро «В последний час», это облетевшее уже всю планету и утешившее многие миллионы людей, вернувшее им уверенность в силе правды, совсем недлинное сообщение, — оно было перепечатано в листке дивизионной газеты. И генерал только сейчас впервые прочитал:

«6 декабря 1941 года войска нашего Западного фронта, измотав противника в предшествовавших боях, перешли в контрнаступление против его ударных фланговых группировок. В результате начатого наступления обе эти группировки разбиты и поспешно отходят, бросая технику, вооружение и неся огромные потери».

Генерал одиноко сидел на железной койке в предоставленной ему избенке — точнее, в баньке, превращенной в одну из палат медсанбата, — обряженный в вязевую рубаху с завязками, скелетно-тощий, с багровыми изъязвленными щеками, и вникал в каждое слово: «После перехода в наступление, с 6 по 10 декабря, частями наших войск занято и освобождено от немцев свыше 400 населенных пунктов... захвачено: танков — 386, автомашин — 4317... орудий — 305... Немцы потеряли на поле боя за эти дни свыше 30 000 убитыми...»

Мысленно генерал повторял фамилии командармов, названных в сообщении, одержавших не в пример ему эту победу, — некоторых он знал лично: Лелюшенко, Рокоссовского, Говорова, Болдина... С Лелюшенко и Болдиным он служил, и вот как по-разному сложились их судьбы! Нет, он не завидовал им в точном смысле, он испытывал нечто более сложное, какую-то восторженную боль: генерал и радовался всей душой за товарищей, и в самой этой радости было нечто



остросаднящее... В его душе оживали умершие чувства: и восхищение, и, как бы стороной, жалость к себе, и чисто профессиональный интерес — как же все-таки была достигнута победа? — и живой интерес к завтрашнему дню. И он вновь начинал ценить то, что вчера еще не имело в его глазах цены, — признательность и славу, которые ждут победителей.

А утром этого дня к нему без стука вошел адъютант командира дивизии с известием, что в дивизию приезжает командующий фронтом и что командующий выразил желание его видеть. И генерал испытал еще одно позабытое им чувство — он оробел, что, в сущности, также было признаком его возвращения в мир живых людей. Но признаком, конечно, унижительным...

Нового командующего фронтом — впрочем, далеко уже не нового, вступившего в командование еще в октябре, — побаивались все, кто служил под его непосредственным началом. И мнение о нем сослуживцев составилось довольно единодушное: одарен выдающимся стратегическим талантом и исключительной, истинно полководческой твердостью характера, вместе с тем требователен порой до жестокости и резок до грубости. Так о нем думал и бывший командарм, встречавшийся с этим военачальником еще до войны на учениях; вот у кого каждая вина была виновата! Было известно также, что командующий и себе не дает поблажки, что он неумолим, памятлив, ничего не забывает, решителен и что его требовательность, не знающая снисхождения, свободна от каких-либо внеделовых мотивов. Но бывший командарм и не рассчитывал на снисхождение.

Подчиняясь безотчетному побуждению, он, выслушав вестника из штаба дивизии, встал с койки и вытянулся, точно командующий появился уже здесь. А адъютант комдива улыбнулся: этот разурмяненный морозом юнец лейтенант с бесстрашно веселыми глазами так и предполагал, что известие, с которым он пришел, произведет сильнейшее впечатление... Ну что же, старый генерал, вытянувшийся при одном упоминании о командующем, заслужил, по всей вероятности, то, что его ожидало: в штабе рассказывали, что армию, которой он командовал, немцы полностью разгромили, тысячи попали там в плен. И было нетрудно догадаться, каково-то ему сейчас... Несколько смягчало его вину, по мнению лейтенанта, лишь то, что сам он бежал из плена.

Стоя в положении «смирно», генерал осведомился, в какое время точно надлежит ему явиться к командующему фронтом, и лейтенант ответил, что на этот счет указаний пока не дано.

— Всякое бывает... Изменение обстановки, срочный вызов в Ставку, — пояснил он. — Вы понимаете?

Генерал провел рукой по лбу, собираясь с мыслями, потом он попросил принести ему бритву, зеркальце и его одежду, ту, что, не снимая, он носил и в плену, в которой бежал, — его генеральский китель. Лейтенант пообещал все раздобыть, а зеркальце отдал свое, извлек из кармана гимнастерки. Все же этот незадачливый старик пробудил в его юном сердце сочувствие — просто страшно было подумать, что ему грозило... В штабе в связи с его историей вспоминали других генералов, которых судили за поражения в первые месяцы войны. И победившему по крайней молодости лейтенанту захотелось даже как-то подбодрить старика. А то, что по своему адъютантскому положению он был принят в обществе высшего начальствующего состава, давало ему право на известную интимность. Блестя своими веселыми глазами, лейтенант сказал:

— А главное, товарищ генерал, в чем? Главное — какая на данный момент боевая обстановка. На данный момент наступаем мы. Так

что, возможно, у вас обойдется... Прошу простить, что вмешиваюсь. Ну, ни пуха ни пера!

Генерал от унижения прикрыл глаза, но промолчал.

Весь день он приводил себя в порядок, готовясь к предстоящему испытанию судом. У санитарки, пришедшей прибрать баньку, он попросил иголку с ниткой и принялся чинить свой протершийся на локтях, пропитавшийся потом, провонявший дезинфекцией китель с немногими уцелевшими на нем пуговицами. Беспокойство доставило ему и то, что на воротнике кителя на одной из петлиц не хватало двух из полагавшихся трех генерал-лейтенантских звездочек — были потеряны еще в немецком лагере. И хотя он смог бы, вероятно, выпросить звездочки у кого-нибудь из старших командиров в штабе, он по некотором размышлении решил не делать этого — кто знает, как такая просьба могла быть истолкована...

Санитарка, толстая, но проворная женщина с насмешливо-хитроватым выражением лица, поглядев, как он трудится с иголкой у замерзшего окошка, сжалась над ним. Она забрала у него китель и бриджи, вынесла во двор, почистила, протерла снегом, заштопала как смогла дырки на локтях и пришила свежий подворотничок. Генерал не знал, как и благодарить ее, и она, собирая свои щетки и тряпки, усмехалась и отмахивалась:

— Что уж вы так-то?

— А то, что вы... ну, как сестра родная, — сказал он, растрогавшись.

— Сестра родная?! — Это, казалось, развлекло ее. — Скажи пожалуйста... Вы генерал, большой начальник, а я... знаете, между прочим, кто я такая? Уголовная я...

И она взглянула с явным удовольствием, точно спросила: «Как это вам понравится?»

— Я срок имела — за спекуляцию. Перед войной только вышла, в сороковом.

— Что было, то прошло, — сказал генерал, — кто старое помянет, тому глаз вон.

— А кто старое позабудет, тому два вон — так мне участковый в Рязани говорил... Я сама московская, а только в Москве мне прописки не дали. Я в Рязани и в санитарки попросилась... Хороший человек, наш капитан, взял меня, не поглядел на судимость.

Женщина присела на лавку, отдыхая.

— В беде мы — вот и вся причина... Вы тоже в беде, товарищ генерал, потому и я вам сестрой заделалась. Когда человек в удаче, в законе, он и сам по себе отлично проживет. Ну, а в беде одному — могила, человек это понимает. — Она смеялась своими карими, глубоко сидевшими глазами. — Уж не знаю я, какие генеральские беды бывают, не осведомлена. Но я сразу почуяла: в беде товарищ начальник... Правильно я говорю? Передо мной чего таиться — я на людей не доказчица.

Генерал, однако, уклонился от ответа.

— А у вас какая беда? — спросил он.

Но женщина уже заторопилась.

— Кто сейчас не в беде... Ну да ладно, за битого двух небитых дают — и то выгода... Хорошо вот от Москвы прогнали извергов.

Она встала, подхватила свои тряпки, веник и у самой двери обернулась.

— Исполнения желаний! — сказала она. — И глядите не расхворайтесь... Не обиделись, что я вас товарищем называла? Я часто так сбиваюсь по рассеянности. Нашего капитана называю гражданином начальник — тоже в меня вьелось. А если обиделись, извиняюсь...

— Да что вы! — воскликнул генерал. — Еще раз большое вам спасибо!

— Я за мелкую спекуляцию сидела, за трикотаж, — успокаивая его, сказала женщина.

...На дворе еще светил день, а в баньке стало уже смеркаться. Генерал, умытый, выбритый, облаченный в свой вычищенный, заштопанный хитель, одиноко сидел, ожидая вызова. Шли часы, никто не появлялся, и он не выдерживал, вставал, пытался ходить, но боль в отмороженных ногах вновь возвращала его на лавку. К вечеру у него усилился кашель, сухой, отдававший болью в боку, — женщина-санитарка оказалась прозорливой: он, кажется, серьезно заболел. И как же это было некстати перед тем труднейшим, что ему сегодня предстояло...

## 2

Командующий фронтом, генерал армии, ехал сейчас той же дорогой, по которой четыре месяца назад осенней октябрьской ночью с 7-го на 8-е он в качестве уполномоченного Ставки пытался выяснить обстановку на московском направлении. Это была самая безжалостная ночь за всю его военную службу: между Москвой, из которой он в поздних сумерках выехал, и немецкими войсками, наступавшими на Москву, он не нашел тогда никаких сколько-нибудь значительных сил прикрытия. И в половине третьего ночи он из штаба Западного фронта доложил в Ставку, что бронетанковые силы врага могут внезапно появиться под Москвой... Далее он поехал разыскивать штаб Резервного фронта; о местонахождении штаба ничего не было известно и в Ставке.

Мелкий дождик постукивал по окошкам автомобиля, низко стлался туман, и дорога на Малоярославец и Медынь была уже как будто покинута нами. Изредка по стеклам скользил размытый свет встречных фар, глухо, как тонущая в осенней воде, сигналила где-то машина, а затем вновь слышалось лишь это робкое постукивание да завывание собственного автомобиля. И можно было только гадать, что совершалось в этой тишине, в океане тумана, затопившего Подмосковье.

Могло случиться и так, что его, генерала, одинокая машина напорется вдруг на немецкую танковую разведку. И он откидывался к спинке сиденья и прислушивался... В какой-то момент он расстегнул кобуру, чтобы не замешкаться, если придется обнажить пистолет, а его адъютант положил на колени автомат: следовало быть готовым и к тому, что придется отстреливаться. Но останавливаться на этих мыслях было некогда, просто некогда! Главное было в необходимости разобраться в обстановке, представить себе дальнейшие действия врага, сообразить, как и чем на его действия ответить. А для этого прежде всего требовалось знание — ясное знание истинного положения дел.

Но ясности не принесло и наступившее пасмурное утро... В Малоярославце, куда на рассвете въехал генерал, в опустевшем доме райисполкома в кабинете председателя сидел в задумчивости над картой командующий Резервным фронтом маршал Буденный. Пахло стеариновыми свечами, которые только что были погашены... Оторвавшись от карты, Буденный поднял лицо на вошедшего генерала, и тот подивился: это широкое, большое, с толстыми усами лицо, известное в стране каждому школьнику, показалось ему почти незнакомым — таким оно было постаревшим, серым, заострившимся. А маршал заметно обрадовался, встал из-за стола, пошел навстречу: он тоже очень нуждался в информации и ему, должно быть, очень уж

одиноко было этой бессонной ночью... Он сказал, что две армии фронта, которым он командовал, отрезаны и связь с ними порвалась, а вчера он и сам чуть не угодил между Юхновом и Вязьмой в расположение врага. Где находился сейчас его штаб, он не знал...

В Медыни, разбитой бомбежкой, наполовину сгоревшей, также не оказалось никого, кто мог бы дать точные сведения об обстановке. В развалинах бродили одинокие женщины, что-то свое искали, копались в обломках и принимались плакать, когда их расспрашивали.

Это были все родные места генерала... На этой земле, в этих березовых и липовых рощах, на этой речке, в этих полях он вырос, ходил с отцом на сенокос, ходил с матерью на жатву; отсюда с железнодорожного полустанка в набитом до отказа отходниками вагоне он отправился некогда в Москву, «в люди». Совсем недалеко тут стояла деревня, в которой и сегодня жили его мать, сестра, племянники... И можно было не сомневаться, что, если завтра в его деревню придут немцы, они расстреляют его родных только потому, что это его родные,— надо было немедленно увозить их... Но генерал не смог себе позволить сейчас даже повидаться с матерью — он не имел на это ни часа, ни минуты!

В конце концов размеры катастрофы определились довольно отчетливо. Из того, что генерал услышал в штабах Западного и Резервного фронтов (который все же вскоре отыскался), из разговоров с командирами случайно встреченных частей подтвердилось самое грозное: путь на Москву в районе Можайска был по существу открыт! И зияющие бреши в нашей расколотовой обороне заполнить было нечем!.. А через недолгое время генерал получил приказ Ставки принять Западный фронт в свое командование.

...Сейчас была уже зима, и стоял крепкий мороз. Немцы отступали, свирепо отбиваясь, не желая признавать своего поражения, перебрасывая резервы с других фронтов, но отступали! И были освобождены уже и те районы, которые в осеннюю ночь минувшего года одиноко проезжал командующий! Вновь очутившись в родных местах, он, как ни водил глазами, не узнавал их, не увидел он и своей деревни... Куда ни хватал глаз было странно голо: ни дерева, ни крыши, ни плетня. Липы, целый их лесок, в котором отец командующего драл лыко на лапти всему семейству, исчез: немцы вырубил лесок и пеньки волнообразно приподнимали снежную целину там, где он рос. А от родительской избы сохранилась одна печная труба, торчавшая как надмогильник под толстой снежной шапкой... К счастью, за несколько дней до появления здесь немцев командующий успел послать за матерью и сестрой с детьми машину.

Деревня была вся сожжена... Только десятка полтора черных печей держали подобие уличного порядка посреди бескрайней белой равнины; от других дворов и того не осталось. И только из одной печи поднимался вертикально белый плотный дымок. Непомерно толстая женщина, закутанная во все тряпье, что еще нашлось у неё, перевязанная крест-накрест рваными платками, стояла с ухватом у очага; отсвет бледного огня придавал ее темно-коричневому профилю оттенок бронзы. Она тяжело повернулась к генералу на его «здравствуйте, бабушка» и не сразу заговорила своим замороженным голосом — точно заскрежетали друг о друга камни:

— Ну, здравствуй... Откуда будешь? Может, наш, калужский? — Она приглядывалась к нему.

— Ваш, бабушка, ваш, калужский,— ответил командующий.

Он не узнавал ее, хотя должен был, конечно, знать эту соседку своей матери. Она и вообще больше походила на изваяние — на бронзовый памятник бабьему долготерпению.

— Постой... — сказала она. — Ты не Устиньин ли Егор?

— Я и есть, Егор, — сказал командующий.

Так уже повелось в их деревне: детей в обиходе звали не по отцу, а по матери.

Лицо женщины стало оживать, дрогнули в слабой улыбке морщины у черных губ, собрались у глаз с заиндевевшими ресницами. И тут обнаружилось, что женщина еще не очень стара — лет сорок от силы — и что у нее чистые, прозрачные глаза.

— Живой? Ну, обрадовал — В ее голосе быстрее заскрежетали, точно посыпались, камни. — А Устиньи твоей нету... Перед самыми немцами приехала машина, всех твоих забрала и еще кто поместившись.

— А вы здесь все время оставались? — спросил командующий.

— Мы здесь... Куда ж мне было с моей командой?.. Трое у меня, и все есть просят, — сказала женщина. — А отец наш тоже воет. Может, ты его знал? Из Пяткина он, тракторист... Не помнишь, призабыл?..

Командующий сделал вид, что припоминает.

— Он тебя хорошо помнил, — сказала она, — ну да, как сказывают, поп на селе у всех на виду, попа кто не знает.

— А где же?.. Где ваши дети?.. — Командующий невольно огляделся.

На снег было трудно смотреть. Вся равнина сияла кристаллическим сиянием под бледно-лазоревым, ни облачка, полуденным небом. Ближе к сизоватой линии леса на горизонте скользили над целиной азросани — целая флотилия белых лодок с прозрачным плоским свечением вращающихся винтов.

Не ответив, женщина принялась работать в печи ухватом, что-то передвинула там, подгрела жар; ее бронзовый профиль зазолотился в разгоравшемся свете. А генерал подумал: не коснулся ли он, спросив неосторожно о детях, свежей раны?

— Моя команда? Где же ей быть. Со мной они, все трое, — сказала женщина.

Она прислонила ухват; красный свет из устья печи блестел на ее щеках, увлажнившихся от подтаявшего инея.

— Повезло нам — в подполе отсиделись... Сам понимаешь, старшей моей семнадцатый пошел, девка — невеста, все при ней. Никак нельзя ей было фрицям на глаза показываться... Ну, пронесло, повезло, говорю... А и теперь мы все там сидим, как подземные жители... Куда пойдешь? Кругом все изверги вшивые пожгли... До весны уж дотерпим.

Командующий только теперь обратил внимание на очищенную от снега квадратную крышку погреба в двух шагах от печи, с выведенной наружу железной трубой. Отощавшая рыжая кошка улеглась возле крышки на солнечном припеке и, приподняв острую мордочку, хмурилась. Два воробья — как они только уцелели в таких морозах? — быстренько скакали среди разбросанного мусора, пепла, черных угольков и что-то поклевывали...

— Моя Ксанка, старшая, говорит: ничего, мамка, мы, говорит, вроде гномов заделались, они, гномы, тоже в земле живут... Слыхал, Егор, про гномов?.. Ксанка где-то вычитала... — словно бы погордилась женщина. — Девка семь классов кончила, хотела дальше идти... А сейчас мы обедать будем и тебя приглашаем — хочешь, Егорка, горяченькой картошки?

Она подцепила ухватом горшок и вытащила его из печи.

— Соли только у нас нету, пропадаем без нее. Ну, соль у тебя небось найдется. Ты, рассказывали тут у нас, в самые большие коман-

диры вышел. Правда, нет? — Женщина оказалась даже словоохотливой. — Я как услышала, не поверила... Откуда, подумала, у наших-то, деревенских, такие таланты?..

— Неверно вам рассказывали... Есть командиры и побольше меня, — сказал командующий.

— А я так думаю, что и точно в большие вышел.

Она повернулась к дороге, где командующего дожидались в машинах его офицеры и охрана; воспитанный адъютант, выскочивший вслед за ним, остановился на таком расстоянии, чтобы услышать, если позовут, и не помешать, пока не окликнули.

— Гляди-ка, один на трех машинах едешь, — сказала она. — И еще этот, как его? Запомню я... ну, вроде секретарши, только мужчина. Да нет, ты и вправду высоко, должно, стоишь.

— Надо мне ехать, — сказал командующий, — спасибо за приглашение, в другой раз с удовольствием... А соль я сейчас пришло, в машине у товарищей найдется — соль и что там еще... Спасибо, хозяйка!

— Тебе спасибо, — сказала женщина.

— Мне?.. — Командующий взглянул как бы с отчуждением. — Мне за что? Я и соли еще не дал... Армию благодарите, солдата.

— Тебе тоже, Егор!.. От сердца говорю, от всех матерей! Спасибо, что погнали их, вонючек этих... «Матка, яйки! Матка, сало!.. Матка, капут!» — Она качнула замотанным в платки шаром головы. — Это подумать только: «Матка, капут!» — и ружье наставляет! Неужто ж это бабы народили таких! Прямо не верится.

А у командующего отвердело его крупное лицо с тяжелым, будто припухшим под нижней губой подбородком, раздвоенным внизу. Он подумал, что ему было бы легче, если б женщина, землячка, не благодарила его, а стала бы отчитывать... За что, собственно, она его благодарила: за это существование подземных жителей, за этот черный очаг в снежной пустыне?.. Но ведь все могло быть иначе, должно было быть иначе! И кто виноват, что все произошло именно так, а не иначе, не как представлялось до войны?!

— До свидания, — сказал командующий. — Желаю вам поскорее выбраться из вашего погреба, покончить с жизнью гномов... Выберетесь, выберетесь! — словно бы прикрикнул он на женщину: он был очень расстроен, огорчен. — Ну и... простите нам наши ошибки!.. Немцев Красная Армия погнала и погонит дальше!.. К чертовой матери! А нас простите!

Он откозырял, круто повернулся, оступился с утоптанной тропинки и, взвихривая носками снег, пошел к дороге.

...Вторую половину дня до темноты командующий пробыл в штабе одной из армий фронта, а затем вместе с командиром выехал в дивизию, которая должна была вечером атаковать. Его главной заботой ныне было то, что темп наступления Западного фронта замедлился и каждый шаг вперед стоил теперь все дороже. При этом войска фронта не добивались «надлежащего успеха», о чем он доносил уже в Ставку Верховного Главнокомандования. Сейчас вопрос дальнейшего, на весну и лето, планирования военных действий приобретал на Западном направлении, да и на других фронтах, первостепенную важность. И командующий хотел лично, как поступал всегда, выяснить действительное положение дел на переднем крае, почувствовать то, о чем не всегда упоминалось в донесениях, — самую атмосферу этих последних наступательных боев.

На КП командира дивизии собралось к началу атаки много начальства: член Военного совета армии, начальник артиллерии, офицеры из штаба фронта. И было заметно, что командир дивизии, полковник с наружностью сапорожского вояки — сивоусый, дородный, крас-

нолицый,—всячески силится не выказать своего волнения. Вероятно, в этот критический час, поднимая в новый трудный бой свою дивизию, он предпочел бы, чтобы за ним наблюдало меньше оценивающих глаз... А тут еще ожидался приезд самого командующего, о котором полковник достаточно был наслышан. И он твердо, громко, с особенной отчетливостью, чтобы его не заподозрили в нерешительности, отдавал распоряжения своим подчиненным, и вытягивался, подбирая живот, и пристукивал валенками, чеканя ответы на вопросы начальства.

При появлении командующего фронтом вытянулись все, кто здесь находился, и оборвались все разговоры. Командующий некоторое время молча слушал командира дивизии, твердый тон которого плохо соответствовал содержанию его доклада. Полковник, надо отдать ему справедливость, не скрыл потерь, понесенных его частями в предыдущих боях, но когда он упомянул о недостатке артиллерийских снарядов и мин, командующий его прервал:

— Заранее оправдываешься. Не поможет, так и запомни, не пойдешь вперед — не оправдаешься.

Он вполне понимал состояние командира дивизии, но именно поэтому был резок с ним... Боеприпасов в войсках действительно остро не хватало; заявки фронта на огневое довольствие удовлетворялись в лучшем случае на тридцать — пятьдесят процентов, и большего — что также хорошо понимал командующий,— большего не могла дать страна, лишившаяся своих западных промышленных областей, не могла, как ни напрягалась! А Верховное Главнокомандование приказывало наступать, и это тоже было более чем понятно: страна, народ и сама долготерпеливая землячка командующего требовали победы и возмездия. А значит, надо было идти вперед с тем, что есть,— вперед, даже стреляя вполовину реже, чем полагалось бы. Но там, где «вперед!» не сопровождалось подавляющим огнем, где приходилось экономить огонь, там проливалось больше крови... И сознавать это, не переставая в то же время требовать от людей почти что чуда, понимать их, и не сочувствовать им, и «не входить в положение» было нелегко даже для командующего со всей его волей. Когда речь заходила о боеприпасах, он раздражался и грубел: не в силах помочь практически, он не имел права и на сожаление, оно лишь помешало бы ему.

Полковник с внешностью казачьего атамана был несколько обескуражен.

— Ясно, товарищ генерал армии! — выкрикнул он с неловкой лихостью и пристукинул валенками.— Так точно, не оправдаюсь.

За деревней, в поле, командующий сделал смотр отряду лыжников, отправлявшихся в обход неприятельской позиции... Светила луна — маленькая, бело-голубая в центре гигантского воздушного круга, предвещавшего и назавтра сильный мороз. К ночи подул ветерок, побежала поземка, и словно бы звездная пыль заискрилась в лунном тумане. Лыжники были все в маскировочных халатах, и уже в двух-трех шагах их белый строй терялся в этой искрящейся полумгле. Командующий проходил очень близко к бойцам, присматриваясь к их снаряжению, к тому, как прилажено оружие, и заглядывая под нависавшие на лица капюшоны. Оттуда из тени его встречал пристальный, в упор взгляд — это было похоже на разговор, бессловесный, но прямой — глаза в глаза. Командующий допытывался: «Как настроение? Понимаешь свою задачу? Не сробеешь?» И в ответ в этих устремленных на него из-под капюшонов глазах, любопытных или сердитых, широко раскрытых или сощуренных, блестящих, матовых, улыбающихся, тоскливых, он прочитывал — у одного любопытный интерес: «Вот ты какой, командующий всем фронтом!»; у другого досадливое нетерпение: «Скорей бы уж, намерзлись мы здесь, стоя!»; у третьего

бравату: «Дадим сегодня прикурить фрицам!»; кто-то, в свою очередь, спрашивал: «Ну, а когда конец?.. Ты командующий, ты все знаешь... Когда же победа и конец войне?» И командующему разговор понравился: в десантном батальоне воевала молодежь — все как один комсомольцы. Но вопрос «когда же окончательная победа?» он мог бы сам задать этим ребятам.

Отзвучали негромкие команды, заскрипел снег под лыжами, и стало тихо и пусто... Вереницы белолунных бойцов неожиданно быстро пропали из глаз, исчезли в надземной звездной пыли. И у командующего невольно прошла мысль: «А сколько вас вернется из этого боя?» Он тут же ее отогнал.

...Атака частей дивизии успеха поначалу не имела. Да и нельзя было ожидать, что успех достанется легко: артиллерийская подготовка, короткая и недостаточно плотная, не подавила огневую систему противника. И та разом бурно воспламенилась, как только пехота поднялась для броска. Немцы обнесли свои укрепления ледяными валами, и на льду бешено заплясали зеркальные отражения пулеметного пламени. Вступила в действие и артиллерия немцев. Их ракеты непрерывно освещали предполье, и под этой разноцветной — зеленой, розовой, желтой, — словно праздничной иллюминацией вставали дымные, перемешанные со снегом разрывы. А люди залегали, вжимались в землю, в снег и кое-где уползали назад, если не оставались на месте навсегда...

Наступавшая на фланге дивизии танковая бригада также встретила сильный заградительный огонь и также не прошла вперед, о чем донес на НП комдива командир бригады. И на наблюдательном пункте стало как будто не хватать воздуха — как в горах на головокружительной высоте, где трудно дышать.

Комдив вызывал к телефону то одного, то другого командира полков, наклонялся над аппаратом и багровел — кровь прилиwała к его толстым щекам.

— Майор, поднимай своих людей! Подполковник, поднимай людей! — повторял он внешне даже спокойно, но в его голосе слышалось постанывание.

Проволочная связь рвалась, и на НП все чаще появлялись связные — вестники из этого иллюминированного ада. Они были вывалены в снег, пар застилал их обожженные морозом лица, обледенелый пот свисал с бровей. Задыхаясь, они докладывали и просили огня, торопливо затыгивались сигаркой, хукали в озябшие ладони и возвращались в ад с приказом идти вперед. А комдив поглядывал на командующего, стоявшего у стереотрубы, не в силах избавиться от чувства своей несвободы. Командующий только смотрел и слушал, не вмешиваясь, однако самое его присутствие здесь, это его тяжелое молчание словно бы приказывало: вперед, вперед, чего топчетесь?! И комдив ввел в бой свой резерв, в атаку пошел даже саперный батальон — гордость дивизии... Вновь по обнаружившим себя пулеметным очагам коротко ударили наши гаубицы, и кое-где ледяное укрытие немцев превратилось в кучи сверкающих осколков. Все же сбить противника с его рубежа пока не удавалось... В бой ушел начальник политотдела дивизии и через четверть часа донес, что он заменил убитого командира полка. Немецкие снаряды рвались теперь недалеко от НП — полуразваленного сарая, — в проем ворот веяло дыханием взрывчатки. Унесли на перевязку старшего лейтенанта из дивизионной газеты, раненого тут, у входа в сарай... Смерть со свистящим, шелковым шелестом пронеслась наверху, над головами, и чугунно ухала, оказываясь где-нибудь поблизости. Но все это было уже как бы в порядке вещей, как бы естественным на той страшной высоте, где все было неестест-



венным, где человек вообще, казалось, не может существовать... И связисты с катушкой на боку ползали по разноцветному снегу, отыскивая концы перерубленного осколком провода, и зачищали их, и соединяли окоченевшими пальцами, чтобы можно было передать все тот же приказ: «Вперед!»—или все ту же отчаянную просьбу: «Дайте огня!»

К командующему примчался в машине командир из штаба фронта с последними оперативными новостями... Огромная битва шла этой ночью на обоих флангах многокилометрового фронта, здесь был только один из ее участков. Командарм, с которым командующий сюда приехал, покинул уже его, чтобы побывать в соседней дивизии, где создалось напряженное положение: немцы контратаковали там крупными силами...

Командующий, стоя у стереотрубы, под вздрагивавшим от близких разрывов настилом, задумался о том, что недалек день, когда войска его фронта, ослабленные в этом беспримерном наступлении — в наступлении, где они никогда по численности не превосходили противника,— эти удивительные войска вынуждены будут перейти к обороне... Окончательная победа лишь брезжила за тысячи километров, где-то в Германии — не ближе! — и бог ведает сколько еще усилий и жертв понадобится, чтобы пройти эти километры! Командующий пошевелился, переступил с ноги на ногу, оглянулся. Командир дивизии, поймавший это движение, тут же с готовностью подался к командующему, чтобы его выслушать и все исполнить.

Перелом в бою произошел как-то неожиданно, по крайней мере на непосвященный взгляд. Вдруг поле боя начало гаснуть, поредела ракетная иллюминация, и на НП донеслось протяжное «а-а-а-а!»— это кричала «ура» пехота, добравшаяся до вражеских линий. Еще вспыхивали в глубине немецкой обороны рукопашные схватки, поблескивал автоматный огонь, но сделалось тише, рев боя удалялся. И на истоптанном, рябом, в черных пятнах копоти поле, залитом ледяным лунным потоком, перестали мотаться и застыли в неподвижности тени — от разбросанных трупов, от подбитой пушечки, от комков выброшенной земли.

Командир танкистов донес на НП, что его «тридцатьчетверки» преследуют противника и что взяты пленные. Общий успех был достигнут в результате маневра: фланговый удар лыжного отряда совпал с повторным фланговым ударом танков,— и немцы отступали, чтобы не попасть в кольцо. Полковник с наружностью запорожского рубаки снял с головы свою высокую папаху таким медленно-торжественным жестом, точно собирался осенить себя крестным знаменем, и отер ладонью вспотевшую лысину.

Командующий, не теряя времени, собрал тут же, на НП, командиров, холодно поблагодарил за умелые действия, а назавтра пообещал артиллерийское усиление: гаубичный полк из своего резерва. Затем он распорядился срочно прислать в штаб фронта цифры потерь и списки отличившихся для награждения. Провожаемый комдивом, садясь в машину, он приказал ехать в медсанбат, где, как доложили ему, находился бывший командарм, бежавший из плена.

— Разрешите, товарищ генерал армии, мы доставим сюда товарища... — Комдив запнулся, не уверенный, можно ли назвать генерала, побывавшего в плену, товарищем и генералом.— Это займет не больше получаса.

— Мне по дороге,— сказал командующий.— До свидания. И надо худеть, худеть, товарищ полковник, куда это годится — таскать такой живот?

## 3

За обледенелым окошком баньки, в которой командарм ожидал вызова, совсем стемнело, а вызова все не было. И сидя в темноте в своем начищенном и заштопанном кителе, причесанный и выбритый, командарм незаметно для себя задремал — склонился боком на лавку, опустил голову на согнутую в локте руку и, успев еще подумать: «А может, и не вызовут сегодня?» — уснул. На нарах в немецком лагере генерал часто видел сны, и в них чаще всего свое детство и вкусную еду: он уплетал во сне ржаные блинцы со сметаной, те, что пекла по утрам мать, пил теплое, пахнувшее коровой молоко, ходил с дедом на реку рыбачить и хлебал уху на бережку — голод в лагере был общим постоянным страданием. А сейчас генерал будто упал в черную, глухую, непроглядную яму...

Когда его разбудили, он вскочил с такой поспешностью, словно все еще находился в лагере и проспал проверку. Слепленный лучами электрических фонариков, генерал, не разглядев никого в первые мгновения, молчал и жмурился. И командующий тоже не нашелся сразу, что сказать. Он давно знал и хорошо помнил этого генерал-лейтенанта, славного кавалериста с молодецкой выправкой, сохраняв-шейся у него и в пожилые годы. А здесь перед ним, отворачиваясь от света, стоял тощий, кожа да кости, встрепанный старик с воспаленным лицом в пузырчатых пятнах.

— Здравствуйте, Федор Никанорович! Вернулись... — проговорил после паузы командующий и сам услышал в своем голосе искусственность. — Поздравляю вас.

Адъютант чиркнул спичкой, засветил лампу, и генерал смог также увидеть своих посетителей, но тут на него снова напал кашель... И все с невольной досадой ждали, когда он справится с ним, он сгубался и трясся в припадке, его всего выворачивало. Наконец он вытирался, прижал руки к бедрам и вздрагивающим, прерывистым голосом поздоровался:

— Здравия желаю, товарищ генерал армии! Так точно, я вернулся... Благодарю вас, товарищ генерал армии!

— Простудились, Федор Никанорович, — сказал командующий.

— Извините, немного простыл...

Командующий словно бы неодобрительно помолчал, потом спросил:

— Может, мы не вовремя? Вам бы полежать да аспирину на ночь...

— Никак нет, я вполне могу... я здоров, — поспешил с ответом генерал.

И его обмороженное лицо приняло то непроницаемое выражение, что появляется у солдата в строю, когда отдана команда «смирно!»: мол, я готов, приказывайте. Собственно, он так и чувствовал себя. Час, к которому он со всей тщательностью — и внешне и в душе своей — готовился, как готовятся к суду, наступил. И единственное, что еще оставалось в его воле, это встретить свой трудный час как добавляет солдату: не прятаться и не вымалывать снисхождения.

— Разрешите доложить, товарищ генерал... — начал он и тут же напрягся, сиюсья подавить очередной царапающий глотку позыв.

Командующий не отозвался, только покачал головой.

— Понимаю, что мой доклад не имеет уже оперативного значения... — выговорил генерал поспешно, боясь, что кашель помешает ему. — Но из наших тяжелых неудач можно извлечь уроки... Армия, которой я командовал, занимала в первых числах октября участок фронта западнее Вязьмы, имея в своем составе...

И он опять весь затрясся. Командующий поднял руку.

— Успеется, Федор Никанорович! В общих чертах мне известно, что у вас происходило...—Командующий подождал конца приступа.— Тяжело, трагично все там получилось. Вероятно, можно было избежать окружения даже несмотря на превосходство противника в живой силе и технике. Да, вероятно, можно было. Но тут все мы в ответе. И разведка подвела... А вы и ваши войска... — Он опять помедлил... — Вам и вашим войскам благодарность!

— Как?.. — спросил генерал и странно, пристально взглянул. Он еще не совсем отошел после приступа, судорожно дышал и подергивался.

— Благодарность, Федор Никанорович! Воздаю вам должное...— сказал командующий.

Генерал поднял голову и выпрямился.

— Зачем же так, товарищ генерал армии? Я готов отвечать, готов принять любое... — Его голос еще вздрагивал.— Если я заслужил суд, пусть будет суд. Но я... Но зачем же это?..

Он побагровел, кашель вновь распирал его грудь, поднимался к горлу, и ему стоило огромных усилий не выпустить этого когтистого зверя наружу. Его глаза сделались мученическими: и надо же было, чтобы в эти именно минуты с ним приключилось такое!

— О каком суде вы говорите? Да полноте... — Командующий догадался, что генерал, этот горемычный, потерявший свою армию и попавший в плен генерал, заподозрил в его словах не то издевку, не то желание утешить; он внутренне усмехнулся: вот уж на что он был не способен — на утешение, на издевку еще куда ни шло...

— Полноте, полноте! Что вы вообразили? — сказал командующий.

Он благодарил вполне искренно: войска, блокированные в октябре западнее Вязьмы, в том числе и войска этого генерала, оказали поистине неоценимую услугу защитникам Москвы: геройское сопротивление этих войск, их контратаки, их упорные попытки вырваться из окружения сковали под Вязьмой без малого три десятка немецких дивизий, невозможно было в те дни сделать больше! И словно бы даже нежность — чувство также мало свойственное натуре командующего — слышалась в его тоне.

— Я вам как солдат солдату... Спасибо! И вечная память вашим павшим героям!

Генерал стоял навытяжку, весь багровый, и делал глотательные движения, чтобы удержать кашель.

— Ну, а ваш побег — это настоящий подвиг,— продолжал командующий.— Вы мне расскажете о подробностях. Я и наших газетчиков к вам подошлю... А вы бог знает что вообразили... дорогой мой!

Опять-таки он был очень искренен сейчас: он и сам принадлежал к людям с отчетливым представлением о том, что хорошо и что плохо, что достойно и что недостойно. Хорошо, конечно, было, когда враг оказывался в кольце и терпел поражение, и плохо, когда терпел поражение ты сам; хорошо было, когда в плен попадал враг, и очень плохо, когда в плен брали тебя. Такое бескомпромиссное понимание хорошего и плохого без ссылок на обстоятельства, на невезение, без этих «с одной стороны» — с другой стороны» являлось прочным основанием всех подлинно солдатских качеств... И командующий почувствовал родственную душу в этом тянувшемся перед ним старике: как ни горько пришлось бедолаге, а ответственность он сознавал.

— Теперь вам отдыхать, лечиться, приходите в форму,— сказал командующий.— Мы еще повоюем вместе...

Он шагнул вперед и, раскрыв нешироко руки — полушубок стеснял движения,— схватил генерала за локти и немного подержал.

— Молодцом, молодцом! — пробормотал он, смущенный своей непривычной участью.

Генерал пошатнулся в его сильных руках — он был в большей мере ошеломлен, чем обрадован. И, стремясь что-то еще выяснить, высказаться, твердо удостовериться, что все происходящее не чудесный сон, он вновь, как только командующий выпустил его, принял свое прежнее положение «смирно».

— Прошу учесть: противник к началу наступления создал на моем участке подавляющее превосходство, — вновь заспешил он с докладом, пока царапанье в глотке не усилилось. — В живой силе оно было примерно втрое, в танках не менее чем в восемь раз, в орудиях и минометах также значительно превосходящим. Лишь шесть-семь стволов приходилось у меня на километр фронта, я считая и противотанковую артиллерию. А недостаточное количество зенитных установок ограничивало наши возможности в борьбе с авиацией... в то время как противник применял ее массированно...

Было видно, что свой доклад командарм давно приговорил, затвердив в нем каждое слово. И сейчас командующий слушал не перебивая. Также сосредоточенно слушали, проникаясь и серьезностью сообщения, и чувством необычности самого доклада, офицеры, вошедшие с командующим: полковник из Оперативного управления, полковник из Особого отдела, начальник медсанбата, адъютант — все тоже подобрались, как на важном официальном акте. И доклад продолжался довольно долго; к счастью, кашель выпустил генерала на время из своих когтей. У адъютанта, высоко поднимавшего керосиновую лампу, задрожала уставшая рука, и на бревенчатых стенах баньки закачались искривленные тени. А голос докладчика стал ослабевать на окончаниях фраз и срываться...

— Не могу не указать и на то, что... — генерал даже зажмурился от усталости, — на то, что наличие большого автомобильного парка дало противнику... преимущество в маневрировании... — Совсем тихо он проговорил: — В стрелковых частях почти не было автоматов, подчас не хватало винтовок...

Отступив на шаг, генерал уперся спиной в стену и долго вздохнул — он кончил, сделал все, что от него требовалось, исполнил службу до конца: вернулся и доложил... И в тон ему заговорил командующий — серьезно и веско, словно выступая на разборе операции перед большой аудиторией:

— Из истории войн известно: войска в окружении чаще всего складывали оружие. Окружение сделалось равнозначным поражению. Седан Наполеона Третьего стал в известном смысле правилом... Но не для советских войск. Наши войска продолжали драться и в кольце окружения, вопреки всем правилам... — Он вдруг повернулся к адъютанту: — Поставь наконец куда-нибудь лампу, если не можешь держать! В глазах прыгает...

Лейтенант огляделся, куда бы поставить эту чертову, тяжелую, на мраморной ножке лампу, она качнулась, язычок огня подпрыгнул за стеклом, и тени суматошно зашевелились. Начальник медсанбата сорвался с места, почти выхватил у лейтенанта лампу и перенес на тумбочку у койки. Все подождали, пока не установилось спокойствие, и командующий продолжил:

— Благодаря стойкости, проявленной войсками, сражавшимися в окружении, что имеет прямое отношение к вам, товарищ генерал-лейтенант, мы в октябре выиграли несколько дней, несколько драгоценных дней. Вы там взяли на себя и удерживали что-то около двадцати семи дивизий вермахта. И вы дали нам время на организацию обороны здесь, на Можайской линии, пусть это будет вам известно,

товарищ генерал, это должно быть вам известно! В общее дело обороны нашей столицы вы там, в непрерывных боях, внесли свой вклад, весомый вклад, геройский.— Командующий покивал.— Я хочу сказать, что все потери... все жертвы там, под Вязьмой, были не напрасны... хотя их могло быть меньше.

И у командарма задрожали губы, повело всю нижнюю челюсть. Он не пошевелился, стоя навтыжку, припав к стене затылком, одна лишь его челюсть ходила ходуном сама по себе... Командующий невольно поморщился: все же это слишком сильное проявление душевной слабости было ему неприятно.

— Собирайтесь, Федор Никанорович! Поедете со мной,— сказал он.— Завтра отправим вас в Москву... Вы известили семью о своем воскрешении? Семья в Москве или в эвакуации?

— Семья? — с усилием выговорил генерал.

Сегодня еще его страшила встреча с семьей, оставшейся в том благополучном мире, куда, казалось, не было ему возврата. Жена его — в дочери он сильно сомневался,— жена, вероятно, не отвернулась бы от него; но как ему было побороть чувство вины и перед ними?

— Семья? Да, в Москве,— неуверенно ответил он.— Жена ничего еще не знает... Вы, прошу простить, вы сказали «воскрешение», употребили это слово «воскрешение»...

— Так оно и есть,— сказал командующий.— Жена, наверно, глаза по вас выплакала. Приедем в штаб, дадим ей немедленно знать. Или вы намерены неожиданно, сюрпризом?

— Благодарю,— сказал генерал и надолго закашлялся, теперь он мог уже не удерживаться.

...По дороге командующий расспрашивал его о побеге из плена, о порядках в немецком лагере — генерал отвечал немногословно и словно бы с неохотой,— потом разговор вновь пошел об осенних боях в Подмосковье.

— Многого мы сделать для вас не могли,— сказал командующий.— Что уж тут... не располагали силами. Но мы пытались... Вы радиogramмы наши получили? Десятого и двенадцатого октября?.. Я точно помню эти числа. Мы передали вам информацию о противнике — всем командармам — и предложили сообщить свои планы выхода из окружения. Мы намеревались поддержать вас авиацией, встречаемыми ударами...

Генерал с трудом уже разбирался в том, что слышал. После доклада высокому начальству из него словно выпустили дух, чувство исполненной до конца службы — это и отрадное и пустоватое чувство освобождения от всех обязанностей — лишило его последних сил. И его болезнь только и ждала, казалось, этого момента... Он даже меньше кашлял, но боль в боку остро пронизывала его при каждом движении. Всей кожей он ощущал веяние невидимого огня — вероятно, у него очень поднялась температура. А в отяжелевшей голове стоял мутноватый туман. Прежде чем ответить командующему, генерал мысленно с усилием составлял фразы слово к слову:

— Это было уже поздно... десятого — двенадцатого, я не получал радиogramм... Раньше, седьмого или восьмого, я направил... в штаб фронта донесение самолетом.

— Не получил его,— сказал командующий.

— Ну да... Возможно, наш самолет был подбит...

— Связь прервана, тыл отсутствует, продовольствие кончилось, боеприпас на исходе... Так или не так? — спросил командующий.

Генерал долго медлил с ответом.

— Так точно.

Ему очень хотелось поскорее доехать и лечь, просто лечь, закрыть глаза, согреться и не чувствовать необходимости отвечать на вопросы. Ведь все уже было сделано — плохо ли, хорошо, но сделано! И кажется, ни суда над ним, ни приговора не будет. Впрочем, и это теперь было уже не так важно, да, как ни странно, не так важно! Единственно что, как блаженство, мерещилось сейчас генералу, это положить на подушку голову и не открывать глаз... Пока не придет жена, и не сядет рядом, и не возьмет его руку. Только ее он и хотел еще увидеть...

— И вам, товарищ генерал, оставалось одно: атаковать, идти на прорыв. Так или не так? — спросил командующий.

— Так точно, — ответил генерал.

Командующий отдыхал в машине — он подчас и не находил себе для отдыха другой возможности, — он расстегнул верхние крючки полушубка, откинулся на спинку, вытянул ноги. Он отдыхал сейчас и от себя самого, от своей жесткой, тяжелой силы, от необходимости быть таким, каким, по его мнению, он должен был быть. И он задумчиво, расслабленно проговорил:

— Это были грозные дни...

После долгого молчания он так же расслабленно добавил:

— А мы их расколошматили... Не дождь, не слякоть, не снег, не мороз остановили их, миллион гитлеровцев, отборные их дивизии... Кто же их остановил? А, товарищ генерал?

Лунный свет бледно голубел в рыхлом инее, которым обросли оконца автомобиля. Дорога была хорошо укатана, и сильная машина, уносясь с ровным гудением, как будто приподнималась над нею и качивалась на этих лунных волнах.

— Виноват, товарищ командующий, — проговорил генерал. — Я что-то... неважно себя почувствовал.

— А, ну-ну, отдыхайте, — сказал командующий.

...Из штаба фронта командарма сразу же отправили в госпиталь, он так и не попал в Москву. Жена и дочь приехали к нему на следующий же день. Но он их уже не увидел, он был тяжело болен, истощен и не приходил в сознание. Спустя несколько часов после их приезда он перестал жить.

## Восемнадцатая глава

### УЗКАЯ ПОЛОСКА УТРЕННЕЙ ЗАРИ. КРАСНОГВАРДЕЙЦЫ

#### 1

Это произошло уже весной, в начале апреля... Виктор Константинович Истомин в своем новом качестве корреспондента фронтовой газеты находился в командировке в партизанском районе. И там, за линией фронта, ему посчастливилось еще раз встретиться со старым учителем из Дома учителя, а ныне командиром полка имени Красной гвардии Самосудом. Случай свел их вновь в лагере полка, в котором Истомину очень советовали побывать, и оба они, хотя и по-разному, обрадовались, точно их краткое знакомство перешло за долгий перерыв в дружескую близость.

Изменение в военной службе Виктора Константиновича было, в общем-то, непреднамеренным. Его ранило, и ранило серьезно, после того уже, как индендантская экспедиция, возглавлявшаяся Веретенниковым, успешно закончилась (Веретенников разыскал-таки свою дивизию и разгрузил на ее складе машины со сливочным маслом, медом и картофелем). Осколок немецкой бомбы настиг Виктора

Константиновича в глубоком тылу, куда дивизию отвели на перестроение. Только через полтора месяца он, опираясь на костыли, встал с госпитальной койки: ногу с перебитыми костями ему сохранили, но она не сгибалась в колене, и это было, по-видимому, навсегда. Его собирались, как тогда говорили, «комиссовать», уволить по «чистой», и он проявил не свойственную ему инициативу. Старый университетский товарищ, о котором он узнал из письма жены, служивший в военной газете заместителем редактора, склонился на его напоминание об их общих студенческих годах. Искорости Виктор Константинович сам оказался в той же газете. Он приковылял, стуча палкой, в ее редакцию с новенькой медалью «За отвагу» на застиранной гимнастерке, что, конечно, свидетельствовало в его пользу. А его довоенные литературные занятия, и главным образом его юношеские поэтические опыты, сослужили ему добрую службу: почти сразу же с правки чужих корреспонденций его перевели на самостоятельную работу. Затем Виктор Константинович был аттестован, получил звание техника-интенданта 1-го ранга — по три квадратика в каждую петлицу на воротнике. И нынешняя командировка была у него не первой, летал он уже и к партизанам, но южнее, на тульском направлении.

Теперь он находился на Смоленщине, побывал в одном отряде, в другом и вот оказался у Самосуда в полку имени Красной гвардии.

В командирской землянке, когда его туда привели, шло какое-то деловое обсуждение, и оно тут же прервалось... Да и везде, где в этих партизанских местах в заповедных урочищах он появлялся, человек с Большой земли, его встречали, как, пожалуй, значительно позднее встречали первых космонавтов. К нему теснились, его разглядывали так, точно было в нем что-то отличное от обыкновенных людей, таившихся ныне здесь, в лесах, и он едва успевал более или менее связно отвечать на вопросы о Москве, о фронтовых новостях. А единственный уцелевший еще у него номер «Правды» двухнедельной давности, помятый, посеревший, надорванный на сгибах, переходил из одних нетерпеливых рук в другие. Бородатые и безусые, с припеченной морозом, огрубелой кожей на лице, на руках, обвешанные самым разнообразным оружием — автоматами, гранатами, пистолетами, — люди ласково и благодарно (вот что было самое необыкновенное! — благодарно) улыбались Виктору Константиновичу и совали ему свои кيسеты с самосадам. Казалось, они любили Виктора Константиновича еще до его появления, задолго до того, как они вообще узнали о его существовании... И как же, подумал Виктор Константинович, как же было им здесь — не неуверенно, нет, не боязно, конечно, нет, но оторвано и, может быть, порой одиноко!

Самосуд встретил Истомина даже слишком шумно, вспомнил первое знакомство, «фуражиров», незлобиво насмешничал и похихатывал. Но слушал он Истомина с особенным, пристальным вниманием, все как будто присматриваясь к нему. Объяснялось это тем, что, помимо общего интереса к гостю с Большой земли, у Сергея Алексеевича немедленно возник к нему и свой, частный интерес: ведь этот «фуражир», обернувшийся газетчиком, знал людей из Дома учителя, людей, которых он, Самосуд, любил. Возможно даже, он был с ними и в их последние минуты — он там стрелял, участвовал в обороне Дома, и Сергей Алексеевич смотрел на него как на близкого человека. Сам он никого из обитателей Дома учителя не видел больше с того осеннего вечера, когда все собрались за ужином в библиотеке. Об их участи, об убийстве Ольги Александровны, о смерти слепой Маши, о судьбе Лены он услышал лишь позднее от своих разведчиков, побывавших на развалинах города. Но разведали они немного:

непосредственных свидетелей, переживших этот последний день Дома учителя, там уже не нашлось. Немногое смог ему рассказать и Войцех Осенка; о судьбе женщины Синельниковых Войцех просто ничего не знал. Всю горькую правду мог бы, вероятно, поведать ему сейчас именно этот неожиданный гость, и словно бы отблеск того света, что унесли с собой дорогие Сергею Алексеевичу люди, лежал на нем.

С иным чувством смотрел на Самосуда Истомина, сидя в его землянке. Он тоже помнил их первую встречу, помнил саркастический тон старого учителя, и ему очень хотелось понравиться сейчас этому почитателю Монтеня с потемневшим и будто ссохшимся за партизанскую зиму лицом. Суровости в его облике прибавилось вместе с запавшими щеками, с взъерошенными поседевшими бровями; поверх лоснившегося старенького пиджачка Самосуд был опоясан командирским ремнем, оттянутым на боку дубовой кобурой маузера. Виктор Константинович после первых же приветственных восклицаний сказал себе: «Вот кто мне нужен, кто может помочь, с кем мне надо объясниться».

Похохатывая вместе с Самосудом, Виктор Константинович обдумывал тот вопрос, который он решил задать Сергею Алексеевичу,— вопрос в большей мере личный, даже духовно-интимный. Как ни мало он знал Самосуда и, может быть, именно потому, что близко, в бытовом отношении, он его совсем не знал, Самосуд способен был, казалось, все сделать ясным в области нравственной. Он вызывал к себе доверие уже по одному тому, что Виктор Константинович предполагал в нем, в этом мудреце с маузером на боку, полную внутреннюю несхожесть с собой.

Поговорить наедине, к чему оба они стремились, им, однако, удалось не сразу. Самосуд сейчас же после встречи уехал в один из своих батальонов, выдвинутых ближе к выходу из леса (теперь в полку у него было не три роты, а три батальона, около семисот человек), там завязалась перестрелка с немецкой разведкой; должно быть, немцы собирались что-то предпринять против партизан. И была уже середина ночи, когда Истомин, проснувшись от холода в землянке Самосуда, увидел ее хозяина, разжигавшего огонь в железной печурке; он только что вернулся, был еще в полушубке и в своей порыжевшей шапке.

Некоторое время из-под полуопущенных век Виктор Константинович наблюдал... Самосуд, сидя на корточках, выставил руки ладонями вперед и сжимал и разжимал пальцы, грея их в поплывшем из печурки тепле, потом тяжело поднялся и пересел к столику, вкопанному между двух земляных лежаков. Медленно снял с себя ремень с маузером, длинно вздохнул, снял очки и, смежив веки, долго сидел не шевелясь, словно сразу же уснул. Но когда Виктор Константинович задвигался и потянулся к столику, чтобы взглянуть на лежавшие там часы, он тотчас как бы уперся в устремленный на него из-под седых бровей требовательный взгляд.

— Разбудил я вас... вы уж простите,— сказал Самосуд.

— Да нет... я, я... — почему-то смешался Виктор Константинович.

— Ну, а уж если проснулись, давайте чай пить,— опять же потребовал, а не предложил Самосуд.

В землянке быстро теплело... Истомин пил чай, вернее, кипяток, настоящий на ржаных корочках, подкисленный клюквой, поданной в берестяном тuesке, и рассказывал; Сергей Алексеевич слушал, изредка задавая своим потрескивавшим голосом вопросы, направляя этот поздний разговор.



— Ольга Александровна жила еще какое-то время? — осведомился он, именно сухо осведомился.

— Нет... Когда мы все вбежали, она была уже без признаков жизни. Да и, собственно... — Истомин сделал большой глоток, обжегся и часто шумно зафукал; Самосуд терпеливо ждал. — Убийца выстрелил ей в лицо, попал в переносицу...

— В лицо?! — переспросил Самосуд. — Ей в лицо?..

Виктор Константинович кивнул.

— Она умерла, по-видимому, мгновенно, — сказал он и, почувствовав вдруг неловкость, добавил: — Это была милая женщина, любезная... Должно быть, красивая в молодости.

Самосуд только взглянул на него... В печечке бушевал огонь, по-свистывало в трубе, оранжевый и красный переменчивый свет из неплотно прикрытой дверцы летал по земляным комковатым стенам, по низкому сосновому накату. И самый сумрак здесь принял пламенеющий оттенок: капельки смолы, выступившей на бревнах, заблестели в отсветах огня, как рубины, целые вкрапления их зажглись наверху в полутьме. Самосуд надолго замолчал, его обращенная к огню щека, висок, морщинистая рука, поглаживавшая машинально край столика, тоже окрасились в красноватый цвет. Не меняя своего сухого тона, словно разговор не прерывался, он спросил о Марии Александровне. И Истомин оживился, невольно стремясь что-то поправить в том, как он рассказывал.

— О, это была удивительная смерть! — воскликнул он. — Марья Александровна, слепая, умерла, как и жила, в любви... Она слишком любила. Сперва она не поверила, долго не могла поверить, что ее сестры нет в живых. Вокруг шел бой, стрельба, а она сидела подле сестры в саду — труп перенесли в сад, положили на скамейку... И она сидела и разговаривала с Ольгой Александровной, успокаивала, наивно... А когда она поверила в ее смерть, она и сама умерла, не захотела расставаться с сестрой... Наверно, все так и было! — И Виктор Константинович неясно улыбнулся. — Никто не заметил, не видел, как она умерла. Ее не ранило, не убило, она просто не смогла оставить сестру... Так и осталась сидеть в голове у нее, совсем белая лицом, снежно-белая, с открытыми глазами. К ней подошли, чтобы ее увести, но она была уже совсем холодная.

— Скажите, что с их племянницей? — спросил Самосуд. — Помните эту девушку, Лену?

— Ну как же! Милая девочка, она всем нравилась — веселая, хорошенькая, общительная. Она была ранена, но, по счастью, не очень опасно, в плечо навывлет. И тоже было... как вам сказать, поразительно трогательно. — Виктору Константиновичу все никак не удавалось найти верный тон, он чувствовал это и, что называется, переживал: непонятная сухость Самосуда смущала его. — Трагично, конечно, жестоко, но и поразительно! Девочку нашли без сознания около этого молодого итальянца... Кажется, у них тоже была любовь. И они лежали рядом, его прошило автоматной очередью... Друг подле друга, прямо по Шекспиру. — Истомин со всей искренностью вздохнул: — «Нет повести печальнее на свете...»

— Не надо, не надо, Виктор Константинович! — прервал его невежливо Самосуд.

— Простите... — Истомин даже обиделся. — Но почему же?.. Действительно как у Шекспира. Не понимаю вас...

— Чего ж тут не понять? — сказал Самосуд. — Там поэзия, пусть самая высокая. Но только поэзия... — А тут всамделишная кровь и горе... живое горе и кровь!.. Ну-с, прошу, рассказывайте!

И Виктор Константинович, хотя и обиженный, продолжал свою информацию, но уже без поэтического комментария.

Лену и польского музыканта Барановского с простреленной грудью отправили в госпиталь, в монастырь; с ними вместе были эвакуированы Настя, работница, и пани Ирена. Кое-что Истомин смог сообщить и о дальнейшей судьбе их всех: Лена поправилась и по примеру Насти стала работать в госпитале; Барановский одно время был почти безнадежен, но сейчас он выздоравливает, а его жена ухаживает за ним... И все это стало известно Истому от еще одного участника обороны Дома учителя — от шофера автобуса сержанта Кулика. С Куликом они случайно повстречались в освобожденной Калуге, и выяснилось, что тот состоит в частой переписке с Настей и, что вправду было удивительно, весьма дорожит этим нечаянным знакомством... «Жди меня, и я вернусь — я ей так и написал», — поведал он Виктору Константиновичу. Что же касается Веретенникова, то, опять же со слов Кулика, их бывший командир награжден орденом Красной Звезды, повышен в звании, получил сразу интенданта 3-го ранга, что соответствует строевому капитану, и назначен начпродом дивизии... Ну, а всех убитых в бою за Дом учителя, рассказал дальше Истомин, похоронили там же в саду, в общей могиле, под яблонями: обеих сестер Синельниковых, мальчика Гришу, белоруса, девятнадцатилетнего итальянца Федерико, пулеметчика, о котором Истомин помнил только, что у него было простужено горло, партизанского связного в лисьей шапке, ефрейтора-пограничника и еще двух красноармейцев, фамилии которых никто не знал. Веретенников распорядился отдать павшим воинские почести и, несмотря на спешку, сам сказал над открытой могилой прощальные слова; яму засыпали, и все, кто еще стоял на ногах, выстрелили троекратно в небо... Вспомнив этот жиденький салют над свежим холмом, сочившимся черной водой, Виктор Константинович взволновался: их всех и стояло там человека четыре-пять.

— Меня шатало как пьяного, — сказал он. — У Веретенникова, этого нашего техника-интенданта, были совсем сумасшедшие глаза, фуражку свою он где-то потерял... Впрочем, мы все были как пьяные... Как мы там удержались, я и сейчас не очень понимаю. Но мы удержались... И уши, когда немцев там не осталось ни одного, я имею в виду живых немцев.

— Госпиталь полностью эвакуировался и обозы? — спросил Самосуд.

— Да, конечно! Мост был восстановлен, и полк, вышедший из окружения, встал там в оборону, — сказал Истомин, — пока все не перешли на другой берег: госпиталь, обозы, беженцы, раненые, те, что бились вместе с ополченцами. Вы знаете об этом эпизоде, вы слышали?

— Слышал, да, — сказал Самосуд.

— Я не видел, как они шли в бой, — сказал Истомин, — говорят, что их было человек сорок, а возвращалось их в госпиталь человек пятнадцать. Это я видел... Они шли, поддерживая друг друга, все в черных бинтах, понимаете? — в ставших черными и в красных, свежих. Их командир прыгал на одной ноге... Я никогда ничего подобного не видел. Кто-то из красноармейцев закричал «ура» и выпалил в воздух. А командир... забыл, как его звали... помахал костылем... Потом, когда все перешли, мост опять был сожжен.

Самосуд с хмурым видом поднялся из-за столика.

— Забываем, — сказал он, — сегодня уже забываем...

Виктор Константинович виновато посмотрел на него.

— Всех не упомнишь, верно... А надо бы! — неожиданно вы-

крикнул Самосуд, точно что-то взорвалось в нем.— На вас вся надежда, товарищи газетчики! — почему-то с сарказмом сказал он.

В землянке сделалось совсем жарко, раскалились и зацвели вишневым цветением круглые бока печечки, даже искорки стали перебегать по ним. И к запаху плавящейся смолы прибавился сильный запах горячего железа; со свистом уносилось в трубу пламя. Самосуд взял со столика ремень с маузером, собираясь уходить.

— Хочу вас попросить об одолжении,— сказал он.— У вас нет номера полевой почты Кулика?

— С собой нет, но мы обменялись номерами.— Виктор Константинович тоже встал... — Вы хотите написать ему?

— Я не знаю, как написать Лене Синельниковой... Вероятно, через вашего автобатского донжуана можно узнать и ее адрес,— сказал Самосуд.— Хорошо хоть, что Настя с нею.

— Пишите письмо, я заберу... Девочку мы разыщем! — с жаром пообещал Виктор Константинович.

И он опять подумал: Самосуд со всей своей хмуростью и строгостью — тот именно человек, с которым он обязательно должен посоветоваться и о себе.

— Ну, а вы чего вскочили? — сказал Сергей Алексеевич.— Досыпайте. Я похожу еще немного... Сегодня третья рота в карауле. Да, вот еще: этого убийцу куда вы там передали, допросили его?

— Не успели, Сергей Алексеевич. Утром рано начался бой, и о нем просто забыли,— ответил Истомин.— Он в подвале сидел связаный, с кляпом во рту. И представьте: он как-то сумел высвободиться и вылез наверх...

— Что?.. Ушел? — отрывисто спросил Самосуд.

— Уйти не ушел... Его крышей убило, балкой, валялся с расколотым черепом. Но ведь высвободился, сволочь! Сумел как-то сбросить с себя веревку, вытащил кляп. И тут его накрыло...

— Так и не допросили?

— Нет, к сожалению,— сказал Истомин.

## 2

В полку имени Красной гвардии Истомин прожил еще трое суток, но задать Самосуду свой вопрос он смог только перед самым отъездом. Самосуд все это время был в больших хлопотах, совещался подолгу в штабе, проводил собрания в батальонах — полк ввиду ожидавшейся карательной операции готовился к бою — и выезжал куда-то для встречи с подпольщиками... Виктор Константинович, предоставленный самому себе, ходил по лесному лагерю и знакомился с людьми, собирал, как говорится, материал, расспрашивал и приглядывался, испытывая все больший интерес.

Лагерь партизанского полка был удивительной военной коммуной, ушедшей под землю, со своими жилыми обиталищами, с лазаретом, со складами, с просторной землянкой штаба, с оружейной мастерской, с «радиорубкой», даже с землянкой-клубом, где вывешивали «Боевой листок», а на видном месте стоял в футляре шикарный трофейный аккордеон. И свой необыкновенный быт сложился уже в этой коммуне: люди жили здесь так, чтобы сражаться во всех случаях, когда к тому представится возможность, и сражались, чтобы жить и не давать врагу покоя.

Несомненно, это были разные люди и, вероятно, все присущие людям качества и свойства были представлены здесь. Виктор Константинович встречал на лесных дорожках и пасмурные лица, и веселье, и злые, и ласковые, и прелестные в их первой, румяной свежести. Да

и одеты партизаны были пестро: в солдатские шинели, в бушлаты, в немецкие куртки, в армейские полушубки, в домашние армяки. И можно было предположить, что не всегда одинаковые страсти волновали здесь людей: Истомин слышал и смех, и брань, и ночью за кустом шепот и хихиканье; конечно же, присмотревшись лучше, он отыскал бы и честолюбие, и зависть, и ревность, и душевную грубость. Но эти обычные человеческие спутники словно бы таились здесь в тени, остерегаясь выступать на первый план. Общая цель, объединявшая этих солдат-коммунаров, была подобна источнику света, высветившему в их душах главное: мужество, верность, отвагу. Почти все носили на своей одежде, чаще на шапках, на кепках, что-нибудь красное: ленточку, бант, пятиконечную звездочку. И это было как знак принадлежности к братству, в котором ценилось самое простое и необходимое, как хлеб, как вода,— мужество и верность... В таком примерно высоком стиле и говорил себе сейчас Виктор Константинович, готовясь к литературному отчету об этой командировке.

На вторые сутки вечером его, фронтового журналиста, зазвал в свою землянку начальник штаба полка Аристархов. И там Истомин обнялся с Войцехом Осенкой, еще одним не столь давним знакомцем... Вообще, Виктор Константинович сделался гораздо свободнее в проявлении своих чувств: ему этот учтивый молодой человек с разросшимися пышными русыми усами был симпатичен и раньше, в тесных комнатках Дома учителя, где они познакомились, а потом вместе воевали. Но тогда Виктор Константинович не решился бы дать такую волю своему чувству.

А за Осенку и в самом деле можно было порадоваться. В полку он командовал теперь ротой — знаменитой третьей комсомольской ротой, пополненной ныне деревенской молодежью; зимой рота вновь, уже под его командованием, отличилась в бою с немецкой конвойной частью — разгромила ее и освободила группу советских военнопленных: те влились потом в состав полка... За ужином у Аристархова (брусочек пожелтевшего, густо посоленного сала, черные каменные галеты, чай с клюквой и трофейная бутылка рома) Осенка был, как обычно, сдержанно-ясен; расспросив Истомина поподробнее о чете Барановских, он замолчал, вежливо пригубивая из жестяной кружки густой пахучий напиток. Но вдруг он запел, задумавшись, какую-то польскую песню, медленную, печальную, и страшно смутился и покраснел, заметив, что его слушают.

— Продолжайте! Ну что же вы?! — воскликнул Аристархов.— Я знаю, слышал эту песню, Христя ее пела, Христина... — Аристархов, что тоже было неожиданно, засуетился, словно бы заспешил куда-то, повеселел и принялся разливать ром.— Прелестная была девушка, служанка у корчмаря... мы под Бродами тогда стояли... М-да... Теперь уже, наверно, старушка...

Отхлебнув раз и другой из кружки, он стал подпевать. И на его тонких, в ниточку губах играла та усмешка, с какой вспоминаются иные приятные грехи... Если бы Виктор Константинович знал его в довоенную пору, то отметил бы, что бывший райвоенком что-то слишком много себе разрешает: по крайней мере, со своей язвенной диетой он покончил.

В остальном он, впрочем, изменился мало. И после ужина он обстоятельно, с цифрами и датами, рассказал Истомину о боевых делах полка, все у него было тщательно подсчитано — и потери врага (подорванные железнодорожные эшелоны, расстрелянные на дорогах автомашины, разгромленные комендатуры) и потери партизан. Осенка, церемонно извинившись, ушел к себе в роту, а он все говорил своим шелестящим голосом, довольный тем, что нашел внимательно-

го слушателя. Его склеротично-розовые щечки были аккуратно выбриты, подворотничок свеж, ногти на сухих пальцах ровно подрезаны: эдакий опрятный старенький херувим снабжал Виктора Константиновича информацией.

Выбравшись из его землянки под ночное звездное небо, Истомин постоял на утопанной площадке. В лагере было бы совсем тихо — время незаметно подошло к полуночи, — если б не нестройный особенный шумок, раздававшийся вокруг в лесу... Это потрескивал, оседая, черствый апрельский наст, это падал с ветки с мягким стуком подтаявший снежный рукав, это с легчайшим шорохом вонзалась в сугроб острая, как стрела, сосулька. Шла потайная работа весны, хотя было еще знобяще-холодно и словно бы студёные волны ходили невидимо в иссиня-прозрачном воздухе, наполненном звездным мерцанием.

Виктор Константинович подумал, что ему здорово повезло на войне — он встретил замечательных людей и в Доме учителя и здесь. Он даже не предполагал, что прекрасных людей так много на земле, — казалось, что до недавних пор они все где-то прятались. И чувство умиления и благодарности — может быть, тут сыграла роль и выпитая кружка рома, — благодарности людям, их доброте, их подвигу, их душевной силе, привело Истомина в большое возбуждение. Он довольно долго еще кружил, прихрамывая, среди деревьев, пока его не остановил патруль...

С Самосудом ему удалось поговорить только в вечер своего отъезда, в самые последние минуты... Сперва Сергей Алексеевич отдал ему письмо для Лены и попросил еще об одной, как он выразился, любезности: передать при случае или переслать в Москву в редакцию какого-либо молодежного органа, лучше всего в «Комсомольскую правду», стихотворение одного из бойцов. Истомин взялся, разумеется, исполнить и то и другое, а стихотворение вызвало у него и известный профессиональный интерес. Оно называлось «После битвы» и было написано в «Боевой листок» к исторической дате — к 5 апреля, дню победы Александра Невского над немецкими псами-рыцарями. Виктор Константинович прочитал стихотворение:

Бежит барон, бежит монах,  
Снег по следам дымится алый.  
Князь приподнялся в стременах  
И посмотрел окрест...  
В снегах  
Заря заката догорала.

Съезжались всадники к нему,  
И, возвращаясь из погони,  
На снежный холм по одному  
Рысали взмыленные коня.

Князь поднял руку... Он встречал  
Горящие победой лица,  
И кровь с тяжелого меча  
К нему текла на рукавицу.  
«Путь-вору на восток закрыт...—  
Был голос князя глух и страшен.—  
На том стояла и стоит  
Земляотчич и дедич наших.

Гонцы победу прокричат,  
И пусть во всех пределах внемлют!  
Кто поднял меч на нашу землю,  
Тот и погибнет от меча!»

Стихотворение было подписано: Е. Серебрянников.

— Я не мог бы поговорить с самим автором? — спросил Виктор Константинович. — Что-то тут есть... Я понимаю, конечно, это написано к случаю...

Самосуд отчужденно на него поглядел.

— Нет, не можете, — сказал Сергей Алексеевич. — Автор... Автора нет уже... Незадолго до вашего приезда... — Ему трудно было, казалось, закончить фразу. — Автор был ранен в разведке. Он еще жил, когда его принесли товарищи... Попросил не сообщать матери...

— Я добьюсь, чтобы это было напечатано. Обязательно! — горячо пообещал Виктор Константинович, словно смерть автора прибавила достоинств его произведению.

Потом Истомин присутствовал на собрании коммунистов батальона, стоявшего здесь, на котором обсуждались просьбы о приеме в партию. Обсуждение, надо сказать, носило жестковатый характер, и во внимание принималось главным образом поведение в бою, меньше говорилось о прошлом людей и об их жизни в мирное время. Были приняты четыре человека: бывший завхоз школы в Спасском, а в настоящее время заместитель командира полка по хозяйственной части — его и ныне все уважительно называли Петром Дмитриевичем. — двое молодых бойцов-подрывников и повозочный из хозяйственного взвода Кирилл Леонтьев, ветеран Первой конной.

Леонтьева принимали вновь, во второй раз, и сейчас ему, исключенному в давнее время из партии за несогласие с нэпом, товарищи прощали его вину, прощали за революционную преданность и стойкость. Леонтьев был явно плох, болен, страшно отоцал за зиму, плечи его словно бы опали, скосились, но при всем том он исправно нес службу, ходил в караулы — словом, держался. И странно, как бы неуместно болталась у него на боку на вконец изношенной, протертой до основы, до дыр на локтях кавалерийской шинели нарядная, с парчовым темляком шашка в богатых, украшенных серебром ножнах — именно революционное оружие. За Леонтьева проголосовали единодушно, и он попросил слова.

Тускло светила на столе и вдруг вспыхивала и хлопала огнем лампа, заправленная за неимением керосина бензином. В штабной землянке до отказа набилось народу, и в тишине слышалось тяжелое, сиплое дыхание простуженных людей, все терпеливо ждала. Леонтьев, почему-то понурившись, уставился взглядом на свои сцепленные на поясе руки с длинными землистыми пальцами... Неожиданно резко он поднял голову и осклабился в улыбке...

— Помирать не хочется... — проговорил он, как бы дивясь. — Ей-богу! Никак нельзя мне теперь помирать!

— Ну гвоздь! — выкрикнул кто-то с удовольствием. — Серебряна шляпка!

Бойцы-подрывники откозыряли и с замкнувшимися от волнения молодыми лицами одинаково коротко проговорили:

— Доверие оправдаю.

Петр Дмитриевич выглядел озабоченным от сознания важности происшедшего. Он поинтересовался, получит ли он какой-либо документ, удостоверяющий его принадлежность к партии, на что Самосуд ответил, что решение собрания пойдет в райком, а далее будет передано на Большую землю, где и будут в свое время выданы членские билеты... Затем Самосуд поздравил новых коммунистов.

— Помирать нам действительно никак нельзя, — проговорил он вполне серьезно. — Надо захватчиков добивать, гнать их, да так, чтоб и внукам заказали соваться... — Он подумал и усмехнулся. — А еще

скажу: если и придет к коммунисту безногая, не взять ей над ним верха. Почему так? Потому что дело, которому он отдал жизнь, и после его смерти будет жить и побеждать.

Медленным голосом, волнуясь, слово попросил Войцех Осенка. Он тоже начал с поздравления, а закончил:

— ...У меня зараз стало венцей... больше братив. То добже... Коммунисты — то ест велико братэрство... на вечность, на весь свят. И тут у битве за Москву мы вызволям Варшаву.

Закрыв собрание, Самосуд пошел проводить гостя-газетчика к розвальням. Аэродром, на который собрался ехать Истомин, находился в ведении партизанского отряда, действовавшего по соседству, и путь по лесу предстоял неблизкий — километров восемьдесят... Сергей Алексеевич, идя рядом, говорил о том, что вот наступила весна, сойдет снег и что с весной по чернотропью партизаны повсюду активизируются, а захватчикам станет еще беспокойнее.

— Не будем, однако, тешить себя иллюзиями, — сказал Самосуд. — Мы имеем дело с очень упорным врагом, который всеми силами будет цепляться за то, что ему удалось захватить. Но, конечно, он уже тяжело ранен... Поражение немцев под Москвой — это... это как рождение Христова: человечество может начинать новое летосчисление с декабря сорок первого.

Самосуд остановился, поджидая несколько отставшего Виктора Константиновича.

— Много еще трудов впереди! Трудов и могил! — проговорил он. — Дьяволы сами не убираются, их надо выкуривать. И не заклинаниями, не святой водой — взрывчаткой.

Истомин слушал плохо — он думал о том, как ему приступить к разговору о себе: скоро уже они должны будут распрощаться, а он все еще не задал этому мудрецу своего вопроса.

Дело было в том, что Виктор Константинович завидовал. И он не мог бы сказать, что в данном случае его зависть носила низменный характер... Сидя в землянке Аристархова, он завидовал и самому Аристархову, и третьему члену их застолья поляку Осенке: ему хотелось быть с ними, делать то, что делали они. А всего лишь полчаса назад он позавидовал и тем двум бойцам-подрывникам, и степенному Петру Дмитриевичу, и старику повозочному Леонтьеву. Эти люди, вступая в партию, не приобрели сегодня особых льгот по сравнению с ним, но известное преимущество у них все же появилось. Это было преимущество идущих впереди, встающих первыми в бой при наступлении и остающихся последними, когда надо прикрыть отступивших товарищей; другими словами, это было преимущество более совестливых, что ли... И Виктор Константинович завидовал сейчас именно этому преимуществу. Мысль о вступлении в партию возникла у него не сегодня, не в этой командировке к партизанам, но, возникнув, она становилась все более настоятельной. Подивившись ей сперва — уж очень привычным для Виктора Константиновича было его беспартийное одиночество, — она в дни, последовавшие за его боевым крещением в Доме учителя, за всем, чему он сделался свидетелем в этом подмосковном городишке с тысячелетней историей и с мученической, в одночасье, гибелью, — эта мысль не давала уже ему покоя. В сущности, в ней выражалась его тяготение к огромной и праведной силе... Эту центростремительную силу, объединившую людей в некое алмазной твердости неуязвимое ядро, Виктор Константинович чувствовал во всех событиях, повернувших войну к победе, ощутил он ее и на себе...

Но идти в партию следовало с чистой душой: совестливость была непременным условием пребывания в ней. А Виктор Константинович

еще слишком хорошо помнил себя такого, каким он приехал в тот утопавший в садах подмосковный городок, грех сомнений и отречения лежал еще на нем. И ему надо было не то чтобы оправдаться — ему по его натуре надо было исповедаться и получить отпущение. Виктор Константинович не так, конечно, не этими словами думал о себе — он считал, что, перед тем как сделать важный шаг, подать просьбу о приеме в партию, ему необходимо посоветоваться со старым, уважаемым членом партии, рассказать, не скрывая, свою историю и, может быть, даже попросить рекомендацию. Он все это, вероятно, мог бы иметь со временем и там, где он сейчас служил, в редакции газеты, но и помимо того, что там он должен был еще зарекомендовать себя, что-то даже труднообъяснимое толкало его именно к Самосуду — учителю с маузером на командирском ремне. Было бы особенно приятно получить свидетельство, что ты свой, что ты принят в партию не в благополучном кабинете, а именно здесь, вот так же, как только что получили его эти люди с простуженными глотками...

Он и Самосуд вышли на просеку, где в некотором отдалении ожидали розвальни, запряженные парой лошадей, и Виктор Константинович почувствовал, что от него ускользает единственная в его жизни возможность. А тут еще навстречу им показалась из-за деревьев девушка в тулупчике, с большой сумкой на боку, и Самосуд ее окликнул:

— Таня!.. Это ты, Ганюша?

Девушка подошла, в сумраке черты ее лица были почти неразличимы, и слабо отозвался ее точно затуманенный голос.

— Я, Сергей Алексеевич...

— Давно я у вас не был. Как вы там? — спросил Самосуд.

— Не знаю, Сергей Алексеевич!.. Ах, все из рук валится!.. — устало сказала девушка. — Накладываю повязку, а сама не понимаю ничего. Такая ужасная беда!

— Надо держаться, Таня! — сказал тихо Самосуд.

— Ну да... Только у меня не получается, — сказала она.

— Да и у меня не очень, — сказал Самосуд каким-то другим, грустно-усмешливым голосом, которого Истомин никогда у него не слышал. — Женя не похвалил бы нас, меня с тобой... Женя был строгим человеком, строгим и очень справедливым. А знаешь, Танюша! — Он нагнулся к девушке и положил ей руку на плечо. — Знаешь, мне вот кажется, что пока мы помним о мертвых, они не умерли, они живы... — Он утишил голос. — Они живут, думают, делают нашими руками справедливое дело... Ты вот поразмысли над этим.

Девушка помолчала и проговорила:

— Я пойду, Сергей Алексеевич!

Когда можно уже было не опасаться, что она услышит, Самосуд сказал:

— Это наша сестра Таня Гайдай. Бесстрашная Таня! Жалею, что не познакомил вас. Эта девочка вытащила из-под огня не одного раненого... Автор стихотворения, которое я передал вам, и она... — Самосуд замялся, — были друзьями.

Они подошли уже к саням, и Виктор Константинович с внезапной для него самого решимостью спросил:

— Можно мне не уезжать, Сергей Алексеевич? Остаться еще на недельку-другую?

Самосуд недоуменно воззрился на него.

— То есть как же вы можете?.. Вы в командировке.

Но решение было уже принято, слова сказаны, и Виктор Константинович с чувством облегчения стал выкладывать свои резоны: во-



первых, он собрал мало материала, не познакомился, в частности, с Таней Гайдай; во-вторых, больших неприятностей у него не будет, если он и задержится с возвращением в редакцию — не в своем же тылу задержится, а в немецком, в партизанском полку; в-третьих, неплохо военному газетчику уезжать из части накануне боя, к которому часть готовится; в-четвертых, он, Истомин, хотя и хромает и нога у него не сгибается, обузой не будет, а даже, возможно, пригодится для дела — спринтера из него уже не получится, но снайпером его уже называли... Что же касается писем, которые он на Большой земле должен был переправить по адресам, то он поручит это летчику: он поедет сейчас на аэродром, отдаст всю корреспонденцию — ему тут еще надавали треугольничков, — особо проинструктирует насчет стихотворения и вернется в полк, ежели, разумеется, это будет ему позволено...

— Вы понимаете, что, если вы не улетите этой ночью, вы можете загоститься у нас надолго? — сказал Самосуд. — Не сегодня-завтра наш аэродром перестанет существовать. Вы слышите, что делается?

И правда: вокруг в лесу слышалось какое-то множественное постукивание, поклевывание; порой раздавался тонкий звон, похожий на звон упавшей с елки и разбившейся новогодней игрушки — стеклянного шарика. А может быть, это стаи невидимых ночью птиц неутомимо клевали снег, убирая его с деревьев, и освободившиеся от зимней тяжести ветки выпрямлялись, стряхивая с себя остатки ледяного футляра. К ночи сильно потеплело, и, прислушавшись, можно было даже уловить смутное, словно ребячье бормотание — это под осевшей снежной целиной искали выхода первые ручьи.

— А я не думаю, чтобы вы, Сергей Алексеевич, стали выпроваживать пинками даже загостившегося гостя, — сказал Истомин, чувствуя, что Самосуд не склонен возражать. — Да и гость постарается не быть слишком докучливым.

— Переоценка ценностей — так я понимаю, — с едва уловимой веселостью сказал Самосуд: он был проникателен.

— Я предпочел бы сказать: понимание истинных ценностей, пусть и запоздалое... — Виктор Константинович проговорил это несколько стеснительно: его исповедь, собственно, уже началась.

— Ну, ну... — Самосуд ее покамест приостановил. — К утру вы сможете, пожалуй, обернуться. Жду вас к утру... Впрочем, если самолета сегодня не будет, подождите там денек-другой. Ну так... Счастливо вам, товарищ фуражир! — Он засмеялся своим трескучим смехом.

Истомин вернулся в полк на рассвете. Все произошло как по нотам: он поспел к самолету, передал летчику письма и стихотворение Серебрянникова, научил, куда отослать стихотворение, присоединил к нему свою рекомендацию, а затем написал рапорт редактору газеты о том, что вынужден в интересах дела задержаться в командировке. На обратном пути он уснул в санях под овчиной, а когда проснулся, небо уже посветлело и между деревьев в путанице оголившихся черных ветвей светилась узкая полоска зари.



АНАТОЛИЙ ПРИСТАВКИН



ОТ БРАТСКА ДО УСТЬ-ИЛИМА

*Многие произведения Анатолия Приставкина посвящены труженикам Сибири — строителям электростанций на Ангаре. Писатель сам несколько лет прожил в Братске, работал вместе со своими будущими героями. Недавно Анатолий Приставкаин по командировке «Нового мира» снова побывал на сибирских стройках. Впечатления от этой поездки стали материалом для его новой книги «От Братска до Усть-Илима». Ниже публикуется несколько отрывков из книги.*

**Я** нашел прорабку недалеко от котлована, прямо над Ангарой. На обшитой тесом будке на красной дощечке значилось: «Комсомольско-молодежная бригада им. XXIV партсъезда».

Гладкий большой стол, лавки вдоль стены. По чистому, выскобленному добела полу разбрызгана вода для прохлады. На скамеечках отдыхают рабочие. Но бригадира я как-то сразу заметил, хоть не скажу, что он особенно и выделялся. Моложавый, в берете, глубокие светлые глаза и неожиданно громкий голос.

— Михаил Мелентьевич? Барановский?

— Это я, — ответил он, вставая. И стал объяснять, что собрался сейчас на рыбалку, потому что работал несколько суток и у него отгул. Но поговорить согласился.

Он уперся локтями в стол, посмотрел в окошко. А окошко выходило прямо на воду, даже берега не было видно. Прорабка, будто «Ласточкино гнездо», стояла на скале, нависая над рекой. И видно было внизу синюю воду с белыми разводами, и больше ничего. Только воду с бурунами.

— С пятьдесят девятого года я работал в Мамакане, — начал Барановский, поворачиваясь ко мне. — С марта месяца. Это было еще до армии. Ну, станция там по нашим масштабам маленькая строилась. Восемьдесят тысяч киловатт, это энергия для треста Лензолото, для слюды... Сейчас там поселок вырос, благодать, а тогда первая очередь котлована да палатки. В палатке я и жил. И здесь с приезда тоже в палатке. В Мамакане женился, дочь родилась. В честь реки Лены мы ее Леной назвали. В Усть-Илиме еще дочка — Люба. Потому что любим мы Ангару.

— В каком году вы сюда приехали? — спросил я у Барановского.

— В шестьдесят третьем. С Воробьева добирался пять суток. Из-за непогоды сидел в аэропорту. Жену и дочку я на старом месте оставил, устроился в палатке, вызвал их. Было это восемнадцатого ноября. Палатка на шесть семей, у многих дети. Хотели, правда, меня направить в Эдучанку дорогу строить, но я не дал своего согласия. Считал, что передовой край тут, где строится ГЭС. Но ГЭС еще не было, пошел сварщиком в монтажную бригаду. А вскоре приехал мой товарищ, купил себе временку метров двадцать квадратных, перетащил меня к себе. Так и перезимовали мы. Потом мы свою временочку сложили, четыре года в ней жили. Ну, а потом дали нам квартиру... Мы здесь твердо осели до начала Богучан.

— А будут Богучаны? — спросил я.

— Как же не быть, когда люди ждут, — произнес он просто. — У нас квар-

тира в четыре комнаты, чего, кажется, желать. Но если будут новую станцию на Ангаре строить, мы поедem. Наша судьба — это стройка.

Сказал и задумался. Почему-то без связи с этими словами заговорил о том, что Любе исполнилось четыре года, а у старшей дочери, у Лены, был порок сердца и ей ленинградский профессор Кутышев Михаил Михайлович делал операцию.

— Ну что я тут строил? — спросил он вдруг меня. — Все артерии жизни для начинающегося Усть-Илима. Все умел, как профессор Михаил Михайлович, мой тезка. Воду вел, когда вода была нужна. Электричество, воздух, пар... Компрессорные делали, насосные, артезианский колодец, потом пекарню. Наш хлеб той поры был прекрасный, вам любой человек скажет. Сейчас везут хлеб из Братска, а он каменный: уронишь — ногу зашибешь. Сперва мы в палатке булочки делали, а потом построили пекарню на две печи. Одна из них сгорела, в это время у пожарников воды не оказалось. Они как: «Вода есть? Есть. Ну, тогда мой ноги да спать ложись». Была клуб-палатка. Кто мерзнет, тот и топит. А можно и на печке как на стуле сидеть. И столовая была. Заведовала ею Галина Павловна Боровская. Мы ее звали просто Галя-Паля. Отзывчивый человек! Готовила она вкусней, чем любой ресторан. Она покупала по окрестным селам продукты, да все сама и сама. Мы шли к ней в столовую как в свою горницу, так и говорили: «Пойдем к Гале-Пале». Ее все шоферы любили, знали: хоть ночью разбуди после рейса, она согреет ужин, накормит. Вот какой она человек.

Я подтвердил Барановскому, что слышал о Галине Павловне, ее все усть-илимчане знают.

— Как же, родной человек. Она и сейчас руководит столовой, вы к ней ходите. Ну а мы, чтобы дать энергию поселку и первому земснаряду, монтировали дизельную установку. Кстати, эти дизели провел санным поездом из Братска бригадир Кулаченко. Небось слышали такого?

— Слышал, один из наших, из братчан, — сказал я.

— Вот это он. Есть книжка про Братск. «Полюс мужества» называется. Он там на титульном листе сфотографирован вместе с бригадой. Потом он был делегатом Двадцать второго съезда партии. После окончания Братска уехал строить станцию на Зею и там умер от рака желудка. Сколько ему было лет? Да около сорока... Не больше. А тогда сварили они мощные сани из железа, пять тонн весили, говорят. Теплушки поставили, дизели и две недели шли по тайге, свет нам таскали, образно говоря. Кстати, эти дизели и Братску еще давали свет в первую его пору, в пятьдесят пятом году. И первому Усть-Илиму они свет давали, а потом я их лично демонтировал. Но мы их бережем, даже палаточкой накрыли, чтобы не портились. Авось и для Богучан пригодятся.

Тут я сказал Барановскому, что видел здесь и другую братскую технику: экскаватор «семьдесят пятый», например. Приятно было его встретить, как хорошего знакомого.

— Они наши приятели, — подтвердил он. — Приятели-работяги. Мы их бережем, храним, не списываем.

— Кто с вами здесь еще работал в первые годы Усть-Илима?

— В первые?... Николай Туровский работал. Юра Половников работал, Михаил Соловьев, сейчас он бригадир сантехников на поселке Северном.

— Я знаю Половникова, — сказал я. — Он работал у Гайнулина, потом на скальном участке.

— Это в Братске? — спросил Барановский. — А здесь Половников с шестьдесят третьего года, жил с нами в палатке. Он сперва плотником был, потом в санмонтаже, и его забрали в Эдучанку мастером карьерного хозяйства. Но он рвался на основные сооружения и сейчас где-то тут... в котловане.

— Надо бы разыскать, — сказал я.

Кстати, я разыскал Юру Половникова, был у него в гостях, на КПД — так называют здесь поселок крупноблочных домов. И мы с Юрой долго сидели, вспоминали Братск. Смысл таких встреч — сходишься как со своей родней все равно. По Братску, или по Иркутску, или по Мамакану... У этих людей, таких, как Барановский, как Половников, как многие гид-

ростроители, есть своя родословная рек и гидростанций, и у меня теперь тоже родословная есть. И через пять минут после встречи мы уже горячо говорим, перебивая друг друга, потому что интересно узнавать, кто где и с кем работал, куда уехал и как далее сложилась его судьба. То ли женился, и дети появились, и все прочее в том же духе.

В такой беседе не звучат служебные слова, а происходит разговор долгий, то бурный, то неторопливый, как у земляков в родной деревне, где все друг друга знают и всякий другому хотя дальняя, но обязательно родня. И можно не торопясь по кругу всех вспомнить и обсудить. Но и те, кто пропал из виду, тоже найдутся. Объявятся, вынырнут на каком-нибудь крупном строительстве, потому что в стране все большие стройки на виду, а они-то и определяют движение многих судеб. И эти встречи и эти расставания.

Теперь и Барановский не торопился на свою рыбалку, а сидел будто за праздничным столом — так легко и хорошо нам вспоминалось. Рассказал он еще, как посылали их работать на Ершовские пороги. Через эти пороги шли грузы от Братска по воде. В Ершовке их баржи разгружали и посуху семь километров весь груз тащили до других барж, которые приходили уже снизу, от Усть-Илима. Это было все в том же шестьдесят третьем году. А лето было коварное... Барановский не сказал «плохое» или «тяжелое», он так и сказал — «коварное». Было холодно, шли дожди.

— А вот про Кулаченко, если интересуетесь, вам Кочерга лучше расскажет.

И бригадир указал на цыганистого мужчину, который сидел, вытянув ноги, и слушал наш разговор.

— Иван Иванович, — обратился к нему Барановский, — вы ведь в Братске работали с Кулаченко вместе?

Мужчина пододвинулся к нашему столу, кивнул. Сказал, что работал с Кулаченко в ремонтных мастерских.

— Вы в Братске-то где жили? — спросил я Ивана Ивановича.

— Поначалу в Зеленом, — отвечал он. — В палатке жил, моя жена в экспедиции у Медведева работала. После палатки мы во времянку перешли. Я ее лично спалил, торжественно сжег, когда нас в новый дом перед затоплением Зеленого переводили. А новый дом-то еще и без окон и дверей был, в поселке Постоянном, около спортзала. В Братске у меня и сынок подросток, приемный сынок-то, ему в Зеленом семь лет было. Сейчас кончил школу шоферов, в армии отслужил, там он был старшиной автороты. Ну а после службы прямоком на Усть-Илим. Женился сейчас, жена его врач в поликлинике. А жена, значит, самого Кочерги так у Медведева в экспедиции и работает. И всей большой семьей живут на КПД...

— Батя, пойдем на машину! — крикнул от входа парень.

Я успел рассмотреть, что был он черный, курчавый и красивый.

— Легок на помине, — сказал Иван Иванович и уже ему в дверь ответил: — Сейчас, сынок, сейчас приду. Вот про Кулаченко скажу, и пойдем.

— Где вы работали до Братска? — спросил я.

— Где? Да везде. В экспедиции у геологов на Урале и на Кольском полуострове был, а в Мурманской области бригадирил в леспромхозе. Потом я в Бодайбо по вербовке попал. А в Братск я приехал двадцать шестого августа пятьдесят пятого года, там всего-то несколько палаток тогда стояло. Устроился я слесарем, потом работал у Кулаченко. В «Полюсе мужества» я с ним сфотографировал, посмотрите, если узнаете. Мы с Мишей Кулаченко по шестьдесят второй год вместе работали. Он, когда на Зею уехал, нас всех с собой позвал. Я поехал с ним, только работы там никакой, кроме как копать землю, еще не оказалось, и я Володе Тесту на Усть-Илим письмо написал. Он мне сюда вызов сделал. Ну а насчет того санного похода, так те сани я лично варил. Целый месяц мы готовились к переезду, тракторы нам лучшие дали, десять тракторов всего. Вот Барановский говорит, что шли мы две недели, да нет, больше мы шли. Куда больше, скажу, три целых недели и то до Эдучанки, а от Эдучанки нам тягачи помогали...

— Батя! — снова позвал сын.

— Сейчас, сейчас, — сказал отец, — мы же про Братск говорим. Так вот Кулаченко... Его имя в Братске гремело. А семья его там, на Зее, осталась. Сынишку зейское управление послало учиться на свои средства. Он вернулся, стал мастером работать. А дочка у него нормировщицей, как и мать. То есть, значит, как жена Миши Кулаченко.

Мы втроем, Кочерга с сыном и я, пошли на машину, был конец смены. А Барановский стал собираться на рыбалку. Мы простились. Дорогою Иван Иванович еще говорил о дочке, которая с двумя детьми, это значит с его внучатами, в Братске на Индии живет. На Индии, то есть в индивидуальном поселке, улица Строителей, дом три.

Я спросил, куда он собирается после пенсии. Он ответил, что пока не знает. Возможно, что уедут они всем своим гнездом на Волгу, в Калининскую область, у них разнарядка на кооперативные квартиры там.

— Но мы не торопимся, — сказал он. — Построим Усть-Илим, а там видно будет. Хоть природа здесь неласковая, а для гипертоников просто вредная, но привычная нам. Какая ни есть, а своя.

Ангара в районе Толстого мыса была перекрыта в 1969 году. Перекрытие для строителей ГЭС — необыкновенный праздник. Это счастливое мгновение в биографии огромных коллективов и отдельных людей. О перекрытии рассказывают десятки лет спустя так детально и красочно, что понимаешь, насколько оно было существенным в жизни даже бывалых строителей. По своей сути перекрытие — это как бы заключительная картина в драматической пьесе борьбы человека с природой, когда все, что делалось до этого: палатки, времянки, очистки леса и многое, многое, — было только подготовкой, трудной многолетней подготовкой к последнему, но потрясающему по своей силе акту.

Ну конечно, это и праздник, праздник, не сравнимый ни с чем по масштабам и эмоциям. Тут все воедино: трудовой порыв (праздник порыва!), тревога и волнение за конечный результат, напряженность борьбы, когда брошена вся техника, способная укротить не управляемую пока реку (праздник борьбы и праздник машин!), и невиданное, непередаваемое ликование, когда борьба завершится удачно.

Вот как было на Усть-Илиме. Зима 1968/69 года оказалась очень суровой, с декабря по февраль было сорок пять активированных дней (морозы свыше сорока пяти). Из-за сильных морозов работа не выполнялась. Создалось напряженное положение для перекрытия Ангары на исходе лета 1969 года.

Формировались бригады добровольцев на подсобных предприятиях, люди работали в дневные и ночные часы. Ночью работать было прохладнее. Рассказывали, что на работу шли как на фронт. И это не было похоже на штурмовщину для выполнения плана, для цифр, для доклада. А как борьба со стихийными бедствиями, когда каприз северной природы поставил стройку на грань катастрофы. Ведь потерянный для перекрытия год — пустой, бессмысленный, бесперспективный год, удорожающий строительство, замедляющий пуск турбин и, естественно, нарушивший бы многое в планах других подразделений, ожидающих пуска гидростанции как хлеба насущного.

Но есть еще и моральная сторона дела. Вынужденное безделье, простои, срыв общего плана влияют на весь дух стройки. И многие, возможно бы, уехали, наступил такая тяжелая пауза в делах устьилимчан.

Каждый, кто мне рассказывал об этом жарком лете шестьдесят девятого года, подчеркивал, что не помнит такого накала, такого высокого подъема чувств. Я не оговорился, именно чувств у тех, кто выходил в добровольных бригадах в котлован. Работали почти не отдыхая, как не смогли бы работать при спокойном, привычном режиме.

К концу июля основные работы были завершены, началась эвакуация механизмов. К 12 часам дня 10 августа затопили котлован. В перемычку заложили 24 тонны аммонита, и в 19 часов произошел взрыв. Завершающий этап перекрытия начался 11 августа в 6 часов 30 минут.

Отдельные моменты этапа перекрытия фиксировались по часам, а то и минутам, как это бывает в бою. И весь дух и обстановка в этот момент напоминали обстановку боя, где успех дела решали сотни людей, техника, а также оперативность, точность, принятие быстрых решений по ходу дела и общий, детально разработанный план всего перекрытия.

Перед затоплением радио передало приказ всем, всем, всем немедленно покинуть котлован и отойти в безопасную зону. Три красные ракеты оповестили о начале затопления. Взрыв, последовавший затем, был довольно сильный. Огромный столб земли и камней поднялся к небу, а воздушная волна ударила в Толстый мыс и с некоторым опозданием вернулась обратно и повторилась эхом.

Многотиражка писала, что в эти дни натиск корреспондентов, «любопытных представителей нашей прессы, можно сравнить разве с напором вод ретивой Ангары...».

Написано так же ретиво, но точно. Работников печати, делегатов от других строек, представителей из министерства, из центра и всякого рода гостей было множество. Для них на Толстом мысе создали небольшую трибуну и деревянное ограждение.

Приехал из Братска Алексей Марчук, возглавлявший комиссию по перекрытию. А Саша Гуревич, старый братчанин, который присутствовал на перекрытии, потом рассказывал мне, что вспоминал о Братске, где все мы были молоды и только учились строить. А теперь Николай Михайлов, бывший работник братского техотдела, докладывал Марчуку, своему бывшему коллеге по тому же отделу, о готовности к перекрытию. Те же самые наши ребята-братчане, но уже другие как бы люди, теперь уже командиры производства.

Это и есть путь от Братска до Усть-Илима.

Ширина прорана 151 метр, банкет отсыпали горной массой с обоих берегов. Работа шла в три смены. Через сутки, когда ширина сократилась до 50 метров, а перепад достиг 3,36 метра, увеличилась скорость воды. Бригадир кразистов Ульяновский со своей бригадой (о ней еще речь впереди) работал во время перекрытия по двенадцать часов. Потом стало ясно, что водители такого темпа не выдержат, стали меняться через семь часов.

Остальная масса строителей (они сделали все, что от них зависело) стояла на возвышенных местах, и с темнотой никто не уходил. Люди хотели видеть все. Включили прожекторы; в их белом сильном свете стало видно, как, переливаясь, несет быстрая вода отдельные глыбы, будто легкие камешки. Грохот, как отдаленная канонада, как отзвук боя, доносился с рабочей площадки.

На одном камне написали: «Нам речки прудить не ново!» А на другом: «Доберемся до вас, Богучаны!»

К 16 часам 12 августа ширина прорана сократилась до 28 метров.

Эти-то метры и оказались самыми трудными. Первые 100 метров банкета были перекрыты за двадцать четыре часа, последующий 41 метр — за четырнадцать часов, а последние 6 метров — за шесть часов. По метру в час!

Надо еще отметить, что такое полностью пионерское перекрытие реки с расходом воды 2970 метров кубических в секунду при перепаде на банкете 3,8 метра (маленький водопад) производилось в Советском Союзе впервые. В краткий срок, сорок три часа, в банкет было высыпано 28 тысяч кубометров горной массы. Из них четвертую часть — что меня больше всего поразило — унесло водой.

Ангара рвала цинковые тросы особой прочности, камни в 15 тонн легко уносились потоком. Напряжение на вторую ночь достигло наибольшей силы. Сперва казалось — вот-вот река сдастся, остались самые последние усилия. Но шли часы, а потом еще часы, и все оставалось на своих местах. И стало тогда казаться, что усилия реки и усилия людей уравновесились и уже невозможно Ангари сдвинуть с места. Сколько в нее ни бросай, сколько ни взвинчивай темп сотен машин и людей, уже ничто не изменит положения.

Ночью в 4 часа 19 минут 13 августа проран оказался закрыт, и только небольшие струйки воды бились среди камней. Кто-то схватил флаг и бросился на другую сторону, но сгоряча оскользнулся на камне, его подхватили за руки.

Два бульдозериста сомкнули породу с двух берегов, потом выскочили из своих машин и восторженно обнялись.

В Братске на этот раз я побывал только пролетом, потому что торопился увидеть Усть-Илим, где была в разгаре строительная пора. Но я встретился с некоторыми братчанами и корреспондентом «Восточно-Сибирской правды» Леонидом Даниленко. Работает он здесь года с пятьдесят девятого, и ему я во многом обязан, что смог понять в ту пору и увидеть в Братске. Он сказал, что «кончилось золотое время Братска и наступило золотое время Усть-Илима... Его медовый месяц, так сказать. А тут? Тут все тропинки протоптаны, и большинство из них ведет в прошлое, в наши воспоминания. Да ты это и сам заметил».

Нет, не о текущих планах, не о развороте работ, которых еще хватало и в Братске, упоминал Даниленко. Насколько я понял, он говорил о некоем духовном подъеме, который переживал Усть-Илим.

Братск 70-х годов умиротворился, успокоился, стал вполне благополучным и процветающим городом, подобно многим другим городам. Он устоялся, принял свой облик, свой образ жизни. Об этом ли жалеть! Но ведь был еще Братск иной поры, город неустроенный, неухоженный, но и неугомонный, известный своим дерзким молодежным духом, своей открытостью или даже первооткрывательством. Таким он памятен многим старым братчанам и любим.

Усть-Илим вовсе не повторял Братска и не был на него похож, но больше он, теперь он, а не Братск, занимал место в жизни и мыслях нового поколения молодых ребят и девушек. Они в свой черед приехали строить станцию на Ангаре. И для них, для этих новых, подросших ребят, Усть-Илим оказался таким же открытием, таким же откровением, каким для многих из нас был Братск. И с этим трудно спорить.

Нонна Штейман, невысокая женщина в очках, сразу показалась мне энергичной и задиристой. Она сказала, что преподает в школе, а Толик, ее муж, работает в техотделе СМУ-2. Толя стоял рядом и молча кивал. Вся инициатива в нашем разговоре была предоставлена Нонне. Но в конце, прощаясь, он пригласил зайти к ним домой. А Нонна добавила:

— К нам все приходят.

И сразу от ее слов повеяло старым Братском, и домом Костюченко, и еще другими домами, где мы собирались легко и быстро.

— В Москве, — сказала она, — самые ближайшие друзья живут в пределах сорока минут езды... Разве там возможно встретиться? То устал, то настроения нет тащиться на другой край Москвы, то ребенок заболел... Господи, и живешь в одном городе, как в разных странах все равно.

Я подтвердил, что так оно и бывает.

— Вот именно, — произнесла Нонна. — Ведь правда, что мы дверей не запираем. Вон наши ключи, как и соседские, лежат в коробочке в прихожей. Хочешь — к ним заходи, хочешь — к нам.

Она рассказала случай из московской жизни, когда мальчик, уходя, прикрепил к двери записку: «Мама, ключи под половиком». И добавила:

— А здесь все и так знают, что под половиком, оттого и не смешно рассказывать эту историю.

— Да нет, вовсе не в этом дело. — вставил свое слово Толя. — Я в магазине сыр по сто пятьдесят грамм не беру. Не могу. Как-то не выходит. Когда-то, когда мы жили в Москве, приезжала к нам в гости из области тетка моя, тетя Поля. Пойдет в магазин и тащит столько, что мы в обморок чуть не падали. Несколько связок баранок вокруг туловища, три палки колбасы, головку сыра. Ну, причины здесь понятны, она домой покупала все это. Но у нас бытовало выражение: «Ты набрал, как тетя Поля». Но тут мы покупаем именно как тетя Поля. Стиль такой — много брать.

Я подтвердил, что мы в Братске и компоты и конфеты на килограммы вешали и **каждый** вечер были гости.

— Да, да,— сказала Нонна.— Это самое главное, что мы ценим. У нас сложилась группа друзей, и одна группа поменьше, поинтимней, что ли, а другая огромная. Свистни только да просто подумай — и они тут как тут. Каждый несет новость, мысль, идею какую, и вот уже целый праздник. Тут, кстати, и головка сыра вся пригодится. А сколько здесь родилось всяких начинаний: и вечер Есенина придумали (это было в самом начале, в холодном клубе, при минус пятидесяти), и всякие кавэены, и капустники, и оперу мы одну шуточную ставили... У Коли Михайлова, кстати, есть ее запись, можно зайти послушать.

— Но ведь это общность, это и есть самое главное? — сказал я.

— Это счастье, что мы тут все вместе. А иначе зачем тогда все это нужно? Вот я вспомнила, как приехала сюда одна корреспондентка радиостанции «Юность». Мы ей также сказали, что по-своему счастливы, хоть считается, что живем в тайге; подробно рассказывали ей о нашей жизни, а потом мы повели ее к одному инженеру. А у него с бытом еще не устроено — и холодно и неудобно. А корреспондентка и говорит: «А все-таки, ребята, переезжайте вы лучше в Москву». Вот и объяснились, называется.

— Но мне вы не расскажете то же самое, что вы рассказывали ей? — спросил, а вернее, попросил я.

А Нонна посмотрела в мои глаза так ласково-внимательно, будто она жалела меня.

— Вам все равно не понять нашего Усть-Илима.

«Н а ш е г о Усть-Илима» — вот как было произнесено.

Приехали они в ту пору, когда Усть-Илим только начинался. Жили около Черной речки в чужой комнате, хозяин уехал в отпуск. Нонна преподавала в деревне Невон английский язык — первый в районе учитель с высшим образованием. Ходила на занятия она в теплых брюках, и местные жители ее тайно осуждали. А школа размещалась в большой и очень странно построенной избе: у нее стены расходились полукругом. Толик однажды взял логарифмическую линейку, посчитал да и говорит: «Черт ее знает, непонятно, как эта изба держится. По расчетам, должна давно уже упасть. Ты как услышишь треск, выводи и спасай детей...»

До школы от поселка несколько километров. Ездили Нонна и ее ученики по грязи на железных санях. А в руках держала крепко патефон и учебные пластинки с английским текстом. Ну а потом в Усть-Илиме построили первую школу для начальных классов.

Кстати, через несколько дней после нашего разговора я присутствовал на выпускном вечере десятиклассников в новой, лучшей в области школе. Среди учителей была и Нонна, она сказала тогда: «Первый в Усть-Илиме выпуск. Те самые ребяташки, которые ездили со мной на санях в Невон».

— Видели здание напротив ресторана «Лосята»? Такое высокое, как двухэтажное все равно? Но оно вовсе не двухэтажное, у него просто фундамент высокий. В этом здании размещался у нас целый детский комбинат: и родильный дом, и детский сад, и начальная школа да еще школа вечерняя. А строил этот дом Толя. Не только этот дом, а первые вообще дома. Вырубал здесь тайгу на расстояние пожарной нормы, рыл котлован, ставил фундамент. Ну, и все прочее.

После долгого вечера, когда хозяева пошли меня провожать, они мне показали все эти дома, и детский комбинат, и самый первый жилой дом.

— Вы живая история Усть-Илима,— сказал я с каким-то особенным и, может быть, завистливым выражением.

— Да, да. К сожалению, да,— отвечал Толя, подразумевая тот факт, что уже много прошло с той поры времени.

— Сколько вы сменили с Нонной домов, начиная с Верхней речки?

— Пять,— сказал Толя,— Да, кажется, пять. Этот шестой.

— Почему же не переехали в КПД? Там ведь каменные дома и все удобства?

— Ну-у! — протянули хозяева в один голос.— Нам и в деревянном здорово



живется. Когда въезжали поперву, показалось холодно. А потом досками обшили, и стало тепло. Зимой тепло, а летом прохладно.

Нонна добавила, что здесь, около клуба, вроде как на перекрестке: кто-нибудь да зайдет. То один, то другой, а то все сразу; вот недавно приезжала одна из Гидропроекта, мы по ее просьбе институтские песни пели часов до трех. Напитала она душу — и уехала.

Я хочу привести несколько строчек из газеты, первой газеты и даже первого ее выпуска на Усть-Илиме. Мне ее разыскали Штейманы и дали с собой в гостиницу, чтобы я смог внимательно прочитать. Называется она «Вестник Усть-Илима» и помечена январем 1967 года.

Передовая статья начинается так: «В молодом Усть-Илимске около 7 тысяч жителей, не считая командировочных и журналистов...». И далее перечисляется, что в поселке два десятка брусчатых домов, несколько десятков общежитий и всевозможных домов «более мелкого размера».

«Первым гражданином 1966 года, появившимся в молодом Усть-Илимске, является сын Нины Путинцевой, маляра Жилстроя, родившийся 19 января. Параметры уникама для истории останутся тайной, так как в старом родильном отделении не оказалось весов...»

Далее шли разные цифры. К 24 декабря 1966 года акушеры приняли еще 98 девочек и мальчиков. За шестьдесят шестой год зарегистрировано 62 свадьбы. Хлеба на Усть-Илиме съедают три тонны в день, а с водой и с охлаждающими напитками «не так здорово». Мало водовозок. Приводится такой случай: «Однажды намылившиеся клиенты были вынуждены прибегнуть к услугам пожарной команды».

Под заголовком «Конец романтики» пишется, что «палаточный городок — последний оплот пресловутой романтики — рушится под ножом бульдозера и навсегда прекращает свое существование на Усть-Илиме. Едва ли кто сейчас взгрустнет по этому поводу...»

В газете помещена заметка «Сколько ждать?».

«Жители поселка Усть-Илим уже забыли, что такое клуб. А так хочется иногда посмотреть фильм, не стуча зубами от холода, хочется посмеяться... Просто потанцевать в большом светлом зале. Сейчас для нас все это — мечта».

А в конце газеты — кстати, она сделана, как афиша, всё с одной стороны листа. — приведены стихи А. Фролова, в то время рабочего. Как я выяснил, ныне он секретарь райкома комсомола, человек, в жизни очень активный, на последних соревнованиях по легкой атлетике в беге занял первое место. Стихи же у него такие:

Мы все знали, что ждет нас тайга,  
 Комары и глухие болота,  
 Что зимой завывает пурга,  
 Но не сделаем мы поворота.  
 Бурно воды бегут Ангары,  
 Нас дразня своей силой могучей,  
 Подожди, Ангара, до поры,  
 Подожди, не особенно мучай...

Вот эти последние строки мне понравились, кажется, что они вырвались будто нечаянно, но это так похоже на то, что чувствовали они, первые устьилимчане.

И вот еще одна строфа из другого его стихотворения:

Счастья вам, мои милые хаты,  
 Оживи, умирающий пруд,  
 Но в Сибири такие ребята,  
 Я останусь, наверное, тут...

Заходить к Штейманам оказалось и впрямь легко. При повторном посещении я хорошо рассмотрел их квартиру. Наверное, центр любого жилья — это кухня. Мне понравилось, что они свою кухню разделили на две части и в одной устроили

крошечную столовую, а в другой хозяйственный уголок, скрытый от постороннего глаза.

В кабинете стеллажи с книгами, а на полу шкура медведя. В спальном комнате детские кроватки в два яруса, как сказала Нонна — «двухэтажное мое счастье».

Нонна еще объяснила, что квартирой они до какой-то поры вовсе не занимались, пока не прочли одну статью о стандартизации жизни. В статье писалось, что нынешние квартиры похожи одна на другую: на стене литография — портрет Хемингуэя, на столе стихи Лорки, на магнитофоне заезженные песни.

— Мы тогда прочитали статью, критическим оком взглянули на свою квартиру. Увидели, что и у нас на стене Хемингуэй, на столе Лорка, на магнитофоне песни... С тех пор понемногу стали заниматься бытом.

Я спросил про клуб первой их поры, где они готовили вечер Есенина и другие вечера.

— Вечером Есенина занимались Михайлов и Светлана Кепелас, — сказала Нонна. — Вообще, с тех пор, как у всех у нас появилось по второму младенцу, мы стали выдыхаться с вечерами.

Но она рассказала про старый клуб, палатку, обшитую тесом, в которой они выдерживали самые лютые морозы. Энергия подавалась от крошечной станции, и стоило включиться экскаватору, как свет мерк. И все сидящие в зале говорили, что вот, мол, Васька Сорокин включился в работу и забрал их свет. А другие подтверждали, что, видать, скала ему попалась твердая... Сейчас он с ней разделается, и свет и киноаппаратура оживут. Так же гасли холодильники, приемники в палатках, замедляли свой ход и пластинки.

— Но вы же начинали еще в Братске? — спросил я.

— Ну, в Братске! — воскликнул Толик. — Там у нас была квартира по всем правилам. Мы жили в Энергетике, самый первый дом. Поселились мы первого апреля, а семнадцатого апреля переехали на Усть-Илим. Но нашу квартиру почему-то не заняли, и она стала вроде перевалочного пункта для устьилимчан. И все, кто жил, оставляли по рублю на гвоздике: «На текущий ремонт». Когда мы через год туда попали, нашли порядочную сумму и отремонтировали жилье.

Рассказывает Нонна:

— Ехали на Усть-Илим, представляли — единственно страшное, что нет настольной лампы да утюгов. А одна московская знакомая писала: «Ребята! Есть ли у вас хоть радио? Может, вам присылать московские газеты?» Одним из первых домов была рубленая хата для бани. А тут люди приезжают, селиться негде, ну, и быстро переделали баню под общежитие. В основном инженеры, техническая интеллигенция. В официальных документах так и было записано: «Баня-общежитие».

Рассказывает Толя:

— Здесь, в бане, была первая свадьба. А загс мы расшифровывали так: «Здесь Ахмурают ГидроСтроителей». А в прорабке на санях один предприимчивый старик, Арам Геваркян, создал парикмахерскую. Нашел два кресла, а сушилку для волос, для женщин, соорудил из ведра, электроплитки и вентилятора...

Хозяева еще рассказывали, как они называли первые улицы Усть-Илима. Официально поселок числится как Усть-Илимск. Кому-то понадобилось добавить эти две буквы привычки или моды ради. Но сами устьилимчане поголовно пишут Усть-Илим, и я думаю: они правильно делают. И я сейчас, посылая письма друзьям, пишу: Усть-Илим.

А вот какое письмо опубликовала здешняя газета:

«Читая газету «Усть-Илимская правда», мы обнаружили, что даже наш печатный орган еще до конца не уяснил: в Усть-Илиме или в Усть-Илимске мы живем? Немного истории. В 1964 году, работая в г. Киеве и в общих чертах зная, что на реке Ангаре вслед за Братской проектируется еще гидростанция, мы случайно услышали песню Пахмутовой «Письмо на Усть-Илим». И близкая стройка обрела для нас свое лицо. Это была не одна из многих гидростанций, это был

Усть-Илим! И еще не видя, ничего не зная о нем, мы полюбили далекий таежный город без единой улицы, он стал нам родным и близким. С 1965 года, работая на Усть-Илиме, мы часто встречали парней и девушек, которых, подобно нам, на Усть-Илим позвала песня... Итак, Усть-Илим! Но не тут-то было! Кто-то решил: раз есть Иркутск, Братск, Нижне-Илимск, следовательно, пусть будет и Усть-Илимск, какие, мол, тут могут быть сантименты! А то, что город — это не просто географический пункт, а плод труда, выношенные мечты и надежда тысяч людей, об этом не подумали. Нигде бюрократизм и голос административный не приводили к хорошему, а в таких случаях, когда люди призваны увековечить труд, тем более. Кому, как не отцам будущего города относиться к нему с любовью и чуткостью? Никто не отнимает права утверждать названия улиц и поселков, но почему бы не посоветоваться с самими строителями? Ведь это же не роботы, а люди своими руками построили улицы, которые увековечили такими названиями: Юбилейная, Транспортная, Центральная и т. д. Конечно, есть и хорошие названия, но они разбросаны хаотично, без всякой выдумки, именно выдумки, Пушкина и Энергетиков, Свердлова и Механизаторов, Профсоюзная и Лесная... Ведь самые хорошие названия, если их смешать в кучу, образуют винегрет.

В свое время было написано письмо за подписью руководства стройки, партийной, комсомольской и профсоюзной организаций с просьбой оставить за городом название Усть-Илим, а при названиях улиц учесть пожелания строителей: прилагался план с названиями улиц, составленный на основании опроса. Все это осталось без последствий... В заключение хочется написать, что лицо города не в том, что его название и названия его улиц напоминают названия тысяч других городов и улиц, а именно в том, чтобы напоминать только этот город, и никакой другой. Улицы Пушкина, Тургенева и т. д. есть в каждом городе, но нигде нет клуба «Гренада» на улице Михаила Светлова, нигде нет детского комбината и школы на улице Солнечный Круг и магазина на улице Александра Грина.

В. Василевский, инженер гидропроекта.

С. Рудько, мастер геодезии».

Об улицах города и о том, как их называли, мы разговаривали с Толей и Нонной. Письмо, которое я привел и которое имеет, на мой взгляд, далеко не местное значение, написано еще в 1968 году. Я взял его из старой подшивки. Но и поныне это большой вопрос для устьилимчан. Потому что улица Солнечный Круг превратилась в улицу Солнечную. А ведь это уже другое, да и улица заворачивает дугой, она — круг, Солнечный Круг! Улицы Грина вообще не существует. Но зато много улиц со стереотипными названиями.

Много было спора о том, как назвать вновь построенный клуб. На собрании выдвигались разные названия: «Сибирь», «Таежный», «Гидростроитель». И даже «Толстый мыс»!

— Представьте, клуб «Толстый мыс», — сказала Нонна.

А секретарь комсомольской организации Петр Сушко и говорит:

— Давайте, ребята, назовем этот клуб «Гренадой»!

— А что такое Гренада?

— Читайте у поэта Михаила Светлова.

— Ну, а как она расшифровывается, эта Гренада? Вдруг что-нибудь такое... Вот Невон, Невон... А говорят, что с бурятского перевести — выходит «свиная голова».

— Гренада, — сказал Сушко, — это провинция в Испании. — И он вслух прочел стихи: — «Красивое имя, высокая честь — Гренадская волость в Испании есть...»

Кто-то спросил:

— Там сейчас Франко и фашисты?

— А стихи Светлова?

Разгорелся спор. Так рассказывали мне Нонна и Толик. На этом собрании присутствовал тогдашний начальник стройки Чайковский, человек интеллигентный,

вообще умница. Так вот. Чайковский тоже поддержал «Гренаду». После этого собрания на расширенном активе комсомольских работников спорили весь вечер. Петр Сушко притащил с собой сборник стихов Михаила Светлова и со сцены громко прочел «Гренаду». Стихи всем понравились, а название не утвердили. Неизвестно, чем бы кончилась эта история, но в газете на другой день напечатали о присвоении Михаилу Аркадьевичу Светлову Ленинской премии. Партком утвердил название, и оно привилось.

А потом пришло письмо от семьи поэта. Там было написано вот что:

«Светлов очень любил молодежь, был ее большим другом. В течение всей своей жизни он стремился туда, где свершались великие события нашей страны. Мы уверены, что, если бы он был жив, он, конечно, приехал бы к вам в Усть-Илим, в край больших свершений, в «Сибирь — страну поэзии». Восхищаясь вашими героическими делами, он гордился бы вами и, безусловно, написал бы стихи, посвященные устьилимцам. Но смерть вырвала его от нас. Остались же стихи Михаила Светлова, улицы его имени...»

Дорогу, что от Братска до Усть-Илима, называют дорогой мужества. Я хочу немного рассказать о тех, кто ее строил. Если снабжение Братска осуществлялось, как это обычно и бывает, по железной дороге, то Усть-Илим не мог ждать свою железную дорогу, иначе строительство задержалось бы на несколько лет.

Впервые в практике строительства не только у нас, но и за рубежом такая огромная стройка, как Усть-Илим, снабжалась целиком всем необходимым по таежному двухсотпятидесятикилометровому тракту. Автомобилисты применили организацию железнодорожных перевозок и часовой график. В шестьдесят шестом году было перевезено 44 тонны груза. Это было начало. Сейчас здесь проходит в сутки более тысячи машин. Все расстояние они покрывают за день.

Специалисты говорят, что опыт строительства и эксплуатации этой дороги может пригодиться при возведении четвертой ступени ангарского каскада — Богучанской ГЭС, куда, как известно, никаких пока путей не существует.

Мне называли имя бригадира кразистов в котловане Владимира Ульяновского, который строил эту трассу и прошел ее от начала до конца. Далее он строил в Усть-Илиме, участвовал в перекрытии (я упоминал его имя), а ныне один из лучших людей стройки.

Вечером мы сидели за столом, ели салат из свежих огурцов, и соленую рыбку, и жареного сига. А на столе стояли пиво, красное вино, морс и виноградный сок.

Ульковский рассказывал о себе, правда без особой охоты. Просто он понимал, что если люди просят, значит, это нужно. Ему нравилось вспоминать только то, что было повеселей и позабавней, что ли. Но я хотел знать все, и тогда я спрашивал его, а он смеялся и доливал мне вино. Держать в руках стакан с вином приятнее, чем карандаш, так он считал.

Но кое-что я смог у него узнать о первых годах на строительстве трассы. В Братск он приехал из армии. Строил порт, отсыпал правобережную плотину, готовил котлован под алюминиевый завод. Ездил он тогда на «зилке», это был конец шестьдесят второго года. А в шестьдесят третьем началась трасса. Пять лет он пробыл на ней и ушел последним в шестьдесят седьмом году.

— Сколько человек работало на трассе? — спросил я Ульяновского.

— Не знаю, — отвечал он. — Вот когда награждали за нее, только из нашего АТУ наградили триста человек. Ну, как мы жили... В палатках жили, иногда мерзли. Сидишь перед печкой, коленки жарятся, а спина инеем покрывается. Особенно холодная зима была в шестьдесят пятом году. До шестидесяти трех градусов доходило. Таких зим я и после не пробовал. Дойдет до пятидесяти и снова ниже опускается... Ну, мы в Братск за грузами ходили. Одеяло на колени положишь и ведешь машину, потому что коленки мерзли. По одной машине нас не выпускали, а только по две, чтобы в крайнем случае могли друг друга выручать. Иногда машину бросали на дороге. Едешь по трассе — тут и там брошенные машины, будто при отступлении... Так до тепла.

Я спросил, бились ли машины.

— Ясное дело, бились, — отвечал Ульяновский. — Гористо ведь, как понесет вниз — что куда... Я тоже разок опрокинулся. До этого я в ГДР служил, дороги там хорошие, привык к большим скоростям. А тут послали в Братск за оборудованием. А навстречу машина светом в глаза. Взял я чуть правей, чтобы не в лоб, и в кювет кверху колесами. Радиатор побил, а так ничего. Еще дважды бился. Был случай, когда тридцать пять метров по воздуху пролетел... Говорят, теперь буду жить вечно. До самой смерти ничего не случится. — И он засмеялся легко, как ребенок. Он взял стакан и предложил выпить за нашу хорошую жизнь.

Я спросил про жену Ульяновского и про то, как он женился.

— Все на трассе, — произнес он с улыбкой будто удивленной. — Девушки приехали из Эдучанки, вот я и женился. Кстати, я был и комсоргом трассы целый год. Но потом освободился и снова за баранку, скучаю я без машины. Те, кто у нас поженился, осели в Седанове или сюда, на Усть-Илим, перевелись работать. А мы с женой в родную палатку вселились и так до конца прожили. Сейчас едешь, вспоминаешь, где стояли те палатки, — одни следы от них. Да что палатки — каждую ямку помнишь, так все ровненько на трассе, так красиво сейчас, а тогда мы тонули в болотах. Летом шли дожди, одни дожди, заливало нас, и базу с продуктами залило...

— И не ушли? — сказал я почему-то.

— А куда уйдешь? — спросил уже меня хозяин. — Строить-то надо. И построили, говорят. — И опять засмеялся.

Ульковский стал рассказывать, как он купил машину «Москвич» и прошлым летом поехал из Усть-Илима в Европу. Маршрут у него был такой: Усть-Илим, Братск, Тулун, Канск, Красноярск, Ачинск, Маринск, Уфа, Куйбышев, Пенза, Орел, Москва... И далее на Украину и на Брянщину.

Ульковский громко смеялся, когда повествовал об этой своей трассе, и говорил, что застревал он тысячу раз.

— Но двигался только вперед.

Он сказал: «Двигался только вперед» — и я понял, что за простоватой веселостью у этого человека скрывается упрямый, сильный характер, который помогал ему выдерживать все трудности на «трассе мужества».

Вообще же Володя Ульяновский — человек очень открытый, доверчивый, как ребенок. Улыбка у него удивительно приятная. Любой его рассказ сопровождается этой хорошей улыбкой, добавляющей то, что он не говорит: его оптимизм и веру в жизнь, как бы тяжело ему в этой жизни ни бывало.

Он открыт встречным людям и сам смотрит на гостя как на чудо, радостно-удивленно, довольный тем, что гость похвалил его уху, и его машину, и его уютный дом.

Мы уходили от него поздней ночью, и он вышел нас проводить.

Мой товарищ сказал, оглядывая город, блиставший огнями:

— Вот, скажи, глухомань, а? Я три дня сюда добирался с пересадками. Дома меня снаряжали, как на Северный полюс. А мы сидим за столом, и свет, и холодильник, и цветы... Все как в столице. Только телевизора нет. Да можно и без него.

— Будет телевизор, — сказал Ульяновский. — А вообще у нас хорошо. Мне лично нравится.

Я не видел в темноте, но почувствовал, почти представил, как он улыбается, произнося эти последние слова.

А теперь еще об одном шофере, о Василии Рамусе. Он работает с Ульяновским в одной бригаде, и они друзья. Его фотографию впервые я увидел в памятной листовке, который называется «Добро пожаловать на Усть-Илим». В этом листке рассказывается о здешнем климате, об условиях жизни и работы на стройке. На одной из фотографий изображен молодой мужчина и внизу написано: «Посланец комсомола Украины шофер АТУ-8, делегат XVI съезда ВЛКСМ Василий Рамусь».

Эта встреча, как я считаю до сих пор, одна из самых интересных в моей жизни. Да, мы встречались не раз и не два, потому что меня все интересовало в этом человеке: его образ жизни, его семья, его работа. Я напросился и ездил с ним на смену в котлован, потом приходил в гости. Мы бродили белой северной ночью по уснувшему поселку и говорили о жизни, о выступлении Рамуся на съезде (острое и проблемное это было выступление), о нуждах стройки, о всех делах, которые нас обоих волновали.

Конечно, расспросил я Рамуся о том, как он попал в эти места. Оказалось, что приехал он после армии, а до армии лет с четырнадцати работал в колхозе на родной Черниговщине. Был механизатором, окончил курсы шоферов. Их было трое ребятишек у матери, жилось небогато. Старший брат уехал на шахту в Донбасс. Василий службу проходил в группе советских войск в ГДР. Хотел сперва остаться на сверхсрочную, но уж здорово соскучился по дому. А тут после демобилизации разнарядка пришла на разные комсомольские стройки. Была мысль поехать на Курскую магнитную аномалию, это почти что дома. Но выбрал неожиданно Братск.

Поперву спрашивали: «Откуда? С Украины? Тогда не удержишься, морозов не выдержишь... Уедешь». Выдержал и не уехал. Только сильно скучал по дому. А оттуда одни упреки: мол, из армии три года ждали, а ты мимо проскочил да с крайнего запада на крайний восток! Он отвечал в письмах: «Приеду. Подождите, вот устроюсь и приеду в отпуск».

На чемодане у него во всю крышку фотография из «Огонька» — плотина Братска и подпись: «Жемчужина Ангары». Таким он, в общем-то, и увидал Братск, строить его почти не пришлось. Через четыре месяца попросился на трассу от Братска до Усть-Илима.

Люди говорили: «На трассу поедет — и сразу видно, кто какой работник!» Василий Рамуся поехал, чтобы самому о себе понять, чего же он стоит. Сменщик на машине (ему всегда везло в сменщиках) посоветовал: «Поезжай на трассу. Тут, в Братске, все обкатали, а там новизна, там перспектива».

Иногда с трассы он приезжал по делам в Братск, и бывшие его дружки спрашивали: «Ну, как на трассе?» «Да так, — отвечал он, — так же, как в Братске, только горячей воды нет. Хотите посмотреть — поедете!» «Нет, нам здесь привычнее...» «Вот вам и отличие, — произносил тогда Василий. — Вы сразу поняли, что здесь, в Братске, лучше, а там труднее».

И в Усть-Илиме бывали времена подчас такие крутые, что, казалось, нет ни сил, ни мочи дальше оставаться. Одно дело армия, где дисциплина, порядок и новая техника... Здесь техника, может, и похожа, но в условиях северного строительства, в тайге... Другое, по существу, дело.

Тут Рамуся рассказал о своей семье. Как познакомился он с будущей своей женой Аней на пятьдесят седьмом километре, где он жил в палатке. Приехала Аня к сестре, молоденькая, лет семнадцати, и работала у них табельщицей. После свадьбы поселились они в Седанове, в здании школы, а потом в Эдучанке квартиру снимали. А вся квартира — комнатка, а посередине буржуйка, от которой труба выходила в окно. Но вскоре всю колонну перебросили в Невон, и он по воскресеньям ездил к Ане. В ту пору у них Светка родилась.

А нынче, в мае месяце, родился у Рамусей сын. Вернулся Василий с работы — жены нет и записки никакой нет. А потом приходит соседка и ключи несет. «Аня, — говорит, — в больнице». Срок беременности всего семь месяцев, переволновались. Аня каждый день ходит сынка кормить, его оставили до полной поправки.

Это все теперь, когда у Рамуся в Усть-Илиме квартира и роддом под боком. Ну, а тогда работа здесь только начиналась и стояли палатки. Дом культуры в палатке, его называли «Мечта»...

— Когда приехал я на съезд комсомола, — говорит Василий, — меня первым делом спрашивают: «Вы написали, о чем будете говорить?» — «Нет». — «А подшивку газеты с собой привезли?» — «Зачем надо ее привозить?» — «Чтобы какие-

нибудь факты взять оттуда». — «Про Усть-Илим я и так все помню, — сказал я. — Как же мне не помнить, если сам пережил!» Мне сказали: «Ладно. Расскажите, как вы начинали свою жизнь на Усть-Илиме». Я зацепился за эту мысль, стал вспоминать. А что касается трассы, я на ней работал с января шестьдесят четвертого года, нас называли «десант мазистов». Это была школа, настоящая школа всех человеческих качеств, самых нужных строителю. Закалка, взаимовыручка, честность. А точнее же, верность. Потом к нам на трассу много народу прибывало и уезжало много. Но никогда не уезжали те, кто начинал дорогу от Братска. — Рамусь вдруг спросил: — Вы видели, как на морозе руки схватывает? Сперва и не чувствуешь, вроде только мелко покалывает кожу. И все. А в тепло придешь — и мгновенно по всей коже пузыри. Вот когда мы в Невон приехали — а отбирали нас как на боевое задание: добровольно, беседуя с каждым отдельно. — мороз доходил до шестидесяти трех градусов. Кстати, с нами от Братска до Усть-Илима дошел «семьдесят пятый» экскаватор, он сейчас работает на карьере. Этот четырехкубовый экскаватор Братск строил и трассу на Усть-Илим, а после Усть-Илим также строил. Механизмы вообще как люди: у них свои на стройках пути, своя трудовая биография... Так вот, работали мы на этом морозе, а у меня кран тормозной вышел из строя. Пока я его снимал, руки схватило. Пошли пузырями, как водянка все равно. Я подумал тогда: послать бы к черту это дело да в родной, да в теплый черниговский климат... Сейчас на родину в отпуск приезжаю, а шоферы местные говорят: «Ну что ты, Вася, в этой Сибири интересного нашел? И холодно там, и дико, и морозы...» — «Да, отвечаю, морозы за пятьдесят». — «Тяжело?» — «Тяжело, говорю, не каждый сможет». — «Ну, сможет, положим, каждый, только зачем — вот вопрос». Так они меня агитировали, — сказал Рамусь. — Предлагали должность заведующего гаражом. Я им ответил: «Тяжело бы, братцы, вам со мной пришлось. Я бы со спиртным душком ни одного за баранку не допустил. А ведь у вас такие факты есть?» «Есть», — отвечают. «И к технике бы так, говорю, не разрешил относиться, как вы относитесь. Вам, чтобы в Чернигов съездить, говорю, надо два дня готовить машину. А она у вас должна быть всегда в полном порядке». «Ну-у...» — отвечают, — у вас условия другие. И теплые гаражи и прочее». А я думаю про себя: приехали бы да посмотрели, какие у нас гаражи... Это сейчас гаражи, а тогда машины под снегом ночевали. А моя мама, которая тут побывала, вдруг говорит: «В Сибири вкальвают что надо. Это, мальчики, я сама видела». — Рамусь засмеялся, сказал: — Я маму на смену на своей машине возил, так она все поняла о нашей работе.

— Когда это было? — спросил я.

— Еще на первом перекрытии. Мама-то все домой звала, а я решил ей свой новый дом показать. Агитировать ее Сибирью. Ну, посадил в машину да на смену. Под экскаватор да на карьер. Она все удивлялась, как мы суетимся. «Туды-сюды мельтешат» — так она потом рассказывала. А потом я ее на нижний бьеф повез, она и за голову схватилась: «Неужто все сами построили?» Я говорю: «Сами, мама. А кто же это за нас сделает?» Вот при споре с местными шоферами она и сказала про Сибирь свое слово. Мол, в Сибири надо работать, а не стоять. Это она поняла сразу. При этом разговоре Володя Ульяновский присутствовал. Долго он ехал, но доехал на своем «Москвиче» до Украины. Я на Володю показываю и говорю: «Вот он на личной машине сейчас, так? Он не на работе, так? Что ему будет, если он, сидя с нами, вина выпьет? Да ничего не будет. Тут в колхозе ни одного, говорю, гаишника-то нет. А он не пьет. Почему? Да потому, что ответственность перед самим собой чувствует. Это и есть наша сибирская школа». Стал я рассказывать про нашу бригаду. Важно, говорю, чтобы люди понимали конкретную задачу, цель всего, что они делают. Главное в нашей работе не механический труд, как некоторые думают, а сознание. Вот у нас бригада Ульяковского, в ней двадцать один водитель. На протяжении трех лет ни одного замечания. У каждого высоко развито чувство личной ответственности. А попался бы какой-нибудь безответственный... Ну и пошло бы у нас вкривь и вкось. Тогда колхозные водители и говорят: «Вы особенных людей к себе подбираете!» «Нет, не подбираем. С миру по сосенке — вот как мы подбирались. Только технический опыт взве-

шивали, когда сажали нас на «КРАЗЫ». Спрашивали: хватит ли опыта для новой машины? Но собралась, конечно, одна молодежь. На перекрытии между собой решили: старичкам нос утрем. И первое место заняли. Вот в чем мы выковывались».

Я стал спрашивать Рамуся о перекрытии. Я всех об этом спрашивал и Рамуся спросил.

Он ответил:

— Когда я приехал в прошлом году в отпуск, я маме говорю: «Знаешь, мама, а мы ведь перекрыли Ангару!» «Да ну,— спрашивает,— всю-всю воду?» «Всю,— я ей сказал.— Теперь она,— говорю,— послушной стала, течет, куда ей указали». По правде говоря, у меня у самого по первым годам не было четкого инженерного представления, что и как здесь строится. Не работал я никогда на реках и не знал специфики такого строительства. Перекрытие для меня как открытие было. Все на виду, все понятно. Котлован, скалы, бетон, бычки, прораны... Будто на первый взгляд мешанина — и вдруг у каждого свое место в общем деле. И видно все как на ладони: что мы сделали и что сделать осталось. Вот это и есть перекрытие.

Мы сидели у Рамуся дома. Вдруг он предложил

— Хотите, я вам на баяне сыграю?

— Сыграйте,— сказал я.

— Ваше любимое?

— Лучше ваше,— попросил я.

— Ну, мы обурндучились,— произнес он и засмеялся. И тут же заиграл знакомую каждому братчанину песню. Там еще есть хорошие слова, будто про таких людей, как Рамусь, и написанные: «Не пугает нас непогодина, не замерзнем мы за рулем, расцветай, Сибирь, наша родина...»

Из кухни пришла жена Василия Аня, села рядом с мужем и стала слушать. А он прервался, произнес:

— Последние месяцы мы так заездились, что я баян стал забывать. Когда в отпуске мы встретились с Ульяновским, он меня к себе на Брянщину повез, а я его на Черниговщину. И тут играли и там играли. Местные дружки мне говорят: «Давай-ка, Вася, наши родные, украинские...» А я им и наши украинские и наши сибирские... А на комсомольском съезде в Москве такой случай вышел. Наша делегация растерялась, растворилась среди других делегатов, а всех собрать было необходимо. Ну а как соберешь? Не кричать же всем. Начали вызывать по городам, а я и говорю: «Подождите, сейчас придут». Увидел у одного паренька баян попросил и заиграл вот эту мелодию о Сибири: «Веет свежестью ночь сибирская, собрались друзья у костра, ты навеки мне стала близкою, величавая Ангара...» И тут, знаете, к нам потянулись свои на песню. Собрались воедино и так спели, целый хор получился.

Разговор наш вернулся к перекрытию, к подробностям тех сорока трех часов, когда была заперта Ангара.

— Кто пережил перекрытие,— сказал Рамусь,— тот понял, что это был наивысший подъем на стройке. Первое перекрытие прошло не очень заметно. Мы жили на Лосенке, долбили лед, отсыпали скалу. Не было такой торжественности, что ли. Но тут совсем другое дело. Нас с Володей Ульяновским разделили: я на левом берегу работал, а он на правом. Наша бригада к моменту перекрытия оказалась первой, нам разрешили первыми начать штурм. Ну, честно говоря, нас немного обидели, потому что к нашей бригаде присоединили водителей из АТУ-три, из Братска. Хотя они и братчане, и народ привыкший, и на помощь приехали, но ведь мы и сами по себе не сплеховали. Я работал со сменщиком Витей Черновым. Чувствовал себя будто не в кабине, а на козырьке! Круглосуточно работали, и с неохотой, честное слово, уступали мы друг другу место в машине. Вот недавно мы сидели с Володей Ульяновским у него дома. Так вот сидели мы и вспомнили наше перекрытие. И одновременно подумали знаете о чем? Если бы на стройке была такая же организация труда, как во время перекрытия, такой же



моральный подъем, то мы бы нашу станцию вдвое быстрее построили. Мы реку перекрыли не за пятьдесят часов, как предполагалось, а за сорок три... Эти цифры не с потолка взяты, они расчетные, как я понимаю. И заслуга здесь механизаторов, наших шоферов и тех, кто помогал. Я думаю, что не в физических сверхусилиях дело, а в настрое, в том, что каждый знал свою задачу и конкретную и конечную. А сейчас бывает по-разному. Иногда приезжаешь — экскаваторщик заболел, а запасного фронта работ не предусмотрели. Вот и гастролируешь по всей стройке, дело себе ищешь... — И Рамусь подтвердил еще раз: — Перекрытие, его организация была достижением, на которое нам сейчас равняться надо. Там я знал, что стоять не буду. Была цель, был расчет, был моральный эффект. Разные у нас бывают потери, их можно считать на кубы, или на часы, или на киловатты. Но моральные потери так не измеришь. Это невозможные потери. Тогда на перекрытии мы работали по десять и по двенадцать часов, в общем, столько, сколько надо. Да что мы — я говорю, что все так трудились. И те, кто свою смену отстоял, не уходили, а оставались на месте. Не могли уйти, не хотели. Нас было в бригаде двадцать один человек. Мы везли скалу с сорок пятого карьера, через весь поселок. Здесь на перекрестке стоял регулировщик, давал нам зеленую улицу. Один из новичков что-то затушевался, побоялся близко к воде подъезжать. А остальные машины ждут, а вода камни уносит. Пауза вынужденная получилась. Ему сразу приказали: «Измените маршрут». Он чуть не заплакал. «Измените маршрут» — значит, отставить от перекрытия человека. Но так было.

Возвращался я от Василия поздно ночью, он провожал меня через весь поселок в гостиницу и рассказывал про бывшего комсорга стройки Алексея Амосова, одного из первых здесь вожаков. И он первый, кто поставил вопрос так: город без времянок.

— Люди должны жить хорошо, чтобы хорошо строить, — сказал Рамусь. — Присутствовал я на слете молодых строителей Сибири в Новокузнецке, и там выступал Иван Иванович Наймушин. Он говорил, что мы найдем возможность строить на Усть-Илиме типовые общежития, такие, например, как в Ангарске. Я также поднимал этот вопрос на съезде комсомола. Вот и Амосов то же самое говорил, но говорил еще раньше, чем мы хватились. Он говорил, что, когда рабочий приезжает, он должен с первых дней отдавать себя производству, а не устройству своего быта. Как сейчас водится? Придет к нам в АТУ специалист и месяц-другой эксплуатирует машину совсем не по назначению — строится. И все видят, и все понимают: надо человеку, а как же иначе. Надо же устроиться с жильем. Амосов этот вопрос остро поставил, ну, его отстранили тогда. А сейчас мы на практике добиваемся того, что он предлагал сначала. Но ведь комсомольского вожака потеряли. Я вам говорил о моральных потерях, это они и есть. У нас, кстати, после съезда комсомола встреча делегатов была со своими министрами. По отраслям, где мы работаем. Мы встретились с министром Петром Степановичем Непорожним, человек нас сорок было. Я об этих вот проблемах говорил. А потом другие делегаты рассказывали, и я понял: всех нас на разных стройках волнуют одни и те же вопросы. И первый из них — вопрос жилья и времянок.

— А второй?

— Второй... Это проблема, которую я называю теребиловкой. Это значит снабженческий вопрос. Вот у нас сейчас с цементом теребиловка. То он есть, то его нет. И вся стройка и каждый отдельный человек на стройке это знает и нервничает. А третий вопрос — не по значимости, конечно, а по счету: проблема культурного отдыха.

Он довел меня до гостиницы, стал прощаться. Указывая на голые кусты около тротуара, заметил, что и тут мы повторяем ошибку Братска.

— Валим прекрасные деревья, а потом вот эти веточки...

Мы договорились на следующий день вместе поехать на смену и расстались.

Была белая тихая ночь, только на западе, как туча, вставала черная полоса, след лесного пожара. Василий обернулся и напомнил, что номер его машины «51—77». Счастливый, как утверждают.

Машину Рамуся я ждал на перекрестке. Тяжелый «КРАЗ», далеко не новый, с шипением притормозил рядом, и Василий подал руку:

— Садитесь. Жалко, не могу покатать вас по этому асфальту, сегодня у нас дела в котловане.

Я уселся поудобнее, поначалу казалось, что высоко. Едешь будто не по земле, а над землей. Усевшись, я осмотрел указатели, рычаги. Рамусь засек мой взгляд, произнес, глядя вперед:

— Самая старая машина. Новенькие приходят, отдают новичкам. А мы с Володей Ульяновским ездим да молчим. А что скажешь? Мы опытные, мы старенькие, мы все можем, что нам ни дай... А вот дочка моя так говорит: «Папка, на такой дохлой машине я не хочу кататься!»

Мы проезжали тайгу, синюю от зарослей иван-чая. На хорошей скорости спустились в котлован, миновали его и под самым правым берегом въехали под экскаватор. Не вылезая из машины, я видел, как квадратный ковш зацепил скалу, поднял ее над нами — грохнуло, как гром. А машина, качнувшись, присела. Еще один взмах, снова удар грома, более глухой, и мы пошли забираться наверх, на берег. Мимо скал и других машин сперва, как с разбегу, бойко, а потом все медленнее, все тише, и вот уже мотор перешел на дискант, заскулил, засвистел, вот-вот сорвется. А площадка верхняя рядом, последние метры к ней вытягиваем чуть не на одном желани. Забрались, развернулись, вывалили скалу. Стало легко. Не только машине, всем нам стало легко.

— Когда дело налажено, — сказал Рамусь, до этого он молчал, — достаточно для такой работы пяти машин. Сейчас очередь у экскаватора, толкотня... И вот еще когда дело идет, как бы создается ритм и каждую машину встречаешь в одном и том же месте. Встречаешь и чувствуешь, что ты не выбился из ритма, что ты в графике. А вот сейчас, смотри, на этой встречной машине молоденький шоферик... Он запаздывает, потому что в прошлый раз встретился нам на съезде. А теперь внизу.

Пошел дождь, забарабанил по капоту. Стало свежее.

— Сколько тонн мы берем? — спросил я.

— Да около пятнадцати. Не меньше.

Теперь на подъеме нам попала машина, где у водителя в кабине сидели две девушки. Василий высунулся, нарочито удивился, всем своим видом изображая, насколько он удивился. Потом, засмеявшись, сказал:

— Девчата любят ездить с нами. Подсядут, поедят и стройку всю поглядят и котлован тоже... А водитель и рад, приятные собеседницы.

Мы снова подкатили под экскаватор. Рамусь показал мне на порталные краны и стал рассказывать, что здешний фотограф красиво изобразил их в позе, будто они клювами сошлись, и назвал фотографию «Разговор по существу».

Снова пошли на подъем; дождь припустил сильнее. «Дворники» щелкали на ветровом стекле.

— Дождь — хорошо, — заметил Василий, не отрывая глаз от дороги. — Может, он пожар потушит. Ведь что получается: мы на трассе работали, жгли полноценное дерево почем зря. А на Украине каждый сучок на счету... Приеду, рассказываю — не верят. Как так, чтобы дерево полноценное сжигать? Да кто же такое позволит? А у меня нутро болит, когда я вижу пожары...

Верх подъема, мотор перешел на комариный писк, и Вася ему помогает голосом:

— Давай, давай, милый... Выехали, мать честная.

Навстречу с площадки машина, и Рамусь машет рукой.

— Вот и Ульяновский... У него что-то со скатом.

Он высовывается в окошко по пояс, рад другу. Как будто сто лет не виделись. И тот высунулся, смеется.

— Здорово! — кричит Рамусь. — Чего очередь собрал?

— Две машины я уже отправил на карьер! — кричит Ульяновский.

— Ну и ладно. Свободнее работать.

Ульковский вниз, а мы на площадку. Развернулись задом, опрокинули кузов, и машина громыхнула, затряслась от сбегающих по ее спине камней. Освободилась от ноши и будто приподнялась и вздохнула. Так с поднятым кузовом стали отъезжать.

Рамусь к чему-то прислушался, произнес:

— Подожди. Там камень застрял между баллонами.

Он вышел, зацепил тросиком за камень, прочно, как клин, вошедший в середину между скатами, и стал ждать очередной машины, чтобы подъехала и дернула... Но машины пока нет, и Рамусь стоит, оглядываясь по сторонам.

Сверху от карьера видно Ангару, вода в ней потемнела, стала серого, вовсе не интересного цвета. Как чужая все равно. И лесные горы едва обозначены сквозь туман и дождь. Только диабаз-камень сверкает под дождем, как антрацит на изломе... Когда-то в детстве я очень любил собирать кусочки антрацита из-за его таинственного блеска. Черный, а от него радужный свет. А еще я гранит любил, потому что в нем много разноцветных зерен на изломе, и каждое зерно, как драгоценный камень — неповторимо. Но ведь диабаз и есть разновидность гранита, красивый он камень. Красивый, пока с ним не работаешь. Как попадет между баллонами, не углядишь — разрежет... Так они, баллоны, и летят.

Вернулись мы вниз, скатились под экскаватор, а уже и очереди нет. И Рамусь заторопился и бормочет, и я слышу, как он себе говорит:

— Эх, задержался... Выбился из ритма... Ладно.

Ковш для нас приготовлен... Не успели встать — трах, да-да-да. Будто из тучи садануло ровно в нашу машину. Трах! А потом эхом по окрестности: да-да-да... И рассыпалось мелким камнем. Жизнь рядом с грозой. Я вспомнил, как Рамусь вчера назвал работу под экскаватором — «дятел». Я еще спросил, удивившись: «Почему дятел?» А он отвечает: «Поездите со мной — сами поймете. Как нас клюет, долбит... А мы носом при этом тоже... Вот дятел и получается».

Выехали на карьер, сбросили скалу, и здесь звук уже другой, я к нему тоже привык. Здесь он шуршащий, с дальними ударами. Та же гроза, только уходящая. «КРАЗ» отряхнулся, приподнялся, освобожденно отъехал. На развороте нам Володя Ульковский машет рукой:

— Стой! Стой!

— Что?

— На шестьдесят пятый участок вози... Здесь хватит.

— Ладно, — говорит Рамусь, и мы летим вниз, в котлован.

Подъезжаем к экскаватору, и Василий замечает, что можно бы не пятиться с разворотом, как это мы делаем, а заходить каждый раз по кругу. Но здесь это не предусмотрено. И по кабелю экскаватора не разрешается проезжать. Шесть тысяч вольт не шутка, пробьет — электрическая дуга поярче солнца будет.

Перед нами загружается машина. Можно посмотреть со стороны, как ковш заносит тяжело свою ношу и сразу обрушивает ее на машину, будто пригвождает к земле.

— Вот мы часок и отработали, — говорит Рамусь, когда девушка, стоявшая на площадке, подошла и отметила наш номер карандашиком.

Пока мы сгружались, бульдозерист, ровнявший площадку, высунулся и что-то нам закричал. Потом развернул нож машины в нашу сторону, заехал прямо в лоб и, упершись ножом в бампер, встал. Рамусь стоял, смотрел на эти манипуляции, и бульдозерист смотрел. Вроде бы никто не собирался первым выяснять отношения. Но Василию надо было отъезжать, и он вышел из машины и полез к бульдозеристу на гусеницу. Тот сидел как на троне, лишь голову повернул в знак внимания.

— Ты чего? Ты чего нож перед машиной поставил?! Если сказать хочешь, скажи, а не хулигань! Ты думаешь, если я сильнее автобуса, то я должен перед ним свой «КРАЗ» ставить?

Тот произнес лишь несколько фраз, но я их не слышал.

Василий вернулся в кабину, сказал незлобно:

— Новичок... Мол, не там сыплешь... А сыпать где угодно можно. На то и площадка. А ему хочется, чтобы сыпали в рядочек, вишь, ему так сподручнее. Спят, спят, а потом начинают фокусы показывать.

Бульдозерист смотрел на нас из бульдозера и смеялся. Наверное, он не спешил. Вот тронул рычаги и стал медленно задом отводить свой бульдозер. И Василий, продолжая ругаться, отъехал. Впрочем, повторяю, что ругался он незлобно.

А я вспомнил, как Ульяновский рассказывал, что и они подчас наказывают бульдозериста, который сачкует. Оставит тот, к примеру, бульдозер и уйдет по своим делам. А машины ждут-пождут. А потом камнями тот бульдозер засыплют, так что бульдозерист в кабину влезть не может. И помощь тоже позвать не может... Как он сознается, что оставил во время смены машину и допустил, чтобы ее камнями засыпало? Значит, гулял? Так за это еще и взгреют.

А еще в другой раз и диспетчера наказали. Простаивали машины час, другой. «Куда сыпать?» Водители на сдельщине, у них когда дело стоит, тогда зарплата не идет. Но все остальные службы на тарифе. Экскаваторщики на тарифе, и бульдозерист на тарифе, и отвальщица, и мастер... И диспетчер тоже. Получается, что никакой личной материальной заинтересованности у него в скорости, в организации нет.

А тут машины девять часов зря простояли. И все: «Куда? Куда? Куда сыпать?» Диспетчер отвечает одно: «Подожди». «Ждать? Всю смену прождали и еще ждать?» — сказал Володя Ульяновский и велел своим ребятам обсыпать камнем вокруг диспетчерской, деревянного домика на берегу. Засыпали по крышу и двери засыпали. Мол, сиди теперь, если не хочешь работать. Так он, этот диспетчер, через окошко орет: «Подожди, ребята! Я сейчас все покажу!» Володя сказал: «Хоть кол на голове теши, не понимает. Только силу понимает. Ну, выговор дали». «Вам дали выговор?» «Почему мне?» — спросил Володя. — Диспетчеру, конечно».

Мы снова катим под горку. Кузов гремит за нашей спиной. Рамусь еще говорит, что у его машины кузов здорово побит камнями. Кузова здесь не выдерживают своего срока. На его машине заменялся кузов трижды. Когда машина приходит с завода, ее сразу начинают укреплять. Но «КРАЗ» — машина замечательная, их делают в Кременчуге. Есть один серьезный недостаток — резина. Она и срывается быстро, и собирает в себя все брошенные на дорогу железки. Как выразился Рамусь: «Не резина, а госконтроль — что оставили на дороге?»

— Ехал я из отпуска, — говорит Василий. — А рядом со мной кандидат наук из Омска. Как раз специалист по нашей резине. Ну, я на него напал, как говорят. Всякие ему доводы приводил, цифры. «Отчего, спрашиваю я, ярославская резина не летит, а ваша летит? Прошу ответить как на духу. Потому что очень переживаю». Ну, он сознался, что ярославская лучше, другая, мол, технология.

У экскаватора стояло несколько машин. Подошел Ульяновский, закурил.

— Как?

Рамусь сказал:

— Я вот хвалю мою машину. Трижды была на капремонте. А все ходит.

— Что ж, по асфальту она ничего, — заметил Володя, он, как всегда, улыбался. — А по нашему усть-илимскому асфальту... Тут другие скаты нужны.

— Вот и я говорю!

Ульяновский кивнул на Рамуса, сказал:

— Ехал я к Васе на Черниговщину. Остановился в одном месте и спрашиваю прохожего, как проехать в такую-то деревню. А он говорит: «Как свернешь с шоссе, так по муравушке, по муравушке все...» А муравушка болотом оказалась. Влез, а вылезти не могу. Так и здесь, на Усть-Илиме, все по муравушке да по муравушке ездить приходится...

Нам освободили место под экскаватором, и мы погрузились. На выезде из котлована надпись на фанере: «Следующая — Богучаны!» Говорят, что раньше было написано так: «Усть-Илим построим, следующая — Богучаны!» Но от ветра оторвался кусок фанеры и надпись приобрела неожиданную лаконичность.

Мы проехали мимо надписи и стали подыматься в гору.

Отсюда с высоты хорошо видно котлован второй очереди и встающие блоки, и все это очень похоже на Братск шестьдесят первого года, но как бы в зеркальном его отражении. Эстакада здесь идет не от правого, а от левого берега, она начинается там, где мы стоим. А за нашей спиной на просторной площадке идет монтаж двухконсольных кранов.

И эстакада и краны эти из Братска. Они сослужили Братску свою службу, были демонтированы и привезены сюда. Но вот река вместе с котлованом, с Толстым мысом, с тремя островами — Лосятами — и дальней панорамой моста вниз по течению вовсе не похожа на панораму у Падуна. Усть-илимская Ангара по своему прекрасна.

Вверх по течению открывается гористая тайга с синими дымами тут и там. Ангара кажется темноватой, темно-стальной на фоне светлых берегов. Она угадывается в серой дымке у горизонта, потом широко и быстро придвигается к нам и начинает занимать главное место во всем пейзаже. Но она еще спокойна и проста, и сила ее ничем не выказана, как бы спрятана в глубину потока. Достоинно и мирно течет она до плотины, и только тут, втиснутая, вжатая в узкие бетонированные прораны, она начинает волноваться, и крупной рябью бьет о бычки волна. Из тесных горловин река уже не вытекает, а выбирается, будто прорвавшись на волю гигантскими струями, седая от гребешков и бурунов. Дальше — широкий пережат, светлые опоры железнодорожного моста и цепь зеленых гор. У пережата на крутых струях стоят лодки и катера рыбаков.

Конечно же, мне рассказали, что острова Лосята уйдут под воду, как ушла знаменитая сосна на Падуне, и все о них жалеют. Вот инженер Хоменко сочинил песню о Лосятах, которую здесь поют. Слова такие:

На усть-илимских островах закат, закат,  
И сосны в гаснущих лучах молчат, молчат,  
Как стражи верные, храня покой земли,  
Лосята грустные стоят, как корабли...

И кончается песня так:

Мы создадим в тайге моря  
И вдаль уйдем,  
Бросаем снова якоря  
В краю глухом...



---

---

# ИСТИННАЯ ДРУЖБА

И. КОН

★

## ДРУЖБА

*Историко-психологический этюд*

*Памяти Олега Дробницкого.*

**Е**сть ли что-нибудь интереснее сравнительного исследования высших моральных чувств? Но вряд ли есть и что-нибудь более трудное. Моралисты всех времен совершенно точно знают, какими должны быть «истинная любовь», «подлинная дружба» и т. п. Историкам, психологам, социологам, которых больше интересует действительность, приходится труднее. Идеальные образцы любви и дружбы, не говоря уж о реальных человеческих взаимоотношениях, имеют столько социально-исторических, культурных и индивидуально-психологических вариаций, что еще Шопенгауэр иронически заметил: «Истинная дружба — одна из тех вещей, о которых, как о гигантских морских змеях, неизвестно, являются ли они вымышленными или где-то существуют».

Писатели и художники нового времени восхищались античной дружбой, имена Ореста и Пилада, Ахилла и Патрокла стали нарицательными. Но уже Аристотель восклицал: «О, друзья мои, нет больше ни одного друга!»

И даже древнеегипетский автор «Спора разочарованного со своей душой» (XXIII—XXII века до нашей эры) горько сетовал на оскудение человеческого общения:

...Кому мне открыться сегодня?  
Братья бесчестны,  
Друзья охладели...  
Нет закадычных друзей,  
С незнакомцами душу отводят.

Что такое вообще дружба? Толковый словарь русского языка определяет ее как отношения между кем-либо, основанные на взаимной привязанности, духовной близости, общности интересов и т. п.

В отличие от деловых, функциональных отношений, основанных исключительно на общности занятий и соответствующем разделении обязанностей, дружба — отношение тотально личностное, которое само по себе является благом. В отличие от родства или товарищества, обусловленного принадлежностью к одному и тому же коллективу, связанному узами групповой солидарности, дружба индивидуально избирательна, добровольна, основана на взаимной симпатии. Наконец, дружба — отношение глубокое и интимное, предполагающее не только взаимопомощь, но и внутреннюю близость, откровенность, доверие, любовь. Недаром мы называем друга собственным alter ego.

Но всегда ли дружбу понимали именно так? Как изменялся идеал дружбы в ходе истории и от чего зависят ее индивидуальные вариации?

## ДРУЖБА КАК СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ

*Развитие индивида обусловлено развитием всех других индивидов, с которыми он находится в прямом или косвенном общении.*

К. Маркс.

Некоторые общие указания об исторической эволюции понятия дружбы дает уже языковедение. Слова «друг», «дружба» недаром этимологически связаны с такими понятиями, как родство, товарищество (особенно воинское) и любовь. Обращение «друзья и братья», сегодня имеющее метафорический смысл, некогда звучало буквально Литовское «draugas» значит не только «друг», но и близкий — в смысле родственных отношений. Обращает на себя внимание близость «семейных» и «воинских» корней. Слово «дружина», в русском языке обозначающее воинский отряд, в словенском и болгарском языках означает семью, домочадцев. Лингвисты производят слово «друг» от предполагаемого германского глагола, имевшего значение — выдерживать, действовать, производить; слово это близко готскому «driugan» — нести воинскую службу, воевать; англосаксонскому «driegan» — быть деятельным, выдерживать и т. д. Немецкое «Freundschaft», восходящее к глаголам «freien» (свататься) и «freuen» (радоваться), в прошлом обозначало не только собственно дружбу, но и любовь, кровное родство, общий дом, общее происхождение.

Древнейшие, первоначальные формы дружбы были весьма далеки от современного акцента на свободе и индивидуальности дружбы. Они, напротив, были жестко регламентированы. На заре цивилизации, когда ведущей формой человеческой общности было родство, остальные формы сближения, будь то принятие в общину иноплеменника или установление более тесных отношений между отдельными людьми, также символизировались как породнение (усыновление общиной, побратимство, сзотцовство, кровная дружба и т. д.). Недаром герои широко распространенного древнегреческого мифа Кастор и Полидевк (Диоскуры), считавшиеся покровителями и олицетворением дружбы, были одновременно братьями-близнецами, к тому же — сыновьями Зевса.

Позже эта связь родства и дружбы ослабевает. Однако первобытное общество не знает различия «личных» и «общественных» связей. Хотя в отличие от родства дружба создавалась путем индивидуального выбора, она имела четко определенные социальные функции, жестко регламентировалась традицией и часто скреплялась специальным ритуалом. Племенной обычай раз навсегда определял, сколько друзей может и должен иметь человек, с кем и как заключается дружба, каковы взаимные обязанности друзей и т. д.

У многих племен заключение дружбы совпадало с обрядом инициации, посвящения юноши во взрослое состояние; так, у дагомейцев каждый мужчина обязан иметь троих друзей, которые называются «братьями по ножу» и располагаются по степени близости. Дружба эта, предусматривающая прежде всего взаимную материальную помощь, священна и нерасторжима. У индейцев «квакьютьль» — «лучший друг» служит посредником между молодым человеком и девушкой, к которой он сватается. Мужчины племени квома (Новая Гвинея) должны иметь троих друзей, которые не могут быть кровными родственниками, но с которыми подросток «породнен» актом инициации; друзья во всем поддерживают друг друга, по просьбе друга человек может даже украсть фетишей собственного рода; он называет отца своего друга своим отцом и т. д.

Яркое описание воинской дружбы скифов, противопоставляемое более тонким отношениям эллинистических греков, дает Лукиан в своем диалоге «Токсарис, или Дружба». Мы приобретаем друзей, говорит скиф Токсарис, «не на попойках, как вы, и не потому, что росли вместе или были соседями». Дружбы доблестных воинов ищут, к ним форменным образом сватаются, а сама она становится выше всех прочих отношений. Воин, который, спасая при пожаре раненого друга, бросил в огне собственную жену и детей, спокойно объясняет: «Детей мне легко вновь прижить, еще неизвестно, будут ли они хорошими, а такого друга, как Гиндан, мне не найти и после долгих поисков; он дал мне много свидетельств своего расположения»<sup>1</sup>.

Эта суровая верность, безусловно, не могла не сочетаться с эмоциональной под-

<sup>1</sup> Лукиан. Избранное. М. 1962. стр. 275. 285.

держкой и близостью. Длительная и лично значимая совместная деятельность сама по себе рождает эмоциональную близость. Но не это было главным в «героической» дружбе, которая имела не экспрессивно-исповедный, а практически-действенный характер. Внутренний, интимный мир еще не отделился тогда от «внешнего», поведенческого настолько, чтобы обсуждение его стало насущной психологической потребностью.

Разложение общинно-родовых связей, появление классов и государства существенно изменили положение. Узы родства и традиции слабеют, уступая место отношениям, основанным на расчете. «Не все родные — друзья тебе, но лишь те, у которых с тобой общая польза», — замечает Демокрит. Дружба, основанная на свободном выборе и общности интересов, теперь даже противопоставляется родственным отношениям, она утратила свою ритуальность, неотчуждаемость. Друзьями называют приверженцев, единомышленников, людей, объединенных общими интересами. Это значение термина — дружба как товарищество — сохранится и в дальнейшем. Когда римские авторы говорят о «друзьях Гракхов» или «друзьях Августа», имеется в виду не личная привязанность, а политический союз. В философских концепциях дружбы звучат сильные ноты утилитаризма: подчеркивается взаимность дружеских услуг, помощь в нужде, совпадение интересов. Но наряду с прославлением полезности и необходимости дружбы в классической Греции учащаются жалобы на ее неустойчивость, предупреждения против коварства и неверности друзей. Политическая дружба-товарищество не только уступала в устойчивости прежней ритуализованной дружбе, которая теперь предстает как обращенный в прошлое идеал, но и не удовлетворяла растущей потребности в интимности. Между тем в отличие от древнего воина классический грек, живущий в атмосфере постоянного соперничества, уже знает чувство одиночества, его переживания стали гораздо тоньше, вызывая потребность разделить их с кем-то другим, найти душу, родственную собственной.

Где мог он удовлетворить эту потребность? Для классического грека семейная жизнь, по выражению Энгельса, «не субъективная склонность, а объективная обязанность»<sup>2</sup>. Афинская женщина была хранительницей домашнего очага, но и только. В воспитании детей мужчины мало участвовали. Искомая психологическая близость могла быть найдена только среди равных. Отсюда — платоновский идеал высокоиндивидуализированной дружбы-любви, которая считалась школой мужества и мудрости и в которой совместное стремление к высшему благу должно было сочетаться со взаимной эмоциональной привязанностью. Акцент переносится, таким образом, с инструментальных ценностей дружбы (сотрудничество и взаимопомощь) на экспрессивные (душевная близость и эмоциональная поддержка). Но сразу же встают новые проблемы — чем отличается дружба от любви и как совместить идеальный образ дружбы с многообразием индивидуальных привязанностей? Ответ на эти вопросы дает Аристотель.

Дружба как «приобретенное качество души» в отличие от более инстинктивной, чувственной любви является, по Аристотелю, важнейшей из человеческих привязанностей. Но объекты наших привязанностей различны. Можно любить либо то, что хорошо, либо то, что приятно, либо то, что полезно. В соответствии с этим Аристотель разграничивает три вида дружбы: дружбу, в которой желают блага другому ради него самого и которая сама по себе является в силу этого добродетелью; дружбу, в которой друга любят ради доставляемого им удовольствия, ради его приятности; и, наконец, дружбу, основанную на соображениях взаимной пользы. Однако дружба, основанная на соображениях пользы или удовольствия, не может быть прочной, «ибо ею любят не человека, поскольку он имеет какие бы то ни было заслуживающие любовь качества, а поскольку одни доставляют пользу, другие — наслаждение». Истинная же дружба бескорыстна, соображения пользы, удовольствия, взаимопомощи и т. д. не имеют в ней решающего значения, потому что отношение к другу в принципе не отличается от отношения человека к самому себе. Друг — наше второе «я», поэтому нельзя «быть истинным другом большого числа людей»; «сильно любить можно лишь немногих, а дружба, воспеваемая в гимнах, связывает всегда лишь двоих»<sup>3</sup>.

Казалось бы, процесс развития завершен: Аристотель перечисляет практически все элементы современного понятия дружбы. Но нет, споры продолжаются. В классовом об-

<sup>2</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 21, стр. 79.

<sup>3</sup> Аристотель. Этика. СПб. 1908, стр. 148, 182.



шестве долг личной дружбы то и дело оказывается в противоречии с интересами общества и государства. Чему в таком случае отдать предпочтение?

Цицерон, хотя и видит в дружбе проявление «естественной склонности» человека к общению и любви, считает, что интересы личной дружбы ни в коем случае не должны противоречить интересам государства, «отечество следует предпочитать дружбе». Напротив, по мнению Диогена Лаэртца, мудрец всегда готов умереть за друга, но пальцем не шевельнет ради государства.

При всей их кажущейся универсальности, образы дружбы изменяются вместе с общественным строем и культурой. Высокоиндивидуализированная дружба поздней античности не могла служить эталоном для феодального средневековья, когда человек снова неразрывно связан с общиной, а его индивидуальность и внутренний мир не рассматриваются как абсолютные ценности.

Христианская формула «любви к ближнему» внешне напоминает аристотелевское требование «относиться к другу, как к самому себе», видеть в нем «другого себя». Но Аристотель имеет в виду взаимоотношения между двумя конкретными индивидами, окрашенные всем спектром человеческих эмоций, тогда как христианская любовь, обращенная к абстрактному «ближнему», лишена такой избирательности. Сильная эмоциональная привязанность к конкретному человеку, с точки зрения средневекового теолога, даже опасна, отвлекая его от бога. «Естественная дружба» не является, по мнению Фомы Аквинского, добродетелью, так как она основана на преходящих земных благах. Она становится добродетелью, только подчиняясь любви к богу и благочестию. «Благочестие — мать дружбы», — утверждал Бернард Клервосский.

Что это значит на практике, красноречиво рисует «Исповедь» блаженного Августина. Едва ли не самые человечные ее страницы посвящены рассказу о юношеской дружбе Августина с его соучеником по школе, товарищем детских игр. Дружба эта, покоившаяся на полном совпадении всех склонностей и чувств, была необычайно искренней и нежной. Но — божья кара за греховные заблуждения! — друг внезапно заболел и умер. С потрясающей силой описывает Августин свое горе: свет померк, жизнь стала изгнанием, собственный дом — чужим; казалось, у нас с другом была одна общая душа в двух разных телах; как же возможно, что он умер, а я живу, разве не умерла с ним вместе половина моей собственной души? Но Августин-теолог в позднейшем примечании осудил этот крик души Августина-мемуариста, не забывшего испытанной некогда боли, как «фривольную декларацию». Любить смертного человека — то же, что опираться на зыбучий песок. Единственный, кто остается с нами до конца, это бог. Поэтому и наши чувства к другим людям должны опосредоваться любовью к богу.

«Истинная дружба», в понимании христианского теолога, возможна не на земле, а только на небе. Когда позже (впервые — в северном портале Шартрского собора) в церковной скульптуре появляется аллегорическое изображение Дружбы в виде молодой, прекрасной женщины в короне и со щитом, украшенным четырьмя голубями, а в книжных миниатюрах изображаются эпизоды библейской дружбы Давида и Ионафана, это символизирует не столько земные, человеческие, сколько небесные, идеальные отношения.

Теснота общинных связей приводила к тому, что дружеские отношения большей частью совпадали с родственными или соседскими. Что же касается рыцарской дружбы, воспеваемой в средневековых поэмах и романах, то это чаще всего идеализированные отношения вассальной зависимости; как и в древней ритуализованной дружбе, индивидуально-личностное начало здесь персонифицирует общественную связь.

Новое возвращение к человеку возвестили гуманисты.

В феодальном обществе все социальные отношения были персонифицированы. Сословная принадлежность и производный от нее образ жизни казались такими же «естественными» свойствами личности, как внешность или характер. При капитализме социальное положение лица представляется чем-то внешним по отношению к его индивидуальности, «отдельный человек выступает освобожденным от естественных связей и т. д., которые в прежние исторические эпохи делали его принадлежностью определенного ограниченного человеческого конгломерата»<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 12, стр. 709.

Но из-за неоднозначности и нестабильности социальных определений личности сама человеческая индивидуальность начинает казаться случайной и проблематичной. Формула «нет незаменимых людей» точно выражает природу функционально-ролевых отношений, когда конкретный индивид только занимает определенную клеточку в безличной социальной матрице. Но применительно к личным взаимоотношениям она звучит кощунственно. Мысль, что ваши близкие могут сравнительно легко обойтись без вас, что вы принципиально заменимы, подрывает веру в уникальность собственного «я», делает его чем-то незначительным, даже ирреальным. Чем проблематичнее его социальная ситуация, тем острее потребность человека быть для кого-то единственным, незаменимым, абсолютно значимым.

Это чувство усиливается также сознанием необратимости времени. Средневековый человек не воспринимал время как нечто вещественное, тем более — имеющее цену. Из всех измерений, свойственных современному понятию времени (длительность, направленность, ритмичность и т. д.), для него важнее всего была ритмичность, повторяемость. Люди никуда особенно не спешили и не гнались за точностью. Земное время, связанное с ограниченными сроками человеческой жизни, постоянно соотносилось с вечностью божественного, сакрального времени.

Развитие капитализма колоссально ускорило ритм жизни, повысив субъективную цену времени. Это был несомненный прогресс (кстати, понятие прогресса само покоится на идее направленности времени). Но здесь также было заложено противоречие. С одной стороны, это как будто повышает степень личной свободы человека, который может овладеть временем, ускорить его своей деятельностью. Идея необратимости времени тесно связана с мотивом достижения и с принципом оценки человека по его заслугам. С другой стороны, время, мыслимое как нечто вещественное, что можно «потерять», отчуждается от индивида, навязывает ему свой ритм, заставляет его спешить, увеличивает степень его несвободы. Человек торопится не потому, что ему этого хочется, а потому, что он боится не успеть, отстать от других, «упустить время».

Это ускорение ритма жизни и новая шкала ценностей не могли не повлиять на межличностное общение. Патриархальное средневековье не знало жесткого противопоставления труда и досуга. Свободное время, точнее — непродуманная деятельность, общение, досуг, был бы так же тщательно и детально регламентированы, как и труд. Там никому не могло прийти в голову «сэкономить время» на приеме гостей или общении с соседями. Долгителное, неторопливое застолье с речами и тостами — одновременно и радость и обязанность — не шло в ущерб работе, так как круг этого общения был более или менее стабилен и все жили в одном и том же неспешном жизненном ритме.

Капитализм разорвал пути патриархальности и сословной ограниченности, но сформулированный им принцип самореализации личности был чрезвычайно узким. Его субъектом стало индивидуальное «я», для которого всякая групповая и социальная принадлежность, будь то предки, семья или община, случайна и малосущественна. Отсюда — чувство собственной силы, но одновременно — одиночества в холодном и опасном мире. Содержание же этой самореализации оказалось по преимуществу «вещественным». Хотя пуританская мораль XVII века, в которой Энгельс видел классическое выражение мироощущения подымающегося капитализма, обосновывала необходимость попечения о своих земных делах тем, что за этим стоит божественный промысел, ее реальное содержание сводилось к погоне за материальным успехом, расширению «дела», приумножению собственности. Человек становится рабом собственной деятельности; «в прямом соответствии с *ростом стоимости* мира вещей растет *обесценение* человеческого мира»<sup>5</sup>.

В системе ценностей буржуазного общества неутилитарное человеческое общение стоит ниже производительной деятельности.

Отсюда — противоречивая трактовка дружбы в философии нового времени. С одной стороны, гуманисты возродили и усилили античный культ дружбы, сделали ее символом «подинно человеческих» отношений, которые одинаково чужды сословному неравенству, великосветской чопорности и буржуазному эгоизму. С другой стороны, откровенная безличность товарно-денежных отношений, в которых человек выступает как

<sup>5</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений. М. 1956, стр. 560.

вещь, как средство достижения чьих-то чужих целей, делает разрыв между инструментальными и экспрессивными ценностями общения особенно кричащим.

Осмысливая этот конфликт и восставая против лицемерного морализования и идеализации человеческих чувств, просветители-материалисты (Бэкон, Гоббс, Гассенди, Гольбах, Гельвеций и другие) выводят дружбу из рационально-утилитарных мотивов. «Основой дружеской привязанности являются те выгоды, которые друзья рассчитывают получить друг от друга. Лишите их этих выгод — и дружба перестанет существовать, интерес к ней будет потерян», — писал Гольбах. Это не было оправданием пошлого эгоизма. Гольбах считает дружбу подлинным благом, которое следует предпочитать всем другим благам и преимуществам. Однако «бескорыстная дружба» означает не отсутствие личного интереса как такового, а то, что сам этот интерес основан «скорее на личных качествах и достоинствах человека, побуждающих нас предпочитать его другим, нежели на каких-либо внешних преимуществах»<sup>6</sup>.

Еще резче ставит вопрос Гельвеций. Всякая дружба, говорит он, порождена какой-то потребностью. Но потребности людей не одинаковы. «Одни нуждаются в удовольствиях и деньгах, другие — во влиянии; эти желают разговаривать, те — поверять свои заботы; в результате бывают друзья ради удовольствий, ради денег, ради интриг, ради ума и друзья в несчастье». И если друг нужен вам для того, чтобы терпеливо выслушивать бесконечную повесть о ваших несчастьях, разве вы менее эгоистичны, чем тот, кто хочет воспользоваться деньгами своего друга или снискать отражением его славы? «Сила дружбы измеряется не добродетелью двух друзей, а силою связывающего их интереса»<sup>7</sup>.

Каковы бы ни были мотивы просветителей, предлагаемое ими «эгоистическое» объяснение дружеских чувств было явно односторонним. Тем более что гамма эмоциональных переживаний, ассоциирующихся с дружбой, в новое время заметно обогатилась. Господствующей темой «рыцарской» дружбы была верность. У гуманистов дружба чаще всего ассоциируется с совместной радостью и весельем. Сентиментализм создает образ интимной, «нежной» дружбы, в которой разделяется не только радость, но и скорбь. В поэзии и живописи XVIII века все сильнее подчеркивается интимность, эмоциональность дружбы.

Ощущение несоответствия собственного «я» и социального положения личности резко усиливает деятельность самосознания и потребность в интимном, доверительном общении. Слова Гельвеция, что главное очарование дружбы «в удовольствии говорить о себе», — больше, чем простая ирония. Эта потребность прорывается и в сферу религиозного мирозерцания. В понимании пиетистов XVIII века, бог — не столько грозный, таинственный вседержитель, сколько объект интимных излияний одинокой, страдавшей души. Но от наделяния бога чертами интимного друга — только один шаг к обожевлению самой дружбы. Герой одной немецкой пиетистской повести начала XVIII века так сильно любит своего друга Тита, «бог и Тит так близко сошлись в его сердце, что часто ему было трудно решить, любит ли он Тита в боге или бога в Тите».

Даже сухой и необщительный Кант, назвавший идеальную дружбу «коньком сочинителей романов», признает, что «человек — существо, предназначенное для общества (хотя и необщительное), и в разном общественном состоянии он чувствует сильную потребность делиться с другими (даже без особой цели)»; поэтому сущность «моральной дружбы», по Канту, — «полное доверие между двумя людьми в раскрытии друг перед другом своих тайных мыслей и переживаний»<sup>8</sup>.

Свое ярчайшее воплощение культ интимной дружбы нашел в культуре романтизма и близких к нему течений. Начиная с «Песен дружбы» Пира и Ланге и од Клопшток, у которого, по выражению Вальтера Хорнштайна, дружба становится «нерефлексируемым выражением быющего через край чувства», тема дружбы занимает центральное место в немецкой поэзии и литературе. Если вначале (например, у Глайма) в описаниях дружбы преобладают анакреонтические мотивы группового веселья, то позже акцент делается на душевной близости, связывающей двоих.

Это были не просто литературные образы. В последней трети XVIII века один за

<sup>6</sup> П. А. Гольбах. Избранные произведения в 2-х томах. М. 1963, т. 2, стр. 50, 51.

<sup>7</sup> К. А. Гельвеций. Об уме. М. 1938, стр. 199, 204.

<sup>8</sup> И. Кант. Сочинения в 6 томах. М. 1965, т. 4, часть 2, стр. 413, 415.

другим возникают кружки молодых поэтов и художников (геттингенский «Союз роши», лейпцигский кружок Х. Ф. Геллерта, юношеский кружок Шиллера, кружок иенских романтиков и т. д.), связанных, помимо общих идейных исканий, узами личной дружбы. В рамках этой групповой дружбы складываются более тесные и глубокие «парные» отношения (братья Шлегели, братья Гримм, Brentano и Арним, Тик и Ваккенродер, Фр. Шлегель и Шлейермахер, Кернер и Уланд и другие).

Впреки мнению некоторых западногерманских авторов, романтическая дружба не была специфически «немецким» явлением. Характерно, что один из апостолов романтической дружбы в немецкой литературе Жан-Поль (Рихтер) своим личным идеалом считал дружбу английских писателей Свифта, Арбетнота и Попа. А эволюция форм дружеского общения русской литературной молодежи, бегло, но точно обрисованная Лидией Гинзбург в книге «О психологической прозе», — от понимания дружбы как «добродетели» и средства самопознания молодым Жуковским, через лицейский круг Пушкина, в котором дружеское веселье и единомыслие сочетались с определенной душевной закрытостью и соблюдением психологической дистанции, к самозабвенной дружбе 1830-х годов (кружок Станкевича), требовавшей глубочайшего самораскрытия, исповедности, самообнажения, — в точности совпадает с картиной, нарисованной немецкими исследователями на своем материале. Очевидно, здесь есть определенная общая закономерность.

В отличие от просветителей, апеллировавших к разуму, для романтиков дружба — это прежде всего страстное чувство, не знающее границ и меры. «...Что такое дружба или платоническая любовь, как не сладострастное слияние двух существ? Или созерцание себя в зеркале другой души»<sup>9</sup>, — писал молодой Фридрих Шиллер.

Чем был вызван этот взрыв чувствительности? Прежде всего за ним стоит усложнение процесса формирования человеческой личности в условиях, когда средневековая патриархальность рухнула, а новая буржуазная «свобода» уже обнаружила свои противоречия. Интимная дружба казалась юным романтикам своего рода убежищем от жестокости и холода социального мира. Не случайно этот тип дружбы чаще всего ассоциируется с юностью, когда молодой человек уже выходит из-под контроля семьи, но еще не укоренился во «внешнем» мире.

Старые философы и педагоги, считавшие дружбу добродетелью зрелой души, полагали, что человек становится способным к ней только после того, как избавится от юношеской импульсивности. Лорд Честерфилд в своих знаменитых письмах сыну (середина XVIII века) писал, что «скороспелую» и «необузданную» дружбу между юношами «скорее следовало бы назвать заговором против нравственности и приличия и наказывать за нее по суду». Наоборот, романтики, ставящие горячее, живое чувство выше трезвого, благонамеренного разума, видят в дружбе не добродетель, а непосредственное жизненное переживание, воплощением которого является не зрелый муж, а пылкий юноша.

У многих из этих юношей потребность в дружбе усугублялась напряженными отношениями с родителями — тема конфликта между отцом и сыном широко представлена в автобиографической и художественной литературе начала XIX века, — а также отсутствием общества сверстников.

«...Можно себе представить, как томно и однообразно шло для меня время в странном аббатстве родительского дома, — вспоминал Герцен. — Не было мне ни поощрений, ни рассеяний; отец мой был почти всегда мною недоволен, он баловал меня только лет до десяти; товарищей не было, учителя приходили и уходили, и я украдкой убегал, провозжая их, на двор поиграть с дворовыми мальчиками, что было строго запрещено. Остальное время я скитался по большим почернелым комнатам с закрытыми окнами днем, едва освещенными вечером, ничего не делая или читая всякую всячину»<sup>10</sup>.

Не удивительно, что эти юноши, рано познавшие одиночество, устремлялись на встречу дружбе со всей страстностью своих сердец. Их переписка полна восторгов, исповедей, интимных признаний. Но — оборотная сторона медали! — эта дружба драматична, напряженна и, несмотря на клятвы в вечной верности, часто неустойчива. «Школьная дружба была для меня с т р а с т ь ю (я был страстен во всем), но, кажется,

<sup>9</sup> Ш и л л е р. Собрание сочинений в 8 томах. М.—Л. 1950. т. 8, стр. 79.

<sup>10</sup> А. И. Герцен. Сочинения в девяти томах. М. 1956. т. 4, стр. 34.

ни разу не оказалась прочной»<sup>11</sup>, — вспоминал Байрон. В начале XIX века уже мало кто сомневается в том, что идеальная дружба «имеет своей почвой и своим временем юность» (Гегель). Но, став достоянием юности, дружба тут же зачисляется в разряд возрастных иллюзий, о которых взрослые вспоминают, в зависимости от остроты своего разочарования, кто с иронией и грустью (Гегель, Гёте, Тургенев), кто с болью и ненавистью (Белинский).

Та же двойственность существует и в историко-социологической литературе. С одной стороны, романтическая дружба возводится в ранг нормы и всеобщего образца. С другой стороны, многие западные авторы пишут об оскудении дружеских отношений в XX веке.

«Высокоиндивидуализированные дружеские отношения, распространенные в прошлом, — пишет, например, западногерманский социолог Фридрих Тенбрук, — в нынешнем столетии теряют свою силу и распространенность... В сегодняшнем мире дружба играет сравнительно небольшую роль и уж во всяком случае персонализированные дружеские отношения составляют исключение».

Почему? Во-первых, говорят о росте экстенсивности человеческого общения в ущерб его глубине и интимности вследствие ускорения общего ритма жизни и связанного с ним расширения круга общения. Во-вторых, указывают на возрастание удельного веса опосредованных, более или менее безличных и «технизированных» форм общения (массовые коммуникации) по сравнению с непосредственно личными, индивидуальными контактами. В-третьих, утверждают, что функционально-ролевое общение, «деловые отношения», основанные на принципе взаимного использования, оставляют все меньше места бескорыстным человеческим привязанностям, порождая у личности настоящий «кризис интимности».

Совершенно очевидно, что речь идет о весьма серьезных и глубоких социальных процессах. Но верно ли они интерпретируются буржуазными учеными? Неудовлетворенность действительностью может быть обусловлена не только ее собственной противоречивостью, но и нереалистичностью, утопичностью идеала, в свете которого она оценивается.

Двое влюбленных из рассказа Альберто Моравиа «Игра» пытались, объявив войну «избитым истинам», устранить из своего лексикона тривиальности и штампы. Но выяснилось, что без этих шаблонов они просто не могут общаться. Их политические суждения и оценки оказались заимствованными из газет и радио, а слова любви — из массовой литературы. Даже попытка самоубийства и та безнадежно банальна. Убедившись в этом, герои вынуждены отказаться от своей опасной игры: «Ничего не поделаешь: мы, бедняги, выросли на иллюстрированных журналах, комиксах, телевидении, радио, кино и дешевом чтive. Так давай же признаем это со всей откровенностью, смирimsя й — дело с концом!» Явная «мораль» этого рассказа состоит в том, что дешевый массовый стандарт нивелирует личность, лишая ее средств индивидуального самовыражения. Но ведь найти оригинальный способ выражения наиболее массовых (и в этом смысле — банальных) человеческих переживаний ничуть не легче, чем сделать научное или художественное открытие. Оно и есть открытие! Большинство людей всегда пользуется при этом «готовыми» формулами, привнося в них, однако, неповторимо-индивидуальные интонации. «Протест» героев Моравиа говорит не столько об их обезличенности, сколько об их гипертрофированном чувстве собственной индивидуальности, которое не удовлетворяется готовыми экспрессивными формами и мучается их неадекватностью.

Многие западные социологи подкрепляют тезис об оскудении дружбы ссылками на ускорение ритма жизни и постоянную нехватку времени. Американский публицист Олвин Тоффлер пишет в своей книге «Столкновение с будущим»: «С приближением к супериндустриализму отношения людей друг с другом приобретают все более временный, непостоянный характер. Люди, так же как вещи и места, проходят через нашу жизнь, не задерживаясь, во все убыстряющемся темпе. Чаще всего мы вступаем с окружающими нас людьми в поверхностные, деловые отношения. Сознательно или нет, мы строим наши отношения с большинством людей на функциональной основе... В сущно-

<sup>11</sup> В а й р о н. Дневники. Письма. М. 1963. стр. 271.

сти, мы распространяем принцип «использовал — выбросил» на человека». Это делает человеческие отношения все более эфемерными; по словам американского психолога К. Толла, «дальнейшее увеличение мобильности и развитие способности быстро завязывать, а затем так же быстро обрывать или низводить до уровня знакомства близкую дружбу приведут к тому, что в будущем каждый станет завязывать вместо немногих долговременных дружеских связей, как было в прошлом, множество более кратковременных дружб».

Спору нет, городская жизнь действительно очень мобильна. Член патриархальной сельской общины, численность которой даже в XVII веке не превышала 300—500 человек, всю свою жизнь проводил в обществе одних и тех же людей и занимался одним и тем же делом. Современный горожанин, вероятно, за неделю общается с большим числом людей, чем его сельский предок за год, если не за всю жизнь. Да и в собственной его жизни многое меняется. А каждая перемена местожительства, школы, работы — сколько их, таких перемен! — обрывает какие-то человеческие связи и побуждает заключать новые.

Но только ли в урбанизме и нехватке времени дело? Принцип «использовал — выбросил», который, по мнению Тоффлера, определяет взаимоотношения между людьми в современных США, это типично буржуазный принцип, а вовсе не принцип урбанизма вообще. В основе его лежит отношение к другому человеку как к вещи или средству для достижения собственных целей; то, насколько часто эти вещи заменяются, существа дела не меняет.

Морально-психологический климат общества, который определяет преобладающий в этом обществе тип межличностных отношений, сам зависит от общественного строя. Мы видели уже, что противопоставление экспрессивных ценностей человеческого общения инструментальным возникает лишь на определенном этапе исторического развития как один из симптомов отчуждения человека от своей собственной деятельности. Капиталистическая конкуренция доводит этот конфликт до крайних пределов. Социалистическое общество, основанное на принципе «человек человеку друг, товарищ и брат», напротив, создает объективные предпосылки для его преодоления. Не путем возвращения к исторически изжившим себя формам общинной жизни, основанным на слабом развитии человеческой индивидуальности. Мечта о такой общинности — не более чем реакционная утопия.

Сложная и многогранная человеческая личность не может обойтись без дифференцированного избирательно-личного общения. Реальная задача, поставленная XXIV съездом КПСС, состоит в том, чтобы «создать такую моральную атмосферу в нашем обществе, которая способствовала бы утверждению во всех звеньях общественной жизни, в труде и в быту уважительного и заботливого отношения к человеку, честности, требовательности к себе и к другим, доверия, сочетающегося со строгой ответственностью, духа настоящего товарищества»<sup>12</sup>.

Широкие товарищеские отношения не заменяют индивидуальной дружбы, но они облегчают ее формирование. Шестеро рабочих, снятых в документальном фильме «Бригада» (сценарий М. Серебренникова, режиссер Н. Боронин), получившем в прошлом году две почетные награды, вовсе не закадычные друзья. Это очень разные люди и по возрасту, и по образованию, и по кругу интересов. Их связывает в основном работа. Но вот им предлагают в интересах повышения производительности труда выполнять вчеревом работу, которую до сих пор делали шестеро. Каждый из оставшихся будет, соответственно, больше зарабатывать, а двое «лишних» перейдут в другой цех. Казалось бы, о чем думать? Но совместный труд сплотил этих людей, сделал из них коллектив, в котором нет «лишних». Поэтому предложение директора, при всей его рациональности, превращается для каждого из них в сложную моральную проблему.

Это, конечно, только частный случай. Но в нем как в капле воды просвечивает гуманная сущность социализма — каждый человек в любой ситуации может рассчитывать на помощь своих товарищей. Именно это позволяет нам говорить о дружбе не только между отдельными людьми, но и между народами нашей страны, основными классами социалистического общества, дружбе между социалистическими государствами.

<sup>12</sup> Л. И. Врежнев. Отчетный доклад ЦК КПСС XXIV съезду КПСС. М. 1971. стр. 104.

Но дружба — не только социальное, а также и психологическое явление. Каковы же психологические законы дружбы как специфической формы межличностного общения?

### АНАТОМИЯ ЧУВСТВА

*Человека влечет к человеку потребность в сопереживании.*

В. А. Сухомлинский.

Тому, кто мечтает о всеобъемлющей «научной формуле» дружбы, лучше сразу же последовать совету, который дала когда-то Руссо венецианская куртизанка: «Оставь женщин и занимайся математикой!» Но человеку с более скромными претензиями психология может кое-что дать.

Как ни индивидуальны дружеские чувства, доказано, что психологическая близость обычно возникает на основе других, более элементарных форм общности. Существенной объективной предпосылкой дружбы является, например, пространственная близость, облегчающая регулярное общение. Хотя в городской среде значение соседних отношений как таковых снижается (только пятая часть жителей крупных городов, обследованных московскими социологами Л. А. Гордоном и Э. В. Клоповым, познакомилась со своими друзьями благодаря тому, что они жили на одной улице или в одном дворе), перемена местожительства, своего или друга, остается наиболее весомой причиной ослабления или прекращения дружеских контактов. Не то чтобы буквально «с глаз долой — из сердца вон», но все-таки поддерживать дружбу на расстоянии куда как непросто.

Еще важнее — совместная деятельность и принадлежность к одному и тому же коллективу. Свыше половины друзей опрошенных социологами таганрогских рабочих — это их товарищи по работе. При всей избирательности нашей дружбы, чаще всего мы сближаемся с теми людьми, с которыми нас уже связывает значимая совместная деятельность, общие интересы и чувство групповой солидарности.

Впрочем, это не снимает сложности этого выбора, мотивы которого далеко не всегда осознанны.

Уже в античности шел спор, ищет ли человек в друге свое подобие или свое дополнение. По здравому смыслу эти предположения одинаково вероятны. Однако современные психологи заметили, что сам вопрос требует уточнения.

Во-первых, о каких именно сходствах идет речь: об общности ли социального положения, профессии, образования и других объективных признаков, или об общности ценностных ориентаций и взглядов, или о сходстве характеров, темперамента, черт личности?

Во-вторых, какова степень предполагаемого сходства: стремятся ли друзья к полному тождеству или довольствуются относительной близостью?

В-третьих, каково значение данного качества для личности? Человек, активно вовлеченный в политику, едва ли сможет дружить с политическим противником, аполитичному же это не так важно.

В-четвертых, каков объем, диапазон этих сходств; они могут ограничиваться чем-то одним, а могут охватывать целый ряд областей и качеств.

Социально-психологические исследования показывают, что в своих осознанных требованиях к друзьям люди ориентируются на сходство значительно чаще, чем на «дополнение». Подавляющее большинство предпочитает дружить с людьми своего собственного возраста, пола, социального положения, образования и т. д. Почти столь же желательны совпадение или по крайней мере близость основных ценностных ориентаций, интересов и черт характера.

Фактически все обстоит сложнее. В объективных социальных характеристиках (пол, возраст, социальное положение, образовательный уровень) однородность действительно преобладает, люди чаще дружат с представителями своего собственного «круга». Значительная, хотя и меньшая, степень сходства наблюдается в установках, убеждениях и ценностных ориентациях. Хотя здесь нет полного совпадения, друзья, как правило, придерживаются более или менее одинаковых взглядов по наиболее важным для них вопросам. Значительно меньше совпадений в личных качествах друзей, в оценке которых довольно много субъективного. Люди, которых мы предпочитаем, кажутся нам, как пра-

вило, более похожими на нас самих, чем те, кто нам не нравится. Оказывая предпочтение другому человеку, выбирая его партнером в игре, спутником по путешествию и т. п., мы невольно ожидаем, что и он, в свою очередь, выберет нас. От антипатичного человека, напротив, мы ждем «отрицательного» выбора. По данным социологических исследований, взаимности ждут по крайней мере две трети испытуемых, фактическое же число таких совпадений не превышает половины.

Разрабатывая теоретические модели дружбы, социальные психологи вынуждены учитывать целый ряд качественно разнородных факторов, включая психологический баланс общения (личный контакт будет поддерживаться только в том случае, если удовлетворение, извлекаемое его участниками, будет весомее связанных с ним трудностей), объективную частоту и легкость контактов, степень сходства личностных свойств друзей при одновременной взаимодополнительности их психологических потребностей, меру психологической интенсивности (глубины) коммуникации и т. д.

Западногерманский социолог Ганс Винольд попытался недавно свести эмпирически установленные закономерности «парных отношений» к некоторой системе «теорем». Одни из них описывают общение как процесс обмена информацией: «Чем больше и плотнее масса информации, которой обладает один индивид о другом, тем точнее будут его суждения об этом человеке»; «Чем более похожи установочные структуры двух лиц, тем меньше информации требуется им для точной взаимной оценки и тем быстрее, при равном числе контактов, они смогут правильно оценить друг друга»; «Чем чаще контактируют и чем большей информацией о себе обмениваются два человека, тем более независимы от сходства установок будут их взаимная привязанность и точность оценкой». Другие теоремы соизмеряют силу привязанности с частотой контактов: «Чем легче взаимная (пространственная и социальная) достижимость двух лиц, тем менее вероятно прекращение контакта между ними». Третья группа теорем связывает тесноту общения со свойствами самосознания: «Чем больше самооценка индивида укрепляется и повышается в результате его общения с другим, тем сильнее будет его тяготение к этому другому»; «Чем чаще два человека взаимодействуют друг с другом и чем выше их взаимная привязанность, тем согласованнее будут межличностные представления обоих» и т. д.

К сожалению, в этих формулах почти не находит отражения самый сложный аспект проблемы общения — способы передачи эмоциональной информации. Мы даже не знаем, в каких единицах можно выразить эту информацию. Между тем в дружбе эмоционально-экспрессивные ценности занимают поистине центральное место.

Чтобы проверить утверждения некоторых западных ученых (Г. Вурцбахера и других) относительно снижения эмоциональной притягательности и глубины юношеской дружбы, мы провели (совместно с В. А. Лосенковым, А. В. Мудриком и группой студентов-психологов) специальное социально-психологическое исследование, объектом которого были дружеские отношения и соответствующие ценностные ориентации более чем полутора тысяч старшеклассников и студентов.

Разумеется, сегодняшние советские юноши и девушки не изыясняются со своими друзьями возвышенным стилем юного Шиллера и не льют потоки слез при встречах и расставаниях, как герои знаменитого некогда романа Рихтера «Зибенкэз». Поскольку они с детства живут среди сверстников, им легче находить себе друзей, и сама грань между дружбой и товариществом у них, возможно, менее резка, чем у романтиков. Но это не снижает эмоциональной значимости дружбы и предъявляемых к ней требований.

В юношеских определениях дружбы (мы просили испытуемых дописать несколько неоконченных предложений типа «друг — это тот, кто...», «с другом я часто...») на первом месте стоит мотив взаимомощи и верности, а на втором — мотив внутренней близости («кто меня понимает», «кто меня любит» и т. п.), причем с возрастом значение этого второго мотива возрастает. Разграничивая дружбу и приятельские отношения, молодые люди подчеркивают опять-таки большую глубину, доверительность, интимность дружбы. Как уровень требований к дружбе, так и ее фактическая избирательность от седьмого класса к десятому заметно возрастают.

«Растворения» интимной дружбы в больших приятельских компаниях также не наблюдается. Только каждый седьмой из опрошенных ленинградских юношей-девятиклассников и одна из четырнадцати девушек сказали, что имеют четверых и более дру-



зей. Почти четверть юношей и треть девушек имеют только по одному другу. Лишь немногих из них связывает с друзьями какая-то общая предметная деятельность — любительские занятия, спорт и т. п. Для большинства дружба — исключительно коммуникативное отношение, причем молодые люди уверены, что друзья понимают их значительно лучше, чем родители, и сами они гораздо откровеннее с друзьями, чем со всеми остальными людьми.

Но что значит это «понимание»?

В любом развитом языке имеется ряд понятий, обозначающих различные оттенки душевной близости, общности, совместности переживаний и чувств — сопереживание, сочувствие, сострадание. Все эти слова описывают процесс, в ходе которого человек не просто «расшифровывает» состояние другого, но как бы эмоционально настраивается на его волну, идентифицируется с другим, становится на его точку зрения и воспроизводит его переживания в себе.

Простейшая форма эмоциональной близости — так называемое «психическое заражение», когда человек просто поддается чужому настроению: смеется, если смеются другие (даже не зная причины смеха), испытывает возбуждение, находясь в возбужденной толпе, и т. п. Общность эмоциональной реакции вызывается в этом случае внешними, ситуативными влияниями, она отнюдь не предполагает осознанной внутренней близости людей друг к другу.

Значительно сложнее и многограннее близость, вытекающая из непосредственной общности значимых переживаний. Кому не знакомо чувство разделенной радости, охватывающее людей, совместно преодолевших какие-то трудности, или чувство общей скорби у гроба близкого человека? Ощущение взаимной психологической близости здесь — уже не результат внешнего «заражения», а следствие одинаковости и совместности переживаний. Но совместность непосредственного переживания обычно скоротечна и нерелексированна, в нем еще нет взаимного соотношения чувств и мыслей, на основе которого возникает чувство полного душевного слияния с другим, о каком Монтень писал, имея в виду свою дружбу с Ла Бозси: «...В нас не осталось ничего, что было бы достойным только одного или только другого, ничего, что было бы только его или только моим»<sup>13</sup>.

Это ощущение тотального слияния очень часто обманчиво, и за ним скрываются противоположно направленные стремления. С одной стороны, личность стремится как бы ассимилировать другого, растворить его в собственном «я», бессознательно уподобляет другого себе, наделяя его своими собственными свойствами или же свойствами, в которых она нуждается. С другой стороны, потребность в психологической близости порождает желание без остатка раствориться в другом «я», стать двойником, тенью или частью другого. Это единство противоположностей (причем у разных индивидов преобладает та или другая его сторона) раньше всего было осознано в философии любви, «истинную сущность» которой Гегель усматривал «в том, чтобы отказаться от сознания самого себя, забыть себя в другом я и, однако, в этом же исчезновении и забвении впервые обрести самого себя и обладать самим собою»<sup>14</sup>.

Но одно дело — любовный экстаз, другое дело — длительная дружба. Подлинное сопереживание, симпатия, отличается от иллюзорных проекций и идентификаций, игнорирующих особенности личности другого, именно тем, что в основе его лежит не простое эмоциональное самоотождествление с другим, а способность стать на его место, принять на себя роль другого, разделить его чувства и переживания, не утрачивая при этом ощущения индивидуальности каждого и связанной с этим психологической дистанции. Именно это ощущение близости, но нетождественности переживаний (*alter ego* — это другое, а не просто второе «я») делает дружеское общение столь желанным и ценным.

Каковы же истоки этой потребности? Вопрос этот чрезвычайно сложен. По теории Фрейда, единственной реальной основой всех наших эмоциональных привязанностей, включая и такие «несексуальные» чувства, как любовь к самому себе, родительская и сыновья любовь, дружба и даже увлечение вещами и идеями, является половое влечение, либидо. Только в одних случаях оно прямо идет к своей конечной цели, половой близости, а в других — «отвлекается» от нее или не может ее достичь. Однако

<sup>13</sup> М. Монтень. Опыты. Книга I. М.—Л. 1954, стр. 244.

<sup>14</sup> Гегель. Сочинения. М. 1940, т. XIII, стр. 107.

именно жажда близости и самопожертвования позволяет распознать подлинную природу всех этих чувств.

Какие факты говорят в пользу этой точки зрения? Фрейд уловил единство аффективной жизни человека, одним из важнейших элементов которой является сексуальность.

Идеалы глубокой дружбы и романтической любви не случайно исторически развивались параллельно и взаимосвязанно. Эта взаимосвязь наблюдается и в становлении аффективного мира отдельной личности. Доказано, например, что подавленность, бедность эмоциональных реакций человека ограничивает глубину, интимность его общения с другими людьми и в сексуальной сфере и вне ее, что высокая степень невротизма делает неустойчивыми все виды личных привязанностей, и т. д. Достоверно установлена зависимость между отношением личности к самой себе и ее отношением к другим людям. Человек с более устойчивым образом «я» и более высоким самоуважением имеет больше шансов на глубокую и устойчивую дружбу, чем тот, кто «не принимает» самого себя. Недавние экспериментальные исследования (Дейли, Ваврик и Джурич) показали, что эта зависимость распространяется и на любовные отношения: мужчина с низким самоуважением (это нередко не осознается) гораздо чаще воспринимает женщину стереотипно, только как сексуальный объект, чем мужчина с высоким самоуважением.

Но констатация взаимозависимости — это еще не установление причинной связи. Исходя из примата либидо, Фрейд объявил все неполные привязанности иллюзорными, а их развитие у личности поставил в обратную зависимость к развитию собственно полового чувства: чем свободнее выражается половой инстинкт, тем меньше у человека нужда в других привязанностях, которые суть лишь «превращенные формы», «сублимации» или «отклонения» того же самого либидо. Эта точка зрения крайне односторонняя. Если верно, что психосексуальные трудности личности влияют на ее взаимоотношения с другими людьми, то верно и обратное: общие коммуникативные свойства (например, застенчивость или уверенность в себе), складывающиеся под влиянием общения с родителями, сверстниками и т. д., в значительной мере предопределяют характер любовных увлечений личности.

Четко разграничить любовные и дружеские переживания не всегда легко, особенно в ранней юности. Еще Герцен обращал внимание на психологическое сходство юношеской дружбы с первой любовью: «Я не знаю, почему дают какой-то монополю воспоминаниям первой любви над воспоминаниями молодой дружбы. Первая любовь потому так благоуханна, что она забывает различие полов, что она — страстная дружба. С своей стороны, дружба между юношами имеет всю горячность любви и весь ее характер: та же застенчивая боязнь касаться словом своих чувств, то же недоверие к себе, безусловная преданность, та же мучительная тоска разлуки и то же ревнивое желание исключительности»<sup>15</sup>.

Однако из этого не вытекает принципиальной тождественности этих чувств. Глубокая задушевная дружба прекрасно сочетается у подростков и юношей с любовными увлечениями, обсуждение которых даже составляет одну из главных тем дружеского общения в этом возрасте. К тому же разные виды привязанностей имеют неодинаковое значение для разных людей или на разных этапах жизни одного и того же человека.

Еще важнее соображения более общего, так сказать, «биологэволюционного» порядка. Если бы теория Фрейда относительно «сексуального» происхождения всех аффективных привязанностей была верна, она должна быть применима и к животным. И поскольку животным нет необходимости «подавлять» или «сублимировать» свои инстинкты, их аффективные привязанности друг к другу были бы открыто сексуальными (по крайней мере, в определенные периоды). Но хотя зоопсихологи засвидетельствовали множество случаев прочной и высокоэмоциональной индивидуальной привязанности между животными, иногда даже разных видов, эта «дружба» лишена сексуальной подоплеки. «Альтруизм» и тяготение к эмоциональной близости с другим живым существом представляют собой, по-видимому, не «расширение» или «отклонение» полового инстинкта, а выражение другой, не менее глубокой самостоятельной инстинктивной потребности. Недаром в любой классификации «базовых» потребностей или влечений находится место для потребности в «эмоциональном контакте», «принадлежности»

<sup>15</sup> А. И. Герцен. Сочинения, т. 4, стр. 82.

и «любви», «аффилиации» и т. п. Эта потребность, унаследованная человеком от его животных предков, и составляет, вероятно, инстинктивно-биологический фундамент его общительности, которая, однако, развивается у ребенка не «изнутри», а в процессе и под влиянием его реального общения с окружающими людьми.

Поэтому, хотя половое влечение и влияет на характер прочих человеческих привязанностей, оно не является их единственной аффективной основой, и даже его собственные конкретные проявления формируются под влиянием социальных условий и межличностных отношений. И, следовательно, прав был А. С. Макаренко, когда он писал, что человеческая любовь «не может быть выращена просто из недр простого зоологического полового влечения. Силы «любвовой» любви могут быть найдены только в опыте неполковой человеческой симпатии. Молодой человек никогда не будет любить свою невесту и жену, если он не любил своих родителей, товарищей, друзей. И чем шире область этой неполковой любви, тем благороднее будет и любовь половая»<sup>16</sup>.

Хотя дружба, как видно уже из этимологии этого слова, близка, с одной стороны, к товариществу, а с другой — к любви, она имеет свои собственные психологические функции, зависящие от возраста и типа личности.

По справедливому замечанию В. А. Сухомлинского, «потребность в человеке рождается с желанием найти для себя в другом человеке источник радости, отдавая что-то свое». Эта потребность и сопутствующая ей способность к сопереживанию формируется у ребенка далеко не сразу и предполагает длительное воспитание. Для младших детей главным источником информации и эмоционального тепла являются взрослые, прежде всего родители. Для дошкольников и младшего школьника друзья-сверстники — это главным образом товарищи по играм и учебе. Многие дети не разграничивают понятий «друг» и «товарищ». Ограниченность жизненного опыта ребенка и сравнительная недифференцированность его самосознания лимитирует и его способность к пониманию другого.

Потребность в alter ego, интерес к внутреннему миру, своему и чужому, появляется только у подростков. Т. В. Драгунова, давая детям прочитать «Детство» и «Отрочество» Л. Н. Толстого, просила отмечать на полях места, которые произвели на них наибольшее впечатление. Затем эти ремарки обсуждались, причем учитывалось, дочитана ли книга до конца, что запомнилось из прочитанного, на что обратили особое внимание, что выпустили при чтении. Одиннадцатилетние дети, как правило, вообще не замечали и не запоминали мест в повести Толстого, в которых раскрывается отношение Николеньки к самому себе. Завязать с ними беседу об отношении Николеньки к себе было невозможно — они либо плохо понимали, о чем идет речь, либо начинали скучать. У двенадцатилетних картина меняется. Внутренний мир Николеньки, его нравственные качества становятся предметом живого обсуждения. Подростки фиксируют уже не только внешние контуры поступков, но пытаются отыскать их мотивы, становятся судьями Николеньки и сами, без наводящих вопросов, начинают сопоставлять его поведение со своим собственным.

Бурный и трудный рост самосознания пробуждает у подростков и юношей жажду не просто общения, но глубокой душевной дружбы. К этому времени подросток имеет уже богатый опыт личного общения и эмоциональных привязанностей. Но детское товарищество недостаточно устойчиво и рефлексировано, а любовь ребенка к родителям всегда содержит момент зависимости. Подросток при всем желании не может в полной мере поставить себя на место родителей хотя бы в силу возрастной разницы. Между тем, как тонко заметил Сент-Экзюпери, «приручить» кого-то значит не только прочувствовать единственность и неповторимость другого, но и принять на себя ответственность за него. Именно это и происходит в юношеской дружбе, которая в известном смысле предвосхищает и во многом предопределяет характер всех позднейших привязанностей личности.

Однако конкретный тип дружбы зависит не только и не столько от возраста как такового, сколько от индивидуальных особенностей человека.

Главная трудность для построения дифференциально-психологической теории дружбы, теории, которая могла бы объяснить ее индивидуальные различия, состоит в

<sup>16</sup> А. Макаренко. Книга для родителей. М. 1950, стр. 264.

том, что важнейшие качества, от которых зависит дружба,— степень общительности, легкость, с которой человек завязывает контакты с окружающими, степень устойчивости этих контактов и привязанностей и, наконец, степень их глубины, интимности,— невыводимы одно из другого. Например, молодые шизофреники в начальной стадии болезни практически не отличаются от здоровых людей того же возраста по уровню общительности, однако общение шизофреников лишено интимности, они чаще выражают неудовлетворенность дружбой, испытывают чувство одиночества и т. д. (Д. Крейзман).

Поэтому экспериментальная психология пока что ограничивается частными сопоставлениями. Так, сопоставление дружеских отношений личности и ее характерологических особенностей выявило, что степень интимности дружбы во многом зависит от таких черт, как импульсивность (Д. Кипнис). Импульсивные люди сообщают друзьям более интимную информацию о себе и вообще интенсивнее общаются с ними. А смелое самораскрытие в большинстве случаев вызывает ответную откровенность (это не просто житейское наблюдение, а вывод экспериментального исследования В. Савицкого).

Важный фактор психологии общения — уверенность в себе и самоуважение. У людей с пониженным самоуважением мнения о собственном «я» обычно менее устойчивы, они чаще пытаются «закрыться» от окружающих, представляя им какое-то ложное лицо или маску. Это, в свою очередь, усиливает внутреннюю напряженность, тревожность, склонность к психической изоляции. Чем ниже уровень самоуважения человека, тем более вероятно, что он страдает от одиночества. В большой группе молодежи, обследованной американским психологом М. Розенбергом, только треть юношей с низким самоуважением сказали, что они не одиноки. Среди юношей с высоким самоуважением не страдает от одиночества только один человек из двенадцати. Люди с высоким самоуважением и устойчивым образом собственного «я» склонны более положительно воспринимать и оценивать других, чем те, кто чувствует себя в чем-то неполноценным. Это облегчает им не только дружеское общение, но и ухаживание, вступление в брак (Р. Клемер).

Наиболее общей психологической детерминантой общительности является, по-видимому, присущая индивиду степень интро- или экстраверсии. «Интроверт» значит буквально «обращенный внутрь», а «экстраверт» — «обращенный вовне». Интровертивный тип личности обычно характеризуется как более мягкий, замкнутый, субъективный, а экстравертивный — как более жесткий, общительный, деловой. По некоторым данным, эти различия обусловлены генетически, хотя, конечно, нельзя отрицать влияния среды и воспитания. Экстраверты имеют, в общем, более широкий круг общения и легче сходятся с людьми. Интроверты же тяготеют к более замкнутым, интимным формам общения, приближающимся к романтическому образцу.

Эти представления отражаются и в обыденном сознании. В одном психологическом эксперименте группе студентов предложили охарактеризовать человека, который им больше нравится, с которым им было бы приятно провести вечер или которого они выбрали бы своим вожаком. Во всех этих случаях явное предпочтение было отдано экстравертивному типу (так отвечали даже интроверты). Но когда речь зашла о выборе «надежного друга», положение изменилось: интроверты решительно предпочли интроверта же, а мнения студентов-экстравертов разделились.

Насколько можно судить по дошедшим до нас биографическим данным, переписке, интимным дневникам и тому подобным источникам, художники и философы, особенно горячо защищавшие идеал глубокой, высокоиндивидуализированной дружбы, в большинстве случаев сами принадлежали к интровертивному типу личности. Кажется весьма вероятным, что, хотя разные исторические эпохи выдвигают в качестве идеала разные типы дружбы, за противопоставлением сравнительно экстенсивных групповых отношений более интимной и исключительной парной дружбе стоят фундаментальные и неустрашимые психологические различия двух типов личности. Это делает спор о том, какой тип дружбы «истинный», психологически бессмысленным.

Однако большинство людей принадлежит, естественно, не к «чистым», а к «смешанным» типам личности. Кроме того, сами понятия интро- и экстраверсии очень многозначны и многомерны, что сильно затрудняет «измерение» этих качеств.

То, что личность испытывает потребность в дружбе определенного типа, вовсе не означает, что она на самом деле способна поддерживать такие отношения. Непреодолимое, страстное желание самораскрытия и слияния с другом («У меня всегда была потребность выговаривания и бешенство на эту потребность»<sup>17</sup>, — писал Белинский) нередко обусловлено именно внутренней скованностью личности, затрудняющей ей эмоциональные контакты. Человек рвется к тому, к чему он менее всего способен.

«Как могло случиться, что, имея душу от природы чувствительную, для которой жить — значило любить, я не мог... найти себе друга, всецело мне преданного, настоящего друга, — я, который чувствовал себя до такой степени созданным для дружбы», — спрашивал себя Руссо. Но уже сама повышенная эмоциональность всех привязанностей философа, истоки которой ясны каждому, прочитавшему «Исповедь», делала их напряженными и хрупкими. Как бы хорошо ни относились к нему окружающие — а у Руссо было много искренних доброжелателей, — отношения с ними для него — только суррогаты воображаемой «подлинной» близости. «Не имея возможности насладиться во всей полноте необходимым тесным душевным общением, я искал ему замены, которая, не заполняя пустоту, позволила бы мне меньше ее чувствовать. За неимением друга, который был бы всецело моим другом, я нуждался в друзьях, чья порывистость преодолела бы мою инертность»<sup>18</sup>. Неудовлетворенные желания создают напряженность, подозрительность, частые ссоры. Руссо всегда и везде чувствует себя одиноким. Гипертрофия экспрессивной потребности при невозможности ее удовлетворения оборачивается «некоммуникабельностью».

Повышенная чувствительность, внутренняя напряженность, ранимость, склонность к уходу в себя и другие свойства «романтической личности» дают основания некоторым исследователям рассматривать «романтический синдром» как простое проявление невротизма. Но качества, затрудняющие социально-психологическую адаптацию личности, нередко стимулируют ее к каким-то другим формам самореализации, например к художественному творчеству. Человеческая культура многим обязана «неудачникам». Это факт, что Руссо, который отдавал собственных детей в воспитательный дом и даже не знал их местонахождения (хоть и жалел об этом), своим трактатом о воспитании перевернул всю педагогику XVIII столетия, а толстый, некрасивый, терявшийся в обществе женщин Стендаль создал глубокую, не утратившую своего обаяния и сегодня философию любви.

Кроме того, нельзя делать общих выводов только из анализа «крайних» случаев. Когда в последние годы психологи занялись эмпирической проверкой теории, согласно которой «романтическая любовь» связана с эмоциональной неуравновешенностью личности, они не нашли для нее никакого подтверждения. И в самом деле, странно относить на долю невротизма все самые яркие и глубокие человеческие переживания.

Гораздо серьезнее вопрос о том, как губительно влияет на человеческое общение «овеществление» личности, сведение ее мотивационного ядра к инструментально-деловым соображениям.

Блестящее художественное воплощение этого социально-психологического типа — герой романа французского писателя Поля Виалара «И умереть некогда» Жильбер Ребель. Преуспевающий американский делец французского происхождения Ребель летит через Париж в Лион для заключения очередного выгодного контракта. В аэропорту Орли он получает две телеграммы. В одной из них жена извещает Ребеля, что уходит от него, так как не может больше выносить вечно спешащего, занятого мужа, для которого дела важнее любви. Другая телеграмма — сообщение, что деловая встреча в Лионе откладывается. В последний момент отказавшись от полета, Ребель уступает свой билет случайному попутчику, и на глазах у него самолет, на котором он должен был лететь, взрывается. Почти в шоковом состоянии Ребель приезжает в Париж, останавливается в маленьком отеле, где жил когда-то в юности. Впервые за много лет ему некуда спешить, и жизнь снова обретает почти забытые краски. Ребель наслаждается вкусом пищи, замечает красоту природы, его начинают интересовать люди, в которых накануне он увидел бы только средства для достижения своих целей. И когда вечерняя газета сообщает о гибели при авиационной катастрофе миллионера Ребеля, Жильбер решает не воскре-

<sup>17</sup> В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений. М. 1956, т. XI, стр. 243.

<sup>18</sup> Ж.-Ж. Руссо. Избранные сочинения в 3-х томах. М. 1961, т. 3, стр. 362, 371.

сать, а начать новую жизнь под именем Гюстава Рабо. В самом деле, зачем ему все эти дела, деньги, успех, если они не позволяют ему наслаждаться простейшими благами жизни? Он едет на Лазурный берег, встречается с очаровательной девушкой, которой, как и ему, не нужны никакие материальные блага... Кажется, начинается идиллия. Но, увы, на жизнь нужны деньги. Сначала Ребель-Рабо начинает трудиться, только чтобы просуществовать. Но его деловая хватка сильнее его самого — его снова неудержимо тянет вверх. Ни просьбы жены, ни прошлый опыт не могут остановить его. Он сколачивает новое состояние и... гибнет в авиационной катастрофе, не успев даже осознать бессмысленность своей жизни.

Ребель — делец, непосредственная цель его стремлений — деньги. Но им движет не вульгарная алчность, а жажда достижения успеха, подтверждения собственной силы. Его можно представить себе человеком любой другой профессии, для которого дело важнее всего остального. Беда совсем не в том, что у него «разум» сильнее «чувства». Ребель — человек сильных эмоций. Просто удовлетворение, которое он получает от своих деловых предприятий, сильнее его привязанности к жене и кому бы то ни было другому. Он может порой страдать от этого, но стать иным не в состоянии. Счастье неутилитарного, дружеского общения ему недоступно.

Американские психологи Аткинсон, Мак-Клелланд и другие детально исследовали этот тип личности, у которой потребность в достижении подавляет все остальное, и прежде всего — способность к неутилитарному человеческому общению. Связь этого синдрома с законами капиталистического общества совершенно очевидна, недаром ярчайшие проявления его обнаружены у американских бизнесменов<sup>19</sup>.

Но синдром этот — не только социальный, а и психологический, характерные для него установки и личностные особенности (в частности, обостренное чувство скорости времени) могут проявляться и в иной сфере. Сама по себе, безотносительно к ее буржуазно-индивидуалистической направленности, потребность в достижении не содержит в себе ничего плохого. Мало того, человек, у которого она вовсе не развита, выглядит социально неполноценным. Герой фильма О. Иоселиани «Жил певчий дрозд» молодой музыкант Гия мил и обаятелен, у него масса друзей и знакомых, все они любят его, и самому ему с ними приятно. Но у него нет определенной жизненной цели. Ни к чему не стремясь сам, он не может быть обязательным и по отношению к другим — опаздывает на работу, забывает данные обещания. Если Ребеля время как бы подстегивает, то мимо Гии оно просто плывет, оставляя лишь смутное ощущение потери и неудовлетворенности.

Социалистический строй стремится к всестороннему развитию личности. Но гармоническое сочетание деятельного самоутверждения в труде на благо общества и разностороннего человеческого общения немислимо без эмоциональной чуткости к людям, а это далеко не простое дело.

Недавно «Литературная газета» напечатала письмо женщины, муж которой, молодой инженер-конструктор, увлеченный своим делом и понукаемый властным директором, «доработался» до инфаркта и все-таки не хочет бросать свое КБ потому, что директор «давит» на своих подчиненных не административным окриком, а постановкой перед ними интересных задач, которые необходимо решать в жесткие сроки. Он выжимает из них все соки, зато работа дает им широчайшие возможности самоутверждения и роста.

Можно ли так делать? Нет, отвечает психолог В. Зинченко, никакая производственная необходимость не оправдывает работы на износ, тем более что имеются более рациональные способы достижения цели. Но разве можно сделать в науке, да и в

<sup>19</sup> Когда такому обследованию были подвергнуты не американцы, а японцы, оказалось, что сильная потребность в достижении сочетается у них с не менее развитой потребностью в «аффилиации», чувстве принадлежности к какой-то человеческой группе; между ними нет антагонизма. Ученые объясняют это тем, что в Японии сохраняется прежняя структура семьи, культ домашнего очага, а также неиндивидуалистическим характером традиционной психологии японцев. Юного американца учат, что он должен обязательно опередить всех, юного японца — что он должен не отставать от других. «Человек в Японии постоянно чувствует себя частью какой-то группы — то ли семьи, то ли общины, то ли фирмы. Он приучен подчиняться мнению этой группы и вести себя соответственно своему положению в ней» (В. Овчинников. Ветка сакуры. М. 1971. стр. 68).

любой другой отрасли творческого труда, что-либо значительное без максимального, нечеловеческого напряжения всех своих физических и духовных сил?— возражает ему известный ученый-атомник В. Емельянов. «Пожалуй, одно из самых замечательных свойств таких натур, как И. Ф. Тевосян, Б. А. Ванников, А. П. Завенягин, И. В. Курчатов, и многих других руководителей, с кем мне приходилось работать, заключалось в том, что все они не только сами «выжимали из себя все соки», но умели держать в большом творческом напряжении коллектив». Да, это дорого обходилось и им самим и их близким. По признанию Емельянова, «многие жены в этих семьях заслужили имя страдалиц». Но подвигов без жертв не бывает.

За спором о стиле руководства явно прослеживается столкновение разных типов личности. Одержимость, к которой призывает Емельянов, это не что иное, как потребность в достижении. Но по своему моральному содержанию и социальной направленности эта потребность коренным образом отличается от устремлений Ребеля. Прежде всего, она не эгоистична, в ней самой заложена забота о людях, о человечестве. А отсюда — и иное отношение к сотрудникам. Как пишет В. Емельянов, «Курчатов мог работать больным, не прекращая и в постели научной деятельности и руководства. Но он никогда не смог бы дать задание больному сотруднику, надломленному тяжелой работой...».

Но вернемся к нашей непосредственной теме. Как сказывается на дружеских чувствах и отношениях переход от юности к зрелости? Многие авторы оценивают его довольно пессимистически. Взрослый человек, пишут американские психологи Э. Дауван и Д. Адельсон, утрачивает юношескую открытость, эмоциональную чуткость, поэтому дружба между взрослыми — часто лишь «совместное бегство от скуки, пакт против одиночества, с оговоркой против интимности». Что стоит за подобными утверждениями, кроме возрастной ностальгии (впрочем, вполне естественной)?

Вопреки обыденным представлениям, что «разум» всегда подавляет «чувства», зоопсихологи считают, что как в фило-, так и в онтогенезе эмотивность (эмоциональная возбудимость, чувствительность) и интеллект развиваются не в антагонизме, а в связи друг с другом. С повышением уровня организации организма расширяется круг явлений, способных вызывать эмоциональное беспокойство, многообразнее становятся способы проявления эмоций, удлиняется продолжительность эмоциональных реакций, вызываемых кратковременным раздражением, и т. д. Это верно и в отношении человека. Эмоциональный мир взрослого сложнее и дифференцированнее, чем детский, взрослый точнее воспринимает и расшифровывает чужие переживания и т. д.

Но именно потому, что его мир сложнее, взрослый человек нуждается в защите против эмоциональных перегрузок. Если бы взрослый с его сложными, дифференцированными чувствами и широкой сферой значимых отношений реагировал на все раздражители столь же непосредственно, как ребенок, он неминуемо погиб бы от перевозбуждения и эмоциональной неустойчивости. Его спасают два вида психологической «защиты».

Во-первых, у него развиваются сложные психофизиологические механизмы внутреннего торможения, сознательного и бессознательного самоконтроля. Во-вторых, обществу облегчает индивиду эмоциональные реакции, «задавая» более или менее единообразные правила поведения и «стандартизируя» многие типичные ситуации (гипотеза Хебба и Томпсона). Частое повторение и самой драматичной ситуации, делая ее привычной, снижает ее эмоциональное воздействие. Однако, становясь старше, человек не только приобретает, но и теряет. Общеизвестно, что восприимчивость, способность усваивать новую информацию, все равно — интеллектуальную или эмоциональную, у взрослого гораздо ниже, чем у ребенка. Как костяк, становясь прочнее, одновременно утрачивает свойственную ему на ранних стадиях развития организма гибкость, так и стандартизация эмоциональных реакций, чем бы она ни объяснялась, постепенно приглушает их живость и непосредственность. Сент-Экзюпери не случайно воплотил идею сопереживания и чуткости не во взрослом, а в образе «маленького принца».

Это сказывается и на человеческом общении. Хотя потребность в эмоциональном контакте у взрослого не ниже юношеской, способы ее удовлетворения меняются.

Три обстоятельства особенно важны для понимания психологических отличий «взрослой» дружбы от юношеской: относительное завершение формирования самосоз-

нения, обогащение и расширение сферы деятельности и, наконец, появление новых интимных привязанностей.

Образ собственного «я», который у юноши еще только формируется, у взрослого человека уже имеет определенную устойчивую структуру. Жизненный опыт позволяет ему более реалистично оценивать себя, свои достижения и возможности. Его сознание более предметно, менее эгоцентрично, нежели юношеское. С уменьшением потребности в психологическом «зеркале» функция самопознания, столь важная в юношеской дружбе, отходит на задний план и дружба в значительной мере теряет свою «исповедность». Это придает дружбе взрослых привкус большей практичности, заземленности.

В ранней юности от друга ждут и требуют близости почти во всем. Отчасти в этом проявляется типичная для юности идеализация друга и дружбы, отчасти же это связано с вполне реальными обстоятельствами: устремленные в будущее юноши делают друг с другом главным образом своими мечтами и жизненными планами; чем туманнее эти образы будущего, тем легче найти того, кто полностью их разделяет. Взрослый человек в гораздо большей степени живет своей реальной, практической жизнедеятельностью. Чем сложнее и многограннее человек, тем труднее найти другого, который был бы ему созвучен во всех отношениях. Мечта об alter ego бледнеет, и чаще с одним из друзей нас связывают общие интеллектуальные интересы, с другим — воспоминания молодости, с третьим — эстетические переживания.

Дружба и у взрослых остается исключительно важным и прежде всего — эмоционально-экспрессивным отношением. У юношей-старшеклассников мотив психологической близости с другом («понимание»), хотя и усиливается с возрастом, все-таки уступает мотиву взаимопомощи и верности. У студентов он выходит на первое место. Опрошенные Л. Гордоном и Э. Клоповым рабочие и служащие-специалисты независимо от своего возраста и образования больше всего ценят в своих друзьях «душевные качества» — искренность, честность, отзывчивость, простоту. Однако эта дружба качественно отличается от юношеской. Юношеская дружба зарождается, когда у человека нет еще ни собственной семьи, ни профессии, ни любимой. Ее единственный «соперник» — любовь к родителям, но эти чувства лежат в разных плоскостях и к тому же отношения с родителями в ранней юности, как правило, осложняются. С появлением новых «взрослых» привязанностей, прежде всего любви, дружба неизбежно утрачивает это привилегированное положение. В отличие от юношеской дружбы, стремящейся к исключительности, взрослая дружба часто совмещается с другими социальными ролями, например семейными.

Бессмысленно спорить о сравнительных достоинствах взрослой и юношеской дружбы. Не только каждому возрасту свое, но и сами возрастные переживания варьируются у разных людей. В зрелом возрасте труднее завязываются глубокие человеческие контакты и понятия «близкий друг» и «старый друг» все чаще сливаются в одно. Но старая дружба порой настолько обрастает скорлупой привычной обыденности, что не о чем становится говорить, и вино-гастрономический ритуал приема гостей, призванный облегчать человеческое общение, по существу, занимает его место. Безоглядная искренность, прорыв в какие-то глубинные сферы бытия, в котором нуждается человек, иногда легче рождается при встрече с посторонним, со случайным дорожным спутником, который ничего о нас не знает.

И все-таки зрелая дружба, проверенная временем и закаленная в жизненных бурях (недаром для людей, прошедших войну, так важна фронтовая дружба), имеет ни с чем не сравнимую ценность. Пусть мы подолгу не видимся со старыми друзьями, а встречаясь — говорим о пустяках. Душевное просветление и очищение в откровенной дружеской беседе не может быть частым или расписанным заранее, подобно телевизионной программе. Само сознание того, что такое общение возможно, мысль о том, что мы бы сказали друг, служит нам поддержкой и опорой. И когда кто-то из наших друзей уходит, вместе с ним безвозвратно уходит частица нашей собственной жизни. Но человек, проживший хорошую жизнь, не уходит полностью. Он продолжает жить в своих делах, в сердцах и памяти своих друзей.





---

---

# ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

А. И. МИКОЯН

★

## НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ \*

Семьдесят лет назад родилась великая ленинская партия. Всемирно-историческое значение II съезда РСДРП, говорится в постановлении Центрального Комитета КПСС, «состоит в том, что на этом съезде завершился процесс объединения революционных марксистских организаций и была образована партия рабочего класса России на идейно-политических и организационных принципах, которые были разработаны В. И. Лениным. Возникла пролетарская партия нового типа, партия большевиков...».

Кажется невероятным, что столь малый отрезок времени вобрал в себя события такого масштаба, равных которым не знала вся история человечества.

За эти семьдесят лет партия, насчитывавшая при своем рождении сравнительно небольшое число революционеров-подпольщиков, превратилась в мощную, почти пятнадцатимиллионную армию коммунистов. Под ее руководством открылась новая эра, изменившая ход мирового развития, эра перехода от капитализма к социализму и коммунизму. Возникшие в разных точках земного шара вслед за Октябрем и под его могучим воздействием народно-демократические, социалистические революции принесли крах колониальной системе империализма.

Партия вела и ведет неустанную непримиримую борьбу с буржуазной и мелкобуржуазной идеологией, с ревизионизмом, троцкизмом, правым и «левым» оппортунизмом, социал-шовинизмом и национал-уклонистами, со всеми противниками революционных принципов марксизма.

Все, что свершилось в жизни нашей страны в послеоктябрьский период, за пятидесятилетие, минувшее со дня образования Союза Советских Социалистических Республик, связано с партией, освещено ее идеями, осуществлено под ее руководством. Главный итог борьбы — построение развитого социалистического общества, возникновение новой исторической общности людей — советского народа, нерушимое братство более ста наций и народностей, спаянных общими интересами и целями, единой марксистско-ленинской идеологией.

Успехи пятилеток, принесшие нашей стране невиданные по глубине, размаху и темпам социалистические преобразования; победа советского народа, одержанная им в Великой Отечественной войне над фашизмом; послевоенный трудовой подвиг людей нашей отчизны... Все это и есть живая история Коммунистической партии Советского Союза, творимая всем народом и каждым участником социалистического строительства. История, любой этап которой оказывает мощное идейно-нравственное воздействие на формирование человека нашего времени.

Положение о высоком звании члена партии, выдвинутое Владимиром Ильичем Лениным на II съезде РСДРП, звучит в наши дни с особой силой. Задача партии, указывал Ленин, заключается в том, чтобы «оберегать твердость, выдержанность, чистоту нашей партии. Мы должны стараться поднять звание и значение члена партии выше, выше и выше...».

Утверждению этих принципов служит вся жизнь Ленина, создателя первого государства рабочих и крестьян, вождя мирового пролетариата. Дороги, истинно бесценны строки летописи, посвященной жизненному подвигу гениального мыслителя, самого человеческого человека на земле. Огромно значение для коммунистического воспитания молодежи воспоминаний соратников Владимира Ильича, их правдивое повествование о нелегких годах подполья, борьбы, требовавшей мужества, полной самоотдачи революции, принципиальности и подлинного гуманизма.

Наша литература богата мемуарами такого рода. Пять томов воспоминаний о Ленине, выпущенных к столетию со дня рождения Ильича, дополняются все новыми и новыми свидетельствами.

За последние десятилетия все больше стало появляться и воспоминаний бывалых людей — участников первых пятилеток, видных политических и военных деятелей, литераторов, ученых, прославленных покорителей Севера...

---

\* Продолжение. Начало см. «Новый мир», 1972, №№ 9, 10, 11.

Рассказывая о событиях государственной жизни, хозяйственного и культурного строительства, проследивая шаг за шагом героические будни страны, авторы мемуаров как бы продолжают повествование, начатое старой гвардией большевиков, внося в него новые главы — о пути, пройденном без Ленина по ленинскому пути.

Огромный интерес вызывают у читателя мемуары, в которых синтезировано и личное и общественное, в неразрывном единстве предстает жизнь человека и жизнь страны.

К мемуарам, увидевшим свет на страницах «Нового мира» и вызвавшим горячий отклик читателей, следует отнести и воспоминания А. И. Микояна. В предисловии к своей первой книге «Дорогой борьбы» автор пишет: «Долгие годы я работал с выдающимися деятелями нашей партии и государства. И конечно, величайшим счастьем своей жизни я считаю личные встречи с Лениным, то время, когда мне довелось работать под его руководством...»

В минувшем году в нашем журнале были опубликованы главы из второй книги воспоминаний А. И. Микояна, относящиеся к периоду его работы в Нижнем Новгороде. С этого номера мы продолжим публикацию его мемуаров.

### ЗНАКОМСТВО С КРАЕМ

**К**ак и два года назад, когда в такое же летнее время направлялся я в незнакомый мне Нижний Новгород, так и теперь, по дороге в Ростов-на-Дону, о многом думалось...

Вспоминается приезд в Нижний и начало моей там работы. Сложно, нелегко, особенно в первое время, и все же приятно воскресить в памяти встречи и знакомство с нижегородцами, горячие дни напряженной работы и борьбы, трудности, которые приходилось преодолевать.

Что-то ждет меня на новом месте? Об этом нельзя было не задуматься. Хотя бы по одному тому, что Юго-Восток России (иначе говоря, Северный Кавказ), где мне предстояло работать, был не только огромным, но и очень сложным краем, имеющим много особенностей, населенным людьми самых разных национальностей: помимо русских и украинцев, тут жили народности Дагестана — аварцы, лезгинцы, даргинцы, кумыки и другие, а также осетины, ингуши, чеченцы, адыгейцы, кабардинцы, балкарцы, карачаевцы, черкесы...

Современный, в особенности молодой, читатель, наверное, с большим трудом сможет представить себе даже территориально Юго-Восточный край, потому что с тех пор районирование нашей страны несколько раз менялось, распались старые и возникали новые области и республики, исчезло и само понятие «Юго-Восточный край».

А в те годы на его территории размещались нынешние Ставропольский и Краснодарский края (включая Карачаево-Черкесскую и Адыгейскую автономные области), Ростовская область, Дагестанская, Кабардино-Балкарская, Чечено-Ингушская и Северо-Осетинская АССР<sup>1</sup>.

Из тогдашнего руководящего актива края я знал хорошо, пожалуй, одного лишь секретаря Юго-Восточного бюро Виктора Нанейшвили, своего старого товарища и друга по работе еще в Баку. Он был старше меня по возрасту и партийному опыту. Знал я его как хорошего и преданного коммуниста.

Трудно было, конечно, предположить, как отнесется он к моему приезду. Ведь как-никак мне предстояло сменить его на посту секретаря бюро ЦК, а о его отношении к своему освобождению и откомандированию в распоряжение ЦК я ничего не знал.

Правда, верилось, что независимо ни от чего примет он меня, как следует старому товарищу.

<sup>1</sup> Тогда это были: Донская и Кубано-Черноморская области, Ставропольская губерния, Терский округ, Дагестанская и Горская автономные республики, а также Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская автономные области.

Остановившись в ростовской гостинице, я в тот же день отправился в Югвостбюро ЦК.

Как я и ожидал, Нанейшвили принял меня очень радушно, по-дружески. Он уже знал о решении ЦК о своем освобождении, но, будучи человеком дисциплинированным, сдержанным и воспитанным, никак и ничем не выразил своего неудовольствия.

Я тоже не стал касаться этой темы, хотя сам, честно говоря, испытывал, особенно в первые дни, какую-то неловкость от сознания, что приходится (хотя и не по своей, так сказать, воле) занять место давнего товарища.

В откровенной беседе я сказал Нанейшвили, что неохотно согласился на перевод сюда из Нижнего и опасаясь, справлюсь ли с работой, которую он тут выполнял.

На это он ответил, что обстановка здесь действительно очень сложная. До сих пор во многих партийных организациях края идут разговоры, нужно ли вообще Юго-Восточное бюро ЦК, добиваются его ликвидации, считая, что губкомы и обкомы должны подчиняться непосредственно ЦК партии, минуя бюро как лишнее и ненужное, по их мнению, звено в организации.

Потом он рассказал мне кратко об общем положении в крае, о партийных работниках и о деятельности Югвостбюро.

Я не стал чрезмерно занимать его вопросами, решив для себя познакомиться с обстановкой иначе. Только попросил его хотя бы ближайшую неделю продолжить выполнение обязанностей секретаря Югвостбюро ЦК, дав мне возможность самому познакомиться с жизнью города, с краевыми работниками, почитать протоколы, письма поступающие с мест, а также познакомиться с директивами ЦК.

Нанейшвили согласился со мной.

Пользуясь тем, что еще никто в городе не знал меня в лицо, я с большой для себя пользой ходил по ростовским улицам и переулкам, заглядывал в магазины, столовые, на рынок — словом, всюду, где только мог получить хоть какие-нибудь представления и о самом городе, и о том, как живут и чем дышат ростовчане.

Ростов даже в то время представлял собой крупный торговый и промышленный центр России, связанный с другими городами и районами страны железной дорогой, а также речным и морским транспортом.

Мне было известно о славном революционном прошлом Ростова. Это был центр рабочего движения не только Дона, но и всего края. Именно здесь произошла знаменитая стачка 1902 года, оказавшая огромное влияние на развитие революционной борьбы во всей России. В 1905 году здесь вспыхнуло крупное вооруженное восстание и был создан один из первых Советов рабочих депутатов. Ростовская партийная организация славилась своими хорошими большевистскими традициями, идущими еще с дореволюционных лет, не говоря уже о ее большой роли в годы гражданской войны.

Главная магистраль Ростова — широкая прямая улица имени Маркса и Энгельса — проходит почти через весь город. Застроена добротными по тому времени двух- и трехэтажными жилыми домами и магазинами. На ней расположились несколько ресторанов и городской кинотеатр. Многие большие жилые дома заняты под различные советские учреждения и организации.

Вторая бросившаяся в глаза улица — имени Буденного — шла перпендикулярно главной и выходила прямо на берег Дона. В стороне от этих городских улиц шли неплохо спланированные, озелененные кварталы по преимуществу с одно- и двухэтажными кирпичными домами, производившими, в общем, неплохое впечатление.

Большой рабочий квартал, расположенный на горе за вокзалом, по другую сторону железной дороги, застроен индивидуальными домиками железнодорожников, имевшими при себе небольшие земельные участки, засаженные деревьями и используемые под огороды.

Судя по всему, в городе было плохо с транспортом. Фактически удобной

связи между районами, центром города и вокзалом не существовало. Когда вы шли, например, с вокзала в город или обратно, приходилось подолгу ждать, пока маневрирующие поезда освободят путь для городского транспорта или пешеходов. Из-за этого, как я потом выяснил, многие ростовчане опаздывали на поезда и к месту своей работы.

Забегая вперед, скажу, что вскоре нам удалось устроить для пешеходов специальный переход над железнодорожными путями, и жители города могли уже спокойно проходить этой дорогой и во время маневрирования поездов.

Между вокзалом и городом течет небольшая речка Темерничка, впадающая в Дон. Речка грязная, сбрасывали в нее всякую пададь, мусор и отходы. Поэтому вокруг постоянно распространялось зловоние. Как мне сказали, это было одно из самых антисанитарных мест города (через год или два нам удалось укрепить берега Темернички, ликвидировать много лет существовавшую тут заболоченность и вообще оздоровить этот район).

В другом конце города, если идти вверх по Дону, расположилось внушительное здание Управления Северо-Кавказской железной дороги. Оно находилось между Ростовом и Нахичеванью-на-Дону: их разделяла зеленая полоса шириной около километра.

Нахичевань основана в конце XVIII века — через семнадцать лет после возникновения крепости Ростов, по указу Екатерины II — для армян-переселенцев и выросла как довольно крупный ремесленно-промышленный и торговый центр, вблизи которого в армянских селениях развивались хлебопашество и скотоводство. Она была заметным очагом армянской культуры: здесь родился великий армянский просветитель, революционный демократ М. Налбандян, соратник Чернышевского. Примечательно также, что из Нахичевани вышли такие известные деятели армянской культуры, как художник Мартирос Сарьян, писательница Мариэтта Шагинян, видные политические деятели Александр Мясникян и Лукашин (Тер-Срапионян), ставшие потом в разные сроки председателями Совнаркома Армении.

Утратив впоследствии свое самостоятельное значение, Нахичевань стала одним из районов Ростова. Дома здесь почти все кирпичные, аккуратные, с садами.

Общее впечатление от центра Ростова сложилось у меня тогда довольно тяжелое. Бросалась в глаза запущенность, заброшенность. Всюду следы гражданской войны: груды разрушенных домов, многие стены изрешечены пулями. Большинство домов давно уже не ремонтировалось. На улицах очень грязно. Запомнился лишь какой-то один, в общем, неплохой сквер...

Особенно разочаровал правый берег Дона, занятый неблагоустроенными деревянными причалами, складами, заваленный бревнами и досками. Иное впечатление производил противоположный низкий берег своей естественной, нетронутой природной красотой.

Я увидел в городе много беспризорных, просящих милостыню. Кое-где прямо на улицах попадались трупы умерших, как мне говорили, от голода: они прибыли сюда из голодающих районов края. Меня поразило, как люди спокойно проходили мимо: видимо, это стало для них уже привычным зрелищем.

Глядя на все это, нетрудно было понять слабости местных руководителей, не проявлявших необходимой заботы о городе и его людях.

В своем первом же выступлении на заседании Донского комитета партии (который вместе с исполкомом отвечал за состояние города) я резко критиковал городские власти и потребовал немедленно навести в городе необходимый порядок, оказать помощь особо нуждающимся, устроить в детские дома беспризорных детей, обеспечить работой безработных, подкормить. Это тогда вполне нам было под силу: ожидался хороший урожай.

В течение недели я знакомился с делами, читал протоколы заседаний бюро ЦК и его переписку с местными организациями и центром, а главное, конечно,

беседовал с партийными работниками, уполномоченными различных наркоматов РСФСР по Юго-Восточному краю, с руководителями и сотрудниками Крайэкономсовета и других организаций.

В процессе этих бесед присматривался к людям, старался выяснить их сильные и слабые стороны, знания, опыт, отношение к делу: ведь мне предстояло с ними работать.

Вместе с тем сам старался в этих беседах не делать работникам каких-либо замечаний или предложений, понимая, что такие рекомендации могли быть слишком еще поспешными: быстро разойдясь среди работников краевого аппарата, не всегда к тому же правильно понятые и истолкованные, такие рекомендации могли принести скорее ущерб делу, нежели пользу.

Одним словом, я не торопился «руководить», а больше прислушивался к тому, что говорили мне.

23 июня впервые был на заседании Югвостбюро ЦК. На этом заседании, кроме меня, Нанейшвили и Лукоянова, присутствовали работники аппарата бюро, руководители Донского обкома партии и некоторые краевые советские работники.

Руководил заседанием, как мы ранее и условились, Нанейшвили. Сам я не выступал, а лишь внимательно всех слушал. Хотелось побольше узнать непосредственно от практических работников, что делается в крае, как относятся люди к краевому партийному центру, как организована и проходит работа бюро ЦК.

Все это много дало мне в дальнейшем для понимания обстановки и уяснения наиболее слабых мест краевого партийного руководства.

Предварительное ознакомление показало, что бюро ЦК завалено тысячами самых разных дел, нередко мелких, второстепенных, перегружено каждодневной «текучкой» и обильной перепиской, носившей во многом аппаратно-бюрократический характер.

Вопросы, выдвигаемые для обсуждения на бюро ЦК, нередко бывали «случайными», дела в большинстве случаев подготавливались плохо, а потому и решения, принимаемые по таким вопросам, носили зачастую слишком общий, декларативный характер. Это приводило к тому, что конкретная проверка выполнения таких решений в бюро крайне затруднялась, да и вообще организована она была неудовлетворительно.

Судя по всему, живое, подлинно практическое руководство местами со стороны бюро ЦК отсутствовало. Недостаточны были и личные его контакты с местными партийными организациями.

Помню, что все это произвело тогда на меня как на работника, привыкшего к иным методам партийной работы, довольно тягостное впечатление.

Знакомясь с документами, узнал интересные данные о составе краевой партийной организации.

Выяснилось, что в результате чистки рядов партии и последующей Всероссийской партийной переписи из краевой организации выбыло 31,5 процента всего ее состава, главным образом из сельских районов. Большой процент, если учесть, что по основным промышленным центрам страны, в частности по Нижегородской губернской организации, выбыло тогда из партии только 16 процентов.

По Всероссийской переписи в крае насчитывалось всего около 36,5 тысячи партийцев, причем по отдельным областям и губерниям это количество коммунистов распределялось в таких неравных пропорциях: в Кубано-Черноморской организации имелось 15 985 коммунистов; в Донской — 7819; Горской — 4620; Ставропольской — 3099; Терской — 2877; Дагестанской — 1559 и Кабардино-Балкарской — 469.

Обращало внимание малое количество коммунистов среди кавказских национальностей (сравнительно высокий партийный состав Горской организации объяс-

нялся тем, что в нее входили коммунисты Грозного — крупного промышленного центра с русским населением — и Владикавказа).

Все эти данные настораживали. Я уже планировал поездки по краю и выезды в Ростов руководителей партийных организаций из национальных районов для изучения положения дела на местах, знакомства с людьми и вопросами, их волнующими.

В старый состав Юго-Восточного бюро ЦК входили: Нанейшвили (секретарь бюро), Лукоянов (заведующий организационным отделом, а фактически, как называется теперь, второй секретарь бюро), Сенюшкин (председатель Югвостбюро профсоюзов), Ворошилов (командующий Северо-Кавказским военным округом), а также Бубнов, Белобородов и Шотман. Последних троих в Ростове я уже не застал: их отозвал ЦК без замены еще до моего приезда. Ворошилов находился тогда в отпуске.

Таким образом, фактически приходилось начинать работать только с двумя «действующими» членами бюро — Лукояновым и Сенюшкиным.

Лукоянов, судя по всему, был добросовестный и трудолюбивый, но, как потом выяснилось, политически ограниченный и узкоаппаратный работник. К тому же ему недоставало необходимого опыта живой партийной работы с людьми. Всем своим видом, манерой обращаться с людьми он скорее отталкивал, чем привлекал их к себе. Нам пришлось впоследствии с ним расстаться.

Сенюшкин, в общем, соответствовал занимаемой должности, но в работе Югвостбюро ЦК участвовал малоактивно, не имея опыта руководящей партийной работы. В дальнейшем его тоже отозвал ЦК, и его заменил Захар Беленький — присланный к нам из Москвы более опытный партийный и профсоюзный работник.

В краевом экономсовете, призванном играть по тем временам большую роль в хозяйственно-экономической жизни края, председателя не было с самого начала существования совета. Его обязанности выполнял заместитель председателя Хронин, добросовестный и, надо сказать, весьма старательный работник. Однако по своему уровню он стоял не выше рядового председателя губэкоза и потому как краевой хозяйственно-политический руководитель должным авторитетом и влиянием не пользовался. Работа председателя Крайэкономсовета была ему явно не по плечу. Поэтому пришлось поставить в ЦК партии вопрос о присылке из центра на должность председателя КЭС более опытного хозяйственника.

Секретарь Югвостбюро ЦК комсомола был тогда девятнадцатилетний Александр Мильчаков, или, как все его ласково звали, Саша Мильчаков, умный и обаятельный, очень деятельный и дисциплинированный коммунист, блестящий оратор, массовик, отличный организатор, обладавший поистине неистощимой энергией и инициативой. Он пользовался большой поддержкой не только среди комсомольцев, но и коммунистов края.

## **ВСТУПАЮ В ИСПОЛНЕНИЕ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ**

1 июля 1922 года на заседании Югвостбюро ЦК мы окончательно распростились с Нанейшвили. Поблагодарив его за помощь, которую он мне оказал, я дружески с ним расстался и вступил в исполнение обязанностей секретаря бюро ЦК.

Мы встретились с Нанейшвили лишь через год на XII партийном съезде, где он был делегатом от Пермской губернской партийной организации.

Наблюдая в предыдущие дни за работой аппарата и порядком проведения заседаний бюро, нельзя было не отметить очень низкую дисциплину среди краевых работников.

На примере уже первых двух заседаний бюро, прошедших с моим участием, стало окончательно ясно, что готовились они неудовлетворительно, наспех. Кроме того, очень возмутило отношение к ним со стороны вызываемых на бюро краевых и местных работников. Многие из них приходили с большим опозданием, а иные

и вообще не являлись, считая, видимо, эти заседания для себя малообязательными. В результате одни вопросы откладывались, переносились на другие дни или снимались с обсуждения...

Стало ясно, что люди разболтались. Поэтому не случайно одно из самых первых решений бюро, принятых по моему предложению, относилось к укреплению дисциплины и установлению должного порядка проведения заседаний бюро. Сохранилась запись в протоколе: «Поручить секретарю бюро затребовать объяснения о причинах опоздания на заседание бюро и при отсутствии уважительных причин поставить на вид и впредь принять меры к явке точно в назначенное время».

На следующий день я вызвал к себе «нарушителей» и, побеседовав с каждым в отдельности, немногословно, но строго разъяснил им всю нетерпимость такого с их стороны отношения к партийной работе. Ограничившись на первый раз устным внушением, предупредил, что в случае повторения бюро вынуждено будет применить к ним партийные взыскания.

Надо сказать, что такой разговор принес большую пользу. С тех пор обстановка резко изменилась и заседания бюро стали проходить нормально.

Знакомство непосредственно с партийной работой и с коммунистами я начал с Донского обкома партии, который находился у нас в полном смысле слова под боком: он помещался в одном доме с Югвостбюро (Донком занимал второй, а Югвостбюро — третий этаж этого дома).

Незадолго до моего приезда в Ростов ЦК партии отозвал с поста секретаря Донского обкома Жакова. Лично я его не знал. Мне рассказали, что это был активный политический деятель, примыкавший ранее к оппозиционной группе «демократического централизма», которую в центре возглавлял Сапронов.

Как известно, группа эта, заслужившая от Ленина название фракции «громче всех крикунов», выступала за свободу группировок в партии, против единоначалия и твердой дисциплины. «Децисты» (как сокращенно называли членов этой группы) боролись против усиления влияния партии в Советах и профсоюзах и всячески добивались «самостийности» местных органов партии и государственной власти, принижая роль ЦК в руководстве партийными организациями.

Возглавляя Донскую партийную организацию, вторую по численности в крае, Жаков был главным «закоперщиком» в борьбе против Югвостбюро ЦК, и, конечно, «следы» этой деятельности не могли исчезнуть «внезапно» в связи с отъездом Жакова из Ростова, тем более что в организации оставались люди, которые его поддерживали.

Поэтому было ясно, что укрепление Югвостбюро и улучшение его отношений с местными партийными организациями надо начинать именно с Донского обкома партии.

Отзывая Жакова из Ростова, ЦК партии одновременно принял решение направить вместо него секретарем Донского обкома Колотилова, работавшего в то время председателем губисполкома в Гомеле.

Однако приезд Колотилова в Ростов, как мне сказали в ЦК, несколько задерживался, поэтому решили временно возложить обязанности секретаря Донского обкома на члена его бюро Ноздрина, с которым нам и пришлось потом проработать больше месяца.

Желая наладить отношения Югвостбюро ЦК с Донским обкомом, первое время я почти ежедневно встречался и беседовал с Ноздриным, а также с другими членами бюро и работниками обкома, участвовал на основных их заседаниях и совещаниях, стараясь вникнуть в их дела и помочь в практической работе.

Результаты всего этого сказались довольно скоро. Но об этом разговор будет дальше.

При обдумывании ближайших задач краевой партийной организации становилось ясным, что главное внимание надо обратить на ускоренное восстановление

разрушенного сельского хозяйства края. Без этого нечего было и думать об изменении условий жизни населения, не говоря уж о том, что вообще от этого зависело выполнение государственной программы развития индустрии — основной базы социалистического хозяйства.

Роль во всем этом Северного Кавказа как одной из главных житниц страны была очень большой.

Из этой центральной задачи вырисовывалось в основном три конкретных вопроса, которые Юго-Восточному бюро ЦК предстояло изо дня в день держать в поле своего неослабного внимания. Это:

проведение сбора установленного правительством продналога и по завершении его организация свободной закупки у крестьян излишков хлеба — вполне реальная задача в условиях наступившего урожайного года;

подготовка и успешное проведение озимого сева, а также зяблевой пахоты для обеспечения урожая следующего года;

скорейшая ликвидация бандитизма в крае, без чего было невысказано выполнение стоящих перед нами хозяйственных задач, укрепление советской власти, а также вообще необходимая стабилизация политической обстановки в крае.

Именно эти задачи являлись тогда самыми для нас главными.

Напряженная обстановка осложнилась в связи со вспышкой в крае эпидемии холеры, начавшейся в самые первые дни июля 1922 года.

Впервые столкнулся я с такой серьезной эпидемией, которая к тому же с каждым днем разрасталась.

Из сообщений с мест вырисовывалась безотрадная картина. В крае, как я уже говорил, ожидался хороший урожай, но его уборка только еще начиналась, поэтому последствия голода продолжали свое разрушительное действие. Люди истощены, здоровье их подорвано... а тут еще эта эпидемия!

Ход обсуждения показал: надо развертывать дополнительную сеть медицинских учреждений, набирать медицинских работников, закупать медикаменты. Необходимо мобилизовать на борьбу с холерой все силы.

Уже 5 июля Югвостбюро послало телеграфно указание всем губкомам и обкомам партии о создании на местах специальных комиссий с особыми полномочиями и о привлечении населения городов и сел к самой энергичной борьбе с эпидемией холеры, поскольку «за последнее время развитие холеры поставило наш край в чрезвычайно опасное положение».

Для борьбы с эпидемией требовались немалые средства, а их в местном бюджете не было.

Посоветовавшись с товарищами, я передал по прямому проводу в Москву записку на имя секретаря ЦК (в копии — Совнаркому, наркомам здравоохранения и финансов) с просьбой разрешить использовать 25 процентов собранного в крае общегражданского денежного налога на борьбу с эпидемией холеры. Причем в конце этой записки добавил, что «неполучение ответа в течение 48 часов будет считаться согласием».

Ни разрешения, ни отказа мы не получили. Тогда, обождав двое суток (48 часов), мы пошли на самый крайний шаг, приняв такое решение Югвостбюро ЦК: «Ввиду угрозы развития холеры и отсутствия средств у местных органов использовать 25 процентов общегражданского налога, собранного в крае. Ввиду истечения срока ответа от ЦК РКП(б) на запрос бюро об использовании 25 процентов настоящего постановление провести в жизнь немедленно».

Конечно, мы понимали, что это мера крайняя и нам может сильно «попасть». Но чувство ответственности за создавшееся положение в крае взяло верх.

Видимо, и в Москве поняли, что иного выхода в создавшихся условиях у нас не было. Во всяком случае, никаких неприятностей не последовало.

Необходимые шаги, предпринятые на местах, дали ожидаемые результаты: эпидемия холеры довольно быстро пошла на спад.



### НУЖЕН ЛИ КРАЙЭКОНОМСОВЕТ?

Я продолжал знакомиться с руководящими краевыми работниками и с постоянными уполномоченными основных наркоматов РСФСР по Юго-Восточному краю.

Уполномоченным Наркомзема РСФСР работал тогда Одинцов. Выходец из крестьян, бывший матрос, человек волевой, обладавший твердым характером. Специального образования он не получил, но имел хорошую крестьянскую смекалку и солидный практический опыт хозяйственной работы, полученный за годы советской власти.

Его достойно дополнял Тюрников. В отличие от Одинцова он имел высшее агрономическое образование и опыт работы в земских органах еще до советской власти, когда он, кстати сказать, состоял в партии эсеров. После победы советской власти он порвал с эсерами и стал большевиком. Крупный специалист с широким кругозором, он отлично знал состояние сельского хозяйства в нашем крае и работал добросовестно. На него во многом опирался по работе Одинцов, а со временем и я<sup>2</sup>. (Стоит, пожалуй, упомянуть, что Тюрников и в личном плане человек был очень приятный. Я хорошо знал и его жену Марию Фокиевну, большого друга моей жены до конца ее жизни. Сама Мария Фокиевна сейчас живет в семье Ворошиловых, поскольку ее дочь Надежда Ивановна — жена сына покойного Климента Ефремовича.)

Понравился мне своей деловитостью и уполномоченный Наркомфина Горбунов. Кстати сказать, когда мы принимали решение об использовании части собранного налога на борьбу с холерой, он мог бы по своему положению «помешать» нам. Но он знал, что мы известили его наркомат о своем намерении, и, понимая, что мера эта вынуждена особыми обстоятельствами, вел себя лояльно.

Познакомился я и с уполномоченным Наркомпрода Пономаренко, опытным хозяйственным работником, прошедшим большую школу практической работы в Наркомпроде.

Немного отвлекаясь, хочу сказать, что в годы гражданской войны, да и после нее в течение нескольких лет Наркомпрод был одним из наиболее организованных наших хозяйственных наркоматов, укомплектованный крепким составом квалифицированных и опытных, удачно подобранных коммунистов. В те годы считалось, что после военного это наиболее крепкий и дисциплинированный наркомат.

Пономаренко был достойным представителем этого наркомата в нашем крае. Мы опирались на него как на надежного руководителя. Убедившись, что краевые организации реально помогают ему обеспечивать выполнение правительственных заданий по сбору продналога, Пономаренко наладил хорошую связь с нашими партийными организациями и проводил всю свою работу в тесном контакте и согласии с нами: без этого он, конечно, не смог бы достичь тех результатов по сбору продналога, какие у него были. Он это хорошо понимал.

Мы, в свою очередь, крепко его поддерживали. Для примера хочу сослаться на такой конкретный случай. Как-то, выполняя наше решение, Пономаренко получил нагоняй от своего замнаркома Смирнова за то, что «слишком» уж, как тот считал, во всем подчинялся решениям местных партийных органов.

Мы решили защитить Пономаренко от нападков «ревнивого» наркома. Я обратился в ЦК РКП(б) с такой телеграммой: «Недавно НКпрод Смирнов объявил порицание с угрозой отзыва Пономаренко за то, что он держит тесный контакт с бюро ЦК и Крайэконосо. Смирнову не нравится, что Крайэконосо обратился в СТО по поводу ведомственных трений между НКпродом, НКПС и другими. Смирнову

<sup>2</sup> Когда некоторое время после моего отъезда из Ростова в 1926 году секретарем Северо-Кавказского крайкома стал прибывший из Москвы Андрей Андреевич Андреев. Тюрников играл еще большую роль в руководстве сельским хозяйством края. С его помощью Андреев, ранее не связанный по работе с сельским хозяйством, стал в нем неплохо разбираться, что помогло ему в дальнейшей работе, уже в Москве.

надлежало бы судить о работе продорганов края, исходя не из ведомственного самолюбия, а из результатов уже полного сбора продналога».

Телеграмма помогла.

К слову должен сказать, что в те годы много сил уходило на всякого рода междуведомственные стычки. Мы — я имею в виду бюро ЦК и наши краевые организации — боролись за то, чтобы с нами считались. Мы полагали, что все вопросы надо решать, исходя не из узковедомственных интересов и борьбы мелких, опять же ведомственных самолюбий, а учитывая прежде всего общегосударственные интересы и конечные результаты работы. ЦК партии нас в этом всегда поддерживал.

Зная о том, что ЦК партии полагал в то время необходимым не только сохранить, но и всячески укрепить Югвостбюро ЦК и другие наши краевые организации, я посчитал нужным покончить прежде всего с теми ликвидаторскими настроениями вокруг краевых руководящих органов, которые существовали тогда чуть ли не во всех губернских и областных партийных организациях края (за исключением, пожалуй, Ставропольской, где секретарем губкома был крепкий партийный работник Мышкин).

Особенно много всяких «ликвидаторских измышлений» распространялось тогда вокруг Крайэкономсовета, работавшего к тому же действительно с большими изъятиями.

Посоветовавшись с некоторыми товарищами из Крайэконосо, мы решили созвать совещание Крайэкономсовета вместе с председателями губернских и областных Эконосо, чтобы обсудить ряд неотложных вопросов хозяйственной жизни края, а заодно и дать соответствующий отпор тем нездоровым настроениям, которые были на местах по вопросу, «быть или не быть» краевым органам управления хозяйством.

Созыв такого совещания назрел, поскольку, как я выяснил, со дня создания Крайэкономсовета (а с тех пор прошло уже около двух лет) руководителей губернских и областных Эконосо в крае ни разу не собирали. Они работали без регулярного живого общения, ограничиваясь по большей части бумажной перепиской.

В начале июля, уже после открытия совещания, Хронин сообщил мне, что прибывшие с мест товарищи требуют специально обсудить вопрос о Крайэкономсовете — о его правах и вообще о целесообразности дальнейшего его существования.

Переговорив с членами бюро, я поручил Хронину передать участникам совещания мнению Югвостбюро, что вопрос этот не должен быть предметом обсуждения на таком широком совещании. Однако если коммунисты — участники этого совещания имеют по этому вопросу какое-то особое мнение и хотят его довести до сведения Югвостбюро и ЦК партии, то можно провести более узкое партийное совещание при бюро ЦК с участием председателей губернских и областных экономсоветов, а также уполномоченных наркоматов, входящих в состав Крайэконосо.

Такое совещание провели. Мы спокойно выслушали все высказывания. Потом пришлось выступить мне.

— Наши центральные органы власти, — сказал я, — считают, что в данное время они еще не в состоянии быть достаточно полно информированы о положении дел на местах, а тем более оперативно и компетентно решать возникающие конкретные вопросы в условиях такого большого и сложного края, каким является Юго-Восток России, где только два года как победила советская власть. К тому же нельзя не считаться с плохими средствами связи. Вот почему в Ростове имеются, к примеру, уполномоченные основных наркоматов РСФСР (с аппаратом), имеющие право представлять эти наркоматы и принимать от их имени соответствующие решения на месте. Для координации их действий и для предотвращения разнобоя в их работе решением правительства у нас образован Крайэкономсовет, подчиненный непосредственно Совету Труда и Оборона республики.

Будучи в ЦК еще до приезда в Ростов, я знал, что ЦК партии считает необходимым существование и Югвостбюро ЦК партии и Крайэкономсовета. Трехнедельное пребывание здесь убедило меня, что мнение ЦК правильное.

Из выступлений делегатов следует, что в работе Крайэконосо много недостатков, что его права точно не определены, что он не пользуется должным авторитетом, а его решения носят неконкретный, необязательный для губернских и областных экономсовещаний, подчиненных своим исполкомам, характер.

— Мне кажется, — заявил я, — что это и есть главный источник вашего недовольства. Но недостатки эти устранимы. Надо укрепить аппарат Крайэконосо, точно определить, по каким вопросам он может и должен руководить деятельностью местных Эконосо. Устранить в его работе канцелярско-бюрократические методы работы, о которых здесь шла речь, заменив их живой связью с местами, покончить с мелочными вмешательствами в ваши дела, сосредоточив свое внимание на главных вопросах хозяйственно-экономической жизни края. Крайэконосо обязан предварительно обсуждать с местными работниками и уполномоченными заинтересованных наркоматов все вопросы, могущие вызвать спор, и только после этого принимать соответствующие решения. Словом, проводить на практике метод демократического централизма...

Совещание оказалось очень полезным. Начался откровенный и оживленный обмен мнениями. Была подвергнута серьезной критике работа Крайэконосо, его организационная беспомощность.

Выступив второй раз с оценкой обсуждения вопроса и поддержав все здоровое и правильное, что содержалось в критике товарищей, я предложил не принимать решения, быть или не быть Эконосо, потому что вопрос этот уже решен ЦК партии и в ближайшее время пересматриваться не будет.

— Давайте, — сказал я в заключение, — совместными усилиями устранять недостатки и налаживать работу краевых руководящих органов, и в первую очередь работу Крайэкономсовета.

Попутно сообщил, что в ближайшее время ЦК пришлет нам крупного хозяйственника на пост председателя Крайэконосо.

Из присутствующих десяти председателей местных Эконосо восемь проголосовали за решение: «...Считать настоятельно необходимым согласованную работу местных Эконосо с Крайэкономсоветом (КЭС), дав КЭСу права Губэконосо по отношению к низшим органам, придав административные права по экономическим вопросам».

Кроме того, совещание приняло решение, что «губернские и областные исполкомы, несогласные с постановлением Крайэконосо, обжалуют таковые в СТО, СНК и ВЦИК, не приостанавливая проведения его в жизнь».

Продолжавшееся после этого широкое совещание Крайэкономсовета прошло весьма деловито. Опасения некоторых товарищей, что на этом совещании трудно будет договориться по многим практическим, в том числе и организационным, вопросам, не оправдались.

Через месяц после моего приезда декретом ВЦИК была образована Адыгейская автономная область. Из горских народов адыгейцы наиболее экономически обеспеченные. Жили они дружно с населением соседних с их аулами станиц кубанских казаков. Не помню случая, чтобы мы когда-нибудь обсуждали вопрос о бандитизме среди адыгейцев.

Во главе ревкома Адыгеи стал уважаемый адыгейцами Хакурате — серьезный, рассудительный коммунист, спокойно решавший вопросы. С ним дружно работал молодой способный коммунист секретарь обкома Мишуриев.

Помнится, что с руководством Адыгейской автономной области работали мы согласованно. Никаких трений у нас не возникало.

Местонахождение ревкома временно определили в Краснодаре. В последующем, как известно, областным центром автономии стал Майкоп.

Где-то в конце июля нам пришлось заниматься вопросом о положении в Терской партийной организации.

Помню, что еще Нанейшвили, знакомя меня с делами Югвостбюро, говорил, что в Терском губкоме уже давно сложилась «оппозиция» к Югвостбюро, мешавшая нормальной работе.

За последнее же время из Пятигорска стали поступать сигналы о неблагополучии в самой Терской организации и о том, что рядовые партийцы очень недовольны складывающейся у них обстановкой.

Некоторые руководящие терские коммунисты, будучи недовольны линией своего губкома, вместо того чтобы ставить все эти вопросы в обычном порядке — на пленумах губкома или перед Югвостбюро ЦК, — начали переносить их обсуждение в низовые партийные организации, втягивая тем самым рядовых партийцев в борьбу с руководством губкома. Назревала явно нездоровая атмосфера трений и склок.

И все это в условиях, когда надо укреплять и без того не очень крепкую Терскую организацию и направлять все ее силы на выполнение главнейших тогда задач по борьбе с бандитизмом и сбору продналога.

Обсудив все эти вопросы, Югвостбюро решило тогда «призвать к порядку Терскую организацию, предложив немедленно положить конец трениям», а кроме того, приняло срочные меры по переброске из Пятигорска ряда наиболее «беспокойных» работников и по общему укреплению новыми кадрами Терского округа.

## НА ПЛЕНУМЕ ДОНСКОГО ОБКОМА ПАРТИИ

В конце июля состоялся пленум Донского обкома с участием партийного актива области.

На этом пленуме, кроме отчетного доклада бюро обкома и других очень важных вопросов — о сборе продналога и о работе кооперации, о профсоюзах и очередных задачах партийной пропаганды, — был заслушан отчетный доклад о работе Югвостбюро ЦК.

Пленум продолжался три дня и, надо сказать, прошел организованно, дружно и деловито.

Помимо своего основного доклада, мне пришлось выступить еще по вопросу о сборе продналога и о задачах партийной пропаганды.

Во время обсуждения доклада о сборе продналога было несколько выступлений участников пленума, говоривших, что, поскольку в области есть ряд маломощных крестьянских хозяйств, не могущих полностью выполнить установленный для них продналог, надо теперь же освободить такие хозяйства — полностью или частично — от обязательств по сдаче продналога.

Против такого предложения как неправильного пришлось выступить.

Начинать кампанию сбора продналога с освобождения от него хотя бы отдельных крестьянских хозяйств означало сознательно идти на затруднения со сбором налога в целом, потому что тогда не только маломощные, но и некоторые другие хозяйства задержат сдачу продналога в ожидании: а может, и их освободят от налога?

— Принять такое решение, — говорил я, — значит сорвать всю кампанию по сбору продналога и в области и в крае. Надо наши усилия сосредоточить на том, чтобы абсолютно все хозяйства, которые могут сдать налог, полностью в срок выполнили свои обязательства. Только после этого к концу кампании по всему краю можно будет рассмотреть вопрос о частичном или даже полном освобождении от налога хозяйств, в отношении которых будет неоспоримо доказано, что они действительно никак не могут выполнить своих обязательств перед государством.

Пленум согласился с такой позицией, и поступившее ранее предложение отпало.

Надо сказать, что участники пленума, узнав, что в повестку дня включен отчетный доклад Юго-Восточного бюро ЦК партии, были этим очень довольны, поскольку в Донской организации, как я уже говорил, вокруг вопроса о взаимоотношениях обкома и Югвостбюро уже давно с легкой руки Жакова шли разные не-

здоровые разговоры. Периодические же отчеты вышестоящих партийных органов перед нижестоящими вообще были всегда хорошей традицией в нашей партии.

В своем докладе я остановился на некоторых, как мне тогда казалось, наиболее важных проблемах партийной работы в крае. В частности, сразу же пошла речь о борьбе с политическим бандитизмом, который еще довольно широко у нас «процветал».

Говоря о предстоящей работе по сбору продналога, указал, что нам предстоит провести эту работу за очень короткий — двухмесячный — срок. Кое-где в организациях в связи с перспективой хорошего урожая появились чрезмерно радужные настроения в смысле сбора продналога. Указав на опасность таких настроений, пришлось призвать партийный актив на преодоление и этих настроений и элементов расхлябанности в работе, которая имела место в области, а также на борьбу с излишними поблажками при сборе налога.

— Нельзя забывать, — говорил я, — что тяжелые последствия голода еще не ликвидированы. На улицах даже нашего краевого центра до сих пор можно увидеть группы умерших от голода. Есть реальная опасность новых эпидемических заблуждений. Мы должны бросить все свои силы на ликвидацию последствий голода, и поэтому никакие демобилизационные настроения не должны иметь места!

В докладе отмечалось далее, что Югвостбюро вело и будет вести работу по сглаживанию трений, существовавших между губернскими (областными) и краевыми советскими органами, которые очень мешали работе по оздоровлению общего положения в крае. До последнего времени среди некоторых областных и губернских работников продолжались разговоры о том, нужны ли краевые организации. Однако жизнь, говорил я, показала, что такие настроения ошибочны и ничего, кроме вреда, принести не могут. Это подтвердил, в частности, и опыт недавно проведенного краевого совещания председателей губернских и областных экономических совещаний, принявшего решение о расширении прав Крайэжосо и об установлении порядка, при котором губернские и областные исполкомы не могли бы отменять или игнорировать его решения.

Указав на некоторое улучшение работы потребительской кооперации, я в то же время обратил внимание участников пленума на болезненное состояние ряда местных органов сельскохозяйственной кооперации, где шла политическая борьба с эсерами и кулацкими элементами за влияние в руководстве.

Рассказал о мерах, которые принимает бюро по улучшению руководства краевой печатью, а также по созданию специального краевого издательства, о чем уже не раз возникал вопрос.

Сказал в заключение, что, на мой взгляд, общее состояние в партийных организациях заметно улучшается, но взаимоотношения между местными организациями и Югвостбюро все еще нельзя признать нормальными.

— Правда, — заявил я, — мне трудно судить об этом как человеку новому. Но, думаю, пора кончать разговоры о том, быть или не быть краевым органам партийного и советского хозяйственного руководства. — И призвал участников пленума совместными усилиями налаживать дружную работу.

Приятно было услышать из отчетного доклада обкома, с которым на пленуме выступил Ноздрин, что хотя он лично и «не большой поклонник краевых организаций, но должен сказать, что в июле месяце у нас была полная согласованность и полный контакт в работе. Руководство работой со стороны Югвостбюро выразилось только там, где нужно и как нужно. Правда, они недавно выдернули у нас четырех работников и еще предполагают выдернуть, но когда порассудишь зрело, то поймешь эту необходимость. Мелочного вмешательства в нашу внутреннюю работу не наблюдалось, и не было ни одного серьезного вопроса, который не решался бы без Донского обкома, поскольку он касался Донской области. Меня всегда вызывали, и когда приехал товарищ Микоян, то он спускался и беседовал со мной по тем или иным вопросам. Таким образом, трений не наблюдалось, вмешательства не было, но руководство чувствовалось»<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Ростоблизархив, ф. 4, оп. 1, д. 119, л. 63.

Приятно было узнать из выступлений на пленуме, что все высказанное Ноздриньгм явилось не только его личным мнением, но отражало точку зрения других членов обкома и вообще большинства организации.

Таким образом, Югвостбюро ЦК начинало устанавливать необходимый контакт и взаимопонимание с одной из ведущих партийных организаций в крае, имевшей славное революционное прошлое и хорошие большевистские традиции.

Эти связи еще больше окрепли, когда во главе Донского обкома стал наконец-то приехавший в Ростов новый секретарь Николай Колотилов.

О нем мне хотелось бы сказать особо.

Когда мы встретились, Колотилону исполнилось тридцать семь лет, он был на десять лет старше меня. Физически крепкий, здоровый, коренастый человек. Весь его внешний вид — фигура, лицо, руки, походка — характерен для облика настоящего русского рабочего. Собранный, сосредоточенный, немногословный, с виду, как мне вначале показалось, даже несколько замкнутый и угрюмый.

Из наших дальнейших бесед я узнал, что родился он и вырос в семье потомственных иваново-вознесенских ткачей, работал сам до революции рабочим-слесарем в Иванове, вступил там в 1903 году в РСДРП (большевиков) и вел большую подпольную работу среди рабочих (подпольная кличка у него была Лапа).

В 1904 году его арестовали. Он просидел в тюрьме около девяти лет и был затем сослан в Сибирь.

После революции Колотилов вернулся на родину — в Иваново, где вскоре его избрали секретарем горкома партии, а потом председателем губисполкома. Вдумчивый, требовательный, идейно-принципиальный партийный руководитель, крепко связанный с рабочими массами. Скромный в быту, честный и добросовестный в исполнении своих обязанностей, выдержанный и дисциплинированный, очень трудолюбивый, он постоянно работал над повышением своих знаний. Образование у него формально низшее, но я всегда поражался его большим знаниям в самых различных областях науки и литературы. Он, например, совершенно свободно разбирался в таких сложных вопросах, как теория относительности Эйнштейна, о которой большинство из нас имело тогда самое общее, и притом довольно смутное представление.

Когда однажды я спросил, откуда у него такой большой запас знаний, он рассказал мне немало интересного из своей прошлой жизни. Оказывается, в тюрьмах и на каторге ему приходилось встречаться с интересными, высокообразованными революционерами — передовыми людьми того времени, они-то и помогли ему пройти все эти «университеты» и постигнуть многие премудрости науки.

Надо сказать, что Колотилов был человеком довольно своеобразным. Он, например, не раз говорил, что его давно тянет на научную педагогическую работу. Ему хотелось быть поближе к учителям и научным работникам.

В конце концов он добился своего: с 1932 года стал заместителем наркома просвещения РСФСР, потом председателем ЦК Союза работников начальной и средней школы.

Правда, до этого ему пришлось (после работы у нас на Северном Кавказе) проработать еще около семи лет первым секретарем Иваново-Вознесенского обкома партии, куда его вновь послал ЦК по настоянию Иваново-Вознесенской партийной организации для укрепления работы. И, насколько мне известно, он поработал там хорошо.

Колотилова хорошо знала не только наша и Иваново-Вознесенская организации. Участник почти всех партийных съездов начиная с XII и до XVII включительно, он был избран на XII съезде кандидатом в члены ЦК, а на XIII, XIV, XV и XVI съездах — членом ЦК нашей партии.

Вел он себя всегда активно и принципиально.

Приехав в Ростов, быстро, что называется, прижился у нас.

Почти одновременно с его избранием секретарем Донского обкома ЦК партии по моей просьбе утвердил Колотилова членом Юго-Восточного бюро ЦК. Это еще больше закрепило постоянный деловой контакт Донского обкома с нашим бюро,

не говоря уж о том, что мы приобрели в лице Колотилова опытного, политически грамотного и всеми уважаемого коммуниста.

Мы проработали с ним вместе очень дружно до 1925 года, и я сохранил о нем самые лучшие воспоминания.

## НОВАЯ ПОЛОСА В РАБОТЕ ЮГВОСТБЮРО

Однако возвращаюсь к основной хронологии своих воспоминаний.

...На другой день после окончания пленума Донского обкома партии мы открыли двухдневное краевое партийное совещание, назвав его расширенным пленумом Юго-Восточного бюро ЦК.

В работе этого пленума, помимо наличных трех членов бюро ЦК, приняли участие все первые секретари губкомов и обкомов партии, Югвостбюро ЦК Комсомола, а также заместитель командующего военным округом Буденный, начальник политуправления и член Военного совета этого округа Сааков, уполномоченные наркоматов РСФСР и заведующие отделами Югвостбюро.

Мы сознательно поставили отчет бюро ЦК в конце повестки дня пленума, начав его работу с обсуждения двух других очень тогда животрепещущих вопросов — о продналоговой кампании и об итогах борьбы с бандитизмом в крае.

По первому вопросу — о сборе продналога — выступил с докладом Пономаренко, а по второму — Буденный (заменивший тогда Ворошилова) и Андреев, исполняющий обязанности краевого уполномоченного ГПУ.

Организация сбора продналога являлась для нас важнейшей политической задачей наступавшей осени 1922 года. Эта задача требовала особого внимания, осторожного подхода, чтобы какими-либо непродуманными или легкомысленными мерами принуждения не нарушить начавшегося к тому времени успокоения в политических настроениях большинства крестьянства.

По существу, для краевой партийной организации это первый серьезный экзамен на сельскохозяйственном фронте.

Мы хорошо понимали трудное положение крестьянства в нашем крае, но состояние республики тогда во много раз оказалось тяжелее: нужда в хлебе для рабочих, отдающих все силы, чтобы выбраться из разрухи, была поистине огромной.

Правительство обязало нас собрать по Юго-Восточному краю в качестве продналога 48 миллионов пудов хлеба (счет тогда велся по старой системе веса — на пуды). Цифра по тем временам, прямо скажем, немалая, но вполне реальная.

Размеры, или, как тогда говорили, ставки, взимаемого налога, определенные заранее, исходили из так называемого среднего урожая. Однако по многим районам края урожай ожидался значительно выше среднего и поэтому крестьянство в массе своей восприняло эти ставки благожелательно.

Имели место и случаи злостной агитации враждебных элементов насчет того, что такие невысокие ставки даны только «для начала» и как только крестьяне их выполнят, им дадут еще «дополнительные» ставки...

Кроме того, правительство приняло в том году решение предоставлять крестьянам за досрочную сдачу продналога десятипроцентную скидку. Это решение являлось тоже большим стимулом для успешного выполнения государственного плана сбора продналога.

Все говорило о том, что сбор налога должен идти более или менее нормально. Именно поэтому мы решили с самого начала этой кампании полностью отказаться от применения вооруженной силы, к чему приходилось, к сожалению, нередко прибегать до этого.

Мы считали возможным — и то лишь в самых крайних случаях — использовать отряды ЧОН (частей особого назначения, состоявших из вооруженных коммунистов и комсомольцев) для охраны хлебных складов, особенно в районах, подверженных налетам шаек бандитов. Что же касается привлечения регулярных воинских частей, то мы заблаговременно предупреждали местные организации, чтобы они на них не рассчитывали.

Первые же дни проведения продкампании показали, что сбор налога прохо-

дит, в общем, нормально, хотя были, конечно, районы, где он поступал туго. Это происходило главным образом в станицах, где наше влияние было еще слабым, а «верховодить» всеми делами продолжали главари реакционного казачества.

Кроме того, уже на первых порах мы столкнулись с технической неподготовленностью к приемке большого количества зерна на ссыпных пунктах и элеваторах, явно не хватало хлебохранилищ, возникли трудности с транспортом.

Зерно зачастую складывалось бунтами на землю и хранилось так под открытым небом из-за несвоевременной подачи вагонов и нехватки брезентов...

Уже был отмечен ряд случаев, когда крестьяне по несколько дней стояли в очередях около хлебоприемных пунктов, чтобы сдать свой налог.

Довольно сложно, с перебоями начался сбор налога в национальных республиках и областях.

Но в целом местные и краевые организации работали неплохо, а обнаружившиеся недостатки в работе должны были послужить для всех нас хорошим предметным уроком, потому что сбор продналога только еще разворачивался...

Все эти вопросы получили довольно обстоятельное освещение в докладе Пономаренко. Обсуждение его доклада проходило на пленуме по-деловому, вполне конкретно. Никаких разногласий среди участников пленума не возникало.

Правда, некоторые товарищи, справедливо указывая на недостаточность средств в местном бюджете, стали поднимать вопрос о том, чтобы, учитывая благоприятные условия этого года, помимо основного продналога, ввести еще дополнительное налоговое обложение населения для нужд местного бюджета.

Но это было уже явным перегибом. Пришлось выступить и отвести это предложение, указав, что мы не имеем права самовольно устанавливать какие бы то ни было надбавки к общегосударственному налоговому обложению: вопрос этот можно было обсуждать и решать только во всероссийском масштабе.

После такого разъяснения ранее поступившее предложение отпало, и никто на нем не настаивал.

...Я уже говорил (скажу еще и дальше), что одним из наиболее сложных и болезненных явлений в тогдашней жизни Северного Кавказа был бандитизм, в значительной степени определявший примерно до 1923 года политическую обстановку в крае.

Докладывая о предварительных итогах борьбы с бандитизмом, Буденный и Андреев сообщали пленуму некоторые утешительные данные.

...Мне запомнилось выступление Буденного — краткое, деловое, содержательное. Опытный военачальник, он отлично разбирался в обстановке и во всех тонкостях борьбы с местными бандами, хорошо знал быт и жизнь казачества и иногородних, разбирался в раздиравших их противоречиях, а потому умел находить правильные оперативные решения с учетом местных условий так хорошо знакомо ему края, где он родился и вырос.

Из его доклада на пленуме и из выступления Андреева стало ясно, что за последнее время бандитизм в крае пошел на убыль.

Однако это нельзя было, конечно, относить только за счет хорошей работы наших войск и органов ГПУ.

Поэтому, подтверждая выводы Буденного и Андреева о сокращении случаев политического бандитизма в крае, я попытался в своем докладе проанализировать этот факт несколько глубже, с позиций общего роста Советской России, укрепления ее внешнего положения и в связи с этим краха надежд и иллюзий у наших врагов на восстановление «старых порядков» путем вооруженной интервенции.

Первые ощутимые результаты новой экономической политики, реальная помощь нашего правительства, оказанная крестьянству во время весеннего сева, ожидаемый хороший урожай, укрепление на местах советского аппарата и законности, ликвидация наиболее оголтелых политических банд, общее сужение их социальной базы — вот что явилось главной причиной начинавшегося саморазложения отдельных политических банд и перехода на путь обычного уголовного бандитизма.



Но это никак не могло нас успокаивать. Впереди предстояла еще упорная и довольно длительная борьба с бандитизмом. В этих новых условиях нам надо было особо продуманно и умно вести эту борьбу.

Пленум заслушал доклад Союшкина о работе профсоюзов в новых условиях и доклад секретаря Ставропольского губкома Мышкина об опыте работы в деревне, поскольку в их губернии эта работа была поставлена тогда лучше, чем в других.

После подробного обсуждения всех этих докладов пленум принял по ним конкретные решения, подготовленные в заранее созданных специальных комиссиях. В частности, по докладу Мышкина пленум признал «опыт работы Ставропольской организации в деревне ценным и поручил всем губкомам и обкомам обсудить его и применить к условиям своих губерний (областей)».

С отчетным докладом Юго-Восточного бюро на пленуме выступали два докладчика: Лукоянов, отчитывавшийся о работе бюро за время с апреля по июнь 1922 года, и я, доложивший пленуму о работе фактически за один месяц (июль).

Основная задача моего доклада сводилась к тому, чтобы не только рассказать, что за этот месяц мы сделали, но и «заглянуть вперед» — поговорить о ближайших задачах краевой организации в борьбе с бандитизмом, сборе продналога, проведении осенней посевной кампании, укреплении Крайэкономсовета и об экономических совещаниях на местах, улучшении работы различных видов кооперации и развитии сети ее учреждений, создании курсов для подготовки кооператоров из коммунистов и т. д.

Одна из главных задач состояла тогда в том, чтобы всемерно укреплять связь нашего бюро с местами, лучше знать повседневную жизнь края, быть в курсе настроений и запросов населения, учитывая при этом все особенности каждой губернии и области.

Разнообразие нашего края, говорил я, и различные условия отдельных губерний, областей и республик требуют от Югвостбюро строго индивидуального к ним подхода. Советская власть у нас очень еще молода. Нечего скрывать, у многих жителей края, даже у коммунистов, нет еще правильного понимания новой экономической политики. Еще не везде осуществляется революционная законность. Это приводит к тому, что у иных людей пропадает доверие к органам советской власти. У нас, например, говорил я в докладе, в Горской республике под флагом «борьбы с проклятым капитализмом» в условиях новой экономической политики буквально душат мелких лавочников. В Дербенте наложили контрибуцию «на местную буржуазию» в размере 50 миллиардов рублей<sup>4</sup> и сажают людей в тюрьму, потому что они не в силах справиться с таким «обложением». В Ставрополе дело дошло до того, что руководители ГПУ «не признают» губком! Имеются отдельные случаи морального, бытового и политического разложения среди коммунистов... Все это ставит перед нами задачу всемерного укрепления партийных организаций и советского аппарата на местах.

У нас в краевом партийном аппарате, продолжал я, мало еще пока работников, на которых можно было бы опереться. Само бюро работает плохо. В связи с этим возникла и неслаженность взаимоотношений бюро с губкомом и обкомом. Нередко бывали мелочные придирки, обилие бюрократической переписки и отчетности. Но это не дает права ставить вопрос, как это сделал участник пленума из Терского округа Блохин, о ликвидации бюро ЦК, а тем более «независимо от того, хороша или плоха его работа», как сказал он.

Возможно, впоследствии и встанет вопрос о ликвидации или реорганизации нашего бюро, но в настоящее время ЦК партии этого не делает и, очевидно, имеет причины считать необходимым иметь такое бюро. Это правильно с точки зрения общих интересов партии. И выдвигать в таких условиях вопрос о ликвидации бюро чрезвычайно вредно прежде всего для работы, которой нужно отдать все силы. Надо не ликвидировать, а укреплять бюро и его связь с местами...

Вопрос спайки внутри партии, говорил я, является очень важным. Именно потому, что нам нужно, в частности, заставить коммунистов — ответственных ра-

<sup>4</sup> В денежном исчислении тех лет.

ботников отчитываться перед рядовой массой. Это является одним из условий моральной спайки между теми и другими.

В докладе большое место заняли вопросы агитационной, пропагандистской и образовательной работы.

Это и понятно. Горские народы, кроме осетин и кумыков, не имели тогда еще своей письменности. Процент неграмотных и малограмотных в крае был очень высокий. Газет и журналов крайне мало. Читали их у нас тогда только в городах, в деревню они попадали редко и то с большим опозданием, «не уходя» часто дальше стен исполкомов и местных партийных комитетов. Газета, выходящая, например, в Новороссийске, распространялась в 15 из 211 населенных пунктов, а без газеты нечего было и говорить о живой агитационно-пропагандистской работе!

Я доложил пленуму о мерах, которые мы принимаем для укрепления издательской работы в крае; об организации самостоятельного издательства, о выпуске трех новых журналов («Известия Югвостбюро ЦК», специальный журнал Крайэкономсовета, посвященный местным хозяйственно-экономическим вопросам, и журнал для молодежи), об укреплении существующих газет («Советский Юг», «Искра» и «Хлебороб») и более широкого их распространения среди населения, а также о создании собственной полиграфической базы для выпуска литературы, читаемой людьми нерусской национальности, и т. п.

Обсуждение отчетного доклада показало, что актив правильно нас понял.

В принятом решении наряду с признанием правильности политической линии и удовлетворительной работы Юго-Восточного бюро ЦК указывалось, что «пленум одобряет наметившееся со стороны Юго-Восточного бюро твердое руководство партработой края, что при слабости пролетарского ядра во многих парторганизациях является особенно необходимым.

Очередной первостепенной задачей считать ликвидацию остатков прежних трений между Юго-Восточным бюро ЦК и губернскими и областными организациями, так как без этого условия создание полного единства краевой организации невозможно.

Это решение явилось как бы новым шагом в работе Югвостбюро ЦК. Появилась большая уверенность в успехе дела.

Вскоре после этого, в самых первых числах августа 1922 года, я выехал в Москву для участия в работе XII Всероссийской партийной конференции.

## НА XII ВСЕРОССИЙСКОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

В конце мая 1922 года у Ленина произошел первый приступ болезни, и Владимир Ильич лечился.

Поэтому естественно, что все мы, делегаты XII Всероссийской партконференции, собравшись в Кремле, с особым волнением ждали сообщения о здоровье Владимира Ильича.

4 августа 1922 года, открывая по поручению ЦК Всероссийскую партийную конференцию, Каменев сразу же коснулся этого вопроса.

Мы узнали, что, по заключению авторитетнейших врачей, как русских, так и иностранных, здоровье Владимира Ильича, его силы не только восстанавливаются, но, можно сказать, уже восстановились. Владимиру Ильичу нужен только временный отдых. Члены Политбюро, которые за последние две недели имели возможность видеть Владимира Ильича и беседовать с ним по ряду текущих вопросов, интересующих и волнующих партию, могут это подтвердить. Владимир Ильич готовится вскоре занять свой боевой пост. Речь идет сейчас только о том, чтобы партия предоставила ему возможность закончить необходимый отдых...

Помню, как все мы тогда облегченно вздохнули и с каким-то особым подъемом, бурно и долго аплодировали по поводу этого радостного сообщения...

В зале вспыхнула новая дружная овация, когда представитель петроградской

делегации внес предложение принять специальное решение: «Всероссийская конференция Российской Коммунистической партии, заслушав сообщение о быстром восстановлении сил товарища Ленина, шлет свое приветствие вождю пролетарской революции».

На следующий день на вечернем заседании с внеочередным заявлением выступил Сталин. Он сказал: «Я имею заявить, что сегодня был вызван к товарищу Ленину и он в ответ на приветствие конференции уполномочил меня передать вам, что благодарит за приветствие. Он выразил надежду, что не так далек тот день, когда он вернется в наши ряды на работу»<sup>5</sup>.

В ответ на это сообщение в зале вновь раздалась буря аплодисментов. Когда они стихли, конференция перешла к деловому обсуждению очередного доклада.

...Во время конференции у меня, да и у ряда других делегатов возникло недоумение, почему Сталин, в ту пору уже Генеральный секретарь ЦК партии, держался на этой конференции так подчеркнуто в тени.

Кроме краткого внеочередного выступления о посещении Ленина в связи с нашим приветствием, он не делал на конференции ни одного доклада и не выступал ни по одному из обсуждавшихся вопросов.

Это не могло не броситься в глаза.

Зиновьев, например, выступал на конференции почему-то даже с двумя докладами — об антисоветских партиях и о предстоящем IV конгрессе Коминтерна, в то время как Сталин, бесспорно, мог бы подготовить и доложить вопрос, скажем, об антисоветских партиях ничуть не хуже Зиновьева, поскольку материалов и источников информации у него было не меньше, да и знал он этот вопрос не хуже его. Зиновьев вообще держался на конференции чрезмерно активно, изображая из себя в отсутствие Ленина как бы руководителя партии.

Наконец, если открыл конференцию вступительной речью Каменев, то было вполне естественно, чтобы с речью о закрытии конференции выступил Генеральный секретарь ЦК партии, а получилось так, что председательствующий на последнем заседании Зиновьев почему-то предоставил слово для закрытия конференции Ярославскому.

«Ретивость» Зиновьева я отнес тогда за счет его особой «жадности» на всякие публичные выступления и его стремления непомерно выпячивать свою персону — этим он уже славился.

Но поведение Сталина, как я уже говорил, вызывало недоумение. Вначале я подумал, не было ли это проявлением его чрезмерной скромности. Ведь скромность — одна из лучших черт коммуниста, особенно если он руководящий деятель.

Но в данном случае такая скромность уже выходила за пределы необходимого.

Я никак не мог понять, почему Сталин так себя ведет. Что это — действительно только скромность? А может быть, тактика? И какая?

Во всяком случае, такое поведение Генерального секретаря, как я понимал, не мешало, а скорее содействовало сплочению сложившегося руководящего ядра партии. Оно повышало в глазах делегатов личный престиж Сталина.

Известно было, что никаких особых разногласий в руководстве тогда не было, и в связи с этим чувствовалась общая удовлетворенность делегатов тем, что, работая все эти годы вместе с Лениным, они продолжают дружно работать и теперь, когда Ленин из-за болезни уже не мог принимать такого активного участия в работе ЦК, как раньше.

Конференция заслушала доклады Сокольников о международном положении, Томского о профсоюзах, Куйбышева о партийной работе в кооперации, а также Зиновьева, как я уже говорил, об антисоветских партиях и о конгрессе Коминтерна. О проекте нового Устава партии доклад сделал Молотов.

Надо сказать, что хотя для большинства делегатов конференции, прибывших

<sup>5</sup> «Всероссийская конференция РКП(б)», бюллетень № 2, стр. 59.

с мест, доклады о международном положении и о IV конгрессе Коминтерна имели по преимуществу информационное значение, выслушаны они были с большим интересом и вниманием.

Конференция одобрила линию партии в международной политике. Одобрила и деятельность исполкома Коминтерна, причем конференция высказалась за то, чтобы в нашей делегации на предстоящем IV конгрессе Коминтерна были представлены и нацкомпартии.

Доклад и выступления делегатов о профсоюзах показали, что опыт работы профсоюзов подтвердил правильность решений X и XI съездов партии, принятых при непосредственном участии Ленина. Отметили немало недостатков в практике работы коммунистов в профсоюзах, однако каких-либо новых, принципиальных вопросов в области задач или организации работы профсоюзов на конференции не выдвигалось.

Вопрос о партийной работе в кооперации представлял тогда для нас особый интерес в связи с повышением роли кооперации в условиях нэпа и борьбы с частным капиталом. Вопрос этот особенно интересовал тогда и меня, поскольку в своем крае я уже столкнулся с клубком противоречий и трудностей, возникших перед партией в этой области.

Наиболее сильной и всеохватывающей была тогда потребительская кооперация, объединявшая и крестьян и рабочих и выполнявшая задачи непосредственных торговых связей между городом и деревней. Членство рабочих в потребкооперации было тогда обязательным.

Правда, в те годы кое-где на местах раздавались голоса за выделение рабочей кооперации из общегражданской. Но XII партийная конференция высказалась решительно против этого, подчеркнув особое значение единой потребительской кооперации для крестьян и рабочих. Это создавало лучшие условия для укрепления рабочего влияния в руководстве потребительской кооперацией и способствовало общему упрочению союза рабочего класса и крестьянства. Кроме того, отмечалось, что в условиях нэпа кооперативные формы являются наилучшими для организации обмена товарами между городом и деревней, ограничивающими участие в этом частного капитала.

Положение в потребительской кооперации, а также задачи партийных организаций в области ее дальнейшего укрепления были в общем совершенно ясны.

Гораздо сложнее обстояло дело в сельскохозяйственной, промысловой и кредитной кооперациях.

На конференции шла речь о том, чтобы уничтожить дух вражды, нездоровой конкуренции и разлада, который существовал между этими видами кооперации. При этом указывалось, что кредитная кооперация может стать важным средством для ликвидации трений между раздробленными видами кооперации в деревне.

Выдвигалось предложение об обязательной интеграции всех видов кооперации, включая и потребительскую, в единый кооперативный союз. Такое объединение обосновывалось необходимостью согласования действий разных видов кооперации и желанием покончить с раздробленностью и конкуренцией между ними.

Это предложение конференция отвергла, поскольку создание принудительного кооперативного интеграла «убило бы самостоятельность и лишило бы деревенскую кооперацию основных стимулов развития»<sup>6</sup>.

Конференция наметила ряд практических мер в области развития кооперации: допуск добровольного слияния отдельных видов кооперации в смешанные кооперативы и союзы в тех местах, где это вызывалось жизненной необходимостью и не причиняло ущерба пролетарскому влиянию на кооперативную работу; создание совместных предприятий на акционерных началах или договорных соглашениях; создание совместной торговой сети и взаимного хозяйственного обслуживания на основах коммерческой целесообразности; организация совместных учебных курсов, издательств и т. п.

<sup>6</sup> «КПСС в резолюциях...», т. 1, стр. 668.

Партия ставила перед кооперацией задачу всемерной поддержки маломощных слоев крестьянства и кустарей, подчеркивая при этом роль кредитной кооперации, которая наряду с государственным сельскохозяйственным кредитованием приобретала особое значение для дальнейшего развития и сельскохозяйственной и промысловой кооперации.

Надо сказать, что политическое положение внутри кооперативных союзов было тогда крайне сложным. Еще не было осуществлено объединение существовавших коммун с сельскохозяйственной кооперацией. Союзы кооператоров охватывали тогда в большей части верхушечные слои деревни. Поэтому всеми их делами заправляли главным образом кулаки и зажиточные крестьяне. В кооперацию бросились и остатки эсеров, вскоре окопавшиеся почти во всех звеньях руководящих органов, прежде всего сельскохозяйственной кооперации. Это было мне известно по опыту работы в Нижнем Новгороде, да и в Ростове. Большевики орудовали в промысловой и — в несколько меньшей степени — потребительской кооперациях.

На конференции приводился такой характерный факт: на первом Всероссийском съезде сельскохозяйственной кооперации, состоявшемся летом 1921 года, из 84 делегатов с решающим голосом было 32 эсера, 25 кадетов (конституционных монархистов), 21 — беспартийных и «невьясненных» и только два коммуниста.

Такое поразительное соотношение сил на этом съезде объяснялось, помимо всего прочего, конечно, и тем, что в те годы партия, поглощенная борьбой за существование советской власти, не могла еще уделить должного внимания кооперации. Поэтому в решениях XII Всероссийской конференции особо подчеркнута задача укрепления работы партии в кооперации, в первую очередь сельскохозяйственной, и необходимость направления для работы в ее органах опытных коммунистов-хозяйственников.

Правда, за последний год положение в кооперации заметно улучшилось. Делегаты конференции говорили, что к руководству кооперативными органами начинают постепенно приходить коммунисты.

Но на этом нельзя успокаиваться и приуменьшать опасность, исходящую от эсеров, все еще крепко гнездившихся в союзах сельскохозяйственной кооперации, где они, кстати сказать, своей практической работой завоевали доверие зажиточных крестьян — членов сельхозкооперативов. (На такой ошибочной позиции недооценки роли эсеров стоял тогда, в частности, Осинский, выступление которого на конференции было подвергнуто критике.)

Тогда еще не было знаменитой статьи Ленина «О кооперации», великое историческое значение которой состояло в том, что она предопределяла пути перехода крестьянства на социалистический путь развития через кооперацию, рассматривая ее как одну из важнейших предпосылок окончательной победы социализма в Стране Советов. Статья эта была передана Крупской в ЦК и опубликована в мае 1923 года.

На конференции говорилось о том, что чиновничество и та часть интеллигенции, которая раньше придерживалась тактики саботажа советской власти, в самое последнее время заняли позицию «примирения» с фактом существования советского строя и начали «приспосабливаться» к нему, имея, однако, тайные надежды, что переход к нэпу постепенно, но неизбежно приведет Советское государство к буржуазному перерождению.

В этой связи нельзя считать «случайным» использование некоторыми из представителей мнимобеспартийной верхушки интеллигенции легальных возможностей в антисоветских целях, как это имело место на всероссийском съезде врачей, на агрономическом съезде, на съезде работников сельскохозяйственной кооперации, а также в практике работы отдельных организаций, в частности пресловутого «Прокукиша», о котором я уже писал в своих воспоминаниях<sup>7</sup>.

Все это требовало от нашей партии изменения методов борьбы с антисовет-

<sup>7</sup> См. «Новый мир», 1972, № 10.

скими проявлениями. Говоря современным языком, надо было применительно к новым условиям обновить арсенал оружия идеологической борьбы.

Вот почему XII партийная конференция приняла специальное развернутое решение «Об антисоветских партиях и течениях». В этом решении сказано, что партия не может не обратить самого пристального внимания на то, как в условиях новой экономической политики оживилась контрреволюционная деятельность, прежде всего эсеров и меньшевиков.

Характерно при этом, что антисоветские партии и течения меняли свою обычную тактику борьбы с советской властью. Приспосабливаясь к новым условиям, они стремились, опираясь на европейскую капиталистическую реакцию, обойти советскую власть, так сказать, с тыла.

Возникла острейшая необходимость обратить самое серьезное внимание на те организации нашей общественной жизни, которые остались наиболее доступными для влияния антисоветских партий и течений. Это: кооперация, в особенности сельскохозяйственная, учебные заведения, профсоюзы (не производственные и не чисто пролетарские по своему составу), культурно-просветительное движение молодежи, издательское дело и т. п.

Это те «командующие высоты», которые партия должна завоевать и удерживать в своих руках.

В решении XII партконференции сказано: «Более чем когда бы то ни было партийным организациям в настоящее время необходимо проявить дифференцированное отношение к каждой отдельной группе (или даже отдельному лицу) представителей науки, техники, медицины, педагогики и пр. и т. п. По отношению к действительно беспартийным элементам из среды представителей техники, науки, учительства, писателей, поэтов и т. д., которые хотя бы в основных чертах поняли действительный смысл совершившегося великого переворота, необходима систематическая поддержка и деловое сотрудничество... Партия должна терпеливо, систематически и настойчиво проводить именно эту линию для того, чтобы облегчить указанным элементам переход к сотрудничеству с Советской властью»<sup>8</sup>.

Это решение было очень своевременным. Оно вполне отвечало требованиям изменившихся условий идеологической борьбы за цели нашей партии.

Я уже говорил, что XII конференция заслушала доклад о проекте нового Устава партии.

Выполняя поручение XI партийного съезда, ЦК партии еще в мае 1922 года создал Комиссию по пересмотру Устава РКП(б) под председательством Молотова. Эта комиссия выработала проект нового Устава, предложив его для обсуждения на конференции.

Конференция, в свою очередь, выделила специальную Уставную секцию, которая скрупулезно, пункт за пунктом обсудила представленный комиссией ЦК проект Устава, а также все поступившие по этому вопросу предложения и пожелания от партийных организаций и от отдельных партийцев. Я знаю об этом потому, что сам был избран конференцией в состав Уставной секции и принимал в ее работе активное участие.

На конференции ни комиссия ЦК партии, ни Уставная секция не предлагали пересматривать Устав в целом. Речь шла лишь о том, чтобы отразить в партийном Уставе, утвержденном в 1919 году, те решения, которые приняты по вопросам уставного порядка за прошедшие три года на съездах, конференциях и пленумах ЦК партии, внося в некоторые из них те или иные поправки и дополнения, подсказанные практикой партийной жизни. В частности, предлагалось проводить Всероссийские партийные конференции не два раза (как было раньше), а один раз в год, в промежутки между партийными съездами. Кроме того, было внесено предложение, чтобы ЦК рассылал письменные отчеты о своей деятельности в губкомы не ежемесячно, а один раз в два месяца, и т. п.

Эти предложения нашей Уставной секции были единодушно приняты конференцией.

<sup>8</sup> «КПСС в резолюциях...», часть 1, стр. 672—673.

Следует отметить, что в разделе нового Устава, излагавшего схему организации партии, впервые предусмотрены «областные бюро ЦК», объединявшие ряд губкомов партии в крупных экономических районах: короче говоря, Устав узаконивал то, что существовало на практике и нередко вызывало споры.

Под термином «областное бюро ЦК» понимались и «краевые бюро ЦК», и поэтому, хотя накануне XII конференции мы у себя на Северном Кавказе и добились снятия вопроса о ненужности Юго-Восточного бюро ЦК, этот новый пункт партийного Устава как бы закреплял положение в нашей краевой организации.

После принятия Устава партии и приветственных речей представителей братских зарубежных коммунистических партий Клары Цеткин (Германия), Раппопорт (Франция) и Грамши (Италия) XII Всероссийская партконференция закончила свою работу.

Закрывая конференцию, Емельян Ярославский под бурные аплодисменты делегатов выразил нашу общую уверенность, что, как и наша конференция, «ближайший наш партийный съезд пройдет под непосредственным руководством гсварища Ильича...».

*(Продолжение следует)*



---

*Дважды Герой Советского Союза,  
Маршал Советского Союза*

**А. М. ВАСИЛЕВСКИЙ**



## **ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ\***

### **ОСВОБОЖДЕНИЕ ДОНБАССА**

**С**окрушительное поражение немецко-фашистских войск на Курской дуге обусловило крах всех замыслов гитлеровского командования, положенных им в основу летней кампании 1943 года. Стратегический фронт врага на орловском и харьковском направлениях рухнул. Естественно, в Берлине думали о том, чтобы стабилизировать линию фронта, остановить победное продвижение советских войск и удержать в своих руках угольно-металлургические базы Донбасса и Криворожья и плодородные земли Украины. Но для этого врагу нужна была передышка, чтобы создать и подтянуть резервы.

Советское Верховное Главнокомандование, претворяя в жизнь разработанный ранее и принятый на летне-осеннюю кампанию 1943 года стратегический план, используя благоприятную обстановку, сложившуюся под Курском, решило незамедлительно расширить фронт наступления наших войск на юго-западном направлении. Перед Центральным, Воронежским, Степным, Юго-Западным и Южным фронтами были поставлены задачи разгромить главные силы врага на одном из центральных участков и на всем южном крыле советско-германского фронта, освободить Донбасс, Левобережную Украину и Крым, выйти на Днепр и захватить плацдарм на его правом берегу. Предусматривалось, что Центральный, Воронежский и Степной фронты выйдут на среднее течение Днепра, а Юго-Западный и Южный — на нижнее. Одновременно готовились операции севернее и южнее: основными силами Западного и левого крыла Калининского фронтов планировалось нанести поражение 3-й танковой и 4-й полевой армиям немецкой группы армий «Центр», выйти к Духовщине, Смоленску и Рославию, чтобы отодвинуть подальше от Москвы линию фронта, создать благоприятные условия для освобождения Белоруссии и лишить фашистов возможности перебрасывать отсюда силы на юг, где решалась основная задача кампании. Северо-Кавказский фронт во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской флотилией должен был очистить Таманский полуостров и захватить плацдарм у Керчи. Таким образом, Ставка планировала провести общее наступление на фронте от Великих Лук до Черного моря.

Этот крупный по замыслу и участвовавшим в его выполнении силам план осуществлялся в ходе следующих операций: Смоленская — с 7 августа по 2 октября (со взятием Смоленска и Рославию, начало освобождения Белоруссии); Донбасская — с 13 августа по 22 сентября (освобождение Донбасса); по освобождению Левобережной Украины — с 25 августа по 30 сентября (прорыв к Днепру); Черниговско-Припятская — с 26 августа по 1 октября (освобождение Черниговской области); Брянская — с 1 сентября по 3 октября (продвижение от Среднерусской возвышенности к бассейну Десны); Новороссийско-Таманская — с 10 сентября по 9 октября (завершено освобождение Кавказа); Мелитопольская — с 26 сентября по 5 ноября (выход к Крымскому перешейку); Керчен-

---

\* Продолжение. Начало см. «Новый мир» №№ 4-5 с г



ская десантная (захват плацдарма в Восточном Крыму). Как видим, ни одна из этих операций не начиналась и не заканчивалась в одно и то же время. Они как бы перекрывали друг друга, являясь последовательными лишь в самом общем смысле. Тем самым враг вынужден был дробить свои резервы, перебрасывая их с участка на участок, пытаясь закрыть на фронте то там, то тут гигантские бреши, проделываемые в его обороне советскими войсками.

6 августа, то есть буквально на второй день после того, как родина отпраздновала освобождение Орла и Белгорода, мы с Г. К. Жуковым, на которого была возложена координация действий войск Воронежского и Степного фронтов, получили из Ставки директиву, в которой говорилось, что представленный Г. К. Жуковым план действий Воронежского и Степного фронтов по разгрому врага в районе Харькова утвержден. При этом правифланговая 57-я армия Юго-Западного фронта передавалась Степному фронту, чтобы ударом в обход Харькова с юга помочь главной группировке овладеть Харьковом. Тем временем Юго-Западный и Южный фронты обязаны были подготовиться, а затем и провести операции по освобождению Донбасса. Первый из них должен был нанести удар в направлении Горловки и Сталино от берегов Северского Донца на юг, второй — от Ворошиловграда и реки Миус на запад, соединяясь в районе Сталино с соседом. Готовность этих двух фронтов к выполнению задачи устанавливалась 13—14 августа. 10 августа мне предстояло дать Ставке на утверждение план их действий. На меня же возлагалась и дальнейшая их координация<sup>1</sup>.

Мы встретились с Г. К. Жуковым возле старинного городка Корочи и договорились о том, как будем увязывать работу Степного и Юго-Западного фронтов. На следующий день мы с Р. Я. Малиновским обсуждали задачи войск Юго-Западного фронта по освобождению Донбасса с севера.

Донбасс фашисты стремились удержать в своих руках во что бы то ни стало, а потому делали все возможное, чтобы превратить его в хорошо укрепленный оборонительный район. «Оставление Донбасса и Центральной Украины повлечет за собой утрату важнейших аэродромов, большие потери в продуктах питания, угле, энергетических ресурсах, сырье», — писал генерал-фельдмаршал В. Кейтель в своем официальном докладе того времени. Передний край главной оборонительной полосы немцев, прикрытый рядами проволочных заграждений и минными полями, проходил по Северскому Донцу и Миусу. За передним краем шли оборонительные рубежи по рекам Кринка, Мокрый Еланчик, Конка, Берда, Кальмиус, Волчья и Самара. На переднем крае и в глубине укрепленного района было построено много деревоземляных и железобетонных сооружений. 11 августа 1943 года Гитлер отдал дополнительный приказ о строительстве стратегического рубежа обороны, который стал известен у немцев под названием Восточного вала, от Утлюкского лимана через горько-соленое Молочное озеро и далее по линии реки Молочной, среднего течения Днепра, реки Сож, через Оршу, Витебск, Псков и по реке Нарве.

Оборону Донбасского района гитлеровское командование возложило на 1-ю танковую и 6-ю полевую армии, входившие в группу армий «Юг» и насчитывавшие до 22 дивизий. Ими командовали опытные военачальники, генерал-полковники Макензен и Холлидт. Первый был родственником генерал-фельдмаршала Августа Макензена, известного еще по первой мировой войне. Отпрыск потомственных немецких генералов успел «отличиться» не только на полях сражений. Зимой 1943 года он ограбил в Пятигорске эвакуированный туда Ростовский музей изобразительных искусств, присвоив полотна и скульптуры великих мастеров кисти и резца. Что касается Холлидта, то его армии мы уже били на Дону. Теперь предстояло встретиться с ними вновь.

Присутствуя к разработке плана наступательной операции, мы с генералом армии Малиновским отлично сознавали, что наши войска встретят серьезное сопротивление. Предельно сжатые сроки подготовки операции вынуждали считаться с уже сложившейся к тому времени группировкой войск на фронте. К моему приезду у Малиновского был проект решения. Его-то после рассмотрения мы и положили в основу дальнейшего обсуждения. В результате многочасовой работы, в которой приняли участие члены Военного совета генерал-лейтенант А. С. Желтов и руководящие работники

<sup>1</sup> Архив МО СССР, ф. 132-А, оп. 2642, д. 34, л. 183.

штаба фронта, было принято окончательное решение нанести главный удар южнее города Изюм через Барвенково на Лозовую, Павлоград и Синельниково, используя в качестве исходного положения захваченные ранее плацдармы на западном берегу Северского Донца. К участию в операции привлекались армии: 6-я генерал-лейтенанта И. Т. Шлемина, 12-я генерал-майора А. И. Данилова, 8-я гвардейская генерал-лейтенанта В. И. Чуйкова, 23-й танковый, 1-й гвардейский механизированный и 1-й кавалерийский корпуса, а также вся фронтовая авиация 17-й воздушной армии, которой командовал генерал-лейтенант В. А. Судец. Совместно с концентрическим ударом главных сил Южного фронта эти армии должны были отрезать донбасской группировке врага путь отхода на запад, к Нижнему Днепру. Правифланговую на этом фронте 46-ю армию генерал-майора В. В. Глаголева, занимавшую фронт южнее Харькова, мы намеревались вывести к началу операции в район Сватова, чтобы использовать ее в ходе операции под городом Сталино для завершения разгрома донбасской группировки противника. По требованию Ставки мы вынуждены были использовать ее вместе с войсками 1-й гвардейской армии генерал-полковника В. И. Кузнецова и во взаимодействии с войсками 57-й армии генерал-лейтенанта Н. А. Гагена (Степного фронта) для удара на Змиев, чтобы обеспечить Степному фронту маневр по обходу Харькова с юга и юго-запада.

8 августа принятое нами решение с указанием конкретных задач армиям, танковому, механизированному и кавалерийскому корпусам было направлено на рассмотрение Ставки. Одновременно я доложил общие соображения и об операции Южного фронта, согласовав их предварительно с комфронта генерал-полковником Ф. И. Толбухиным. В ходе операции для наступления с востока на Сталино имелось в виду привлечь 5-ю ударную, 2-ю гвардейскую и 28-ю армии, 2-й и 4-й гвардейский мехкорпуса, 4-й кавкорпус и всю авиацию Южного фронта. Прорыв обороны врага предполагалось осуществить к северу от селения Куйбышево в полосе десяти—двенадцати километров, обеспечив здесь плотность артогня не менее чем 120 стволов на километр. Удар намечалось нанести через Донецко-Амвросиевку и Старо-Бешево, в обход города Сталино с юга, выходя навстречу Юго-Западному фронту<sup>2</sup>. Учитывая слабый состав сил Южного фронта, я просил разрешить начать операцию двумя сутками позже Юго-Западного.

В связи с тем, что мне казалось более целесообразным свое основное внимание в подготовительный к операции период сосредоточить на помощи командованию Южного фронта, я поручил Р. Я. Малиновскому работу по подготовке Юго-Западного фронта взять всецело на себя, а сам отправился на Южный фронт и в ночь на 9 августа был на фронтовом КП Ф. И. Толбухина, расположившемся в селении Грибоваха, неподалеку от города Шахты, а также от Краснодона, где в те дни стала раскрываться в деталях высокая трагедия подпольной организации «Молодая гвардия». В работе над планом операции принимали участие генерал-полковник Ф. И. Толбухин (это была первая его операция, которую он должен был проводить в роли комфронта) и хорошо известные мне начальник штаба фронта генерал-лейтенант С. С. Бирюзов и член Военного совета генерал-лейтенант К. А. Гуров. Проблема, которая тогда занимала нас, заключалась в том, что предстояло прежде всего прорвать создававшийся гитлеровцами в течение длительного времени и очень тяжелый так называемый «миусский фронт обороны». В результате обсуждения было признано наиболее целесообразным осуществить прорыв на предельно узком участке силами 5-й ударной армии генерал-лейтенанта В. Д. Цветаева и 2-й гвардейской армии генерал-лейтенанта Г. Ф. Захарова, создав здесь высокую плотность огня. В дальнейшем этим армиям предстояло развивать наступление на Волноваху и Пологи, проходя степными просторами, где когда-то буйствовали банды Махно. 51-я армия генерал-лейтенанта Я. Г. Крейзера должна была одновременно прорывать фронт севернее, на смежном участке в направлении на Снежное, Иловайск и Сталино.

В ночь на 10 августа Ставка ответила, что предложения о действиях фронтов Р. Я. Малиновского и Ф. И. Толбухина утверждаются. Разрешалось также в случае необходимости прибавить к намечаемым нами срокам наступления два дня<sup>3</sup>. Мы с Толбухиным провели рекогносцировку на участках 5-й ударной и 2-й гвардейской армий с участием их командующих. В тот же день мой заместитель по Генштабу А. И. Антонов

<sup>2</sup> Там же. ф. 48-А, оп. 1691, д. 234, лл. 660—672.

<sup>3</sup> Там же. ф. 132-А, оп. 2642, д. 34, л. 184.

доложил мне по телефону, что командующему Центральным фронтом К. К. Рокоссовскому Ставка, исходя из ранее принятых и известных мне решений, дала указание подготовить и нанести удар на Унечу и отрезать брянскую группировку противника от Гомеля, содействуя Западному и Брянскому фронтам в разгроме ими брянско-рославльских сил противника.

Какая же вырисовывалась картина в целом? В ночь на 11 августа, когда я разговаривал с Верховным Главнокомандующим по телефону, И. В. Сталин сказал о ней примерно следующее: есть основания полагать, что задача разгрома харьковской группировки противника и овладения Харьковом войсками Воронежского и Степного фронтов в ближайшее время будет решена. Но при этом им необходима будет серьезная помощь со стороны Юго-Западного фронта. Фронт Малиновского (особенно его правое крыло) обязан будет не только прочно обеспечить удар войск Конева по Харькову с юга и юго-востока, но и своими до предела активными действиями способствовать тому.

Верховный потребовал от меня, чтобы вплоть до решения этой задачи, являвшейся в ближайшее время для юго-западного направления основной, я все свое внимание сосредоточил опять на Юго-Западном фронте. Мне разрешили провести вместе с командующим Южным фронтом уже назначенное на 11 августа инструктивное совещание с командованием армий, корпусов и начальниками родов войск. Однако не позднее 12 августа я должен был явиться на Юго-Западный фронт. И тогда же Сталин разрешил войскам Южного фронта начать операцию по прорыву обороны врага на реке Миус, 18 августа.

Совещание руководящего состава Южного фронта состоялось на участке за стыком 5-й ударной и 2-й гвардейской армий, в том месте, где степь прорезал пересыхающий летом донской рукав Тузлов. Ф. И. Толбухин сообщил собравшимся о предстоящей задаче и поставил конкретные задания каждой армии. Затем я вкратце ознакомил присутствующих с ходом событий на советско-германском фронте, более подробно информировал о событиях на его южном крыле и подчеркнул то огромное военное, политическое и экономическое значение, которое имеет операция по освобождению Донбасса, и о надеждах, которые возлагают ГКО и Ставка на войска Южного фронта. Долго и детально обсуждали мы пути проведения операции. Анализировали характер вражеской обороны, особенности реки Миус, которую предстояло форсировать, степень ожидаемого сопротивления противника, состав и местопребывание вражеских резервов. Договорившись по всем важнейшим пунктам организации прорыва и дальнейшего развития операции, я распрощался с командованием и, обняв его закончить всю подготовительную работу к утру 18 августа, уехал к Малиновскому.

Интенсивную подготовку войск и их штабов к предстоящей операции наряду с другими членами фронтового руководства осуществлял и начальник штаба Южного фронта С. С. Бирюзов. Он волновался не менее Толбухина, ибо тоже впервые участвовал в проведении подобной операции. Сергей Семенович, впоследствии начальник Генерального штаба и Маршал Советского Союза, принадлежал к тем нашим военачальникам, кто проявил себя сразу с началом Великой Отечественной войны. В июне 1941 года он был командиром дивизии, а в Сталинградской битве стал уже начальником штаба армии. Показателем его дальнейший путь: Бирюзов умело руководил фронтовыми штабами в ходе освобождения Донбасса, Таврии, Крыма, Молдавии и Болгарии. Однако сам Сергей Семенович считал себя прежде всего строевым начальником, умел и любил командовать воинскими соединениями и постоянно стремился к этому. Его мечта сбылась осенью 1944 года, когда он стал командующим 37-й армией, участвовавшей в освобождении Югославии. После войны С. С. Бирюзов замещал главнокомандующего Южной группой советских войск и председателя Союзной контрольной комиссии в Болгарии, затем руководил противовоздушной обороной страны, ракетными войсками стратегического назначения и позднее стал начальником Генштаба и первым заместителем министра обороны СССР. Если бы не трагическая гибель в результате аварии самолета, на котором он летел, Бирюзов успел бы сделать еще многое для укрепления мощи наших Вооруженных Сил. Решительный и волевой военачальник, требовательный и при необходимости суровый, он хорошо дополнял мягкого и сдержанного Ф. И. Толбухина. командовавшего в разное время Южным, IV и III Украинскими фронтами. На мой взгляд, их боевое содружество и совместная деятельность во фронтовом руководстве

являются примером едва ли не идеально удачного сочетания качеств двух крупных военачальников.

Поздним вечером 11 августа я нашел Р. Я. Малиновского на КП его фронта, организованном как раз на направлении главного удара (участок 12-й армии), и узнал, что на правом крыле фронта, в армиях В. В. Глаголева и В. И. Кузнецова, делается все, чтобы начать форсирование Северского Донца не позже чем через двое суток и что подготовка к переходу 16 августа в наступление главной группировки фронта к югу от Изюма тоже идет полным ходом. Решили, немного отдохнув, на рассвете отправиться на правое крыло фронта и 13 августа провести там, понаблюдать за тем, как наши войска будут выходить на железную дорогу Харьков — Лозовая и к истокам Орели. Затем командующий фронтом должен был вернуться на главное направление, а я остаться на правом крыле и поддерживать контакт со Степным фронтом.

Из телефонных разговоров с Г. К. Жуковым я узнал об успешном наступлении Воронежского и Степного фронтов. Войска Воронежского фронта выдвинулись к Боромле, Ахтырке, Котельве и перерезали железную дорогу Харьков—Полтава. Войска же Степного фронта подошли к харьковскому внешнему оборонительному обводу. Тогда же А. И. Антонов согласовал со мной подготовленные Генеральным штабом для доклада Ставке проекты директив Воронежскому и Степному фронтам по дальнейшим действиям на этом направлении. Уточнили мы задачи и Юго-Западного фронта. Антонов подтвердил уже имевшиеся у нас сведения о прибытии на харьковское направление южнее Богодухова трех танковых дивизий СС и подчеркнул, что И. В. Сталин придает исключительное значение скорейшему началу активных действий Юго-Западным фронтом. Следовало торопиться.

Рано утром 12 августа мы с Г. К. Жуковым получили директиву Ставки, в которой излагались уже известные нам задачи фронтов. Воронежскому фронту предписывалось, отрезав пути отступления харьковской группировке врага, овладеть далее Полтавой и форсировать Днепр у Кременчуга. Степному фронту после овладения Харьковом — взять Красноград Харьковской области и в дальнейшем форсировать Днепр севернее Днепропетровска. Юго-Западному фронту — пробиться к Днепру у Запорожья и пересечь маршруты отхода донбасской группировке фашистов. Нам поручалось ознакомить с директивой командующих фронтами Ватутина, Конева и Малиновского<sup>4</sup>. Для усиления войск Воронежского фронта почти тогда же Ватутину передали 4-ю гвардейскую армию генерал-лейтенанта Г. И. Кулика. С горьким чувством вспоминаю я этого человека. В начале войны он крайне неудачно выполнял задания Ставки на западном направлении, потом так же неудачно командовал одной из армий под Ленинградом и был лишен звания маршала. В силу своих отрицательных личных качеств и не умея организованно руководить действиями войск он не пользовался уважением.

Директиву Ставки по вышеупомянутому стратегическому плану получили командующие Западным (В. Д. Соколовский), Брянским (М. М. Попов) и Центральным (К. К. Рокоссовский) фронтами.

Усиленно работая вместе с Р. Я. Малиновским в войсках правого крыла Юго-Западного фронта, я тогда вплотную познакомился со стилем руководства командующего 46-й армией В. В. Глаголева. Опытный военачальник, он тщательно готовил свои соединения к выполнению поставленной перед ними задачи. Малиновский сообщил мне, что в 1-й гвардейской армии тоже все в порядке. Я доложил Верховному о возможности начать операцию в установленный срок.

С первого же дня наступления бои приняли напряженный, кровопролитный характер. Форсировав Северский Донец, войска Юго-Западного фронта завязали упорные бои за город Змиев, установив локтевую связь с 57-й армией Степного фронта. В ночь на 16 августа Змиев был взят. Затяжные и упорные бои вели в те дни войска И. С. Конева за Харьков. 16 августа, как намечалось планом, перешла в наступление главная группировка Юго-Западного фронта. Но она встретила крайне ожесточенное сопротивление врага. Противник сосредоточил здесь значительное количество танков, артиллерии и авиации, и хотя советские войска вклинились в фашистскую оборону, прорвать ее сразу они не смогли.

<sup>4</sup> Архив МО СССР. ф. 132-А. оп. 2642. д. 34. лл. 188—189.

Прежде чем продолжить рассказ о ходе проведения операций на харьковском направлении и по освобождению Донбасса, сделаю небольшое отступление, связанное с одним крайне неприятным для меня эпизодом.

Рано утром 17 августа, находясь на передовом КП 46-й армии, я получил от И. В. Сталина следующий документ: «Маршалу Василевскому. Сейчас уже 3 часа 30 минут 17 августа, а Вы еще не изволили прислать в Ставку донесение об итогах операции за 16 августа и о Вашей оценке обстановки. Я давно уже обязал Вас как уполномоченного Ставки обязательно присылать в Ставку к исходу каждого дня операции специальные донесения. Вы почти каждый раз забывали об этой своей обязанности и не присылали в Ставку донесений. 16 августа является первым днем важной операции на Юго-Западном фронте, где Вы состоите уполномоченным Ставки. И вот Вы опять изволили забыть о своем долге перед Ставкой и не присылаете в Ставку донесений...»

Это извещение потрясло меня. На протяжении всей своей военной службы я не получал ни одного, даже мелкого, замечания или упрека в свой адрес по поводу недисциплинированности. Вся моя вина в данном случае состояла в том, что 16 августа, находясь в войсках армии В. В. Глаголева в качестве представителя Ставки, я действительно на несколько часов задержал очередное донесение И. В. Сталину. На протяжении всей своей работы с И. В. Сталиным, особенно в период Великой Отечественной войны, я неизменно чувствовал его внимание и, я бы сказал, чрезмерную заботу, как мне казалось, далеко мной не заслуженные. И вдруг такой грозный, в раздраженном тоне окрик. Что же произошло? По возвращении на КП фронта я тотчас связался по телефону со своим первым заместителем по Генштабу А. И. Антоновым. Чувствовалось, что тот был страшно взволнован происшедшим и стремился всячески успокоить меня. Он сказал, что мое донесение, за которое на меня обрушился Сталин, было Генштабом получено и доложено в Ставку. Однако это было уже после того, как мне направили послание Сталина. Антонов, успокаивая меня, добавил, что получил указание Сталина никого с этим письмом не знакомить и хранить его у себя. Доложил он мне также и то, что слабое развертывание наступления на Воронежском, Степном и Юго-Западном фронтах обеспокоило Верховного. Не получив моего донесения, Сталин пытался связаться со мной по телефону, но и это не удалось сделать. И тогда он продиктовал Антонову процитированный выше документ.

О неудовлетворенности Сталина в те дни ходом событий на юго-западном направлении говорит и тот факт, что одновременно со мной примерно такие же резкие по тону документы были направлены в адрес и некоторых других военачальников данного стратегического направления. Все они свидетельствуют о том, что Верховный Главнокомандующий очень внимательно следил за ходом фронтовых событий, быстро реагировал на все изменения в них и твердо старался держать управление войсками в своих руках. В ночь на 22 августа А. И. Антонов по указанию Сталина ознакомил меня с директивой, отправленной командующему Воронежским фронтом Н. Ф. Ватутину: «События последних дней показали, что Вы не учли опыта прошлого и продолжаете повторять старые ошибки как при планировании, так и при проведении операций. Стремление к наступлению всюду и к овладению возможно большей территорией, без закрепления успеха и прочного обеспечения флангов ударных группировок, является наступлением огульного характера. Такое наступление приводит к распылению сил и средств и дает возможность противнику наносить удары во фланг и тыл нашим далеко продвинувшимся вперед и не обеспеченным с флангов группировкам и бить их по частям. При таких обстоятельствах противнику удалось выйти на тылы 1-й танковой армии, находившейся в районе Алексеева, Ковячи, затем он ударил по открытому флангу соединений 6-й гвардейской армии, вышедших на рубеж Отрада, Вязовая, Панасовка, и, наконец, противник 20 августа нанес удар из района Ахтырка на юго-восток, по тылам 27-й армии, 4-го и 5-го гвардейских танковых корпусов.

В результате этих действий противника наши войска понесли значительные потери, а также было утрачено выгодное положение для разгрома харьковской группировки противника. Я еще раз вынужден указать Вам на недопустимые ошибки, неоднократно повторяемые Вами при проведении операций, и требую, чтобы ликвидация ахтырской группировки противника как наиболее важная задача была выполнена в ближайшие дни. Это Вы можете сделать, так как у Вас есть достаточно средств. Прошу не разбра-

сываться, не увлекаться задачей охвата Харьковского плацдарма со стороны Полтавы, а сосредоточить все свое внимание на реальной и конкретной задаче — ликвидации ахтырской группировки противника, ибо без ликвидации этой группы противника серьезные успехи Воронежского фронта стали неосуществимыми. И. Сталин»<sup>5</sup>.

В тот вечер я получил директиву Ставки на имя Г. К. Жукова. В ней говорилось: «План наступления Воронежского фронта с целью к 20.8 овладеть Ахтырка явным образом не удался. Операция по разгрому харьковской группировки противника также затянута. Ставке Верховного Главнокомандования неизвестно, по какому плану действуют сейчас Воронежский и Степной фронты. Ставка требует, чтобы Вы представили план операции по ликвидации ахтырской группировки противника и овладению плацдармом Ахтырка, Котельва, Колонтаев, Пархомовка. Для этого недостаточно вовлечь в дело отдельные армии и танковые корпуса. Для этого необходимо организовать прорыв фронта противника с привлечением основных сил артиллерии и авиации, подобно тому как это было организовано севернее Белгорода. Эта операция по времени должна быть согласована с прорывом обороны противника на стыке Степного и Юго-Западного фронтов. Руководство организацией прорыва на правом крыле Юго-Западного фронта и взаимодействии его со Степным фронтом возложено на тов. Александра [Василевский], который должен поддерживать с тов. Юрьевым [Жуков] прочную связь. Правое крыло Юго-Западного фронта может начать наступление 26—27.8. План операции представьте к исходу дня 22.8, с тем чтобы начать переселение Воронежского и Степного фронтов не позже 27.8. Ставка Верховного Главнокомандования»<sup>6</sup>.

Вернусь к Донбасской операции. 18 августа я прибыл на КП Юго-Западного фронта, расположенный непосредственно на западном берегу Северского Донца. Обсудив с Малиновским создавшуюся обстановку, мы решили подготовить 19 августа повторную атаку, усилив ударную группировку фронта всем чем только можно было за счет второстепенных участков и сократив до минимума ширину прорыва вражеской обороны. Но и эта атака желаемого успеха не принесла. Нам было известно, что противник, в свою очередь, тоже подтянул к атакуемому участку все что мог, до предела оголив соседние зоны. Поэтому мы приняли решение использовать это, прекратить здесь бесполезные атаки и скрытно перегруппировать необходимые силы несколько южнее. Правда, здесь нам предстояло форсировать Северский Донец. Основную роль мы отводили при этом 8-й гвардейской армии. По нашим подсчетам, на перегруппировку войск и на подготовку нового удара требовалось пять-шесть суток. С таким предложением от себя лично и командования фронта я обратился к И. В. Сталину во время доклада по телефону о сложившейся обстановке. А она снова не радовала: Степной фронт все еще вел затяжные бои за Харьков, а Воронежский, действовавший севернее, не только не добился успеха, но и подвергся довольно чувствительным контрударам в районе Ахтырки. Сталин был недоволен, разговаривал весьма нелюбезно, сделал ряд справедливых, а отчасти и не совсем обоснованных упреков и мне и в адрес фронтового командования. Все же наше предложение было принято, и мы получили разрешение начать операцию на новом участке 27 августа. Затем речь перешла к событиям на Южном фронте. Здесь дела шли успешнее. После мощной артиллерийской и авиационной подготовки 5-я ударная армия генерал-лейтенанта В. Д. Цветаева в первый же день наступления сломала сопротивление противника, прорвала его оборону и продвинулась на десять километров. В ночь на 19 августа в прорыв ввели 4-й гвардейский мехкорпус Т. И. Танасчишина, который за сутки продвинулся на двадцать километров, вышел на реку Крынка, захватил там плацдарм и создал угрозу перехвата железной дороги Амвросиевка — Сталино. В течение двух следующих дней ударная группировка фронта не только успешно отражала многократные контратаки фашистов, но и продолжала развивать наступление, расширяя прорыв. В результате силы противника, действовавшие против Южного фронта, уже в первые дни операции оказались расчлененными на две части с обнаженными флангами в месте прорыва. Я доложил Сталину, что считаю обстановку на Южном фронте многообещающей. Он согласился на мое возвращение к Толбухину, но лишь после успешного решения харьковской задачи.

<sup>5</sup> Архив МО СССР, оп. 13, д. 11556, лл. 260—261.

<sup>6</sup> Там же, ф. 132-А, оп. 2642, д. 34, л. 203.

22 августа я посетил командующего Степным фронтом генерал-полковника И. С. Конева. К тому времени его войска охватили Харьков с нескольких сторон. Конев, получивший сведения о попытках противника уйти из Харькова, отдавал последние указания по штурму города и окончательному перехвату оставшихся в руках врага путей отхода. Согласовав с ним и главным образом с Г. К. Жуковым общие вопросы дальнейших действий войск и поговорив более конкретно о Степном и Юго-Западном фронтах, я вернулся к Малиновскому. А в ночь на 23 августа Харьков был полностью освобожден. Теперь войска Воронежского и Степного фронтов нависли над южным крылом фашистской обороны, создав серьезную угрозу вражеским силам в Донбассе. И все же в последующие дни наступление левого крыла Воронежского и всего Степного фронта в районе Харькова и к юго-востоку от него развивалось крайне медленно. Противник, стремясь спасти от флангового удара свои силы в Донбассе, оказывал ожесточенное сопротивление, хотя и нес большие потери. Эти неудачи отчасти компенсировал Южный фронт, армии которого в день освобождения Харькова вышли своими механизированными войсками в район Амвросиевки и овладели ею.

Прошло еще три дня яростных схваток. В донесении Верховному Главнокомандующему о событиях 26 августа я докладывал, что усилия 46-й армии В. В. Глаголева, направленные на то, чтобы ударом с юга помочь 57-й армии Н. А. Гагена опрокинуть оборону врага, несмотря на отличные действия войск и ввод трех свежих дивизий, кроме захвата отдельных населенных пунктов, ничего существенного не дали. В результате задержки в наступлении левого крыла Степного фронта на северном берегу реки Мжа обнажилось правое крыло Юго-Западного фронта. Поэтому основные усилия армия Глаголева вынуждена будет 27 августа вновь направить на оказание всемерной помощи северному соседу. По войскам Южного фронта было доложено, что 4-й гвардейский кавкорпус и 4-й гвардейский механизированный корпус с частью сил 2-й гвардейской армии Г. Ф. Захарова и 28-й армии В. Ф. Герасименко приступили к нанесению удара на юг, чтобы свернуть фронт обороны врага перед 44-й армией В. А. Хоменко и овладеть Таганрогом. Одновременно 5-я ударная армия В. Д. Цветаева начала активные действия, чтобы свернуть оборону противника перед 51-й армией Я. Г. Крейзера. Все это давало возможность организовать удар на Сталино, увязав его с дальнейшими действиями Юго-Западного фронта.

В ночь на 28 августа я был на фронте у Ф. И. Толбухина. Со стороны моря войскам его фронта хорошо помогала Азовская военная флотилия контр-адмирала С. Г. Горшкова. Сергей Георгиевич служил прежде на эсминцах и сторожевых кораблях, окончил три военно-морских учебных заведения. Черноморец и тихоокеанец, он очень вырос за годы войны, в 1941—1942 годах был активным участником обороны Одессы и Новороссийска. Позднее С. Г. Горшков командовал Дунайской военной флотилией, Черноморским флотом, а сейчас, как известно, заместитель министра обороны, адмирал флота Советского Союза, командует всеми Военно-Морскими Силами страны.

В результате совместных действий 44-й армии В. А. Хоменко, наступавшей прямо на Таганрог, при помощи 4-го гвардейского механизированного корпуса и 4-го гвардейского кавкорпуса, обходивших город с севера и северо-запада, и при участии авиации 8-й воздушной армии Т. Т. Хрюкина и кораблей, высадивших десант, 30 августа наши войска взяли Таганрог, окружили к северо-западу от него остатки вражеских войск, оборонявшихся на реке Миус, и 31 августа ликвидировали их. 5-я ударная армия В. Д. Цветаева в начале сентября, возобновив наступление, нанесла удар в направлении на Дебальцево, фашисты стали отступать и здесь. Собирались с силами для новых атак гвардейцы-пехотинцы и танкисты армии Г. Ф. Захарова и корпусов Н. Я. Кириченко и Т. И. Танасчишина. Впереди нас ждали Иловайск и Мариуполь.

Улучшилась обстановка на Юго-Западном и Степном фронтах. Войска первого освободили Лисичанск, второго — овладели железнодорожным узлом Люботин и вели упорные бои за Мерепу. 2 сентября воины Воронежского фронта ворвались в Сумы. Центральный фронт наносил удар в те дни на новгород-северском направлении. Но когда выясилось, что наибольший успех достигнут на вспомогательном конотопском направлении, К. К. Рокоссовский тотчас перегруппировал основные силы фронта и, невзирая на болота Клевеня, Сейма, Убеди и Дочери, решительно двинул свои объединения в бассейн Средней Десны, на Бахмач. Этот двойной прорыв фашистского фронта обороны

на реке Миус и на севере Украины резко осложнил положение немецкой группы армий «Юг». Вспоминая ожесточенные августовские бои в районе Харькова и в Донбассе, ее бывший командующий Манштейн писал: «К концу августа только наша группа потеряла 7 командиров дивизий, 88 командиров полков и 252 командира батальонов... Наши ресурсы иссякли... Мы, конечно, не ожидали от советской стороны таких больших организаторских способностей, которые она проявляла в этом деле, а также в развертывании своей военной промышленности. Мы встретили поистине гидру, у которой на месте одной отрубленной головы вырастали две новые»<sup>7</sup>.

Катастрофически осложнившаяся к концу августа стратегическая обстановка на фронте группы фашистских армий «Юг» вынудила Гитлера 27 августа прибыть из Восточной Пруссии в Винницу, где находилась его Полевая ставка. Манштейн пишет, что там на совещании руководящего состава его группы он «поставил перед Гитлером ясную альтернативу: или быстро выделить нам новые силы, не менее 12 дивизий, а также заменить наши ослабленные части частями с других, спокойных участков фронта; или отдать Донбасс, чтобы освободить силы на фронте группы. Гитлер... обещал, что ласт нам с фронтов групп «Север» и «Центр» все соединения, какие можно только оттуда взять. Он обещал также выяснить в ближайшие дни возможность смены ослабленных в боях дивизий дивизиями с более спокойных участков фронта. Уже в ближайшие дни нам стало ясно, что дальше этих обещаний дело не пойдет. Советы атаковали левый фланг группы «Центр» (2-ю армию) и осуществили частный прорыв, в результате которого эта армия была вынуждена отойти на запад. В полосе 4-й армии этой группы в результате успешного наступления противника также возникло критическое положение. 28 августа фельдмаршал фон Клюге прибыл в ставку фюрера и доложил, что не может быть и речи о снятии сил с его участка фронта. Группа «Север» также не могла выделить ни одной дивизии»<sup>8</sup>.

В то же время советское Верховное Главнокомандование продолжало наращивать силу наших ударов по врагу. В частности, 2 сентября И. В. Сталин сообщил мне по телефону, что в связи с крупным успехом войск Южного фронта он дал указание направить туда 20-й танковый корпус генерал-лейтенанта танковых войск И. Г. Лазарева и 11-й танковый корпус генерал-майора танковых войск Н. Н. Радкевича. Мы договорились использовать танки Лазарева вместе с 5-м гвардейским кавалерийским корпусом А. Г. Селиванова, а в дальнейшем и Радкевича для удара через Волноваху в обход города Сталино с юго-запада, навстречу Юго-Западному фронту. Появление войск последнего на реке Волчьей мы ждали в те дни с большим нетерпением, но так и не дождались. Начатое 3 сентября 6-й и 8-й гвардейскими армиями наступление в связи с сильной огневой насыщенностью обороны противника и использованием им в обороне танков успеха не достигло. Мы с Р. Я. Малиновским наблюдали в течение дня ход боев на участке фронта между Изюмом и Славянском и пришли к выводу, что в ближайшее время рассчитывать на успех здесь не приходится. Между тем левофланговая на этом фронте 3-я гвардейская армия Д. Д. Лелюшенко добилась значительного успеха, продвинувшись только за 3 сентября на двадцать—тридцать километров, и захватила Пролетарск, Камышеваху, Попасную, Первомайск и через истоки Лугани продвигалась к Артемовску.

Большого успеха добился и Южный фронт. Его 51-я, 5-я ударная и 2-я гвардейская армии, освободив Криворожье, Дебальцево, Орджоникидзе, вышли к Харцизску и Иловайску. 28-я и 44-я армии, вклинившись в оборону противника на западном берегу реки Еланчик, расширили прорыв, чтобы пропустить 4-й гвардейский кавалерийский и 4-й гвардейский механизированный корпуса. Сюда же решением Ф. И. Толбухина выдвигалась прибывшая к нему во фронт 26-я артиллерийская дивизия. Чтобы не нести напрасных потерь, мы с Малиновским решили дальнейшее наступление центральной группировки Юго-Западного фронта прекратить, а для развития наступления использовать успех армии Лелюшенко, усилив ее немедленной переброской к нему 1-го гвардейского механизированного, 23-го танкового и 33-го стрелкового корпусов из армии И. Т. Шлемина. Армию же Чуйкова предполагали вывести в резерв фронта, чтобы использовать ее в дальнейшем смотря по обстановке. По нашим подсчетам, 1-й гвардей-

<sup>7</sup> Э. Манштейн. Утерянные победы М 1957, стр. 454.

<sup>8</sup> Там же, стр. 466.



ский механизированный и 23-й танковый корпуса должны были прибыть к Лелюшенко не позже 6 сентября, и мы полагали, что удар этих корпусов от Артемовска через Константиновку, Красноармейское в обход города Сталино с северо-запада будет оперативно увязан с действиями тех 11-го и 20-го танковых и 5-го гвардейского кавалерийского корпусов, которые нанесут одновременный удар от Амвросиевки, тоже в обход Сталино, но уже с юго-запада.

Верховный Главнокомандующий одобрил наши предложения, кроме вывода в резерв 8-й гвардейской армии Чуйкова<sup>9</sup>. 4 сентября я отправился в 3-ю гвардейскую армию. Выяснилось, что вот уже сутки, как начальник штаба армии, ее прежний командующий генерал-майор Г. И. Хетагуров и командиры корпусов не знали, где находится их командарм. Лишь в ночь на 5 сентября Дмитрий Данилович появился на своем командном пункте в Мирной Долине. Оказалось, он сформировал подвижной отряд, используя для него трофейные автомашины, часть танков 243-го танкового полка и 293-й стрелковый полк успешно наступавшей 259-й стрелковой дивизии и лично повел его в бой. Не без участия передовых частей 51-й армии соседнего Южного фронта отряд разгромил гитлеровцев возле Никитовки. Захватив город и трофеи, он направил отряд помогать войскам Южного фронта в борьбе за Горловку, расположенную далеко за пределами полосы, установленной для его армии, причем Горловка бесспорно была бы взята войсками 51-й армии. Его же собственная армия не сумела решить задачи по взятию 4 сентября Артемовска. Пришлось указать Д. А. Лелюшенко, что инициатива — дело похвальное, когда она не в ущерб организованности при выполнении собственной задачи.

От пленных нам стало известно, что фашистское командование стремится остановить наступление советских войск на рубеже Славянск — Краматорск — Константиновка и далее по реке Кальмиус, прикрывая подступы к центру Донбасса. Но уже 6 сентября Юго-Западный и Южный фронты, успешно развивая наступление, сорвали этот план, освободив от захватчиков свыше ста населенных пунктов, в том числе Макеевку, Константиновку, Краматорск, Славянск, Дружковку. 7 сентября начался заключительный этап боев за освобождение Донбасса, а через день 5-я ударная армия при содействии войск 2-й гвардейской армии овладела городом Сталино (Донецком). 10 сентября войска Юго-Западного фронта освободили железнодорожный узел Барвенково, а Южного — Волноваху и во взаимодействии с десантом Азовской военной флотилии — важный центр металлургической промышленности Мариуполь.

Гитлеровцы не хотели примириться с утратой Донбасса. 11 и 12 сентября они не раз переходили в сильные контратаки и на некоторое время вновь захватывали отдельные населенные пункты. Для отражения контратак Р. Я. Малиновский вынужден был передать в 3-ю гвардейскую армию своей последней фронтовой резерв — 33-й стрелковый корпус. Полностью израсходовал фронтовые резервы и Ф. И. Толбухин. Теперь поневоле пришлось вернуться к мысли о временном резервировании 8-й гвардейской армии В. И. Чуйкова, а также 44-й армии В. А. Хоменко. И все же к 15 сентября мы вышли на линию Лозовая — Чаплино — Гуляй-Поле — Урзуф. Только после этого враг убедился, что не удержит Донбасс, и начал отводить свои войска к Мелитополю, Пологам и Синельникову. Важно было не дать фашистам оторваться. Дело было теперь за нашими подвижными соединениями. 15 сентября я побывал в группе войск генерал-майора Н. Я. Кириченко, в которую, кроме его 4-го гвардейского кавкорпуса, входил 4-й гвардейский механизированный корпус Т. И. Танасчишина. Группа должна была через Верхнетокмак быстро выдвинуться к Мелитополю на реку Молочную. Генерала Кириченко я встретил на восточной окраине поселка Куйбышево, в тридцати километрах юго-восточнее Пологи. Здесь я узнал, что войска группы остановились, и хотя сплошного фронта обороны у противника не было, они вели бои за отдельные пункты и высоты. Я приказал немедленно прекратить эти ненужные бои, оставить за собой узлы сопротивления врага, минув их, рвануться к реке Молочной и, если удастся, захватить Мелитополь с ходу. Одной из причин посещения группы было донесение Т. И. Танасчишина о том, что 4-й гвардейский кавалерийский корпус мог бы активнее помогать его корпусу. Это подтвердилось. Я вынужден был в связи с этим сделать соответствующее внушение Н. Я. Кириченко.

<sup>9</sup> Архив МО СССР, ф. 48-А, оп. 2290, д. 9, лл. 80—82.

## В БОРЬБЕ ЗА ДНЕПР

Подступала осень 1943 года, завершался коренной перелом в Великой Отечественной войне. Вал войны катился на запад. Остались позади битвы на больших волных преградах — на Волге, на Дону; сражения на десятках рек, превращенных гитлеровцами в составную часть оборонительных рубежей, — Руза, Москва, Нара, Протва, Ока, Жиздра, Упа, Зуша, Воронеж, Сосна, Тим, Сейм, Нерусса, Десна, Судость, Псел, Хорол, Оскол, Короча, Черная Калитва, Северский Донец, Миус, Крынка, Кальмиус, Волчья и многие другие; бои на сотнях речек, использованных, а порою и хорошо подготовленных фашистами в инженерном отношении к обороне.

Советские войска, прочно захватив в свои руки стратегическую инициативу, встали на прямой путь, ведущий к победе. Путь этот был нелегок. Однако все мы сознавали, что уже сделан решающий шаг в освобождении родины. Стала заметной растущая уверенность в наших действиях, изменился характер оперативно-стратегических планов и замыслов командующих фронтами. Наши военачальники все тверже овладевали сложным искусством маневренных наступательных операций, не забывали в то же время и о необходимости умело выдерживать контрудары.

Отходя к Днепру, фашисты стремились занять оборону на его берегу. Наша задача состояла в том, чтобы не позволить им организовать эту оборону, не дать им превратить украинские земли в выжженные пустыни, как можно быстрее пробиться к Среднему и Нижнему Днепру и захватить плацдармы на противоположном берегу. Верховный Главнокомандующий неоднократно подчеркивал, как важно форсировать Днепр с ходу. Учитывая огромное значение, которое приобретала в создавшихся условиях борьба за Днепр, Ставка 9 сентября дала войскам директиву, требовавшую за успешное форсирование крупных рек и за закрепление плацдармов на их берегах представлять к высшим правительственным наградам, а за преодоление таких рек, как Днепр ниже Смоленска, или равных Днепру по трудности форсирования — к присвоению звания Героя Советского Союза.

Вечером 18 сентября у меня состоялся обстоятельный разговор с И. В. Сталиным о ходе дальнейшего развития операций. В результате было принято следующее решение. Войска Юго-Западного фронта должны нацеливаться на освобождение Днепропетровска и Запорожья, чтобы в ближайшее же время переправиться на западный берег Днепра и закрепить там за собой плацдармы. Войска Южного фронта — на прорыв и ликвидацию обороны врага по реке Молочной, а затем, прочно заперев фашистов в Крыму, выйти на нижнее течение Днепра и форсировать его здесь. Усилия Центрального и Воронежского фронтов сосредоточивались на киевском, а Степного — на полтавско-кременчугском направлениях.

Работая с командующими Юго-Западного и Южного фронтов над реализацией намеченных задач, мы пришли к выводу, что целесообразно провести некоторую перегруппировку: на Юго-Западном фронте 51-ю армию Южного фронта, действовавшую на запорожском направлении, сменить 3-й гвардейской и вывести в резерв фронта к Орехову; 8-ю гвардейскую армию немедленно вывести в район южнее Павлограда и использовать для усиления днепропетровского или запорожского направлений; 44-ю армию, 20-й танковый корпус и 26-ю артиллерийскую дивизию Южного фронта не позднее 23 сентября развернуть в стыке между 5-й ударной и 2-й гвардейской армиями для усиления удара в юго-западном направлении. Не дожидаясь подхода 44-й армии, сделать все возможное для прорыва оборонительного рубежа противника по реке Молочной с ходу имевшимися силами и средствами. В ближайшие дни мы наметили овладеть и Мелитополем. С этой целью с выходом 28-й армии к озеру Молочному, после того как резко должна была сократиться ширина ее фронта, создать ударную группировку. Прибывавший 19-й танковый корпус мы предусматривали использовать на левом крыле Южного фронта.

Развивая наступление, войска Юго-Западного фронта к 22 сентября отбросили врага за Днепр на участке от Днепропетровска до Запорожья, а войска Южного фронта подошли к правому фасу Восточного вала — рубежу на реке Молочной, завершив тем самым наступательную операцию по освобождению Донбасса. Войска Центрального фронта освободили 21 сентября Чернигов, 22 сентября вышли на Днепр, с ходу форси-

ровали его и захватили плацдарм в междуречье Днепра и Припяти. Это вынудило гитлеровское командование перебросить сюда часть своих сил с гомельского и других направлений. Используя успех войск Центрального фронта, перешел в наступление Воронежский фронт на киевском направлении. 22 сентября его войска вышли к Днепру в излучине у Переяслава-Хмельницкого, форсировали реку и захватили здесь плацдарм. Войска Степного фронта во взаимодействии с Воронежским 23 сентября освободили Полтаву и вышли к Днепру у Черкасс, а затем юго-восточнее Кременчуга. Таким образом, войска четырех фронтов в последних числах сентября вышли на Днепр на просторном протяжении протяжением около семисот километров и овладели на его правом берегу рядом важных плацдармов. Тем временем войска Северо-Кавказского фронта во взаимодействии с Черноморским флотом 16 сентября освободили Новороссийск, а вслед за тем была разгромлена вся таманская группировка противника.

Гитлеровское командование принимало все меры к тому, чтобы удержаться на Днепре. Немецко-фашистские войска ожесточенно пытались сбросить нас с занимаемых плацдармов. Ставка требовала от командующих фронтами и от представителей Ставки, расширить площадь этих плацдармов и сосредоточить на них силы для ведения дальнейшего наступления уже на территории Правобережной Украины. Не менее важно было покончить с обороной врага на Молочной и выйти здесь на нижнее течение Днепра, прочно заперев фашистские войска в Крыму, если не удастся с ходу ворваться в центр полуострова. Для ознакомления с обстановкой на месте 23 сентября я вместе с Ф. И. Толбухиным побывал в 5-й ударной армии В. Д. Цветаева и во 2-й гвардейской армии Г. Ф. Захарова. Их попытки в течение последних суток преодолеть с ходу оборонительный рубеж по западному берегу Молочной не имели успеха. Мы понимали, что считать этот неуспех результатом неумелого руководства командармов нельзя, так как оба они опытные военачальники. В. Д. Цветаев — теоретически отлично подготовленный командир, имеющий богатый практический опыт: войска его армии в условиях сложной боевой обстановки не раз били фашистов. Еще большим опытом, но, на мой взгляд, несколько меньшей теоретической подготовкой обладал Георгий Федорович Захаров. Получив боевое крещение на полях первой мировой и гражданской войн и «солидное военное образование, он в годы Великой Отечественной войны неплохо показал себя как начальник штаба армии и фронта, заместитель командующего фронтом.

Основная оборонительная полоса противника проходила по резко возвышающейся над долиною реки Молочной гряде высот западных отрогов Приазовской возвышенности. По данным всех видов разведки, они были серьезно оборудованы в инженерном отношении, имели развитую сеть противотанковых рвов, две-три линии траншей на глубину от трех до шести километров, с добротными убежищами для обороняющихся. По показаниям пленных, на строительство этого рубежа гитлеровцы сгоняли местных жителей. Обороняли его, помимо отступавших с востока и сильно потрепанных немецких войск, подошедшие из глубины еще две дивизии противника. Продолжали поступать сюда свежие силы. Гитлеровское командование, как стало известно по данным разведки и из радиоперехватов, отдало приказ драться на этом рубеже до последнего солдата.

После детального обсуждения с командующими армиями создавшейся обстановки стало ясно: наши силы сильно растянуты, войска 5-й ударной, 2-й гвардейской и других армий слабо обеспечены боеприпасами и нуждаются в пополнении личным составом. Все это подсказывало необходимость организовать прорыв оборонительного рубежа противника силами левого фланга 5-й ударной армии генерал-лейтенанта В. Д. Цветаева (четыре стрелковые дивизии) и правого фланга 2-й гвардейской армии генерал-лейтенанта Г. Ф. Захарова (пять стрелковых дивизий) на участке Гендельберг — Альт-Мунталь, с привлечением 26-й и 2-й гвардейской артиллерийских дивизий, 13-й гвардейской минбригады М-31, восьми полков гвардейских минометов М-13 и всей авиации Южного фронта. Начать прорыв решили 26 сентября. Вспомогательный удар должна была нанести 26-я армия генерал-лейтенанта В. Ф. Герасименко южнее Мелитополя. Подвижные группы предусматривалось ввести в прорыв после выхода 5-й ударной, 44-й и 2-й гвардейской армий на линию Орлянк — Михайловка — Новая Богдановка (ориентировочно к вечеру второго дня операции); группу А. Г. Селиванова — к Каховке и Цюрупинску; группу Н. Я. Кириченко — к Аскании-Нова, Армянску и Ишуни, чтобы перерезать железную дорогу из Крыма на Херсон и закрыть противнику выход через Перекоп; 11-й

танковый корпус, оставляя в непосредственном подчинении командующего фронтом, ввести в прорыв одновременно с группой Кириченко с задачей выйти к станции Сальково и далее на Сиваш, закрывая врагу путь отступления из Крыма через Сиваш.

Основные задачи после прорыва оборонительного рубежа сводились к следующему: изолировать фашистские войска в Крыму; при малейшей возможности сразу же ворваться на полуостров; очистить от противника левый берег нижнего течения Днепра и выйти к его устью; главные силы Южного фронта вывести к Каховке и Херсону; форсировать здесь Днепр и захватить плацдарм на его правом берегу, предусматривая нанесение дальнейшего удара во взаимодействии с другими фронтами на северо-запад, через Николаев к Южному Бугу. Исходя из этого, мы с Ф. И. Толбухиным намеревались направить 5-ю ударную армию на Большую Лепетиху, чтобы захватить там плацдарм. Участок по берегу Днепра от Васильевки до Большой Знаменки я считал целесообразным передать Юго-Западному фронту, с вводом сюда из резерва 8-й гвардейской армии и с использованием ее на левом фланге, у Николая. 44-я армия должна была нанести удар южнее Михайловки вслед за группой Селяванова в общем направлении на Каховку. 2-я гвардейская армия выйдет на Днепр юго-западнее. 28-я армия после захвата Мелитополя предназначалась нами для действий вместе с группой Кириченко и 11-м танковым корпусом в Крыму. Выводимую в резерв фронта 51-ю армию мы считали необходимым использовать потом в стыке 2-й гвардейской и 28-й армий для захвата Скадовска и Тендровской косы, чтобы обеспечить кораблям Черноморского флота перебазирование поближе к Днепровскому лиману. Фронтovou авиацию в первые два дня операции мы собирались направить на обеспечение прорыва, а затем на помощь подвижным группам и для ударов по войскам противника в Крыму.

Эти наши планы я доложил Верховному Главнокомандующему в ночь на 24 сентября. Сказал также о том, что, на мой взгляд, часть сил Северо-Кавказского фронта, находившихся на Таманском полуострове, целесообразно начать перебрасывать в район к востоку от Мелитополя для использования их при освобождении Крыма с севера. Это позволило бы нам войска Южного фронта, освободившиеся в связи с этим, направить на Николаев и Кривой Рог, чтобы отрезать врага, находившегося в излучине Днепра между Днепропетровском и Запорожьем. Я просил также И. В. Сталина рассмотреть вопрос о высадке за счет сил Северо-Кавказского фронта и при помощи Азовской военной флотилии морского десанта для перехвата железной дороги в Крыму, от Джанкоя на Мелитополь, а для поддержки войск, наступающих через Сиваш, выбросить у Джанкоя воздушный десант<sup>10</sup>.

В ночь на 25 сентября Сталин по телефону сообщил мне, что представленный мною план операции Южного фронта утвержден. При этом было указано, что вместо переброски под Мелитополь войск с Северного Кавказа будет произведена заблаговременная высадка войск Северо-Кавказского фронта с Таманского на Керченский полуостров через Керченский пролив. Относительно же морского десанта мне было рекомендовано предусмотреть его на второй или третий день после начала Южным фронтом Крымской операции, и не в Крыму, как предполагалось, а в районе Геническа с задачей перерезать железную дорогу Мелитополь—Джанкой, чтобы лишить противника возможности какого бы то ни было подвоза средств из Крыма к своей мелитопольской группировке. Воздушный десант предполагалось использовать на втором этапе операции для захвата крымских перешейков во взаимодействии с подвижными группами Южного фронта. Все это заставляло нас срочно внести необходимые коррективы в разработанный план проведения операции и в план подготовки войск.

26 сентября после часовой артиллерийской подготовки Южный фронт перешел в наступление. Началась Мелитопольская, чрезвычайно трудная операция, длившаяся до 5 ноября. Противник оказывал ожесточенное сопротивление, проводил многократные контратаки пехоты и танков при поддержке значительных сил авиации. Наиболее ощутимых результатов (но и они были далеки от конечных целей) в первый день наступления добились 2-я гвардейская и 44-я армии. На Юго-Западном фронте 1-я гвардейская армия генерал-полковника В. И. Кузнецова вышла на левый берег Днепра; однако ее попытки переправиться на правый берег не имели успеха. 6-я армия генерал-лейтенанта

<sup>10</sup> Архив МО СССР, ф. 48-А, оп. 1691, д. 235. лл. 33—39.

И. Т. Шлемина южнее Днепропетровска к 28 сентября переправила через Днепр четыре стрелковые дивизии, а 12-я армия генерал-майора А. И. Данилова — две стрелковые дивизии. Итак, дело шло, хотя и медленнее, чем хотелось бы. Гитлеровское командование для укрепления Восточного вала беспрестанно подбрасывало сюда войска. Только на киевское направление были переброшены из Западной Европы три пехотные дивизии, а также три танковые с других участков советско-германского фронта. Но и мы не медлили. 28 сентября мы получили директиву Ставки, записанную, как сообщил А. И. Антонов, непосредственно со слов И. В. Сталина. Она была адресована Г. К. Жукову, мне, командующим Центральным, Воронежским, Степным, Юго-Западным и (в копии) Южным фронтами. В ней говорилось:

«Ставка Верховного Главнокомандования п р и к а з ы в а е т:

1. В ближайшее время ликвидировать все плацдармы, находящиеся в руках противника на левом берегу реки Днепр. В первую очередь командующему Юго-Западным фронтом полностью очистить от немцев запорожский плацдарм. Иметь в виду, что до тех пор, пока не будет очищен от противника левый берег Днепра, немцы, используя занимаемые ими плацдармы, будут иметь возможность наносить удары во фланг и в тыл нашим войскам, как находящимся на левом берегу Днепра, так и переправившимся на его правый берег.

2. Немедленно подтягивать к переправам зенитные средства и надежно обеспечивать как боевые порядки переправившихся войск, так и сами переправы от ударов авиации противника, вне зависимости от количества переправившихся войск»<sup>11</sup>.

Вечером 28 сентября мы обсудили с И. В. Сталиным планы дальнейшего развертывания операций Воронежского, Степного, Юго-Западного и Южного фронтов. Верховный сообщил мне, что он только что советовался по этому поводу с Жуковым и хочет знать мое мнение. Видимо, он беседовал не только с нами, но и с командующими фронтами. В результате было принято решение основные усилия Воронежского фронта по-прежнему направлять на освобождение Киева, а затем наступать на Бердичев, Винницу, Жмеринку и Могилев-Подольский и выйти к Молдавии. Степной фронт обязан нанести главный удар в общем направлении от Черкасс на Ново-Украинку и Вознесенск, разбить кировоградскую группировку врага и отрезать ей пути отхода на запад. Своим левым крылом фронт должен был наступать на Пятихатку и Кривой Рог, выходя в тыл днепропетровской группировке противника. Юго-Западному фронту предписывалось ликвидировать запорожский плацдарм противника; одновременно правым крылом, продолжая форсировать Днепр и расширяя плацдарм на его западном берегу, наступать главными силами на Кривой Рог с востока. В результате реализации этих задач кировоградская группировка фашистов должна была оказаться в полукольце. Обусловили, что для этой цели Юго-Западному фронту будет передана из состава Степного фронта 46-я армия генерал-лейтенанта В. В. Глаголева, а в Степной фронт поступят из Воронежского фронта две армии — 4-я гвардейская генерал-лейтенанта И. В. Галанина и 52-я генерал-лейтенанта К. А. Коротеева. Предусматривалось также, что Воронежский фронт получит от Центрального 13-ю армию генерал-лейтенанта Н. П. Пухова и 60-ю армию генерал-лейтенанта И. Д. Черняховского, а Центральный — от Брянского 50-ю армию генерал-лейтенанта И. В. Болдина, 3-ю генерал-лейтенанта А. В. Горбатова и 63-ю генерал-лейтенанта В. Я. Колпакчи. Тогда же решили упразднить Брянский фронт, перебросив его управление в район Торопца и реорганизовав его в Прибалтийский фронт.

В течение 29 сентября на Южном фронте войска 5-й ударной армии В. Д. Цветаева, 44-й армии В. А. Хоменко и 2-й гвардейской Г. Ф. Захарова, отбивая контратаки противника, готовились к переходу 30 сентября в наступление с использованием 4-го гвардейского механизированного корпуса Т. И. Танасчишина и 20-го танкового корпуса И. Г. Лазарева. 51-я армия Я. Г. Крейзера в ночь на 30 сентября заканчивала выход к Большому Токмаку, у истоков реки Молочной. Сюда же начал выдвигание заканчивавший выгрузку 19-й танковый корпус. Весь день мы с представителями Ставки (по артиллерии — М. Н. Чистяковым, по ВВС — Ф. Я. Фалалеевым) проверяли готовность войск Танасчишина и Лазарева и организацию помощи им со стороны артиллерии и авиации.

<sup>11</sup> Архив МО СССР. ф. 132-А, оп. 2642, д. 34, л. 227.

1 октября командующий Юго-Западным фронтом, я и (в копии) Г. К. Жуков получили директиву Ставки от 28 сентября, в которой излагались задачи этого фронта. Директива требовала представить в Ставку план выполнения этих задач не позже 3 октября<sup>12</sup>.

2 октября мы с Р. Я. Малиновским побывали в 8-й гвардейской армии В. И. Чуйкова. Здесь, как и в 3-й гвардейской армии Д. Д. Лелюшенко, оставалось менее половины боевого комплекта боеприпасов. Зная о сильной инженерной и огневой обороне противника, его активности, выразившейся в постоянных и сильных контратаках, мы пришли к выводу, что при таком наличии боеприпасов продолжать дальнейшее наступление на запорожском направлении невозможно. Приняли решение приостановить наступление дней на пять-шесть, пока в ударной группировке будет не менее 1—1,5 боекомплекта. Решили также усилить ударную группировку пехотой и артиллерией за счет 12-й армии А. И. Данилова, от форсирования Днепра 1-й гвардейской армией В. И. Кузнецова на ближайшее время отказаться и взять у нее две стрелковые дивизии в резерв фронта для усиления запорожского направления. На западном берегу Днепра впредь до ликвидации фашистского запорожского плацдарма решили оставить лишь четыре стрелковые дивизии 6-й армии И. Т. Шлемина, перейдя ими на время к обороне. В ночь на 3 октября Ставка утвердила наши соображения. После этого я срочно перелетел к Ф. И. Толбухину.

3 октября мы с Ф. И. Толбухиным осматривали позиции противника, захваченные на Молочной. Фронт прорыва был тогда шириной около восемнадцати и глубиной около десяти километров. В наших руках оказалась, как и предполагалось, отлично оборудованная основная оборонительная полоса врага. Возобновив наступление 9 октября, Южный фронт, утопая в осенней грязи, начал борьбу за овладение Мелитополем, прикрывавшим подходы к Крыму и нижнему течению Днепра. Враг предпринимал непрерывные и настойчивые контратаки. Многие населенные пункты неоднократно переходили из рук в руки. Наконец введенная из резерва в сражение 51-я армия Я. Г. Крейзера 13 октября ворвалась в Мелитополь с юга. Начались затяжные уличные бои. Штурмовые группы, переходя от здания к зданию, осаждали и ломали один за другим узлы сопротивления и опорные пункты фашистов, гарнизоном которых за успешную оборону города Гитлер пообещал тройной оклад.

Будучи 12 октября в 28-й армии В. Ф. Герасименко, я допрашивал пленных 186-го пехотного полка немецкой 73-й пехотной дивизии. Они показали, что их дивизия 5 октября прибыла из Крыма и до 10 октября находилась в резерве в двадцати километрах юго-западнее Мелитополя. Вечером 10 октября после прорыва нашими войсками фронта южнее Мелитополя ее бросили в бой с целью восстановить положение на Молочной. Дивизию усилили самоходными орудиями «фердинанд», но и это не помогло. Враг нес огромные потери. В частности, батальон, которым командовал один из допрашиваемых мною пленных офицеров, к моменту его пленения из 340 человек потерял от огня нашей артиллерии 280 человек убитыми и ранеными. По показаниям других пленных, потери 336-й пехотной дивизии были еще больше, а 111-я пехотная дивизия лишь за 12 октября потеряла до четырех пятых своего личного состава.

В то время как войска Южного фронта атаковали Мелитополь, войска Юго-Западного, возобновив наступление, освободили Запорожье и плацдарм, занятый врагом на левом берегу Днепра к востоку и к северо-востоку от этого города. В связи с тем, что левофланговая 3-я гвардейская армия Юго-Западного фронта, наступавшая вдоль левого берега Днепра, и по задачам и территориально вынуждена была непосредственно взаимодействовать с войсками Южного фронта, я 16 октября с разрешения Верховного Главнокомандующего дал указание передать ее Южному фронту. Перед Д. Д. Лелюшенко стояла задача, пробившись через плавни, захватить Васильевку. Южный фронт рассчитывал также на то, что ему помогут черноморские моряки. Но 6 октября их операция, которая должна была оттянуть на себя часть немецких и румынских резервов, закончилась неудачей и потерей трех крупных боевых кораблей. Произошло это потому, что командующий Черноморским флотом вице-адмирал В. А. Владимирский не согласовал своих действий с командующим Северо-Кавказским фронтом генерал-

<sup>12</sup> Там же, лл. 236—237.

полковником И. Е. Петровым, в результате чего оторвался от сухопутных войск. Пришлось прочнее «привязать» моряков к «северокавказцам», разрешив им проводить дальние операции на море только с позволения Ставки.

20 октября 1943 года решением ГКО фронты были переименованы: Центральный — в Белорусский, Калининский — в I Прибалтийский, Прибалтийский — во II Прибалтийский, Воронежский — в I Украинский, Степной — во II Украинский, Юго-Западный — в III Украинский, Южный — в IV Украинский. Эти названия частично сохранились и после того, как наши войска изгнали фашистов с территории СССР.

В новых названиях фронтов тоже отразились наши успехи. Как ни огрызнулся враг, он уже не мог остановить катящейся лавины советских войск. От Ленинграда и до Крыма развертывалось победное наступление Красной Армии.

Осенью 1943 года я особенно часто общался с Ф. И. Толбухиным. Хочется сказать несколько теплых слов об этом человеке. Наше знакомство, состоявшееся еще до войны, переросло затем в дружбу. Федор Иванович Толбухин начал свою службу солдатом царской армии. Как и я, он в первую мировую войну дошел до должности командира батальона. А накануне Отечественной войны был начальником штаба военного округа. В годы Отечественной войны особенно ярко выявились такие качества Толбухина, как безупречное выполнение служебного долга, личное мужество, полководческий талант, душевное отношение к подчиненным. Говорю об этом не с чужих слов, а из личного общения с ним во время пребывания в его войсках под Сталинградом, в Донбассе, на Левобережной Украине и в Крыму.

О способностях Толбухина как выдающегося военачальника говорят операции, осуществленные полностью или частично Южным, III и IV Украинскими фронтами, которыми он командовал: Донбасская, Мелитопольская, Никопольско-Криворожская, Крымская, Яско-Кишиневская, Белгородская, Будапештская, Балатонская, Венская. Толбухин показал себя как настоящий стратег. Руководимые им войска освобождали от врага территорию и народы Румынии, Болгарии, Югославии и Венгрии, крушили гитлеровский порядок в Австрии, и уже тогда он снискал себе известность во многих странах Европы. После войны Ф. И. Толбухин занимал ответственные посты, несмотря на тяжелый недуг. Никогда не забуду, как Федор Иванович, лежа на больничной койке, буквально за несколько минут до своей кончины уверял, что завтра он выйдет на работу... Тридцать шесть раз салютовала Москва в годы Великой Отечественной войны войскам, которыми успешно командовал Ф. И. Толбухин. 19 октября 1949 года раздался торжественный салют: родина провожала своего прославленного солдата в последний путь. В 1960 году на Самотечном бульваре столицы поставлен памятник полководцу. В канун двадцатилетия победы над фашистской Германией Ф. И. Толбухину посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза...

До ноября 1943 года III и IV Украинские фронты под командованием Р. Я. Малиновского и Ф. И. Толбухина продолжали отвоевывать пядь за пядью советскую землю. 23 октября был наконец полностью очищен от врага Мелитополь. 25 октября наши войска овладели Днепропетровском и Днепродзержинском. В той части Причерноморской низменности, которая прилегает к Крыму, от Мелитополя до Ягорлыцкого лимана, замыкающего Северную Таврию на западе, — более двухсот километров. Вплотную к устью Днепра подходят Алешковские пески. Противник мог воспользоваться этим выходом из Крыма, сковав действия наших войск. Задача, следовательно, здесь заключалась прежде всего в том, чтобы как можно быстрее и достаточно прочно закрыть врагу выходы из крымского мешка. Я постоянно обращал на это внимание руководства IV Украинского фронта. Да оно и само отлично понимало это и всячески поторапливало своих командиров. Быстрее всех оказалась 2-я гвардейская армия Г. Ф. Захарова. Путь от Молочной до устья Днепра она прошла, преодолевая отчаянное сопротивление врага, за месяц с небольшим. Южнее двигалась от Мелитополя к Каховке 44-я армия В. А. Хоменко. Вместе с ней продвигалась и оседлала врага непосредственно в самом Перекопе 51-я армия Я. Г. Крейзера, разбившая по дороге фашистский танково-пехотный кулак в районе всемирно известного заповедника животных Аскания-Нова. У Турецкого вала ей проложил дорогу вперед 19-й танковый корпус. Его храбрый командир генерал-лейтенант И. Д. Васильев был там ранен, и его пришлось эвакуировать в тыл. Но свое дело

он успел выполнить отлично. По нашему с Ф. И. Толбухиным ходатайству ему присвоили за это звание Героя Советского Союза.

Запаздывал с продвижением 4-й гвардейский кавалерийский корпус Н. Я. Кириченко. Чтобы разобраться в причинах этой медлительности, туда выехал лучший знаток кавалерии в СССР Маршал Советского Союза С. М. Буденный. Выводы, сделанные Семеном Михайловичем, были для комкора неутешительными. Новым командиром казачков стал И. А. Плиев. Сын бедного крестьянина из Осетии, Исса Александрович еще до войны выдвинулся в РККА как один из самых умелых кавалеристов, а затем на полях сражений с успехом откомандовал дивизией и поочередно всеми четырьмя первыми гвардейскими кавалерийскими корпусами. Вершиной его деятельности в то время стало руководство конно-механизированной группой в войне с империалистической Японией. А пока что он повел вперед кубанцев.

Восточнее войск Я. Г. Крейзера выходила к Геническу 28-я армия В. Ф. Герасименко, но вскоре она переместилась к Днепру севернее Каховки, прикрывая тылы войск Захарова, Хоменко и Крейзера. Еще севернее вели упорные бои 5-я ударная армия В. Д. Цветаева и у Запорожья 3-я гвардейская армия Д. Д. Лелюшенко. Труднее всего в те дни приходилось армии Цветаева. У Никополя, между Каменкой и Большой Лепетихой гитлеровцы сумели удержать на левом берегу Днепра плацдарм. Попытки ликвидировать его никак не удавались. Существенно усилить войска Цветаева мы силами IV Украинского фронта не могли. А резервы Ставки были более нужны тогда в иных местах.

Обстоятельства складывались так, что в первых числах ноября основное внимание Ставка вынуждена была уделить киевскому направлению. Выход наших войск в район Киева создавал угрозу с севера всей южной группировке противника на советско-германском фронте. Но попытки командования I Украинского фронта овладеть городом в октябре, нанося главный удар южнее Киева, с букринского плацдарма, а вспомогательный удар севернее, с лютежского плацдарма, успеха не принесли, так как гитлеровцы стянули сюда свои основные силы. Ставке пришлось 25 октября поправить это решение и приказать фронту перегруппировать основные силы к Лютежу, чтобы нанести главный удар отсюда. В результате задача была решена, и 6 ноября Киев был взят. Только теперь обстановка для дальнейшего наступления советских войск на запад и юго-запад стала благоприятной. Преследуя врага, I Украинский фронт 7 ноября с боем овладел важным железнодорожным узлом Фастов, а 13 ноября освободил Житомир.

Гитлеровское командование, перебрасывая в срочном порядке войска из Западной Европы, принимало все меры к тому, чтобы снова взять Киев. Не отказалось оно и от мысли восстановить оборону по Днепру в целом. Подтверждением тому явилась упорная борьба за Днепр, которую продолжали вести остальные Украинские фронты южнее Киева. Касалось это и упомянутого плацдарма у Никополя. Не менее важно было нам создать плацдарм возле Каховки или хотя бы поскорее овладеть ею. 2 ноября при встрече с Цветаевым и Хоменко я передал им указания Ставки: первому — в ближайшее же время ликвидировать плацдарм врага на левом берегу Днепра и форсировать его в районе Большой Лепетихи, второму — форсировать реку возле Каховки. Хоменко уже в ночь на 3 ноября сумел переправить на правый берег 417-ю стрелковую дивизию. Но упорство врага против войск Цветаева возрастало с каждым днем. Разведка установила резкое усиление фашистов под Никополем за счет частей, перебрасываемых из Кривого Рога и Кировограда. Пленные подтвердили также, что немецко-фашистские войска усиливаются на севере Крымского полуострова. Не оставалось никаких сомнений, что противник намерен в ближайшее же время нанести встречные удары с никопольского плацдарма и из Крыма, чтобы развязать крымский мешок и, идя в тыл IV Украинскому фронту, нанести ему поражение, ибо главные силы этого фронта находились уже западнее.

В течение 3 и 4 ноября мы обсудили с Верховным Главнокомандующим по телефону обстановку, складывающуюся на IV Украинском фронте. В результате 5 ноября поступила директива Ставки, которая требовала в первую очередь разгромить криворожско-никопольскую группировку противника. Поэтому наступление II Украинского фронта на Кировоград временно откладывалось. Войскам II Украинского фронта предстояло нанести удар в обход Кривого Рога с запада и во взаимодействии с III Украинским фронтом разгромить криворожскую группировку противника, выходя на тылы его войск



на никопольском плацдарме. В свою очередь, III Украинский фронт продолжал наступление правым крылом, севернее Днепропетровска, на никопольскую фашистскую группировку с севера, прижимая немцев к правому крылу войск IV Украинского фронта, которые, продолжая операцию по вторжению в Крым, главные усилия направляли теперь тоже в сторону Никополя.

Еще до получения нами этой директивы Верховный Главнокомандующий обязал меня немедленно дать конкретные и крайне жесткие сроки Ф. И. Толбухину для реализации требований Ставки, взять ход дела под свой личный контроль, а копии всех моих распоряжений направлять в Москву. Суть моих распоряжений, отданных 5 ноября, сводилась прежде всего к резкому уплотнению боевых порядков всех соединений, нацеленных на никопольский плацдарм. Ряд соединений выводился во фронтовой резерв, которого нам так не доставало. Туда же, под Никополь, направили основную массу фронтовой артиллерии и авиации<sup>13</sup>. Я просил Ставку: ускорить начало наступления войск II Украинского фронта, создать, если имеется хоть какая-либо возможность, резерв Ставки в районе Мелитополя и подбросить III и IV Украинским фронтам танки для доукомплектования танковых и механизированных корпусов<sup>14</sup>.

Между тем гитлеровцы, как мы и думали, повели наступление на 5-ю ударную армию Цветаева. Они вышли танковыми частями в тыл трем ее стрелковым дивизиям. В результате огня нашей артиллерии и удачных действий штурмовой авиации в течение одного дня было уничтожено до 40 танков противника. Учитывая исключительно невыгодное расположение упомянутых дивизий, решено было ночью отвести их, а также существенно усилить здесь оборону наших войск. Благодаря принятым нами мерам врагу не удалось прорваться к Крыму, его контрудар был отбит.

Наступательные операции III и IV Украинских фронтов с целью ликвидации никопольского плацдарма пришлось отложить до накопления боеприпасов и подхода полков самоходной артиллерии, танковых полков «КВ», противотанковых истребительных артиллерийских бригад и прочих сил, а наступательную операцию IV Украинского фронта по вторжению в Крым провести лишь после ликвидации никопольского плацдарма, чтобы не расплывать усилия авиации и войск IV Украинского фронта в целом.

Каковы же вкратце итоги осеннего наступления советских войск в 1943 году? К концу сентября освободили почти всю Левобережную Украину. Вскоре врага выбили из Брянска, Смоленска, Новороссийска. В начале ноября мы вышли к крымскому перешейку, а возле Керчи создали плацдарм. До 20 декабря не затухали бои на подступах к Кировограду и Кривому Рогу. К концу ноября освободили Гомель. Наконец, незадолго до Нового года началась Житомирско-Бердичевская наступательная операция, в ходе которой складывались предпосылки освобождения Правобережной Украины. Битва за Днепр была завершена, и увенчалась она нашей большой победой. Форсирование практически с ходу на огромном фронте такой широкой и глубокой реки, как Днепр, и захват плацдармов на противоположном его берегу при яростном сопротивлении фашистов стали возможны только благодаря высоким моральным качествам Красной Армии, массовому героизму ее воинов и мастерству военачальников. За форсирование Днепра и проявленное при этом мужество и самоотверженность 2438 представителей всех родов войск (47 генералов, 1123 офицера, 1268 сержантов и солдат) были удостоены звания Героя Советского Союза. За пять месяцев почти непрерывного наступления было разбито 118 вражеских дивизий. Наши победы летом и осенью 1943 года завершили коренной перелом в Великой Отечественной войне, имевший огромное военное и политическое значение. Стратегическая обстановка продолжала ухудшаться для Германии нарастающими темпами.

<sup>13</sup> Архив МО СССР. ф. 48-А, оп. 2290, д. 9, лл. 239—241.

<sup>14</sup> Там же, л. 242.

*(Продолжение следует)*



---

---

# В МИРЕ НАУКИ

И. ГРЕКОВА



## ПОЛЕМИКА И ЕЕ ИЗДЕРЖКИ

(По поводу спора «Машина и творчество»)

**М**ожет ли машина мыслить? Способна ли машина к самостоятельному творчеству?

Споры на эту тему стали уже привычными. Время от времени они возникают снова и снова — то в печати, то по телевидению, то просто в частных беседах. Одни из спорщиков решительно говорят «да» и подкрепляют свое мнение более или менее убедительными аргументами. Другие не менее решительно говорят «нет» и приводят свою аргументацию. Как правило, такие словесные стычки ничем не кончаются: спорщики выходят из них еще больше, если это возможно, убежденными каждый в своей правоте.

В чем же все-таки дело и о чем спор?

С первого взгляда он может показаться беспредметным, схоластическим. Самая форма вопроса подозрительно напоминает известную средневековую формулу: «Может ли всемогущий бог создать такой тяжелый камень, которого сам поднять не может?» По этому вопросу в свое время велись оживленные диспуты.

Многим кажется, что причина спора в недостаточной определенности понятий, о которых идет речь: стоит людям по-хорошему договориться, что такое «машина» и что такое «творчество», как все станет ясно.

Однако дело тут вовсе не в определениях. Когда речь идет о широко известных и часто употребляемых понятиях, точные словесные формулировки мало чем могут помочь. Возьмем, например, определение слова «стол» в толковом словаре русского языка: «Предмет мебели в виде широкой горизонтальной доски на высоких опорах, ножках». Вряд ли такое определение способно уточнить или обогатить наше представление о столе. И вообще, живое содержание понятия формируется обычно не его определением, а всем опытом общественной жизни и практической деятельности людей, всей системой ассоциаций, образов, аналогий и даже эмоций, связанных с тем или иным предметом или явлением. Коротко можно всю эту систему назвать «ассоциативной базой» понятия.

Возникает вопрос: но ведь содержание памяти и запас представлений у разных людей различны? Значит, и смыслы понятий не могут для них быть одинаковыми?

Именно так! Нет и не было двух людей, которые вкладывали бы в одно и то же понятие в точности один и тот же смысл. Речь может идти только о приближенном, в общих чертах, совпадении смыслов. Такое совпадение встречается, когда мы наблюдаем группу людей с примерно одинаковой психологией, общей культурой, общим запасом сведений. Если же общей ассоциативной базы нет, люди могут понимать под одними и теми же словами совсем разные вещи.

Так, по-видимому, обстоит дело и в спорах о «машинном творчестве». Недаром в них обычно скрещивают оружие представители двух типов мышления: гуманитарного и инженерно-математического. Внешне в этих спорах сталкиваются готовые, законченные мнения, по существу же противоречат друг другу породившие их ассоциативные базы.

В процессе исторического развития общества понятия тоже не остаются неизменными: они развиваются, наполняясь новым содержанием, или отмирают. Возьмем, к примеру, понятие «машина» — ясно, что смысл и содержание этого понятия для нас совер-

шенно иные, чем для людей прошлого века. То же самое на наших глазах произошло с понятием «космос» — оно вышло из туманных философских глубин, обросло конкретными, земными ассоциациями.

Итак, смыслы слов, выражений, понятий в процессе исторического развития неизбежно меняются. И, естественно, приоритет в овладении понятиями принадлежит тем, кто чаще с ними сталкивается, кто непосредственно с ними работает. «Доказательство пудинга — в том, что его съедают», — гласит английская поговорка. Нет сомнения — инженер или математик вкладывает в понятие «машина» или «автомат» более адекватное, более богатое, более современное содержание, чем, скажем, литературовед или историк. С другой стороны, несомненно (хотя и менее очевидно), что и представитель гуманитарной науки имеет перед инженером или математиком некоторое преимущество: содержание понятий «мышление», «творчество» у него более богатое — гуманитарий о них больше думает и чаще употребляет.

И если мы зачастую встречаемся с узким, однобоким и устаревшим представлением о «машине» в гуманитарной среде, то нередко встречается и среди инженеров поверхностное, нигилистическое, обедненное отношение к понятию «творчество». Первые (кстати, весьма скромные) успехи машин в моделировании отдельных творческих функций человека некоторые энтузиасты машинной техники спешат объявить полноценными образцами такой деятельности, чуть ли не отменяющими надобность в человеке как творце и организаторе. Именно такие горе-энтузиасты с их лозунгом немедленной математизации и автоматизации всех видов умственной деятельности человека повинны во многих недоразумениях, возникающих вокруг проблемы «машина и творчество».

Естественно, когда спор ведется без взаимного понимания, он бесперспективен. Единственным путем к установлению если не истины, то хотя бы доступного в настоящее время приближения к ней, может стать расширение и обогащение ассоциативной базы понятий, причем не для одной, а непременно для обеих сторон. Речь идет не о том, чтобы (как думают некоторые) растолковать «отсталым гуманитариям», что такое современная машина, а о том, чтобы по возможности спорить об одном и том же без полемических перехлестов и взаимных обвинений. Надо попробовать разобраться в корнях разногласий, сблизить точки зрения на основе взаимного понимания. Гораздо полезнее понять, в чем права противная сторона, а не в чем она ошибается.

Итак, вернемся к предмету спора. Вопрос, поставленный нами сначала в наивной форме: «Способна ли машина к творчеству?» — можно развернуть несколько подробнее и строже, например в следующем виде: представляет ли собой мышление, творчество и т. п. исключительную прерогативу человеческого мозга, или же в принципе возможно существование мыслящей материи в иных формах, например в виде искусственных созданий человека?

Возникновение такого вопроса в наше время вполне естественно. Машины (или, как ученые предпочитают говорить, автоматы) за последние годы с фантастической быстротой стали овладевать рядом функций, которые от века представляли собой прерогативу человека, относились к его умственной, творческой деятельности. Современные машины управляют производственными процессами, боевыми действиями, конструируют технические устройства, несут диспетчерскую службу, играют в шашки, шахматы и другие игры, выводят формулы и теоремы, «сочиняют» стихи и музыку. Машины привлекаются к учебному процессу в качестве «репетиторов» и «экзаменаторов». Ведутся работы в области машинного перевода, машинного реферирования научных статей и т. п. В будущем, без сомнения, возможности машин будут расти, а сфера их деятельности расширяться. Значит ли это, что машине доступны мыслительные функции человека? Значит ли это, что машина способна «творить» в подлинном смысле слова?

На этот вопрос разные специалисты отвечают по-разному.

Например, К. Штейнбух дает определенно положительный ответ<sup>1</sup>. Да, утверждает он, машины и вообще искусственные создания человека способны к мыслительной деятельности. Представление, что мысль есть специальная функция человеческого мозга, он

<sup>1</sup> См. К. Штейнбух. Автомат и человек. Кибернетические факты и гипотезы. М. «Советское радио». 1967.

объявляет безнадежно устаревшим и вредным для развития науки. Переворот в научном сознании, связанный с открытием иных, отличных от человеческого мозга носителей мысли, он сравнивает с переворотом Коперника, заменившего геоцентрическую систему мира гелиоцентрической.

Положительно оценивают возможности машинного творчества и многие другие видные ученые. Например, академик В. М. Глушков пишет: «...принципиально ясна техническая возможность построения систем машин, которые могли бы не только решать отдельные интеллектуальные задачи, но и осуществлять комплексную автоматизацию таких высокоинтеллектуальных творческих процессов, как развитие науки и техники... Во второй половине XX столетия задача широкой автоматизации умственного труда стала не только гипотетической возможностью, но и реальной исторической необходимостью»<sup>2</sup>.

Нет недостатка и в представителях противоположной точки зрения. Наиболее отчетливо и определенно она развита, пожалуй, в статье П. Палиевского «Мера научности»<sup>3</sup> и в других его выступлениях. Эта позиция вкратце сводится к следующему: все естественное, природное имеет тем самым неизмеримое преимущество над всем искусственным, специально изготовленным, все подлинное — над любой имитацией. Корни этого преимущества П. Палиевский видит в том, что все естественное связано с неисчислимым, неисчерпаемым богатством мира, его самодвижением и саморазвитием, тогда как в искусственных созданиях эти связи отсутствуют. Представителей противоположной точки зрения автор иронически называет «энтузиастами изготовления».

Не в столь развернутой и категорической форме, но не менее определенно протестуют против вмешательства машин в высшие виды умственной человеческой деятельности многие ученые гуманитарного профиля. Попытки воспроизвести эти виды деятельности на уровне автоматов кажутся им убогими, неполноценными, заранее обреченными на неудачу.

Именно эти две точки зрения (может быть, выраженные не так резко) и сталкиваются во всех спорах по поводу «машинного творчества». Назовем их условно «инженерной» и «гуманитарной» (условно потому, что приверженность к той или иной позиции не всегда точно соответствует профессии ее «носителя»). «Инженерная» точка зрения по поводу возможностей машин в области мысли и творчества варьируется в пределах от решительного «да!» К. Штейнбуха до менее определенного, но вполне благожелательного «а почему бы и нет?». Напротив, «гуманитарная» точка зрения яростно сопротивляется самой идее «машинного творчества», считает ее профанацией, наглым вторжением в некое «святое святых», сигналом грозного наступления «мира роботов» на «мир людей». Многие доводы, приводимые в защиту этой точки зрения, выглядят довольно убедительно: в самом деле, феномен творческой деятельности человека очень сложен (чтобы не сказать — неизмеримо сложен) и все попытки его моделирования, по крайней мере в настоящее время, выглядят по сравнению с подлинником крайне примитивными и несовершенными.

Формируя свою точку зрения в споре, каждый его активный или пассивный участник опирается, конечно, на свою ассоциативную базу. Причем решающими элементами этой базы оказываются в данном случае не мысли и факты, а эмоции. Корни разногласий не в логике, а в сфере эмоциональных предпочтений и отталкиваний. Здесь же корни несомненно имеющегося (хотя иногда и скрытого) антагонизма спорящих. При этом «инженерная» точка зрения обычно выступает в роли нападающей, а «гуманитарная» — обороняющейся стороны.

Попытаемся разобраться — хотя бы в грубых чертах — в эмоциональных истоках этого антагонизма.

Начнем с того, что эмоциональная окраска понятия «машина» (или «автомат») для спорящих резко различна.

Сторонник гуманитарной позиции представляет себе автомат «в общем виде», отчужденно и отвлеченно. Для него автомат — нечто сложное, малопонятное, могущественное, но бездушное и отчасти враждебное человеку. Ассоциативное поле, связанное с понятием «автомат», лежит для него где-то между уличными автоматами (от которых, как известно, добра не жди!) и многочисленными «роботами» научно-фантастической

<sup>2</sup> В. М. Глушков. Мышление и кибернетика. «Знание». 1966, стр. 20, 30.

<sup>3</sup> См. «Знамя», 1966, № 4

литературы, которые, конечно, говорят, понимают речь, но бессердечны, своенравны и страшноваты. В сознании некоторых гуманитариев мифические «роботы» населяют будущее, подобно злым духам, населяющим мир в представлении дикаря.

Для инженера или математика, непосредственно имеющего дело с автоматами, машина — это «свой брат», не таящий в себе ничего ни страшного, ни загадочного (кстати, термина «робот», столь популярного в гуманитарной среде, специалисты почти не употребляют). Напротив, автомат подчас вызывает раздражение именно своей беспомощностью и «глупостью»: малым объемом памяти, недостаточным быстродействием — словом, вполне реальными недостатками. Зная эти недостатки, специалист примерно представляет себе и пути их преодоления, и трудности, ждущие его на этих путях. Его отношение к машинам по своей природе не религиозно, а конструктивно. Возможности машин он оценивает трезво и здраво, а главное, не склонен ставить какие-то границы этим возможностям. Для инженера-исследователя гипотеза о том, что возможности машин имеют границы, просто не нужна. Ясно, он недоволен, когда ему пытаются такие границы навязать. В этом первое эмоциональное различие.

Отметим и другое. В полемическом антагонизме, сталкивающем стороны в споре «машина и творчество», известную роль играет один ходячий предрассудок, на котором стоит остановиться отдельно. Этот предрассудок касается научной методологии и довольно распространен в инженерной среде. Он состоит в том, что науки якобы делятся на «подлинные» (то есть точные) и науки, так сказать, «второго сорта» (гуманитарные). Для первых характерен количественный метод исследования, применение математического аппарата и связанная с ним непрерываемость выводов. Для вторых, напротив, характерна неясность, расплывчатость, качественный (а значит, неубедительный) характер аргументации. С этой точки зрения имени науки заслуживает только то, что выражено количественными, математическими законами, все остальное — пустые слова, «сотрясение воздуха».

Такой нигилистической позиции в отношении гуманитарных наук придерживаются (в явной или скрытой форме) многие инженеры, физики, математики. Привыкнув к лаконичной и строгой количественной форме выражения истин на материале своих наук, они слишком легко скидывают со счета любое научное построение, если оно носит «вербальный» (словесный) характер, а не облечено в форму уравнений. Многим специалистам в области точных наук свойственно некое физико-математическое чванство, нередко проявляющееся с самых первых годов обучения. Рассказывают, что один известный ученый, открывая совместный вечер студентов физического и механико-математического факультетов МГУ, начал свою вступительную речь такими словами: «Физиков и математиков роднит чувство абсолютного умственного превосходства над студентами всех остальных факультетов»<sup>4</sup>.

Если рассуждать здраво, то оснований для подобного чванства нет никаких. Слов нет, количественные, математические методы служат мощным средством исследования явлений окружающего мира, но было бы ошибкой провозглашать их универсальными и единственно научными. Надо помнить, что истину, добытую математическими методами, нет оснований возводить в ранг непрерываемых. Только в чистой математике возможно выведение правильных следствий из произвольных (аксиоматически выбранных) предположений; здесь проверяется не истинность тех или других аксиом и следствий, а правильность цепочки логических умозаключений, связывающих исходные посыпки с выводами. В любой другой науке ситуация оказывается более сложной. Никакой самый совершенный математический аппарат не может сам по себе придать истинность научным выводам. Важно другое: адекватна ли действительности математическая модель, положенная в основу исследования? Если нет, исследование и вытекающие из него выводы ложны.

Построение математических моделей и их количественное изучение дали, как известно, блестящие результаты при решении физических и технических задач. За последние десятилетия область применения математических моделей необычайно рас-

<sup>4</sup> Этот эпизод произошел лет пятнадцать—двадцать назад; справедливость требует отметить, что теперь среди физиков и математиков такая позиция менее распространена и процветает по преимуществу в среде инженеров, применяющих математические методы.

ширилась. Математические модели становятся ценным подспорьем в биологии, медицине, языкознании, экономике, военном искусстве. Однако нельзя забывать, что каждая из этих наук имеет дело с феноменами несравненно более сложными, чем объекты изучения классических точных наук. В связи с этим математические модели играют здесь не основную, а подсобную роль.

Что касается тех наук, которые занимаются самыми сложными общественными явлениями — скажем, искусством, — то в них методы математического моделирования делают еще только первые шаги. Пока что в классических гуманитарных науках (эстетика, литературоведение и т. п.) математические методы играют более чем скромную роль и полученные с их помощью результаты ни в какое сравнение не идут с результатами, добытыми традиционными «вербальными» методами.

Вряд ли и в будущем развитие гуманитарных наук пойдет по пути сплошной формализации и математизации. Математический аппарат (по крайней мере в том виде, в каком он сейчас существует) недостаточно гибок для того, чтобы освоить ряд существенных категорий, таких, например, как «сходство», «приемлемость», «важность», «содержательность» и другие. Попытки перевести эти категории на чисто количественный язык «больше—меньше» зачастую приводят к огрублению и искажению действительности. Пока что в сложных ситуациях такой, казалось бы, ненадежный, малоточный аппарат, как словесное описание, оказывается и точнее и богаче формулы. Тем не менее со стороны представителей точных наук нередко наблюдается по отношению к гуманитариям такая позиция завоевателя. Как выразился один из них, «нет наук не математизируемых, есть только еще не математизированные». Подобная позиция не может не вызвать со стороны гуманитариев ответной — оборонительной — реакции.

Помимо основных — эмоциональных — корней спора «машина и творчество», взаимное непонимание сторон основано еще на некоторых ходячих заблуждениях, причина которых — просто недостаточная осведомленность.

Остановимся на некоторых возражениях против возможности «машинного творчества», с которыми чаще всего приходится встречаться в спорах.

Одно из них состоит в следующем: творчество есть создание нового, а машина способна только к тем действиям, которые заранее заложены в нее, запрограммированы ее создателем — человеком.

Это возражение несостоятельно: оно основано на устаревшем, наивном представлении об автомате как устройстве, все действия которого в точности предопределены программой. Такими были автоматы на заре развития этой техники, но сегодня разрабатываются (и уже применяются) высокоорганизованные устройства, способные, подобно человеку, обучаться и самообучаться, совершенствуя свою программу на основе опыта. Автомат, снабженный вначале лишь примитивной и несовершенной программой, вступает во взаимодействие с окружающей средой, получает от нее информацию, в соответствии с ней корректирует свои действия, вырабатывает себе программу, оптимальную для данной ситуации. Именно таким автоматам (обучаемым и самообучающимся) принадлежит будущее, только им доступно воспроизведение высших функций человеческого мозга.

Утверждать сегодня, будто автомат не способен к самостоятельным действиям, не может создать ничего нового, это все равно что сказать: ни один человек никогда не создаст ничего нового, так как все его действия предопределены комбинацией генов, полученных от отца и матери. Современный высокоорганизованный автомат, а тем более автомат будущего, не более предопределен в своих действиях, чем живой обучаемый и обучающийся человек.

Тут может возникнуть иронический вопрос: так что же, автомат обладает свободой действий? Свободой воли?

Да, известной свободой действий он обладает (со «свободой воли» торопиться не будем, так как здесь аналогия пока что сомнительна).

В спорах на тему «машина и творчество» высказанное положение об «известной свободе действий» автомата часто подвергается резкой критике. Оно рассматривается чуть ли не как идеалистическое. Только подумать: автомат — и свобода действий!

На самом деле все обстоит очень просто: способность автомата к непредсказуемым («произвольным») действиям обеспечивается вводом в программу того или иного

«генератора случайных ходов». Представьте себе, например, что вам предстоит выбор между двумя действиями: а) идти направо и б) идти налево. Опыта, диктующего выбор направления, у вас нет. Приходится выбирать его наугад. Вы подбрасываете монету и, если выпал герб, идете направо, а если решка — налево. Постепенно, повторяя опыт, вы можете сориентироваться в обстановке и убедиться, что вам выгоднее чаще ходить направо, чем налево. Тогда вы можете разыграть свой ход так, чтобы вероятнее был исход «направо» — например, подкинуть две монеты и, если хотя бы на одной из них выпадает герб, идти направо, а если на обеих решки, идти налево.

Аналогичный механизм (только, разумеется, в гораздо более сложной форме) кладется и в основу случайных, заранее непредсказуемых действий машины. Применяя такие действия и наблюдая реакцию внешней среды, машина как бы ориентируется в обстановке, «нащупывает» правильный образ действий. Первоначальное бессмысленное, хаотичное поведение постепенно, под влиянием сигналов от внешней среды (или от обучающего) превращается в осмысленное, целесообразное. Заметим, что сходная процедура (так называемый «метод проб и ошибок») лежит в основе всякого процесса обучения или самообучения.

Часто высказывается пренебрежительный взгляд на случайность как источник нового. Он несправедлив. В основе многих новых явлений в той или иной форме лежит случайность. Общеизвестна формообразующая роль случайных мутаций в биологии. Именно в результате этих мутаций возникают новые формы живых организмов, без чего невозможен прогресс в живой природе. Селекционеры для выведения новых видов также пользуются управляемыми, искусственно вызванными мутациями.

Многие научные открытия возникли в результате случайного стечения обстоятельств (легенда о «Ньютоновом яблоке» вряд ли соответствует истине, но она характерна как дань, отданная представлению о случайности в науке). Да и в искусстве случайность нередко обладает известной «творческой силой». Вспомните калейдоскоп — элементарную «машину», предназначенную именно для творчества, хотя и весьма примитивного. В трубке со стеклянными перегородками случайным образом перемешиваются цветные стекла; отражаясь в зеркалах, они образуют причудливые узоры, иной раз довольно красивые. Существуют приемы изготовления тканей, узор которых образуется чисто случайным образом. Известно, что некоторые художники (среди них Леонардо да Винчи!) черпали образы своих картин в случайных пятнах плесени на стене, в нагромождениях облаков и т. д.

А в литературе? Каждый писатель знает, к какому иногда неожиданно яркому художественному эффекту может привести случайная описка, обмолвка... Курьезный пример. Однажды я получила телеграмму: «Поздравляю Новым годом, желаю здоровья, успехов, удали». Телеграмма имела успех, но потом выяснилось, что он вызван опечаткой: последнее слово в оригинале было не «удали», а «удачи»...

Разумеется, творчество далеко не исчерпывается случайностью, но безусловно содержит ее как один из своих элементов. По-видимому, всякая творческая деятельность представляет собой сплав случайных элементов с элементами организующими, дисциплинирующими.

В общих и грубых чертах любой творческий процесс распадается на два этапа: подготовительный и отборочный. На первом этапе создается множество «заготовок», или возможных вариантов. На втором этапе производится их «просеивание», отбрасывание негодных и окончательный выбор одного — лучшего. Нет сомнения, что машина с ее огромным быстродействием, способная, не уставая и не выдыхаясь, перебирать необозримое множество вариантов, может существенно помочь человеку на первом этапе.

Рассмотрим в качестве примера работу инженера-конструктора, создающего техническое устройство определенного назначения. Ему приходят в голову кое-какие варианты, но он далеко не уверен, что предусмотрел все возможные. Завтра (если не сегодня) он обратится за подсказкой к машине, которая предложит его вниманию множество вариантов, среди них могут оказаться и весьма удачные, которые самому конструктору не пришли бы в голову...

Ну, скажут скептики, этот пример неубедителен. Ведь все-таки творчество конструктора — это не художественное творчество. Хорошо, возьмем другой пример.

Каждому литератору знакомы моменты поисков «нужного слова», когда единственное необходимое в данном контексте слово прячется, выскальзывает из рук, а вместо него навязчиво вылезают другие, похожие по смыслу, но не совсем те... Плохо ли было бы, если бы он имел возможность обратиться к машине, которая мгновенно выдала бы ему ряд слов, близких по значению к тем, которые приходят в голову? Машина могла бы выдать и ряд других слов, ассоциативно связанных с искомыми.

Конечно, некоторым литераторам обращение к машине за творческим советом покажется кощунственным; но примирились же они, в конце концов, с заменой гусиного пера стальным, стального — авторучкой, авторучки — машинкой?

Лично мне такое использование машины-справочника, машины-советчика не кажется ни кощунством, ни нелепостью (разумеется, если обращение к машине обставлено со всем возможным комфортом и не требует специальных акций вроде поездки в вычислительный центр и включения данного запроса в план работ). Опыт учит, что любое внедрение техники в область творческого труда сначала встречается в штыки приверженцами старого Пегаса, но затем становится общепринятым и делает свое дело.

Итак, на первом, подготовительном этапе творчества машина безусловно может помочь человеку. Как же обстоит дело со вторым этапом — отборочным?

Вне сомнения, гораздо сложнее. Отобрать среди множества вариантов наилучший, единственно нужный, конечно, много сложнее, чем эти варианты заготовить. В отборе, отсеении лишнего — подлинная функция творца. Знаменитый скульптор Огюст Роден так описывал процесс создания статуи: «Я беру глыбу мрамора и отсекаю все лишнее». О творческом процессе как «отбрасывании лишнего», «снятии покровов» говорит и Л. Н. Толстой. Помните, как художник Михайлов в романе «Анна Каренина» работает над рисунком фигуры человека, находящегося в припадке гнева? Случайное (!) пятно стеарина оживило для него начатый рисунок, дало человеку новую позу. «Фигура эта жила и была ясно и несомненно определена. Можно было поправить рисунок сообразно с требованиями этой фигуры, можно и должно даже было иначе расставить ноги, совсем переменить положение левой руки, откинуть волосы. Но, делая эти поправки, он не изменял фигуры, а только откидывал то, что скрывало фигуру. Он как бы снимал с нее те покровы, из-за которых она не вся была видна; каждая новая черта только больше выказывала всю фигуру во всей ее энергической силе, такую, какую она явилась ему вдруг от произведенного стеарином пятна»<sup>5</sup>.

Итак, подлинное творчество — это отбор, «отсечение ненужного», «снятие покровов»...

Напрашивается мысль, что на втором, отборочном этапе машина уже не может помочь человеку. И все же это не совсем так.

Во-первых, отбор бывает разный, различной степени сложности. В простейших случаях отбор сводится к тому, что из созданных (предложенных) машиной случайных комбинаций отбрасываются те, которые не удовлетворяют каким-то формальным требованиям (законам). Так, например, современные машины «сочиняют» музыку. Сначала машина генерирует случайные последовательности звуков, затем из них автоматически отбрасываются те, которые не удовлетворяют правилам гармонии, контрапункта или определенным стилистическим требованиям. Кстати, получаемая таким способом музыкальная «продукция» отнюдь не лишена художественных достоинств и вполне может конкурировать с рядовыми работами музыкантов-профессионалов.

В качестве убедительного примера сошлюсь на следующий факт: одна из телевизионных передач как раз на тему о «машинном творчестве» целиком, с начала и до конца, шла под аккомпанемент музыки, «сочиненной» электронной цифровой вычислительной машиной по программе, составленной музыкантом и математиком Р. Х. Зариповым. Зрители не были предупреждены о том, что передачу сопровождает машинная музыка; им об этом сообщили только в самом конце. И что же? Практически никто не заметил в музыке ничего особенного, не заподозрил ее «нечеловеческого» происхождения (впрочем, никто специально не отмечал и каких-либо особых художественных ее достоинств). Во всяком случае, музыка воспринималась как вполне «нормальная», не отличающаяся от обычного музыкального сопровождения телепередач...

<sup>5</sup> Л. Н. Толстой. Собрание сочинений в 14 томах. М. 1952, т. 9, стр. 40.



Так обстоит дело с применением машин на отборочном этапе в самых простых случаях, когда «критерии отбора» могут быть формализованы, сведены к системе правил.

В более сложных случаях (а они типичны для художественного творчества) критерии отбора неясны и не поддаются формализации. В таких случаях функция отбора гораздо ответственнее и пока доступна только человеку с его непревзойденным умением решать нечетко поставленные, не формализованные задачи. Однако значит ли это, что в таких случаях функция отбора в принципе недоступна машине? Нет, не значит.

Речь идет не о сегодняшних крайне несовершенных автоматах — речь идет о завтрашних машинах, способных к обучению и самообучению. Здесь, как и во всех плохо формализуемых задачах, могут помочь так называемые эвристические программы, когда обучаемый автомат, как бы подражая своему учителю — человеку, перенимая его приемы, воспроизводит в той или иной мере функцию отбора. Уже в настоящее время примерно по такой схеме автоматы обучаются некоторым видам деятельности человека, например работе диспетчера. Возможности эвристических методов огромны. Любопытной их чертой является то, что, начав с простого подражания человеку, автомат через некоторое время тренировки может усовершенствовать свою программу и в принципе даже превзойти своего учителя — человека. Отдельные примеры таких состязаний «человек — машина», в которых обученная машина переигрывает своего учителя — человека, имеются уже и сейчас. Правда, они относятся к сравнительно простым образцам умственной деятельности, но, как говорится, лиха беда начало...

Разумеется, трудности построения эвристических программ огромны, причем с усложнением умственно-психической деятельности, которую требуется воспроизвести, задача становится гораздо более сложной. Но принципиальная возможность обучения автомата некоторым видам неформальной деятельности несомненна.

Среди возражений против «машинного творчества» часто фигурирует одно, близкое к философской концепции, выдвинутой в уже упоминавшейся статье П. Палиевского: ничто «искусственное», никакое «подражание» не может, по существу, обладать всей полнотой и полноценностью имитируемого объекта, так как в любом искусственном всегда будет не хватать «чего-то», присутствующего в неискusstvenном, природном.

Эту точку зрения трудно опровергать именно в силу ее крайней неопределенности. Поди докажи, что в твоих искусственных созданиях есть это неуловимое «что-то!» Ситуация напоминает известное требование: «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Единственный возможный путь спора с такой позицией — конструировать убедительные аналогии.

Как известно, человечество создало искусственное устройство — самолет, первоначально задуманный как имитатор летательной способности птицы, но быстро оторвавшийся от своего имитаторского амплуа и начавший вполне самостоятельную жизнь. Вряд ли кто-нибудь будет сомневаться в полноценной способности самолета именно летать и делать это по ряду признаков лучше птицы, хотя у последней есть все преимущества «естественного и живого». Все дело в том, что к формулировке «машина летает» мы уже привыкли, а формулировка «машина думает» или «машина творит» все еще кажется нам дикой.

Философская концепция, утверждающая, что все «естественное» лучше, совершеннее всего «искусственного», опровергается жизнью так же, как в свое время была опровергнута философия витализма. Виталисты утверждали, что всему живому присуща особая жизненная сила, «энтелехия», и потому невозможен искусственный синтез никакого органического вещества. Эта концепция была блестяще опровергнута Фридрихом Вёлером, который в 1828 году синтезировал первое органическое вещество — мочевины. Виталистам пришлось сдать свои позиции, но в видоизмененном виде, в завуалированной форме отзвуки витализма звучат до сих пор.

Впрочем, с философски развернутой формой отрицания в споре «машина и творчество» приходится встречаться не так уж часто. Гораздо больше распространена другая форма, которую можно назвать «отрицанием с переменной базой». Она сводится

к тому, что за подлинные образцы мышления и творчества спорящий соглашается признать только то, что еще не достигнуто машиной. Как только какая-то область умственной деятельности человека оказывается завоеванной машинами, граница «подлинности» отодвигается дальше, а отрицание продвигается.

Два-три десятилетия назад такие «отрицатели» соглашались признать за машиной только способность вычислять; зато творческая функция составления программы, прибавляли они, машине недоступна. Появление автоматов, составляющих и оптимизирующих программы, заставило их слегка пересмотреть свою позицию — функция составления программы, раз уж она оказалась доступной для машины, была отнесена к нетворческим — за человеком оставалось создание математической модели, выполнение алгебраических преобразований, логических умозаключений... И что же? Во всех этих областях сегодня машина начинает соперничать с человеком... Граница подлинно творческой деятельности отодвигается все дальше, но существование самой границы отстаивается с прежним пылом!

Разумеется, нельзя никому помешать придерживаться такой «переменно-постоянной» точки зрения, но она автоматически отменяет самый предмет спора. Если считать за подлинные образцы мышления и творчества то, что на сегодняшний день еще не освоено машинами, разумеется, ответ на вопросы: «Может ли машина мыслить? Способна ли она к самостоятельному творчеству?» — всегда будет один и тот же: «Нет!»

Остановимся еще на одном возражении ярко эмоционального характера, часто выдвигаемом противниками «машинного творчества». Оно формулируется примерно так: а все-таки машина никогда не сможет полностью заменить человека!

Здесь недоразумение со словом «заменить». Как правило, опыты по моделированию умственных и творческих функций человека ведутся без прямой задачи во что бы то ни стало заменить человека в этих его функциях. Цель опытов другая — моделируя, лучше разобраться в существе моделируемых процессов.

«Заменять» человека машиной имеет смысл только в тех функциях, которые машина выполняет лучше человека. И в этих случаях замена происходит не насильственно, в результате агрессивной деятельности «энтузиастов изготовительства», а мирно, естественно, из соображений удобства и экономической выгоды. Так, например, произошло мирное вытеснение человека машиной из области сложных численных расчетов. В прошлом веке и в начале нынешнего высоко ценились виртуозы-вычислители, способные аккуратно, без ошибок производить сложнейшие расчеты с помощью семизначных таблиц логарифмов. Где теперь эти виртуозы? Где сами семизначные таблицы? Отпали, упразднены жизнью. В недалеком будущем та же судьба, вероятно, постигнет и сложные буквенные преобразования (сейчас это искусство, имеющее своих артистов). Далее — очередь формальных доказательств теорем и т. д. Первые попытки применения машин в этих областях делаются уже сегодня. Например, машина выполняет тождественные алгебраические преобразования выражений, заданных в буквенном виде; среди полученных вариантов она выбирает наиболее простые («изящные») по определенному признаку (количество букв, одночленная или многочленная форма и т. д.). Какое облегчение для математиков, особенно рассеянных, которые не умеют выполнить мало-мальски сложное преобразование, не ошибившись в знаке и не потеряв двойки!

Проводятся опыты и по привлечению машин к формальному доказательству теорем. Приведу любопытный факт: в процессе отладки программы для логических умозаключений машине было поручено вывести ряд теорем, относящихся к одному из разделов геометрии. Машина не только справилась с задачей, но и вывела дополнительно две новые теоремы, неизвестные составителям программы!

Итак, «замена» человека машиной происходит одновременно и ненасильственно там, где машина сильнее человека. Что касается высших форм творческой деятельности, то пока что человек приспособлен к ним куда лучше, чем машина, и вопроса о «замене» ни сегодня, ни в близком будущем не возникает.

Энтузиасты часто говорят с восторгом об отдельных удачных образцах машинного творчества: музыкальных мелодиях, стихотворениях, которые иногда трудно бывает отличить от созданных профессионалами. Несмотря на внешнюю эффектность таких образцов, они все же не выглядят особенно убедительными. По существу, здесь

демонстрируются только отдельные элементы, которые наряду с другими могли бы встретиться и в творчестве человека. Куда более сложная задача композиции, объединения элементов, подчинения их некоему замыслу до сих пор машиной не решена. Не надо забывать также, что на суд публики выставляются не все образцы «машинного творчества», а только некоторые из них, наиболее удачные с точки зрения экспериментатора, — это значит, что функция отбора, просеивания опять-таки выполняется человеком. Это — в области музыки, где успехи «творящих машин» наиболее существенны. Что касается «машинной поэзии», то здесь успехи более чем скромны. Опыты по «машинному сочинению стихов» в лучшем случае доказали, что, пользуясь определенным словарным запасом (то есть, по существу, набором штампов), можно создать предмет, имеющий видимость стихотворения, где все в порядке: фразы грамматически осмысленны, размер соблюден, рифмы проставлены... В настоящее время даже лучшие (специально отобранные!) образцы «машинной поэзии» читаются скорее как пародии на убогое творчество стихотворца-ремесленника, чем как полноценные стихи. Кроме того, нельзя забывать, что эти образцы чаще всего известны нам не в подлинниках, а в переводах (количество «машинных» стихов отечественного производства ничтожно). Работа же переводчика может до неузнаваемости «очеловечить» исходный машинный текст.

Значит ли это, что опыты по моделированию творчества вообще бессмысленны и бесполезны? Отнюдь нет. Ведь главная цель таких опытов — по возможности разобраться в структуре творческого процесса. Те «художественные» произведения, которые получаются в результате моделирования, представляют собой скорее побочный продукт производства, чем его цель. Однако сам факт, что в отдельных случаях этот побочный продукт имеет самостоятельную (пока невысокую) художественную ценность, заслуживает внимания.

Наша научно-популярная литература (уж не говоря о научно-фантастической) счесть много внимания уделяет возможностям науки и техники, но почти ничего не говорит об их ограничениях. Широкой публике почти ничего не известно о серьезных трудностях, связанных с имитацией некоторых сторон человеческой деятельности — даже не самой сложной, не творческой. Мало кто знает, что сегодняшние автоматы (и автоматы ближайшего будущего) не в силах заменить, скажем, обыкновенного вахтера, сидящего у двери и слушающего лицо посетителя с его изображением на фотографии. Есть автоматы, читающие печатный текст, но пока еще нет автоматов, читающих рукописи. Есть автоматы, выполняющие несложные команды, поданные голосом, но нет еще автоматов, способных выполнить сложную последовательность команд, поданную в обычной речевой форме: слишком разнятся между собой людские голоса, оттенки произношения, ритмика речи. Все это задачи, относящиеся к так называемой «проблеме распознавания образа» — одной из труднейших и ключевых проблем современной науки. Подлинное овладение машинной техникой наступит тогда, когда мы научим автоматы, подобно человеку, распознавать образы. Здесь мы всегда встречаемся со специфической и пока невоспроизводимой способностью человека — оценивать ситуацию в общем, отбрасывая несущественные подробности и фиксируя только главные. Например, самый ограниченный человек способен опознать предмет под названием «дом» — не важно, велик он или мал, выкрашен в красный или белый цвет, освещен сбоку или спереди, виден на фоне деревьев или забора. Тогда как самый совершенный сегодняшний автомат этой простейшей задачи (и ряда ей подобных) решить не может. Автомату нельзя дать указание типа «ознакомься с обстановкой, оцени ее и поступай соответственно» — ему надо подробнейшим образом «растолковать», как он должен себя вести в том или другом случае. В таких условиях человек по сравнению с сегодняшним автоматом находится на недостижимой высоте: он умеет решать так называемые неформальные задачи. Научить этому автоматы значило бы сделать огромный шаг вперед в деле имитации чисто человеческих функций; надо трезво, без паники учитывать, что этот шаг очень труден.

Сознание трудностей воспитывает уважение к тому, что уже сделано. Чтобы его по достоинству оценить, надо знать, почем фунт лиха. Современный читатель-специалист, вскормленный на научно-фантастической литературе, слишком склонен недооценивать и то, что уже сделано, и то, что еще предстоит сделать. В воображе-

нии иных говорящие, понимающие, сторожащие и подслушивающие «роботы» — это уже реальность не сегодняшнего, так завтрашнего дня, и ничего особенного тут нет, наука все может. Чисто обывательская позиция. «Для обывателя,— как сказал однажды писатель А. Б. Раскин,— характерно сочетание слепой веры во всемогущество науки с глубоким убеждением, что ничего хорошего из этого не выйдет».

Иногда удивляешься: до чего же легко атрофируется у некоторых людей естественное человеческое чувство удивления!

Разве не удивительно, например, что наши сегодняшние, крайне несовершенные машины уже способны сочинять музыку, которую можно слушать без отвращения? Разве не поразительны опыты по автоматическому конструированию технических устройств? По автоматическому расшифровыванию древних текстов? Разве не восхитительно, что машина после десяти—двадцати часов тренировки уверенно обыгрывает в шашки человека, составившего для нее программу?

Куда там! Наш скептик не умеет ни удивляться, ни восхищаться. Он умеет только критиковать. Он сосредоточивает свой пыл на выявлении недостатков и несовершенств современных образцов «машинного творчества». В этом ему нетрудно преуспеть, ибо недостатки и несовершенства изобильны и легко обнаруживаются. И критик торжествующе заявляет: «Все равно ничего у вас не выйдет!» Опомнитесь, хочется ответить такому критику, учтите, что электронная вычислительная техника еще очень молода, она насчитывает чуть больше двух десятилетий, а автоматы — имитаторы умственной деятельности человека еще гораздо моложе. Попрекать ребенка, делающего первые шаги, тем, что он ходит еще плохо,— это, как хотите, не по-джентльменски...

А с другой стороны, хочется сказать «поостерегитесь!» тем инженерам-энтузиастам, которые, достигнув первых успехов в области «машинного творчества», спешат объявить задачу уже решенной... Нельзя забывать, что большое время и множество трудов отделяют первые эффектные попытки и демонстрации от реальной, «промышленной» эксплуатации автоматов в данной сфере умственной деятельности.

Вспомним, как обстояло дело хотя бы с машинным переводом. Первые успешные попытки такого перевода демонстрировались еще в начале 50-х годов. Казалось, еще небольшое усилие — и проблема машинного перевода будет разрешена. Оказалось, это не так. Первоначальные довольно примитивные алгоритмы машинного перевода оказались слишком локальными, слишком привязанными к особенностям того именно текста, который переводился. Понадобились более общие методы. В связи с этим возникла новая, самостоятельная научная дисциплина — математическая лингвистика, изучающая различного типа модели языка. Несмотря на большие успехи, достигнутые в этой области, до сих пор еще реальная проблема машинного перевода остается практически нерешенной. Максимум, чего удалось добиться,— машинный перевод специальных (по преимуществу технических) текстов, и то перевод не особенно высокого качества, который приходится редактировать. Функция редактирования до сих пор еще остается прерогативой человека.

Итак, мы видим, что на каждом этапе развития науки и техники происходит временное разделение труда между машиной и человеком. Машине предоставляются те функции, которые в настоящее время она выполняет лучше, быстрее, экономичнее. Никакой резкой границы между «творческими» и «нетворческими» функциями человека нет. Пусть нас не оскорбляют слова «машина мыслит», «машина творит». Не надо ставить никаких ограничений возможностям машин; подобные ограничения никогда не были плодотворными.

Но не надо и торопиться объявлять о «замене» человека машиной в тех его функциях, с которыми он пока лучше нее справляется. Человеку пока еще есть над чем работать!



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

К 80-летию со дня рождения В. В. Маяковского

ПЕТРУСЬ БРОВКА



## КАК ГРОЗОВОЙ ДОЖДЬ

**М**аршруты путешествий Владимира Маяковского по стране — это нити прочнейшей связи. Связи поэта с народными массами. С родниками жизни, из которых черпался материал для творчества.

Он ездил по миру, неся идеи Октября, свои бунтарские строки, взрывая и воспламеняя людские сердца.

В Белоруссии его помнят, всегда будут помнить. Он приезжал к нам, и эти его приезды благотворно влияли на все последующее развитие белорусской литературы, особенно поэзии.

Это было в 1914, 1924, 1925, 1927 годах. Поэт побывал, кроме Минска, в Гомеле и в Витебске. Якуб Колас, Янка Мавр, Ефим Садовский много и интересно рассказывали о нем — им посчастливилось присутствовать на этих встречах.

...1914 год. Минск, обычный губернский город. Несколько клубов — дворянское и купеческое собрания. Две-три провинциальных газетки, единственная библиотека. Ни одного высшего учебного заведения, ни одного театра. Кроме убогого кустарного производства, никакой промышленности. Серая, скучная жизнь. Отсутствие настоящей культуры. Но пробуждалась молодежь, были люди, стремящиеся к свету. Так или иначе, но пестрые афиши, возвещавшие о приезде в Минск поэтов Маяковского и Бурлюка, привлекли на их выступления многих.

Местные власти разрешали такие выступления неохотно. Минский губернатор, уже наслышанный о выступлениях поэта в других городах, и особенно в Киеве, сначала вообще отказал Маяковскому, но увидев у поэта разрешение, которое ему предусмотрительно удалось выхлопотать в Петербурге, вынужден был смириться, правда, не забыв предупредить при этом начальника жандармов: никакой крамолы! «Если удаст-

ся сорвать вечер — тем лучше, — наказывал губернатор. — Следите, следите. Самое незначительное нарушение закона со стороны этих господ — и я даю вам право прекратить выступления немедленно и безоговорочно. Надеюсь, вы поняли меня?»

Полицейские патрули и переодетые шпики сновали все время у здания купеческого собрания, где выступал поэт.

Есть воспоминания нашего старейшего писателя Янки Мавра об этом вечере.

«В то время Маяковский был известен широкой публике как воинствующий футурист. Публики собралось много. Все ожидали, что Маяковский обязательно «выкинет какую-либо штуку».

Начало подавало в этом смысле надежду. Маяковский вышел в своей «форме» — широкой полосатой блузе. «Я, — начал он звучным голосом, обведя всех глазами, — весьма умный человек...» Публика неистово захохотала, застучала ногами, некоторые зааплодировали. Все были удовлетворены: сейчас начнутся «штуки». «Я хорошо знаю, — отчеканивал слова Маяковский, — зачем вы сюда пришли. Вы пришли сюда, чтобы покричать, похохотать, постучать ногами. Но я думаю, что после нашего выступления вам придется поработать не ногами, а головами...» Публика настожижилась. Прекратились и стук и хохот.

Маяковский начал лекцию. И что же? Действительно слушателям пришлось поработать головой. Никаких «штук», никаких «фокусов», а серьезная научная лекция с убедительной логикой. Всю лекцию публика прослушала тихо, внимательно, хохотать никому и в голову не приходило. И аплодисменты уже были не ироническими, а настоящими.

В перерыве большая группа подошла к Маяковскому. Ему задавали разные вопро-

сы, иногда и каверзные, но он отвечал так, что все стрелы отлетали назад».

Маяковский не упустил случая поиздеваться и над губернатором. Очевидцы говорят, что когда поэту напомнили, как неохотно ему давали разрешение на выступление, Маяковский сказал: «Если он так испугался нас, то как же он реагирует на открытую крамолу? Очевидно, губернатор страдает от бессонницы. Передайте ему, что у меня есть хорошее лекарство — стихи Сологуба».

...Маяковский всегда помнил нашу землю, Белоруссию.

Среди агитплакатов «Окна РОСТА» в годы гражданской войны были выпуски, прямо посвященные бойцам, защищающим этот советский край от белопольских панов. Около двух десятков произведений поэта было опубликовано в белорусской печати только в 1923—1924 годах. Маяковский радовался обновлению столицы республики Минска. Вспоминают, как он мерил шагами весь город вплоть до окраин. Посещал музеи и предприятия, неустанно выступал перед все новыми аудиториями.

Народный поэт Якуб Колас писал потом: «Я увлекался Маяковским как человеком крупнейшего революционного пафоса, как агитатором нового, социалистического мира, но стихи его долгое время меня мало волновали. Я вырос на поэзии Пушкина и Лермонтова. Так было до выхода в свет поэмы «Владимир Ильич Ленин». Эта поэма не только взволновала меня, но и с большой убедительностью по-новому выявила весь творческий облик поэта. Потом Маяковский приезжал к нам в Минск и выступал во Дворце культуры с чтением своих произведений. Кроме стихов, он прочел отрывки из только что написанной поэмы «Хорошо!». Читал он мастерски и покорила не только меня, но и всех, кто слушал его в этот вечер. Поэт крупнейшего темперамента, неустанный агитатор и певец социалистического общества, непримиримый враг всяческой косности и рутины — таким навсегда остался Маяковский в моей памяти».

Эти слова Коласа о Владимире Владимировиче, вероятно, могут выразить отношение к его поэзии и почти всех белорусских поэтов, несмотря на различие их литературных вкусов.

Мимо сердца, мимо взгляда Маяковского ничто не проходило бесследно. Он остро чувствовал то, что называлось «социальным заказом».

В начале 20-х годов исключительно важ-

на была антирелигиозная работа. В 1923 году комсомольцы Минска решили провести своеобразный карнавал — «комсомольское рождество», дать бой попощине. Комсомольцы паровозного депо были заводилами. На карнавал они вышли с плакатами, лозунгами, карикатурами и чучелами, изображавшими попощину, темноту, невежество. Впереди Коля Гладкий, вожак комсомольцев-железнодорожников. Он и сам надел на голову льняную кудель, изображая попа. В руках вместо свечи нес зажженный факел. По молодости дал оплошку — во время шествия кудель загорелась... Ожоги были столь сильны, что оказались для парня роковыми. Перед кончиной Коля, мужественно преодолевая боль, говорил: «Жаль, что теперь попы и клижуши выгодный материал получат, пойдут каркать, что это меня бог наказал»...

Так и было: по всей Белоруссии зашевелили слухи, что вот-де бог наказал антихриста-комсомольца.

Надо было принимать срочные контрмеры против церковников. Кому-то из комсомольцев пришла счастливая мысль обратиться к Маяковскому. Редактор выходящей в то время в Минске комсомольской газеты «Красная смена» срочно направился в Москву. И поэт отозвался. Его стихотворение «Не для нас поповские праздники» вскоре было напечатано. И какой бой давало оно попощине, всем вздорным слухам!

Не нам поп — няня.  
Христу отставку вручите.  
Наш наставник — знание,  
книга —

наш учитель.  
Отбрось суеверий сеянье.  
Отбрось религиозный обряд.  
Коммуны воскресенье —  
25 октября.

1927-й... Поэт выступал вначале в Витебске. В этом же году было написано знаменитое «Пиво и социализм» («Пиво. Завод им. Бебеля»), это впечатления именно о Витебске тех лет. Минск. Доклад «Лицо левой литературы». В то время популярность поэта-новатора была у нас уже огромной. Клуб не мог вместить всех желающих. Для поэтической молодежи это был праздник. Один начинающий поэт, по профессии кожевник, С. Пилитович, обратился к Владимиру Владимировичу с просьбой: посмотрите стихи. Маяковский читал внимательно, сказал: «Много срывов. Но есть и неплохие строфы. Вам надо не оставлять

работы. Кожу, чтобы она стала гладкой, шлифуют, скребут. Так и слово. Надо оттачивать каждую мысль. Трудитесь!» И оказал впоследствии Пилитовичу такую ощутимую помощь! Стараниями Маяковского был издан сборник стихов молодого белорусского поэта с предисловием Николая Асеева.

Маяковский был чуток и в то же время исключительно требователен. Беседа с литкружковцами в минской гостинице «Европа», он говорил: «Стихи пишет почти каждый. Вот я сейчас выйду на балкон и безошибочно начну вам показывать тех прохожих, кто писал, пишет либо собирается писать стихи. Думают, что писать стихи так же легко, как прокатиться за рубль на извозчике. Чужие лошади, кто-то досматривает их, а ты себе сел в бричку и катайся на свой рубль. Тяжелое дело писать стихи, понятно, хорошие...»

Очень ценил мастеров, будь они и иной, чем он, творческой манеры. Высоко отзывался о наших классиках: «Великие мастера есть у вас, в Белоруссии. Янка Купала, Якуб Колас... Я помню переводы Брюсова... Вот еще раз приеду и научусь сам в оригинале читать».

Провожавших его на вокзале было бесконечно много: пожелания счастливого пути, просьбы не забывать Минск. Маяковский, стоя на ступеньках вагона, сердечно отвечал: «Приходилось мне не только приезжать в Минск, но и проезжать мимо Минска. За границу ездил, в Польшу. Эх, думаю, хорошо бы заглянуть к минчанам, встречают гостеприимно. Да нельзя... Паспорт просрочить... Съезжу еще раз в Польшу, там же временно половина Белоруссии осталась, — тогда и напишу и приеду...»

Не довелось ему, большому нашему дру-

гу, увидеть и освобожденную Западную и воссоединенную Беларусь. Мы представляем, сколько бы он написал об этом. Смерть Маяковского белорусы переживали как личное горе. У нас с великой благодарностью чтут память поэта. На белорусский язык его переводили лучшие наши стихотворцы. Я затрудняюсь привести имена всех его переводчиков — так их много. На здании драматического театра — мемориальная доска: тут он выступал. В Минске, Витебске, Бресте именем поэта названы улицы. Есть школы его имени, колхоз на Могилевщине.

Как много Маяковский значит в их судьбе, говорит едва ли не каждый белорусский поэт. Петро Глебка и Аркадий Кулешов, Максим Танк и Пимен Панченко, Максим Лужанин и Анатолий Велюгин, Сергей Граховский и Кастусь Киреенко, Рыгор Бородулин, Алесь Звонак и Геннадий Буравкин — все учились у него!

Народный писатель Кондрат Крапива хорошо сказал о величии поэта:

«Величие это складывается из двух главных компонентов: страстного общественного темперамента поэта и его великого поэтического таланта, поставленного на службу народу. И не народу в расплывчатом понятии этого слова, а конкретно — «атакующему классу» в самый ответственный момент его истории, когда этот атакующий класс начал ломать и крошить устои старого мира.

Маяковский явился в нашу поэзию, как грозовой дождь, пролившийся благотворно на ее ниву и очистивший атмосферу от заплесневелых взглядов и понятий, каких еще так было много в годы его бурной деятельности».

Как грозовой дождь! Таким было, таким остается его вдохновенное слово.

---

---

МАРГАРИТА АЛИГЕР



## МАЯКОВСКИЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

**И** на календарном листке были напечатаны стихи:

Возьмем винтовки новые,  
на штык — флажки!  
И с песнею  
        в стрелковые  
пойдем кружки.

И подпись под ними стояла: В. Маяковский. Повторяя эти строчки, легче было прыгать, играя в «классы».

Старшеклассник на школьном утреннике объявил, что будет читать стихи Маяковского.

Кто там шагает правой?  
Левой!  
Левой!  
Левой! —

повторяла я в ритм собственным шагам, возвращаясь с утренника домой.

«Из современных поэтов я признаю одного Маяковского», — заявил отец в разговоре со своими гостями.

Это имя все настойчивее входило в мою жизнь.

С четвертого класса школы я стала бесшумным членом редколлегии нашей стенгазеты, а стенгазета была замечательная, огромная, яркая, веселая... Выпуск каждого нового номера требовал затраты немало времени и труда, но какое было счастье сидеть за полночь вместе со старшеклассниками, с любимой учительницей русского языка и литературы, переписывать, править, клеить, рисовать и, наконец, впервые в жизни публиковать собственные стихи... А сколько за эти долгие вечера было интересных разговоров, шуток, смеха... И вот там-то однажды я услышала разговор двух семиклассников (а школа была семилетка и ребята, стало быть, были уже выпускниками). Они говорили о какой-то поэме Маяковского и все время повторяли слово «хо-

рошо», а мне было невдомек, что это и есть название поэмы, — она, видимо, только что была опубликована. И наконец один из них сказал, очевидно завершая спор:

— Нет, нет, все равно я предпочитаю «Облако в штанах». Все равно это прекраснее... — И, не переводя дыхания, продолжал: — «Мама! Ваш сын прекрасно болен!.. У него пожар сердца. Скажите сестрам, Люде и Оле, — ему уже некуда деться...»

Сердце мое как-то странно вздрогнуло — наверно, в первый раз в жизни — и словно бы глубоко вдохнуло в себя и эти строки, и странное словосочетание «Облако в штанах». Весь тот далекий вечер, делая все, что мне было положено, я нет-нет да и повторяла про себя: «Мама! Ваш сын прекрасно болен!.. У него пожар сердца...» — и сердце мое необычно и незнакомо обмирало. В конце концов я отважилась спросить у семиклассников, где можно прочесть эту поэму, и они обрушили на меня огромную библиографию, из которой я твердо запомнила только одно: «Облако в штанах» не так давно вышло в серии «Библиотека «Огонька», уже в те поры известной мне.

На следующий день, вернувшись из школы, я выпросила гривенник и отправилась на поиски «Облака в штанах», громко, вполголоса и про себя повторяя: «Мама! Ваш сын прекрасно болен!.. У него пожар сердца. Скажите сестрам, Люде и Оле, — ему уже некуда деться...» Экспедиция моя успеха не имела: исколесив город вдоль и поперек, я так и не смогла нигде купить «Облако в штанах». Не помню уж, как скоро, где и когда мне удалось целиком прочесть поэму, но твердо могу сказать: с того мгновения, как в сердце мое навсегда вписались во всей их пронзительности и неповторимости лирические строки Маяковского, поэт неизбежно вошел в мою жизнь.



В скором времени он приехал в наш город и выступал в помещении Биржи, но билет стоил рубль, а мне этого рубля не дали. Отца уже не было в живых, у матери лишнего рубля не нашлось. И не поняла она, бедная, сколь мудрее было бы кормить меня несколько дней одним хлебом, но дать мне рубль на билет. До сих пор помню ощущение горя, обиды и отчаянья. До сих пор не могу себе простить, почему не украла этот рубль, не кинулась к кому-нибудь из учителей — они бы поняли и пришли на помощь, почему не совершила какого-нибудь безумства и не попала на тот вечер. «Успеешь еще, — говорили мне, — услышишь еще Маяковского». И то сказать: я была только в пятом классе и все казалось еще впереди. Кто ж мог знать, что через два года в дверь постучится соседка и скажет отвратительно равнодушным и безразличным голосом: «Твой Маяковский застрелился». «Не может быть! Неправда!» — крикну я в ответ. «В газете написано», — усмехнется она.

Тридцатый год, пожалуй, был последним годом моего детства или, если хотите, отрочества. А затем началась юность, годы, когда в жизни человека с невероятной быстротой происходит множество событий. Проверьте мое ощущение, пожилые да и средних лет люди. Припомните все, что произошло с вами, скажем, с пятнадцати до двадцати лет и за последние пять—десять лет вашей жизни. Сегодня ведь и то, что произошло более четверти века назад, кажется случившимся вчера — например, конец войны.

Через два года после смерти Маяковского я уже была в Москве, уже не пропускала ни одного интересного литературного вечера или диспута, уже неукоснительно бывала на всех вечерах памяти Маяковского. И однажды даже видела там его маму — она была старенькая, у нее тряслась голова, — и Люду, и Олю... Люду я впоследствии видела особенно часто, и с годами все чаще и чаще...

В 1933 году я впервые напечаталась, с 1934 года начала учиться в Литературном институте имени А. М. Горького, и все события литературной жизни тех лет были самыми важными событиями и в моей жизни и запоминались молодой моей памятью крепко и отчетливо. Так вот не успеешь оглянуться, а ты уж оказываешься одним из немногих оставшихся в живых участников или, уж во всяком случае, очевидцев собы-

тий и фактов, которые сегодня представляют почти исторический интерес. Впрочем, с одной оговоркой: насчет того, что не успеешь оглянуться, это явное преувеличение.

Предаваться воспоминаниям стоит только во имя определенных задач и для того прежде всего, чтобы восстановить истинное положение вещей, истинную реальную картину. Маяковский никогда не был «гонимым» поэтом в литературном смысле этого выражения. Он всегда был бойцом, искусно и решительно отражающим всякие нападки, сопротивляющимся им с силой прямо пропорциональной. А нападки были нещадные, и справа и слева. С одной стороны, «ЛЕФ или блеф» Вяч. Полонского или памфлет Георгия Шенгели «Маяковский во весь рост». А с другой — бесконечные поношения рапповцев. И все это долгие годы, в сущности всегда. И тем не менее Маяковский никогда не был «гонимым», никогда не был «забытым» или «непризнанным» и в литературной жизни Москвы начала 30-х годов неизменно занимал огромное место. Вечера его памяти устраивались достаточно часто и неизменно собирали множество народа, истинных любителей его поэзии. Его всегда читали, и прежде всего всегда читал, превосходно читал, удивительно читал Владимир Яхонтов, лучший в мире чтец поэзии, глубоко чувствующий и понимающий Маяковского.

После смерти поэта в Москве организовалась так называемая бригада Маяковского, в задачу которой входило как можно шире пропагандировать Маяковского. Бригада эта была задумана очень крупно, ее членами значились Мейерхольд, Асеев, Кирсанов, Брик, Яхонтов, Дувакин... Активным членом бригады был А. Безыменский. Но практически в бригаде неизменно работала группа молодых энтузиастов, вечных поклонников Маяковского. Они выступали с чтением произведений поэта, устраивали конкурсы, вечера воспоминаний, действовали очень энергично и увлеченно. Так что, повторяю, Маяковский никогда не был забытым. Но между любовью читателей и почитателей и издательскими планами и мероприятиями, утверждающими память поэта, порой существует явный разрыв. Так произошло и в этом случае. Нам-то, в Москве, книг Маяковского хватало, но на книжных прилавках их не было. Нам-то хватало и вечеров памяти Маяковского, и Владимира Яхонтова, и бригады Маяковского, но выходила ли их деятельность за пределы Москвы, распространялась ли достаточно широко по всей

нашей необъятной стране? Об этом мы не задумывались, а задуматься было над чем.

К сожалению, к середине 30-х годов книг Маяковского в продаже практически не было. Миновало более пяти лет со дня его гибели, а собрание сочинений, начатое еще при жизни, вышло только наполовину и всего-то тиражом десять тысяч. В печати был давно обещан обьемистый однотомник, но, давно подготовленный составителями, он лежал без движения. Даже детские книги не переиздавались.

Кабинет Маяковского, который постановлено было открыть при Комакадемии, где должно было храниться все его литературное наследство, так и не был создан, а все материалы и рукописи находились в разных местах: в Московском литературном музее, у Л. Ю. Брик, у разных друзей и знакомых.

Райсовет Пролетарского района хотел было восстановить последнюю квартиру Маяковского и организовать при ней районную библиотеку его имени, но Московский Совет отказал в небольших деньгах, необходимых для решения этой нехитрой задачи.

Так и не осуществлялось переименование Триумфальной площади в Москве и Надеждинской улицы в Ленинграде в площадь и улицу имени Маяковского.

Нельзя было мириться с подобным ненормальным положением вещей, и друзья Маяковского забили тревогу.

«Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. Безразличие к его памяти и его произведениям — преступление». Так сказал И. В. Сталин, узнав истинное положение вещей с изданиями Маяковского и с увековечиванием его памяти. За этим высказыванием стояла некая безмерная емкость, целый ряд акций, целый ряд действий, целый ряд мероприятий.

Специальная литературная страница в «Правде». Статья о Маяковском: «Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи». (Помню, что в эту цитату при первой публикации вкралась опечатка: вместо «талантливейшим» было напечатано «талантливым». Опечатка была исправлена через несколько дней в передовой газете.) Надо сказать, что даже в этой формуле не было, собственно, ничего неожиданного, ничего неслыханного и невероятного, — Сталин вовсе не первым так высоко оценивал Маяковского, и бывало, что его именовали и куда пышнее. Вот,

к примеру, некоторые отклики на его смерть.

«Если окинуть сегодня нашу страну одним взглядом, то, наверное, можно увидеть не десятки тысяч, а миллионы людей, провожающих хотя бы мысленно Маяковского, действительно великого революционного поэта, развернувшего свои творческие способности, свой поэтический гений во всю ширь под лучами красной советской звезды».

«Его сила в том, что его творчество созвучно с настроениями лучших революционных элементов нашей страны, с настроениями тех миллионов, которые творят в советской стране социализм».

«Для увековечения памяти поэта-борца тов. Владимира Маяковского, отдававшего свой талант поэта пролетарской революции и строительству социализма, Наркомпрос РСФСР постановил учредить две стипендии имени Владимира Маяковского».

«Совет и коллектив сотрудников Главискусства, потрясенные потерей поэта-революционера, певца пролетарской революции, борца за социализм, выражают свою глубокую печаль. Ушел с поста крупнейший работник искусства, внесший в сокровищницу пролетарской поэзии и театра свои неограниченные дары. Случайный и бессмысленный выстрел оборвал прекрасную жизнь, целиком, без остатка отданную на служение пролетариату, великой борьбе за социализм. Работники пролетарского искусства, строители культурной пятилетки вместе со всем рабочим классом не забудут трубадура революции и примут все меры к тому, чтобы сохранить на века творения великого поэта и претворить в жизнь лозунги, за которые бился Маяковский».

Такие отклики печатали в те дни «Известия» под рубрикой «У гроба Владимира Маяковского».

Так что для всех, кто истинно и всегда любил Маяковского, оценка Сталина являлась только подтверждением того, что было давно признано, что все мы всегда отлично понимали. И все-таки было бы фальшью и притворством сейчас преуменьшать тогдашнее значение и смысл столь высокой поддержки. Да, для всех, кто всегда любил Маяковского, она была торжеством и праздником. Но наряду с этим она звучала достаточно непререкаемо и директивно. Особенно для тех, кто, скажем, задерживал печатание собрания сочинений Маяковского, ограничив его тираж десятью тысячами,

цифрой абсурдной и смехотворной в масштабах нашей страны, или «не мог найти» средств, необходимых для восстановления квартиры Маяковского.

Итак, для тех, кто любил и знал Маяковского, ничего, собственно, невероятного не произошло. Для них все стало на свое место и Маяковский наконец-то занял заслуженное им, определенное ему временем и историей место, наконец получил причитающееся ему по праву. Тут решительно нечему было удивляться. Можно было только с удовлетворением отметить, что справедливость всегда и вопреки всему торжествует. Но для тех, кто Маяковского активно не любил или, в лучшем случае, относился к нему глубоко безразлично, для них все случившееся было неприятным потрясением. Они вовсе не стали относиться по-другому к поэзии Маяковского, вовсе не преисполнились любви к нему и искреннего стремления возвеличивать его и способствовать тому, чтобы слава его ширилась и имя его звучало так, как оно того заслуживало. Но задачу следовало выполнять. Вот только как при отсутствии любви к Маяковскому? Это нелегко, придется немало хлопотать, чтобы разрешить ее, но неразрешимых задач, как известно, не бывает... Они нашли решение и засучив рукава принялись наводить тот самый «хрестоматийный глянec», который всегда был глубоко чужд и решительно противопоказан поэту революции.

Газеты и журналы запестрели заголовками статей о Маяковском, в связи с Маяковским, насчет Маяковского. Москва ~~за~~полнилась афишами всевозможных вечеров Маяковского и о Маяковском, но если ранее я посещала все вечера, посвященные Маяковскому, то сейчас это было уже невозможно. Стихи Маяковского звучали из всех радиорупоров, цитировались во всех передовых, к случаю и не к случаю, исполнялись на всех торжественных вечерах, на всех праздничных концертах. Шли конкурсы на лучшее исполнение произведений Маяковского, и наряду с дорогим мне Владимиром Яхонтовым, который читал Маяковского всегда, Маяковского стали читать все чтецы решительно, хотя иным из них это было явно противопоказано.

Помню отчетливо, как на одном торжественном концерте известный актер исполнял «Во весь голос» и, произнося строчки: «...и кроме свежесмытой сорочки, скажу по совести, мне ничего не надо», отчаянно дергал

себя за крахмальную манишку. Мне стало как-то неловко, и я ушла огорченная, уверенная, что Маяковскому ничем бы не понравилось подобное исполнение.

Но одновременно свершались и реальные, радующие нас всех события: открылась музей-квартира в Гендриковом переулке. Я пошла туда первый раз не по собственной охоте, а организованно, с молодыми писателями-комсомольцами: я была в ту пору секретарем писательской комсомольской организации и посещение музея Маяковского входило в план нашей работы. А попав туда, забыла, почему я там, глубоко взволнованная человечностью и антимузейностью этого дома, такого простого, светлого, скромного, трудового, интеллигентного, лишенного какой бы то ни было буржуазности, поразительно сохранившего печать своего времени, прекрасной отрешенности от быта, которой отмечена была юность нашей страны. Здесь сохранилась атмосфера гостеприимства и радушия, чувствовалось, как тут бывало приятно отдохнуть с друзьями после рабочего дня, поговорить, поспорить, выпить вкусного, хорошо заваренного чая — так славно и аппетитно висели на крючках деревянной полки простые, яркие чайные чашки. Помню, я ушла из музея с удивительным ощущением, будто бы познакомилась с Маяковским «домами» и он стал мне неизмеримо ближе и понятнее. С тех пор я часто бывала в Гендриковом переулке, и это всегда приносило мне радость, присутствовала ли я на каком-нибудь вечере в библиотеке, выступала ли на поэтической встрече или просто забегала за книжкой, полистать журналы или газеты... И во всех случаях я неизменно заглядывала в крошечный светлый кабинетик Маяковского и словно бы здоровалась с ним живым.

В ту же пору мы слышали «Маяковский начинается» Николая Асеева. Асеев часто и охотно читал куски из поэмы, публиковал отрывки, и это было очень интересно и словно бы неуловимо полемизировало с теми, кто пытался бездушно «внедрять» Маяковского. Вообще, полемика шла все время и в разной форме. Все, кому Маяковский был по-настоящему дорог, а имя им было — легион, стремились всячески напоминать о нем истинным, хранить его облик, сущий и подлинный. Да и сам Маяковский, в первую очередь, отчаянно сопротивлялся, топорщился, когда его пробовали забивать в определенные рамки. Казалось, истинный Маяковский борол-

ся с искусственным Маяковским — и это была серьезная, решительная борьба. Истинный Маяковский, естественный и органический поэт революции, не мог, не желал мириться с тем, что его именем и опытом подчас пытались «прикрываться» литературные явления, глубоко чуждые ему, что выстраданной им формой. рваной, ступенчатой строкой, естественной и, как дыхание, необходимой Маяковскому, камуфлировалось подчас нечто абсолютно чужеродное — пустота и суесловие, громкая фраза и трескучая похвальба. И не для того он искал, и находил, и отдавал всего себя поэзии и людям, к которым была она обращена, чтобы некоторые ретивые критики именем его, трудом, драгоценными находками его размахивали, как палицей, поражая других — ищущих, и думающих, и мучающихся талантливых людей, которые не могли, именно не могли просто повторять его, которые стремились обрести себя и по-своему выразить себя и свое, как некогда стремился и сумел сделать это вопреки всему Маяковский.

В апреле 1940 года исполнилось десять лет со дня смерти поэта, и с самого начала года подготовка к этой дате занимает огромное место в жизни страны. Листаю подшивки «Литературной газеты», с января из номера в номер публикующей материалы, касающиеся Маяковского, новых изданий, вечеров его памяти, посвященных ему ученых заседаний, встреч, обсуждений.

Как всегда во время юбилеев, а в данном случае особенно, материалы о Маяковском даются «массированным ударом». Но и сегодня, перечитывая газетные материалы тех дней, я нахожу там бесконечно много интересного. Интересно, собственно, все, иногда в разных смыслах интересно, но иные материалы глубоки, серьезны и значительны и сейчас, и время ни в какой мере не состарило и не обесценило их.

«История поставила перед Маяковским задачу огромной важности и трудности. Он должен был изменить не только поэзию, но и самое представление о ней и о поэте, что было, пожалуй, еще труднее», — пишет Б. Эйхенбаум в статье «Дело жизни». Он утверждает: «В числе всевозможных противоречий, накопленных русской жизнью и культурой XIX века, было одно очень болезненное, дожившее до революции: противоречие «гражданской» и «чистой» поэзии, противоречие поэта-гражданина и поэта-жреца... Революция

должна была снять это противоречие, и история поручила это ответственное и трудное дело Маяковскому».

Появились интересные воспоминания Сергея Спасского, Василия Каменского. Новые работы о Маяковском опубликовал Корней Чуковский.

Как всегда блестящ и острер Семен Кирсанов в статье «Маяковский и Пушкин». Он решительно возражает против того, будто бы сближение Маяковского с Пушкиным происходит на почве ямба, да еще канонического: «В погоне за метрическими параллелями забывается главное, что роднит всех поэтов, особый вид проявления человеческого интеллекта — поэтическое мышление». И далее: «Маяковский и Пушкин — братья по созидательному воображению, а не по ямбу». «Не копированием ямбических размеров, а одинаковым пониманием поведения человека в сходных состояниях, ритмом поэтического волнения, чудесным умением поэтически трансформировать действительный мир Маяковский сближается с Пушкиным», — заканчивает Кирсанов свое своеобразное сравнение-противопоставление «Медного всадника» и «Про это».

Короче говоря, много глубокого и содержательного можно и сегодня найти в газетах, вышедших к юбилейной дате. Маяковский живо и упорно присутствовал в них, боролся за себя, против упрощения и вульгаризаторства, глубокой, ищущей мыслью обогащая содержимое литературной жизни тех лет.

Публикация статей и материалов о Маяковском отнюдь не завершилась в номере от 14 апреля. «Литературная газета» еще долго печатала отчеты о юбилейных вечерах, широко прошедших по всей стране, зарубежные отклики, сообщения о научных сессиях памяти Маяковского, прошедших в Москве и Ленинграде и в других многочисленных университетских городах разных советских республик. И статьи продолжали появляться, разные статьи, критические, академические, научные и просто писательские раздумья, человеческие раздумья. Юбилей миновал, в газете появились новые рубрики и новые шапки, но разговор о Маяковском не прекращался, имя Маяковского продолжало звучать достаточно громко и взволнованно, и продолжалась все та же борьба Маяковского истинного с Маяковским условным и даже подчас искусственным.

Сейчас, когда я листаю подшивку «Литературной газеты», в номере от 30 мая 1940 года под новой рубрикой «Поговорим о лирике» попадаете мне на глаза статья Ярослава Смелякова «За подлинно большую поэзию». И в следующем номере под той же рубрикой моя собственная статья— «Во весь свой голос», в которой я с первых же строк не соглашаюсь, спорю со Смеляковым. Да, да, восстанавливаю в памяти, это было, был спор, даже какой-то конфликт, из-за которого я почти поссорилась с одним из самых близких друзей моей юности...

Помню, отлично помню: он тогда впервые в жизни побывал весной на юге, в Крыму, вернулся оттуда счастливый, загорелый, влюбленный в море. Привез много новых стихов, совсем по его ощущению новых, совсем, как ему казалось, иначе написанных — «Ночной шторм», «Дорога на Ялту», «Крымские краски». Полные, как всегда, неповторимой смеляковской индивидуальности, они и впрямь отмечены некой новой для него интонацией, новым ощущением жизни. Он считал это новое пришедшим к нему от Маяковского, которого он в ту свою весну с какой-то новой остротой почувствовал, по-новому прочел и услышал, по-новому обрел для себя, для своей работы. Он шумно праздновал ту весну, и свои новые чувства, и новую встречу с Маяковским и, такой сам по себе неповторимый и только на себя похожий, вдруг стал очень решительно декларировать полную свою подчиненность Маяковскому как лучшему лирику сегодняшнего дня, выше которого ничего в советской поэзии нет и не будет. Он энергично призывал всех советских поэтов, всю советскую поэзию учиться у Маяковского, не боясь того, что он задавит их своим величием, подавит собой их индивидуальности.

«Мы потому и боимся учиться у Маяковского,— писал Смеляков,— что он—как лев—подомнет нас под себя и раздавит всей громадой своего гения, всей своей неповторимостью, а мы больше всего боимся потерять свое лицо, свои— пусть маленькие, но свои— черточки, приемчики, манеры. Но ведь другого выхода в будущее нет, ведь надо же когда-нибудь слезать с насиженного насаста, надо же вылетать из этих со вкусом меблированных скворещен. Попробуем, товарищи, пойти на это очертя голову— ведь мы же не горьковские ужи, а горьковские соколы, ведь мы-

то знаем, что в полете есть великолепная радость, есть ощущение подлинного человеческого счастья. Авось не раздавит, и перед нами, если мы станем рядом с ним и, даже больше, преодолеем его, откроются такие возможности, что когда только думаешь о них, и то дух захватывает».

Вот на таком порыве написана вся статья, и что-то меня в ней решительно не устроило, показалось глубоко ошибочным, и я спорила и возражала против смеляковского «боимся потерять свое лицо», против «Другого выхода нет»: мне казалось, что Смеляков в запале начинает просто подражать Маяковскому, а это было, по моему, невозможно, это было, по моему, самой неверной формой учебы у Маяковского.

А сейчас, перечитав этот наш спор, я, во-первых, отчетливо вижу, что никакого спора, собственно, и нет и что, в сущности, мы толкуем об одном и том же, только каждый на свой лад. А во-вторых, твердо понимаю, что никакого особенно принципиального значения все эти споры не имеют и решительно ничего от них не зависит. Каждый истинный поэт (поэт, а не стихотворец), живущий своей судьбой, по своим законам, которые он сам в ходе своей жизни создает и избирает, по-своему воспринимает и переживает соприкосновение со всем великим, что было до него, что существует вокруг него, и с Маяковским в том числе. И никто тут никому не указчик и даже не советчик— каждый человек, каждый поэт сам и своими средствами находит, чему и как учиться у Маяковского.

А в чем я и сегодня, как и в ту давнюю пору, не согласна со Смеляковым, так это вот с каким утверждением: «Десять лет прошло со дня смерти Владимира Владимировича, а мы, советские поэты, соблюдая видимость движения, все топчемся на месте. Давайте вспомним, что мы сделали принципиально нового за эти десять лет? Конечно, у нас были написаны за эти годы хорошие и даже отличные стихи. Но заглянул ли кто-нибудь из наших лучших поэтов дальше Маяковского, прошел ли на один шаг дальше, чем он? Нет и нет...» Запальчиво и наивно и к поэзии неприменимо— она категория другого измерения, отнюдь не линейного, и не может измеряться шагами. У каждого истинного поэта свой путь, и совсем разным масштабом измеряются пути Твардовского и Пастернака, Заболоцкого и Смелякова. Я бесконечно люблю замечательную советскую поэзию, для

меня в ней бесконечно дорого вечное присутствие Маяковского, огромно место, занимаемое им, и негасим свет его имени, звук его голоса, но она им только многократно усилена и умножена, а вовсе не ограничена. И никогда поэзия не останавливалась и не «топталась на месте», просто ее движение в разные моменты принимало разный характер, и шаги, походки бывали разные, и ритм движения был разный. Одно только никогда не менялось — устремление и направление этого движения. Мне любопытно было вернуться к молодому нашему спору, и я рада и сегодня почувствовать в нем нечто живое, горячее и кровно заинтересованное в главном деле нашей жизни — в судьбе советской поэзии. Но вернемся, однако, назад, в сороковой год.

Самым зрелым и умным поэтическим произведением, появившимся перед войной, представляется мне поэма Николая Асеева «Маяковский начинается». При всех оговорках и потерях, обусловленных определенными историческими условиями, она, думается мне, и задумана была и действовала как активная сила в той же борьбе за истинного Маяковского. А потом началась война — непреодолимый рубеж в памяти и сознании всех людей, переживших ее. Но Маяковский участвовал в ней вместе с нами: десятилетие, отделившее его конец от первых залпов фашистских орудий, не ослабило его могучего голоса, силы и смысла его высокого патриотизма. И без всякой натяжки мог бы он сказать о четырех годах пережитой нами войны: «Это было с бойцами или страной, или в сердце было в моем». И с нами он праздновал такую нескороую, такую нелегкую победу. А все, что было после победы, было, кажется, только что, вчера, совсем близко. И нет-нет да становится ясно: Маяковский все эти годы, в сущности, живет с нами, живет рядом.

Бурно прошла в самом начале пятидесят третьего года дискуссия о книгах, посвященных творчеству Маяковского, — снова истинная битва за Маяковского, ибо книги эти были весьма разными. Закончилось в первые послевоенные годы печатание собрания сочинений, начатое еще до войны. Тираж — 20 тысяч. И вышло следующее собрание сочинений, уже наконец тиражом около 200 тысяч. И все равно купить его сейчас нелегко, если не невозможно.

С успехом вернулись на сцены москов-

ских театров «Клоп» и «Баня» — герой их, мещанин, против которого они направлены, отнюдь не исчез из нашей жизни, а только несколько переменял свое обличье.

В 1958 году встал наконец памятник на площади имени поэта. Нынче уже мы привыкли к нему, а тогда, в конце 50-х, он ярко врезался в пейзаж площади, на некоторое время стал своеобразным поэтическим клубом: у памятника всегда былолюдно и оживленно, молодые поэты читали тут свои стихи и стихи Маяковского, и ежегодно в День поэзии одна из встреч поэтов с читателями происходила у памятника Маяковскому, что ко многому обязывало.

До сих пор часто испытываешь острое желание на ином затянувшемся литературном собрании встать да сказать замечательные слова: «Послушайте! Ведь если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно?» Как безоговорочно-современно прозвучал спектакль театра на Таганке, озаглавленный этой строкой: «Послушайте!» — сложный и серьезный рассказ о судьбе Маяковского, о его сегодняшнем присутствии в нашей жизни.

Сейчас создается новый музей Маяковского в Лубянском проезде, в доме, где у поэта была рабочая комната, где он погиб. Музею отдан большой дом, который сейчас перестраивается и приспособливается. Что ж, замечательно! Этого, надо полагать, потребовала сама жизнь, в которой продолжает участвовать Владимир Маяковский. Его слава, его мировая известность, огромные тиражи его книг на всех языках человечества, изыскания и исследования его труда и образа — все это уже требует новых масштабов и не умещается в Гендриковом, в маленьком старом деревянном доме, хранящем неповторимую печать своего времени.

Судьба поэта — мы часто употребляем такое словосочетание — величина весьма относительная. И кто знает, какую судьбу следует предпочесть, какую можно считать более счастливой. Иного долго не признавали, подвергали всяческим критическим «гонениям», а потом вдруг со временем он получает всеобщее признание и любовь. А то бывает и наоборот: при жизни беспорная известность и слава, а уходит поэт из жизни — и как не жил на свете... Какой же судьбе завидовать? Какой же судьбы желать? Своей, очевидно, той, что на роду написана.

Есть категория любителей поэзии, трепетно относящихся ко всему непризнанному и обиженному. Это благородно, если речь идет об истинно талантливом, обиженном незаслуженно, не признанном несправедливо и случайно, если речь идет о борьбе за их признание. Но бывает, что такие любители поэзии начисто теряют интерес, едва объект их недавних восторгов и преклонений наконец получает признание. Нелепо, ибо отсюда один шаг вообще к отрицанию признанных величин независимо от истинной цены, истинного значения, а это уж вовсе не вяжется с настоящей любовью к поэзии. Повторяю: Маяковский никогда не был «непризнанным» или «гонимым», никогда не давал основания для жалости, это всему его складу было противопоказано и невозможно для поэта, его характера, при наших социальных условиях. Он был поэтом революции и молодого революционного государства. Они с молодой советской властью были созданы друг для друга. Он был поэтом революции, поэтом вдохновенной борьбы за ее завоевания, за ее огромный социальный смысл и против ее врагов, и ему в нашем обществе еще бы надолго хватило нелегкой работы. Но революцион-

ный поэт, поэт — боец и неуступчивый полемист, в такой же мере, в какой не годится на роль «гонимого», не подходит и ни под какие каноны, неизбежно выпирает из их рамок.

Он живет и участвует в нашей жизни. И драгоценно, что все весомей, все значительней, все дороже становится лирика Маяковского. Не оскудевает и не устареет, а, может быть, делается ближе и понятнее людям мир чувств поэта, созвучнее нам становится строй его души, его удивительная нежность, может быть тем более пронзительная на фоне нарочитой подчас грубости его стиха. Нежность к людям, которым он предан. Мне всегда казалось, кажется и сейчас, что в его время никто не сумел сказать о любви к женщине так жарко я просто, так пронзительно и глубоко, а такое не кончается и не стареет.

Лирик поразительной силы и выразительности, Владимир Маяковский живет и звучит, борется за высокие идеи, за настоящих людей, за большие человеческие чувства. И борьбу свою Маяковский будет продолжать до той поры, пока в обществе нашем будет необходимость за это бороться.



---

---

Л. АНТОПОЛЬСКИЙ

★

## ПУТИ И ПОИСКИ

**В** прошлом году в журнале «Смена» (№ 9) появился рассказ Владимира Цыбина «Еще не поздно...». Герой произведения, несмотря на всю скромность своей персоны, пробуждает интерес. Работает он совхозным бухгалтером, а натянута в душе его необыкновенная певучая струнка. Лет ему пятьдесят, но он мечтатель, поэт и особенным образом правдоискатель. В людях, как и в себе, как и в своем сыне Сергуньке, ищет он непременно талант. И верит: талант у каждого, потому что у каждого душа. Только дождаться момента, когда пропоет она в полную силу;— значит, человек себя нашел. Рискует он фантазировать даже, будто душа и у животного и у дерева — «ведь все движется этой душой, может быть, душа и есть цель жизни». Принадлежит бухгалтер Колосов к прекрасному племени чудаков. А в личной жизни у него — неурядица. Когда сбегала от него жена-красавица, временно и неудачно вступившая в связь с солистом областной филармонии, то уж так грустно стало Колосову, что в пору палку в руки брать и шагать по белу свету. «Теперь понимаю, отчего раньше уходили в странники: душу, значит, текучую имели,— доискивался своей правды Колосов.— Станет двигаться душа, глядишь, и человек стронулся с места. Соблазны движут только сначала, а чтоб человек стал странником, нужно засовеститься душой и пожалеть крепко кого-нибудь...»

Как ни скромн, ни беспритязателен Колосов, но он, подобно многим энергичским, душевно-подвижным людям, шире тех обстоятельств, которые составляют его обыденное существование. Он хорошо разъяснил и своим опытом прокомментировал старинное, но употребительное и сегодня слово «странник». Душа пускается

странствовать, когда телу узко: в инобытие она стремится к самоутверждению. Наступает как бы нравственное требование омоложения бытия, потребность в идеальном — в совершенствовании жизни. Известно, что идеальное — деятельная внутренняя способность личности, ее побуждение, ее цель, увеличивающая возможности человека, размеры его мирозерцания и силы. В этом смысле желание странничества — естественное и общечеловеческое желание. В. Цыбин уважает за него и любит своего чудака Колосова.

Совершенно естественно это побуждение героя — в новых житейских условиях открыть в себе новые нравственные возможности. Проявить себя по-новому — пересоздать себя, превращаясь в «кого-то другого» в «каком-то ином» пространстве.

Разумеется, существуют и натуры глубокие, деятельные, у которых не возникает потребности измерить себя «инобытием» — настолько богато их собственное бытие. Потому-то герой, о котором говорим, это человек определенного склада и обстоятельств. И он имеет в литературе своего определенного предшественника.

Лет десять — двенадцать назад весьма популярн был в нашей прозе герой движущийся. Молодой человек, полный сил и задора, жил как пел; его словно ветром с места сдувало. Вчерашний десятиклассник или, скажем, выпускник вуза, он пускался в дорогу, предпочитая края экзотические. Ему надо было обрести себя в этом пугешестве, открыть свое жизненное предназначение. Писатели, которых в те годы единодушно именовали молодыми, были подобны своим героям: тот же азарт романтического искания, тот же почти словарный запас и тот же отливающий неустойчивыми радужны-



ми красками идеал. Поручая юному путешественнику свой взгляд на действительность, авторы опробывали надежность своих собственных принципов. Но обретения авторов-героев зачастую оказывались не столь уж содержательными; отбрасывались очевидные псевдомудрости и продолжающийся их ассоциативный ряд; отбрасывались легко; зато на место их вставало подчас не что-либо действительно новое, а только для героя неизвестное, со своей черствой прозой, экзотический глянец которой смывался довольно скоро. И оттого он грустил. Пакостная физиономия какого-нибудь бюрократа могла погрузить его в мировую скорбь, не слишком тугой производственный конфликт мог довести до обморока; и краски жизни потухали, и лик юного правдолюбца тускнел. Впрочем, иногда ему удавалось совершить малый производственный подвиг. И тогда он чуть пьянел от восхищения собою.

Критика в свое время отмечала, как странно энтузиазм такого героя перерастает в самовлюбленность, романтическая взволнованность — в пустозвонство. А в простых бытовых ситуациях он обнаруживал и мелочность и пошловатость. И все же критика — часто столь же молодая, как и читаемая его проза, — не совсем бывала точна и не совсем справедлива в своих претензиях, ибо она упускала из виду, что герой, отделившийся от реального молодого человека тех лет, делавшего большие дела и без всякого пустозвонства, — что энергичный этот литературный персонаж имел все-таки побуждения наилучшие: вела молодого героя в путь-дорогу страсть к возвышенному. Именно так, а не иначе: к возвышенному.

Философы, определяя возвышенное в системе этики, помещают его где-то между чувством героического и чувством самоутверждения. Есть недвусмысленное отличие «возвышенного» от «идеального», не допускающее никоим образом права пускать эти слова через запятую. Чувство возвышенного приходит от субстанции («массы», «огромного») к единично-индивидуальному, электризуя его. Идеальное возбуждается как собственная возможность и внутреннее соизмерение личности. Возвышенное охотнее обитает в молодом теле, идеальное не боится любого возраста. Здесь-то и пограничная линия между героем 70-х годов и его юным и бодрым предшественником. Предшественник никогда не

имел своего предметного идеала (почва, хлеб, работа). Его единственный постоянный предмет был — восторг. Даже нигилизм его, а скорее веселая молодая бравада, был совершенно тот же: восторг. Выплескивалась из души энергия радости при виде неизведанного разметнувшегося мира и при виде самого себя — остро отточенного интеллектуала, все понимающего и свободно выбирающего свой путь молодого человека. Не всегда он был слишком резвым, но всегда жило в нем это мироощущение. Невозможно не заметить его в произведениях тех лет. «Звездный билет» — нечто вроде пропуска к возвышенному. «Хочу быть честным» — желание получить тот же самый пропуск.

Продолжим сравнение. Возвышенное постигает мир эмоциональным взрывом, идеальное тяготеет к постепенности, к фокусированию. Первое — состояние экстатического, второе — сокровенное. Различие заметное, вот отчего нетрудно определить, к какому времени относится характер, который принадлежит даже к одному и тому же литературному типу. Печать времени — печать духовной стилистики. Однако ж есть не столь уж частые случаи, когда в одном произведении сливаются два начала, две литературные традиции, две живые идеи. Произведения эти — особого интереса, поскольку помогают в близком контрасте уяснить, где перерыв между одним и другим, где характерное и особенное.

Герой рассказа Ю. Пахомова «Случай с Акуловым» («Звезда», 1972, № 9) многими гранями своего характера смыкается с известным нам молодым героем 60-х годов. Грани эти отбиты крупно, резко и отчетливо. Федор Акулов, тридцатилетний стармех из Архангельска, своим нравом, и манерами, и речью подобен хорошо известным бичам, лихим людям, как бы лишенным сентиментальности и жестко-ироничным. Ультрамодерновый парень этот Федор Акулов разгуливает по сочинскому пляжу в брючках «эластик», с кожаным кофром, хранящим термос холодного пива, крутит восхитительный роман, пересказывая Надюше на память целые страницы детективов. А когда роман не по его вине оборвался, то он махнул с тоски в столицу — и уже попивает в гостинице коньячок, и закусьивает «николашкой», и дерзит по телефону незнакомым собеседникам. Скептическое настроение у Федора, а про-

ще говоря — хандра, неизвестно чем закончилось бы, если б не обнаружил он в номере забытую кем-то книжку «Чехов в Мелихове». Увидел книжку и пожелал посетить дом Чехова.. Рассказ Ю. Пахомова насыщен случайностью. Не вовремя, случайно едет герой в отпуск, случайно обрываются его курортные дела, случайно давнее знакомство с книгами Чехова, случайна встреча с детдомовским дружкой Саней Лапиным, своим благополучием подчеркнувшим неустроенность жизни Федора, случайно закрыт на замок чеховский музей, и совершенно случайно герой останавливается ночевать в избе Марии Кондратьевны. Но тут-то и оканчиваются случайности. Раздробленные, бессмысленно-отдельные обстоятельства наконец-то складываются вместе в сферу, центром которой оказывается истинное «я» стармеха из Архангельска. Мы узнаем, что ночью «все пережитое им за минувший день обрело какой-то особый смысл. И поездка его сюда, в Мелихово, уже не казалась странной, будто шел он к этому всю жизнь». Как бы впервые Федор смотрит на звездное бездонное небо, и постигает его красоту, и размышляет напряженно о своем «дурном», «нечистом» существовании. Он вглядывается в лицо старухи Марии Кондратьевны, замечая в глазах ее особенную «льдистую голубизну», символически намекающую на «кого-то, похожего на нее».

Ночевка в Мелихове открывает перед героем новую для него действительность. Ему открывается холод и тишина замирающей жизни, уходящий ветхий быт, который распознается, выворачивает из себя шорохи и скрипы, но пока удерживается в какой-то таинственной старческой целостности. Жутковато ночью стало крепкому морячку от «ледящего душу звука», как бывает жутко ребенку в минуту ночной таинственной черноты, переполненной постукивающими и ускользающими таинственными существами. То изба старухи рушится, исходит трещинами... Надо заметить, что эти царапающие костяные звуки пришли в рассказ Ю. Пахомова отчасти из литературы. Многие герои деревенской прозы, оставаясь одни в ветхом дедовском доме, выслушивали самые разнообразные песни дерева, которые приобретали постепенно музыкально-символическое значение. Они прокладывали чудесную поэтическую дорожку к подсознанию внука, к каким-то глубинам его совести. В рассказе «Случай

с Акуловым» это мерцающее и таинственное сменяется дневной реальностью: в реальном деревенском окружающем распознает Федор не только поэтичность, но и черты непривлекательные — вплоть до жестокости и бездушия. Но что-то новое все же осталось и закрепилось в его душе...

Нетрудно заметить, что Ю. Пахомов выступает пока в роли даровитого ученика, творчески опирающегося на источники. Их легко увидеть в произведении. Рассказ «Случай с Акуловым» не мог быть написан, если б не существовало традиции «прозы молодых». И не появился бы он на свет, если бы не возникло «нынешней» нашей деревенской прозы. Если бы не были созданы, скажем, «Плотницкие рассказы» Василия Белова.

Давно привлекала к себе внимание необычная коллизия «Плотницких рассказов». Старинная дружба-вражда то соединяет, то противопоставляет двух деревенских стариков, двух героев повести. Вражда — оно понятно, потому что совестливый, душевный Олеша Смолин постоянно оказывается под пятой агрессивного Авенира Козонкова. Еще мальчишкой Винька изощряется в разнообразных плутнях и ехидствах, всегда подавляя не слишком расторопного Олешу, а в трудный момент и предает его с совершенно трезвой головой. Всегдашнее желание Козонкова первенствовать расчищает ему путь вперед с какой-то беспощадной легкостью, и Смолин — среди первых жертв своего дружка-неприятеля. Что-то неприятное, ядовитое есть в Козонкове, что-то бессовестное. В годы коллективизации, оказавшись у власти, он раскулачивает из мести честного работягу Федуленка. Он делает то, чего никто другой в деревне не решается: по первому знаку сбрасывает колокол с церкви, да еще при всем народе справляет малую нужду с колокольни. Что же сближает, связывает этих людей вместе? Олешу, талантливому плотнику, беззаветного труженика, добросердечного человека, — и Авенира, честолюбца, лентяя?

Своеобразная эта ситуация подробно обсуждалась, и вычитывалась в «Плотницких рассказах» прежде всего коллизия Смолин — Козонков. А. Марченко писала о двух «разнозаряженных» героях, о двух «разнозаряженных» центрах повести («Вопросы литературы», 1969, № 4). Но существовал в ней и третий «центр», третий, а

может быть, и первый по значению герой, чье присутствие ощущается с начала до конца произведения. Собственно говоря, во многом он занят тем же, чем и мы, читатели: размышляет о конфликте между двумя деревенскими плотниками, слушает их рассказы. Однако не только этим.

В повести особенно подчеркнута, что герой — отнюдь не сам Василий Белов и не близкий ему по характеру деятельности «автор», но вполне самостоятельный человек. Имя и отчество его — Константин Платонович. Фамилия — Зорин. Профессия — инженер. Приезжает он в родную деревню отдохнуть, в отпуск. Но очень скоро можно заметить, что не отдых у него получается, а нечто другое... Ночью, оставшись один, вслушивается он в скрипы уставшего за вековую жизнь дома, в тиканье ходиков, в удары влажного мартовского ветра по стенам, в тяжелые шаги по чердаку kota-полуночника. Все тут просто, уютно и как-то по-домашнему. Однако ж за этой простотой, а вернее, в ней самой потихоньку возбуждается внутреннее напряжение. Так хорошо и так сладко погрузиться в покой родного угла, в котором нет никакой границы между твоим «я» и понятными и близкими вещами. Слияние будет полным, легким и счастливым. Героя тянет к духовному углублению — через соединение с этим миром, через перевоплощение. Константину Платоновичу кажется, будто безупречной мерой его личности послужит природа родного края, ибо нигде нет таких прозрачных речек, умиротворенно-задумчивых лесов, такой густой светлой тишины — все это представляется ему порой «каким-то нездешним царством». Словно поахаясь этому потоку светлых впечатлений, задумывает он очиститься от всякой скверны в организме, от зелья табачного, от духа спиртного. Мироощущение героя не довольствуется абстрактным созерцанием, он ищет с окружающим живого, осязаемого контакта — во вкусе простого хлеба, в обычных хозяйских хлопотах, в радостных физических усилиях. Потому-то и взялся Константин Платонович ремонтировать старую баньку вместе с Олешей Смолиным. Занятие это веселое, умное, оно пробуждает в герое задремавшие было плотницкие возможности, это — язык рук, с помощью которого мысль ищет общения с чем-то высшим. Эта работа устанавливает ритм всей повести, накатывая в сюжет по бревнышку, и венчается апофеозом — банным днем! Од-

нако этот день омовения, очищения не становится кульминацией самой повести. Ибо то идеальное состояние, то слияние с действительностью, которого жаждет герой, не происходит. Почему же? Ведь поиск героя не заключает в себе ничего агрессивно-требовательного, ничего сверхъестественного. В нем такая естественность, какая только может быть в языке рук. Ну, и жизнь, само собой, естественна. Почему же возникают трения? Да потому, что простота окружающего мира включает в себя бесконечную непростоту натурального и нормального. И встреча простого с простым обостряет дисгармонию, извлеченную из самой «природы вещей». Возникает серия драматических, напряженных конфликтов, рожденных общением с «простыми людьми»...

Константин Платонович, поругивая себя однажды эгоистом, признается: «...тебе больше всего нужна гармония, определенность, счастливый миропорядок». Естественно, счастливый миропорядок не может покоиться на одном совершенстве природы — он должен основываться на человеке. Не на абстрактном вселенском человеке, а на близком, непосредственном. Нет всеобщей гармонии без того, чтобы не искать гармонию или даже не создавать ее в отношениях между Смолиным и Козонковым. Таково идеальное пожелание, но оно пока что бессильно. Пока что ищущее сознание терпит ущерб и урон, вникая в смысл конфликта. Подключаясь к практической ситуации, стараясь понять своих наблюдаемых и вместе и по отдельности, Константин Платонович вскоре чувствует, как в голове его образуется путаница, словно в «женской шкатулке, которую потрясли...».

Кто же все-таки этот прекрасный Олеша Смолин? Кто он такой, если всмотреться в него со всем вниманием? Удивительно хорош он — доброте его нет предела. Залетный шофер с разбойной курносой физиономией оскорбил его старость, а Олеша добродушно посмеивается. Не тут ли маленькая странность? Беспредельное, то есть безразмерное всепрощение позволяет использовать себя, вытягивать в любом направлении, вкручиваясь в любую жесткую форму. Авенир Козонков — натура деятельная, нельзя ему в том отказать — и пользуется всякий раз этой открытой возможностью. То-то и обидно чуткому Константину Платоновичу: Олеша Смолин не умеет оскорбиться, не умеет постоять за себя! Да обладает ли он вообще чувством достоинства?

Самосознанием личности? Сомнения терзают героя, он ощущает прилив «противной сердечной тошноты от самого себя, от всего окружающего». И все вокруг перевертывается, распадается. Теперь уже мнительным оком вглядывается он в людей, выискивая в них всяческую требуху и нечисть. И уже в самом себе, в душе своей откапывает герой нечто неподходящее, тяжелое, неприятное. С бригадиром вместе обуздывали жеребца Шатуна, крутили ему губу, и самоанализ запротоколировал «странное первобытное чувство безрассудства и самоуверенности — след от только что посетившей жестокости». Та конкретная человеческая жизнь, которую наблюдает сейчас герой, словно не может удержать в себе черты совершенного, которые притягивали к ней. Константин Платонович эмоционален, у него легко вспыхивает обидчивость на непостоянство идеального. Но он и умен, и проницателен, и вдумчив — может и не поддаваться обольщениям идеализации. Потому и колеблется: то сладко и чисто чувствовать ему себя «мужиком» среди «мужиков», а то и отталкивает его бывшее «свое» как «чужое», неприятное и несовершенное. Но посторонним всей этой жизни он быть не хочет...

Сложная ситуация подчиняет себе мироощущение героя — чем глубже он входит в драматический конфликт, тем более он растерян, философски беспомощен. Однако сама его натура сопротивляется тому, чтобы жизненные ориентиры были утрачены. Константин Платонович ищет новые и новые возможности утвердить и развить свои принципы, если даже они сужаются при этом. Размышляя о людях, он жаждет деятельного добра и, как бы ни подтачивали его сомнения, исполнен чувства согласования — чувства «третейского судьи». Смысл деятельности он видит в том, чтобы снять границу между идеальным и бытийным, стереть ее, уничтожить во что бы то ни стало. И как это ни странно — чудо свершилось! Он сумел увидеть то, к чему стремился. Не то чтобы достиг он поставленной цели, но цель сама себя достигла без всяких посторонних усилий... После безобразной драки, учиненной Авениром, после того, как хлопоты «третейского судьи» привели лишь к тому, что вызваны были духи прошлого — «духи вражды», герой почувствовал себя совсем скверно и занемог. Зато на следующий день, когда несколько приободрился и отправился в дом

Олеши Смолина, застает он там стариков за мирным дружеским застольем. Беседуют они, будто ничего и не случилось. И говорят не о бренном — о вечном. Словно подводят под жизнью последнюю черту, все ее важнейшие итоги. Договариваются: переживший друга соорудит ему надежный, неподвластный времени гроб на шипах. А потом в согласии и взаимопонимании, «клоня сивые головы, тихо, стройно запели старинную протяжную песню». Какая гармония человеческих отношений, какое совершенство сливающихся воедино человеческих желаний... Но такое идеальное что-то не вызывает к себе чрезмерной симпатии, и не включается герой третьим голосом в пение: «Я не мог им подтянуть — не знал ни слова из этой песни». Отчего же не включиться? Ведь, казалось бы, эта патриархальная идиллия вышла из далекого, очищенного от случайностей прошлого, овеяна нетленным духом истории. Радоваться бы тут... А радоваться нечему, ибо построена идиллия за счет отрицающей силы забвения. Забыто, как один губил другого всю жизнь. Забыто, что длительная устойчивость их отношений покоилась на истреблении слабейшего.

Итак, кульминация банного дня, апофеоз символического омовения и обновления, не совпадает своим смыслом с завершением повести, отягченного вопросами и озадачивающими многоточиями. Идеальное, выношенное в голове героя, двинулось навстречу действительности, но не узнало себя в ее зеркале и не помирилось с нею. Но читатель от того не в ущербе: он был все это время участником глубокого художественного исследования. Материал жизни втягивался в интерпретирующую мысль героя, которая, разумеется, сама истолковывалась. Автор не оставался в стороне. В Белов делил с героем его высокие духовные запросы, его лучшие чувства, но не принимал эмоциональной скорости его порыва и отчаянной крайности обобщений. Потому и не позволял ему одерживать легких побед. Когда в беседе с Олешей Смолиным невольно подсказывает он собеседнику расхожие простенькие ответы на «общефилософские вопросы бытия», когда поторапливается к выводам, то бросает писатель на торопыгу взгляд искоса, не то чтоб осуждающий взгляд, но иронически-проницательный. И словно держит про себя: все глубже, мой милый, все глубже... Есть глубина жизни, которой не овладеть с

помощью самых изощренных, утонченных формул и формулировок. Да и их чужаётся писатель. В том и художественная сила «Плотницких рассказов», органичность их.

Герой все чаще отъезжал в деревню, чудесную полусказочную страну, поднимающуюся из глубины русской истории, населенную древними добрыми стариками с узловатыми морщинистыми руками и ясным взором, распахнувшую сочный травянистый луг и суровый лес,— страну истинную, безгрешную. Побуждения к духовному путешествию были у героя и автора почти теми же — они устремлялись от бытия ущемленного к полноценному, от несовершенного к совершенному. Однако ж время шло, странники странствовали, а результаты их странствий что-то не всегда оказывались и для них самих и для других ощутимыми и наглядными. Желаемое идеальное куда-то выскальзывало, а взамен его выступало нечто сложное, достаточно противоречивое и многосмысленное, имя которому — реальность. И некоторых из паломников такие штучки идеального прямо-таки возмущали. Другие вели себя серьезней и вдумчивей; они становились исследователями.

Самые лучшие побуждения не вызовут автора, если подходит он к действительности с набором формул-трафареток. Пусть даже отличит он в жизни нетривиальную черту, а заготовленные шпательки все равно собьют с толку — обесценят реальность наблюдения.

Герой рассказа Ю. Бородкина «Ночлег в Журавлихе» («Наш современник», 1972, № 9) — машинист на компрессорной станции Иван Ветлугин. Решил он поехать в родное Рамежье: «...лет восемь не бывал в своей деревне, с тех пор как схоронил мать». Едет просто потому, что отпуск переместили неожиданно, и не знал Ветлугин, «куда девать себя». Но коль скоро появляется он в деревне, то подвергается воздействию многих обстоятельств, вполне однонаправленных обстоятельств. Прежде всего — любви... Правду сказать, писатель не подтягивает при помощи страстно вспыхнувшего чувства своего героя к Люсе, а стало быть, и к Журавлихе. Такой прямолинейности в рассказе нет, поскольку задача автора шире. Ю. Бородкин оцепляет своего героя целой системой обстоятельств. Сюда входят и воспоминания о прошлом, и живые запахи, и вещи, хорошо известный

нам скрип стропил и работа скребущегося в стены старого дома ветра; включены сюда встречи с приятелями, друзьями детства; отмечен и материальный интерес к деревне («Смотри ты, квартиры стали давать! — удивился Иван»); тут и хозяйственные хлопоты героя, со вкусом ремонтирующего старухину печь; тут и ощущение долга перед матушкой матерью. Зачем все это? Затем, чтоб осудить свою собственную городскую, бесцельную и беспашабную, жизнь, неизвестно почему когда-то притянувшую его к себе. Затем, чтобы высказать себе однажды вот это самое главное: «Ивану стали приходиться мысли о том, что он мог бы быть своим человеком в этом доме, а не ночлежником, и усохшее родовое дерево Ветлугиных снова пустило бы побеги».

Ускоренным образом начинает открываться внутри Ивана философ-моралист, занятый самообличениями и неожиданным психоанализом. Вот сидит он на кладбище, смотрит на стершиеся бугорки дедовских могил и осуждает сыновей и внуков за нерадивость, равнодушие, честит и себя «листочком, оторвавшимся от некогда сильного родового дерева». Прямо-таки обеспокоенная личность перед нами — рефлекслирующая, впрочем, с помощью коротеньких, простеньких публицистических выкладок. Чего, казалось бы, понятнее и привычнее для настоящего Ивана Ветлугина — взять в руки лопату, подолбить мерзлую землю, поправить крест на могиле матери, как того поначалу хотелось? Но если так поступить, если не угощаться возле могилы водкой и не угощать ею дружка, то есть не позабыть об элементарной обязанности, то достанет ли материала на позднейшие самообличения? На такие покаяния в смиренном книжном духе: «Совестно признаться тебе, что поленился исполнить, быть может, последний сыновний долг?»

Обобщенные суждения такого рода заплатками выделяются на фоне обычных бесхитростных рассуждений Ивана Ветлугина. И не только чужеродной, искусственно-литературной стилистикой вторгаются эти суждения в речевой строй героя, но приводят в совершенное расстройство наметившееся было единство характера. Но разве лишено возможности «родовое дерево» пустить свежие побеги в городе, тем более что Иван — единственный сын? Ведь нелепо усомниться в этом. Двоится на наших глазах спокойный, уравновешенный по натуре тридцатипятилетний герой ради схематически заданной автор-

ской идеи. Выполняет он авторское задание: приобщиться к своему деревенскому первородству, обогатить мирозерцание, вступить в ряды странников. По силам ли ему это? Вот он произносит — «совестно». Почему произносит? А потому, что тут приводится в действие еще один — психологический — аргумент Ю. Бородкина.

Стоит обратить внимание на примечательную черту в герое рассказа «Ночлег в Журавлихе». Подключаясь к его переживаниям, мы сразу погружаемся в самую черную меланхолию. Замечаем, что в последние дни своего пребывания в деревне он совершенно «не мог освободиться от чувства какой-то неприкаянности». Или это и есть признак ищущей природы? Разбуженной совести? Хорошо, если бы так, но не вполне это так. Конечно, ипохондрия отчасти сродни самонаблюдению, уныние может иногда служить косвенным указанием на терзающую работу духа, но при том неременном условии, что есть дух и есть глубина его исходной деятельности. А в настроении героя больше всего ответа на раздражающие его обстоятельства. И странного ответа: чем ближе придвигаются к нему некоторые положительные обстоятельства деревенской жизни, тем грустней и неприкаяней чувствует он себя. В груди его накапливается ощущение «непонятной смутности». Мы-то полагали, что совесть у человека просыпается, когда другим помочь хочется, а не, ошибка. Иванова совесть особенная: ему грустно-стыдно перед собой за то, что его нет там, где, в общем-то, и без него неплохо. Герой в ы н у ж д а е т с я к этой агрессивной меланхолии, заступающей на место совести. Она не возникает изнутри, в Ивана Ветлугина вкладывается нечто далекое от него самого, спокойного и хорошего парня, но очень близкое к тому известному настроению, которое то там, то сям выливается на страничках деревенской прозы. Здесь тот самый лирический экстремизм, который обычен в душе странника определенного склада: то он блаженно созерцает какую-нибудь деревенскую старушку, а то вскипает при мысли о пижоне из московского клуба или недоросле из литераторов, не умеющего лицеизреть ее и внимать ей с чувством такой же священной ответственности. Гнев против пижона заставлял странника хватать негодя за воротник и прямо физиономией тыкать в его шкодливость и беспушество. Иван Ветлугин этот самый лирический экстремизм на-

правляет, так сказать, внутрь себя; автор проводит эту операцию с элементарной литературной гладкостью. К тому же и другая польза: неясно-отрицательные эмоции, скажем то же самое «чувство какой-то неприкаянности», замещают духовные процессы. Когда не хватает в природе, надо воздать суррогатом.

Да, герой рассказа «Ночлег в Журавлихе» — мнимый представитель литературного характера. Духовное содержание в рассказе Ю. Бородкина отсутствует — оно вынесено за скобки. Автору представляется не обязательным самому убеждать читателя, что в деревне сокрыто некое важнейшее духовное начало, ему кажется достаточным представить дополнительные аргументы, что он и делает: разве нужно всякий раз открывать свою философию, если сердцем принял чужую как собственную?

О повести Федора Абрамова «Алька» критик И. Дедков писал («Новый мир», 1972, № 9): «В этой «секс-бомбе» Альке нет красоты ее матери. Алька поглощена игрой, которая захватила ее почти целиком. Жизнь для нее не ноша, а развлечение. Писателю жалко Альку, он вроде бы еще надеется вернуть ее к подлинной жизни, описывает ее удаль на сенокосе, трогательную встречу с родительским домом, но какая-то неопределенность, намеренная противоречивость ее поступков мешают нам принимать близко к сердцу ее судьбу. Алька остается самой неясной героиней Федора Абрамова». Взбалмошная, непостоянная Алька с ее сумбурностью, непрестанными порывами, перемещениями из деревни в город и обратно, с отсутствием «чувства вины перед теми, кто дал ей жизнь», ему не по душе. Несомненно, для такого понимания характера были у И. Дедкова, критика внимательного и чуткого, известные основания, но признать это мнение справедливым трудно. Тому, кто читал повесть, прежде всего бросается в глаза несоразмерность слова «жалко» действительному отношению автора к героине. Ф. Абрамову вовсе не «жалко» Альку, он живо заинтересован в ее судьбе, он ее любит. С сердечным вниманием смотрит он на нее не только тогда, когда под внешностью «секс-бомбы» (определение директора ресторана, в котором Алька работает официанткой) открывается целомудренная, нежная, мечтающая о чистом счастье девичья душа, но и тогда, когда Алька щеголяет по деревне в своих вызывающе красных шелковых

штанах, когда откалывает со студентами «рокажу», когда, эпатируя окружающих, несет в воду свою сверкающую молодую красоту. Однако любить не означает все-обязательно во всем прощать. И писатель настойчиво отмечает одну черточку, немало проясняющую характер героини. Не терпит Алька «тяжелого», растравляющих душу разговоров, ей тут же становится «скучно»; она немедля срывается с места, где застает ее беседа о болезни, несчастье или, допустим, нотация тетки на «моральные темы». Стало быть, в такого рода метаниях уже раскрывается некоторая психологическая обязательность, которую никак не приравниешь к «воле автора». Однако эта черта Альки весьма очевидна. Важнее другое, более глубокое. Важнее, что Алька совсем и не играет с жизнью. Она ищет себя, но пока не находит. Она прикладывает себя к разным обстоятельствам, но пока не прилипает к ним. Летучий дух, неясное томление зовут ее испытывать новое и новое, увлекают под конец повести к невозможным скоростям международной авиалинии; удержаться на одной точке она не в силах. Парадоксально, однако: тот же самый разбрасывающий ее в стороны дух сомнений и перемещений враждебен ей, давит ее. Непрестанное убежание от себя, бессмысленные, мучительные пятнашки с собою. Она чувствует, что такое «убегание» никоим образом не облегчит по-настоящему той боли, которая упорно гнездится внутри. Ударили Альку, но только она — натура сильная — не выдает себя, предоставляет наблюдателю принимать игру в пятнашки за игру с жизнью, за легкомыслие. Но нет легкомыслия: сорвана была Алька к своему моральному бродяжничеству цинической решительностью Владика, недопониманием уставшей Пелагеи. И тот и другая не сумели или не захотели рассмотреть под внешностью «секс-бомбы» чистую игру раннего девичества, стыд и совесть. Живет в ней не отвлеченное «чувство вины», но реальная боль от несправедливости. В том действительное несчастье ее жизни, которое произвольно заставляет ее бежать «тяжелого», искать облегчения и пока не находит его. В том и большая психологическая точность повести Ф. Абрамова. И если уж говорить об активности авторской воли, то активность проявляется не в бросках и метаниях (абсолютно закономерных), но в некоторых замедлениях и, так сказать, «растягиваниях» ее внутренних импульсов. Дольше, чем того

требует нынешнее ее состояние, задерживается она любовью памяти на своей «лесной» любви, дольше, чем позволяет ее кипение, задерживается мыслью на символической Паладьиной меже и в других случаях. Есть во всех этих задержках не то чтобы искусственность, но преждевременность. Не пришла еще пора испытать такие чувства героине в такой мере и с такой силой.

Пока мы шли к повести Федора Абрамова «Алька», у нас накопился некоторый статистический материал. Герои, которым авторы предлагают увидеть свою деревню «как новое», познать там себя, не были в деревне лет семь-восемь. И люди это не очень молодые; им довольно за тридцать. Прихожь ли это писателей? Не думаем. Чтобы ощутить старое как иное, как новое, человек должен удалиться от него на приличный срок и в нем самом должны произойти заметные перемены. А для Алевтины Амосовой в повести таких условий нет. Две недели своего отпуска провела Алька в деревне («...год целый не была дома, а вернее сказать, даже два, потому что не считать же те три дня в прошлом году, что на похороны матери приезжала»). Естественно, не может она воспринимать еще не вполне отделившуюся от нее жизнь как воспоминание. Но ведь послана писателем героиня в деревню не для того, чтобы принять то или иное утилитарное решение (остаться там или отбыть), послана она затем, чтобы преобразиться нравственно. Когда человеку надо сделать свой выбор, то настоящая прочная остановка возможна лишь в том случае, если душа нашла главный, безусловный свой ответ. В Алке же все непостоянно, любой вывод для нее не больше паузы, и, смиряя ее порывы, преждевременно осерьезнивая героиню, писатель с известным усилием подтягивает ее к тому будущему, где она станет иной, повзрослевшей Алкой. Отсюда-то и проистекают неясности и двусмысленности, в общем вполне справедливо отмеченные И. Дедковым. Только все это не есть двойные личности, но представляет несоразмерность реального характера и его преждевременной проекции в завтрашний день. Однако несоответствия такого рода не затрагивают важнейших нервов повествования. Не грешит писатель против главной истины: он не оставляет героиню в родных местах. Он отправляет ее в дальнейшее вольное путешествие, которое должно насытить жадный интерес Альки к

тому «городскому» миру, должно помочь ей понять ту действительность в полной мере. Теперешняя Алька не имеет своего постоянного обиталища: в городе она пробующий силы новичок, в деревне она тоже не хозяйка. Поначалу ей надо избрать бытие. Тогда только с настоящей силой может ее привлечь то, что осталось в прошлом и полузабыто. Альке предстоит еще добираться до сути. Но и нынешняя ее напряженная работа души не напрасна.

Иван Ветлугин, заночевавший в Журавлихе, полагает, что в деревню он вернется навсегда. Но к такому решению он подтянут с помощью однонаправленных «обстоятельств» — простейших психологических и материальных аргументов. В повести Ф. Абрамова присутствуют почти равновеликие по смыслу доводы.

Отнюдь не только героиня повести Ф. Абрамова проходит длительное серьезное испытание, но и реальная действительность проходит в повести тоже своего рода испытание. Писателя живо интересует, какой силой нравственной притягательности обладает современная деревня для молодого человека, не лишённого критической придирчивости. Ф. Абрамов внимательно наблюдает, как нарастает в душе его героини потребность в гармонической внутренней жизни, однако не менее занимает его исследование тех подлинных духовных стоимостей, которые этой потребности могли бы ответить и ее удовлетворить. Его интересует идеальное как сущее — для человека. В этом, пожалуй, и главный урок новой повести писателя. Урок этот тем заметнее, что в повести присутствует и параллельная тема — странничество, так сказать, привычного нам вида. К старухе Христофоровне третье лето подряд приезжают студентки, уважительные девушки, «разговористые». Умная Христофоровна замечает: «Все чего-то ищут. Нашим, деревенским, города не хватает, а тем опять, из города, — деревни...» Ходят за старухой девушки, записывают, что ни скажет она. Зачем ездят? «За живой водой»...

Слово «странник» — хорошее старинное слово. И было бы скверно толковать его в насильственно ироническом смысле. Оно исполнено живой нравственной идеей. Странника ведет в путь-дорогу самоисследующая страсть души — желание духовного обновления. Для него познание — самопознание. Вот почему странствия совер-

шаются столь часто в край собственного детства и юности. Мерещится впереди какое-то совершенное далеко, но заранее облагороженное и ухоженное чутко-настороженной памятью. Память играет роль воображения, помещенного в прошлое и творчески его преобразующего. Привлекательное «инобытие»... Но тут-то как раз и возможны разного рода неожиданности, непредвиденные осложнения и казусы. То, что было позади личности, выплывая вперед, не всегда подтверждает смелые прогнозы и желания.

В этом отношении нельзя не признать поистине классическим путешествие в родную деревню на теплоходе по большой сибирской реке героя новой повести В. Распутина «Вниз по течению» («Наш современник», 1972, № 6). Ибо тут охвачены все существенные, типические моменты странствия, начиная с исходного мотива, с желания окунуться в ту жизнь как в «возвратившееся детство» и до исхода. Герой повести, молодой писатель Виктор, — живая, подвижная натура. Он не только теоретически готов к странствию, он уже побывал во многих краях и многих местах, и с пользой: «...возвращался, исполненный какого-то особого, внутреннего смысла». Но никакая поездка не сравнится с тем, чего он ожидает от родной деревни, — чего-то абсолютного, «воистину безупречного равновесия духовного». Однако вместо желаемого жизнь подбрасывает ему другое — неожиданное, неблагоприятное. Уже и в пути навеваются ему не только сладостные воспоминания о детстве, мечты о встрече, но и всего пятилетней давности впечатления о деревне, заранее остужающие душу. Постепенно подготавливается конфликт. Но в чем он?

Чтобы понять ситуацию, надо понять человека. Ведь далеко не каждый на месте Виктора ощутил бы присутствие какой-нибудь коллизии. А герой повести В. Распутина любую будто бы и малозначительную перемену в окружающем фиксирует с живостью необыкновенной... Особенная забота его состоит в том, чтобы следить за передвижениями одного состояния в другое — и в материальных вещах, и в других людях, и в себе самом. Он всегда отличает полутон, оттенок. Еще не сошел с теплохода, как «тот для него уже не существовал, он как бы отдалился, померк. В душе была звонкая горячая пустота: от одного со-



стояния он уже отказался, другое еще не наступило».

Виктора влечет к тайному, неведомому, неизъяснимому. Натура поэтическая, он в окружающем ловит «прекрасный и загадочный смысл», «прекрасное обещание». Понятно, что при таком напряженно-поэтическом ожидании лучшего неизвестного и незначительный сдвиг к дурному или же просто к «не такому» воспринимается с болезненной остротой, а то, что доставило Виктору горькие чувства, вовсе и не малость. Тяжелые переживания принесла герою огромная река, по которой плывет теплоход... С детских лет была она для мальчика Вити средоточием его внутренней жизни. Воспоминания о том, как весною ломается и впервые двигается лед на реке, как шумит над ней первая гроза, как шепчутся прибрежные кусты,— бесчисленные, дорогие сердцу воспоминания разрушены грубо. Ибо то, что постепенно открывается взгляду героя, вовсе и не река, но водохранилище, образовавшееся вследствие строительства плотины ГЭС и безжалостно затопившее все кругом. Дикая эта вода подбросила на крутояр деревню, где мать и отец, превратила ее в некое подобие рабочего поселка среди тайги. И когда наконец настает встреча, не узнает Виктор старых любимых мест, и все переворачивается в его душе. Не выдерживает этого герой — за долго до срока уезжает домой, в город.

Не слишком благородной целью задался бы тот, кто взялся бы подвергнуть хладнокровному суду рассудка поэтическую устремленность героя повести В. Распутина. Хотя бы и потому, что мечтающая романтическая мысль Виктора есть вместе с тем и цепкая, внимательная мысль. Но и это частность, а не главное, ибо в натуре героя привлекает прежде всего искренность помысла, откровенность, духовная одаренность. И когда в конце повести он корит себя за то, что не сумел удержаться на позиции объективного отношения к жизни, хотя и поощрял себя к тому, и обещает в следующий раз приехать в родную деревню словно бы другим человеком, более «опытным и спокойным», ясно представляющим положение дела, то такое обещание, право же, выглядит несколько искусственным, натужным, словно бы вынужденным к тому автором. Нет, герой нам интересен и дорог именно в своей пылкости, в своей непосредственности, в субъективной страстности — честной и открытой. Правда, все

эти его действительно превосходные душевные качества никак не обязывают непременно согласиться с ним. И не мешают видеть, что субъективность его добывает не очень много истины, которую хотелось бы признать и своей,— истины широкой, достаточно общей. Почему же?

Однажды Виктор уходит из деревни освежиться и прогуляться и попадает в места, хорошо памятные с детства. Он всматривается в окружающее, угадывая, что сохранилось с прежних лет, а что стерлось и пополнилось новым, другим. Везде и во всем он ищет следы прошлой своей жизни, своей личности. «Он останавливался, подолгу стоял, внимательно, с какой-то излишней пристальностью и дотошностью вглядываясь в траву, в деревья, словно пытаясь установить важную для себя связь с собой же, каким он был в те годы,— и отходил ни с чем».

Вот в чем соль: оказывается, личность ищет в этой сфере самое себя, а реальная жизнь занимает ее лишь в той мере, в какой служит подсобным средством в таком поиске. Герой стремится к тому, чтобы установить необычайно дорогое ему тождество самого себя, каков он ныне, с тем, каким был прежде. И сердце его ранено, когда тождество не получается. Если выкинуть в его мышления, то нетрудно отметить и еще одно примечательное обстоятельство. Все его впечатления отрицательного свойства расслаиваются на два ряда. К первому принадлежат те, которые можно обозначить словами «стало хуже». Ко второму — «стало не так». Положим, слушая нашего героя — мол, «стало хуже» оттого, что рядом с тихой лесной тропинкой «припарилась неизвестно откуда взявшаяся тракторная дорога, по обочинам которой, как заборы, валялись стасканные в кучи деревья с высоко торчащими необрубленными ветками», — можно с ним и согласиться. Но вряд ли назовешь «дурным» факт другого рода: не сохранился тот шалаш, который строили еще ребятишками. «Стало не так». Однако это самое «стало не так» отнюдь не пассивно. Оно вносит существеннейшие аберрации и смещения в сознание Виктора.

Сильная память героя повести обрывает его желание метаморфозы странничества. Нет того прекрасного и совершенного, что ожидалось, нет того, что можно признать своим. Но в таком случае память властвует сама в себе, сурово потесняя жизнь. И потеснилась настоящая жизнь из

повести. Много ли узнаешь от Виктора о людях деревни, его друзьях и родных? Самую малость. Все они говорят почти единственно о газетной рецензии на сборник рассказов своего земляка и родственника. Была такая рецензия, пустая, разносная. Ее прочитали и жалеют Виктора, сомневаются, не «исключат» ли его из писателей после критики. Не понимает его даже мать. Знакомые, родные стали едва не чужими. Простить их — можно, понять — тяжело. Нет смычки между молодым писателем и его родной деревней.

Память героя блокирует ум молодого писателя от точных оценок увиденного, поворачивает к заключениям странным, которые создаются буквально «из ничего». И творятся сюжеты и микросюжеты, которые следует иногда считать комическими. Вот в лирически проникновенном тоне говорит Виктор о цыпках мальчишки со значительным русским именем Филипп. Вздурождали воспоминания эти милые цыпки, и поется им хвала («О цыпки, цыпки, детки воды и грязи...») и выносится оригинальное общее суждение («А как же без цыпок? Есть, есть, значит, на свете мальчишки — не одни только мальчишки»). Чуть раньше мы узнаем, как Виктор, черпая ведром из водоема и оскользнувшись, «со страхом и брезгливостью наблюдал, как все тело покрывается мелкими, игольными точками грязи». Но есть грязь — и грязь. В настоящем ее виде грязь пачкает. Но пропущенная через фильтры памяти, она может стать идеальной средой идеальных цыпок. Понятно, что гносеологические эти цыпки превращаются немедля в фехтовальный выпад против «аккуратного народа» — городских мальчишек.

Надо ли дискутировать с Виктором? Надо ли говорить, что и городские ребятишки — не всегда ухоженный, аккуратный народ? Услышит ли? Захочет ли услышать? И сомневаешься уже, тот ли предстал сейчас перед нами молодой человек, который с такой духовной настойчивостью стремился постигнуть тайну, глубокий смысл незнаемого?

В повестях «Деньги для Марии» и «Последний срок» талантливый писатель В. Распутин умел быть больше своих героев. В последней вещи это трудно почувствовать. Почти невозможно определить в повести присутствие такого авторского «я», кото-

рое растолковало бы нам многие наши вопросы и сомнения. Не смог Распутин, скажем, объяснить нам, как это его герой, поначалу столь чуткий к смене состояний, чуждый консервативности и не подвижности духа, оказывается под конец в тягостном противопоставлении к «иному», к «чужому». Два характера намечались было, две несхожие личности, а обе растворились в одном психологическом состоянии. В. Распутин не берется раскрыть причины такого казуса.

Разных, очень разных людей собирает вместе жизненная тема странничества. Желание духовной метаморфозы каким-то особенным и глубоким образом выясняет человека и цель его. Разумеется, выясняет по-разному, потому что «путешествие от себя старого к себе новому» бывает очень разным. Иногда в нем проявляется едва ли не близкая к органической, биологической потребность обновить точку своего пребывания в мире. В других случаях желание странничества диктуется глубокой жаждой человека, идущей от самоутверждения нового духовного качества.

При этом замечено: когда слишком много толков о душе, реальная душа подзабывается. Усиленное ораторство, требуя себе слишком много умственной, душевной энергии, рождает лишь маленький сдвиг, крошечное смещение, пустоватый каламбур. Тогда мы вправе сказать: помыслы чисты, стремление как будто идеальное, а результат и не слишком хорош, из возвышенного мечтания вылупилась не больше как «лирический экстремизм». Такие странности бывают и с нашими странниками. Вот отчего их опыты заслуживают самого вдумчивого, диалектического наблюдения и толкования. Заслуживают внимания и побудительные причины и обстоятельства. Немалый интерес вызывает сегодня творчество тех писателей, которые в этом случае ищут идеальное как меру действительного, как сущее, как живую субстанцию человеческой реальности. Всегда общественной реальности! И в этом случае чистый горизонт современной прозы — в высвобождении от фетишей, в восстановлении законных прав деятельного, нестесненного чувства, исследующей аналитической мысли.



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ



### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**А. Нуйник.** Коммунисты.— **Е. Рябчиков.** Жизни яркие приметы.— **Г. Трефилова.** Возвращение героя.— **В. Камянов.** Любовь и кибернетика.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**В. Кузнецов.** Рассказ о II съезде РСДРП.— **В. Дмитриев.** Размышляя над книгой.

## Литература и искусство

### КОММУНИСТЫ

**Рассказы о партии. В двух книгах. Составитель Л. Давыдов. М. Политиздат. 1973. Книга 1, 636 стр.; книга 2, 572 стр.**

Семьдесят лет — всего-навсего средний срок жизни человека. Но семьдесят лет деятельности ленинской партии составили в истории человечества целую эпоху.

В одном из очерков двухтомника есть такая сцена. Ленин оглядывает делегатов II съезда РСДРП, пришедших на Хайгетское кладбище к могиле Маркса: «Никто не проносил речей. Молча стояли вокруг могилы, обнажив головы. Сколько их тогда было? Восемнадцать человек. Мало! Горстка. Горстка русских революционеров, пришедших поклониться праху своего учителя».

К тому же и у этих немногих нет ни опыта, ни искушенности, ни «регалий».

«Бауман обратил внимание Ленина на то, как молоды делегаты. Ленин внимательно всматривался в лица: да-да, до чего же молоды! Большинству нет и тридцати, многим вовсе двадцать с небольшим. Ему, Ленину, целых тридцать три — кажется, только теперь, с улыбкой подумал он, начинает он оправдывать свое давнишнее партийное имя Старик!» (Вольф Долгий, «Слово о втором съезде»).

Мы знаем сегодня, чего удалось добиться этой «горстке» молодых коммунистов. И имеем право сделать вывод: такова сила

организации, таковы возможности людей, объединившихся в подлинно революционную партию.

Борьба классов и революция, диктатура и демократия, государство и народ, стихийность и организованность, ликвидаторы и отзовисты — к этим «старым», но не потерявшим актуальности вопросам вновь привлекает наше внимание двухтомник, выпущенный Политиздатом к семидесятилетию II съезда РСДРП. «Рассказы о партии» должны явиться, по мысли редакции, «своеобразной художественно-документальной хрестоматией», адресованной широкому кругу читателей, в особенности молодежи. Что ж, это «в особенности» не лишено резона. Человек, не понимающий истории, не разберется и в сегодняшних событиях.

Впрочем, я вовсе не хочу свести разговор к привычному: подрастают новые поколения и им полезно повторять старые истины, рассказывать о том, что другим хорошо известно. Есть выражение «стало историей», оно означает: ушло в прошлое, завершилось. Если употреблять слово «история» в этом смысле, то все события, связанные с борьбой за создание РСДРП, с подготовкой революции, свержением царизма, поисками новой организации жизни, историей не стали. Ибо, как с полным ос-

нованием процитировано в первом томе, «слишком много еще дела на земле, слишком важно с живым трепетом осваивать прошлое, потому что прошлое — еще в росте, его нельзя останавливать на ходу...».

Материалы двухтомника (очень разные по информативности и художественному уровню) еще раз убеждают: каждому из нас необходимо снова и снова возвращаться к событиям, связанным с историей ленинской партии, с историей революции. Необходимо не для «науки истории» — для жизни. И издательство, подготовив «Рассказы о партии», сделало, без сомнения, доброе дело.

Годы, эпоха... А в общем-то, как это все было недавно! О том, как «загоралась» «Искра», мы узнаем из очерка Александры Аренштейн. Немало интересных подробностей и живых деталей о II съезде РСДРП в рассказах Вольфа Долгого и Сергея Сартакова.

Драматичны эпизоды революции 1905 года, ленских событий. С парижской улицы Мари-Роз мы переносимся в Прагу, на VI Всероссийскую конференцию. Петербург, Таврический дворец, где с трибуны IV Думы депутаты-большевики обличают самодержавные порядки...

Неукротимым, вдохновенным революционером предстает Владимир Ильич в очерках, рассказывающих о важнейшем для партии моменте — выступлении Ленина с Апрельскими тезисами и о том, как Ленин из стен Смольного руководил ходом Октябрьского восстания. Глубоко драматичны события, лежащие в основе очерка Владимира Архангельского «Брестский мир».

Второй том охватывает большой исторический период в жизни страны — от смерти Ленина до XXIV съезда КПСС. В очерках рассказывается о строительной горячке 30-х годов, о трудовом энтузиазме рабочих и крестьян (Сергей Болдырев, «Лавина с горы Юкспор»; Сергей Смородкин, «Есть мировой рекорд...»). Суровые испытания, выпавшие на долю нашего народа в годы Великой Отечественной войны, испытания, которые еще раз проверили волю, мужество и стойкость коммунистов, испытания, которые они вновь с честью выдержали, отражены в очерках «Умение видеть ночью» (Василий Ардаматский), «Партизаны Смоленщины» (Руд. Бершадский), «Корабли салютуют герою» (Сергей Курзенков), «Огнестойкость» (Иван Падерин). «Гвардейский женский» (Наталья Кравцова).

Очерком Евгения Рябчикова «Коммунисты

штурмуют космос» открывается рассказ о современной истории партии, о создании материально-технической базы коммунизма, о периоде, начатом XXIV съездом КПСС. Этот цикл представлен очерками «Как это началось...» (Лидия Либединская), «Формула света» (Петр Мельников), «Жемчужина на Волге» (Семен Табачников), «В Набережных Челнах» (Феодосий Видрашку), «Солнечные дали Хакасии» (Борис Рябинин) и др.

Расширяют наше поле зрения, как бы выводя за пределы «очерковых» — строго документированных событий, — два больших проблемно-критических обзора художественной литературы, посвященной партии и коммунистам. Авторы сборника — в большинстве опытные литераторы, не впервые обращающиеся к историко-революционной проблематике. Но есть среди них и такие, которые прошли вместе с партией весь большой путь, сами были участниками описываемых событий, в том числе и связанных с первыми годами революции. Их живые свидетельства и раздумья представляют особый интерес даже для тех писателей, которые не пишут на исторические темы. Собранные в единую цепь факты пробуждают не только воображение, но и аналитическую мысль.

Мне представляется, что книги было бы точнее назвать «Рассказами о коммунистах»: в каждом очерке в центре внимания не столько событие, сколько люди, характеры, судьбы. Лучшие люди, героические характеры, незаурядные судьбы. Материал очерков позволяет дать ответ на важный вопрос, острога которого несколько не снята и в наши дни: что именно делает человека коммунистом? В связи с самыми рядовыми фактами, говорящими о трудолюбии, дисциплинированности, человечности, мы часто не удерживаемся от восклицания: «Вот так поступают коммунисты!» А коммунистам более пристало как раз, наоборот, из ряда вон выходящее, необычное, героическое считать нормой.

В очерке Василия Ардаматского «Умение видеть ночью» рассказывается о «щупленькой девушке с большими, черными, усталыми глазами», об Анне Ковалевой, которая в дни ленинградской блокады в одиночку обезвредила не взорвавшуюся крупную фугаску в подвале трампарка. На вопросы корреспондента отвечать она не хотела, даже сердилась: «Что вы из меня чудо делаете?» Желая помочь печати, командир отряда почти приказывает ей: скажи людям, про

что ты думала, когда с бомбой работала. «Про свечку думала,— серьезно ответила девушка,— боялась, что она догорит раньше, чем я выну взрыватель»...

Думаю, имей мы возможность познакомиться поближе со всей жизнью Ани Ковалевой, с мечтами, раздумьями, порывами героини, мы бы убедились, что подвиг ее не случайность, а проявление коммунистической позиции в жизни. Жаль, что автор очерка как бы остановился на полпути.

Вообще-то воссоздать образ настоящего коммуниста путем простой констатации его поведения, его поступков, воспринятых «извне», чрезвычайно трудно: ведь в определенных ситуациях одинаково поступать могут люди, очень отличающиеся по убеждениям, по жизненным и идейным позициям. Решающим при этом становится раскрытие внутренней мотивировки: что именно двигало человеком, во имя чего он поступает так, а не иначе. Надо сказать, что иные из материалов двухтомника (я имею в виду очерки Габита Мусрепова «В двадцать четыре часа», Владимира Приходько «Мы — провода под током», Павла Журбы «Бесценный дар», Андрея Алдана-Семенова «Грозы восемнадцатого») дают пищу для размышлений о природе и особенностях коммунистического идеала.

Чувствовать себя коммунистом — большое счастье, но стать им не так-то легко. Мысль Ленина: «Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество», — это не просто крылатые слова, здесь сформулировано обязательное условие. Вернее, одно из условий. Исходное. Вобрав все лучшее, что выработало человечество, надо пойти дальше, обрести коммунистическую идеологию, проникнуться коммунистической моралью!

Превосходство коммунизма в том и состоит, что он исходит из коллективистской, общественной природы человека. Подлинной свободы, а не той «постылой», когда ты ничего не обязан делать, но и до тебя никому дела нет; свободы, несущей полноту и радость жизни, добиться можно только сообща. Это не просто новый этап в развитии демократических идеалов — это совсем иной принцип, положенный в основу взаимоотношений людей, принцип, выводящий общество на просторы неограниченного совершенствования. Только в такой обстановке можно подняться на ту ступень, когда общие интересы, общее дело, общий тон жизни

становятся для каждого личным, главным делом, высшей ценностью, гарантирующей максимум справедливости, счастья, реальной свободы. Эту мысль особенно остро ощущаешь, когда материалы двухтомника выводят на широкие просторы проблематики, связанной с международным рабочим и коммунистическим движением, развивающимся в очень сложных, противоречивых условиях (подобный «международный аспект» присущ, на мой взгляд, очеркам Зинаиды Гусевой «Весной в Париже», Саввы Дангулова «Умение убеждать», Надежды Медведевой «Рождение великого союза»).

Понятия демократизма, уважения к человеческой личности, свободы, гуманности, равенства при коммунизме приобретают иное, качественно своеобразное значение. В классовом буржуазном обществе достижение правды, добра, справедливости и т. д. в полном объеме этих слов невозможно. Речь могла идти только об их паллиативах, скажем, о приближении к заветным целям в «частном порядке». В принципе это издевка, ибо перечисленные блага — продукт взаимоотношений людей. Коммунисты, указав путь к кардинальному переустройству общества, обесценили высокую декламацию на социальные темы. Абстрактные призывы к добру и справедливости становятся не просто бесполезными, но вредными, ибо отвлекают от главного — от поисков реальных путей к счастью. Организационный момент становится решающим. Бездеятельность из беды становится виной. В этом отношении позиция исторического фатализма делается одной из наиболее несовместимых с принципами коммунизма. И не может всех нас не тревожить, что позиция эта в связи со scientистскими иллюзиями, вызванными успехами научно-технической революции, чрезвычайно укрепилась.

Три года назад мне довелось беседовать во Франции со студентом, практиковавшимся в русском языке. «Странный вы все-таки народ, коммунисты,— говорил он.— С одной стороны, твердите о неотвратимости коммунизма, с другой — призываете к борьбе и революциям. Но зачем же ломать копыя, лить кровь и не давать радоваться жизни ни себе, ни другим, если коммунизм все равно наступит? На год раньше, на год позже — разве это так уж важно?»

Такого рода студенты сейчас нередко встречаются, особенно в среде научно-технической интеллигенции. И думаешь: нет, не

случайно Елизавета Драбкина свой очерк «Да здравствует Советская власть!» начала с раскрытия взглядов марксистов на историю, которая есть «отнодь не самоуправляющийся автоматический процесс», она, как говорил Маркс, «не что иное, как деятельность преследующего свои цели человека, который все делает, всем обладает, за все борется...

Я попробовал раскрыть своему юному оппоненту эту мысль, но безуспешно.

«Маркс жил в век пара,— последовал ответ.— В наше время наука и техника меняют мир быстрее любой классовой борьбы. Сейчас не партии надо создавать, а компьютеры».

Ох, как все-таки не хочется людям поверить, что не на кого им рассчитывать в поисках лучшей жизни, кроме как на самих себя! А ведь истории известно более чем достаточно фактов, которые, казалось бы, уже должны были убедить в этом. Верили во всеблагого бога. Бог вместо рая ниспосылал людям инквизиции и варфоломеевские ночи. Вера в доброго царя оплачивалась жертвами кровавых воскресений. Не стало богов и царей — находят охотники столь же самозабвенно переложить ответственность на компьютер. Чем, интересно, придется платить за эту «веру»?

Фаталистам — и заблуждающимся, и тем, которые разглагольствованиями об «объективных законах истории» попросту прикрывают свою трусость и никчемность,— стоило бы, наверное, осмыслить следующую фразу из письма Энгельса Францу Мерингу: «...если бы Ричард Львиное Сердце и Филипп-Август ввели свободу торговли, вместо того, чтобы впутываться в крестовые походы, то можно было бы избежать 500 лет нищеты и невежества»<sup>1</sup>.

Пятьсот лет нищеты и невежества! Для по меньшей мере десяти поколений людей, обреченных из-за этой «ошибки» провести всю свою жизнь в нищете и невежестве, вряд ли могло бы послужить утешением, что все-таки в конце концов история «свое взяла». Да и сомнительно, чтобы лишние пятьсот лет нищеты и невежества прошли без последствий для всех последующих поколений.

История — не прокручивание ленты на одноканальном магнитофоне. Это живое развитие. И в какую сторону будет развиваться история в той или иной стране, за

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения т. 39, стр. 84.

висит от того, кто лучше успеет объединиться и организоваться — грубо говоря, «хорошие» люди или «плохие». И странно, что так много еще на земле интеллигентов, гуманистов и мыслителей, с большим почтением повторяющих, что количество информации в их черепных коробках удваивается через каждые десять лет, которые все еще не в состоянии осознать столь простую истину.

Помните, как пожимали плечами «здраво-мыслящие» политики в ответ на горячую агитацию Ленина? Революцию делать? С кем? С этими миллионами темных, неграмотных, озабоченных лишь куском хлеба людей? Прожектерство, ребячество!

В судьбах, в характерах героев двухтомника выявляется еще одна принципиальная черта коммунистов: они верят в то, что благородные идеи и организаторский талант способны творить чудеса с людьми. Они верят в то, что если суметь поставить любого человека в истинно человеческие условия, то он станет Человеком. В бесчеловечных же условиях ожидать этого по меньшей мере наивно. Ленин писал: «Тем и отличается марксизм от старого утопического социализма, что последний хотел строить новое общество не из тех массовых представителей человеческого материала, которые создаются кровавым, грязным, грабительским, лавочническим капитализмом, а из разведенных в особых парниках и теплицах особо добродетельных людей»<sup>2</sup>.

В первом томе «Рассказов о партии» упоминается повесть «Синяя тетрадь» Э. Казакевича, где эта мысль подчеркивается с особой яркостью. Мимо Ленина и Зиновьева, скрывающихся в Разливе, проплывают пьяные дачники, горланя песню о «шпионщиках-чихах». Этот эпизод вызывает у них глубокие раздумья, но какие разные!

«Зиновьев думал о том, что старая Россия жива... ей наплевать на революционеров... а сознательных пролетариев мало и они теряются в огромном мещанском болоте». Ленин думал о том, что «делать революцию и строить социализм так или иначе придется также и с этими маленькими людьми, которые пели и визжали в лодках, что нельзя сделать специальных людей для социализма, что надо этих переделать, что надо будет с этими и работать, ибо страны Утопии нет, есть страна Россия».

А ведь для пессимизма в момент созда-

<sup>2</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 28, стр. 365

ния партии было куда больше оснований, чем сейчас в любой из развитых стран.

В очерке Елизаветы Драбкиной говорится: «Хотите ли вы увидеть, услышать, узнать этих людей — творцов пролетарской революции в России, повернувшей на новые пути всю историю современного человечества?»

Если хотите, возьмите сборник документов Великого Октября. Раскройте именную указатель. Какое множество имен! Какая яркая галерея человеческих судеб и живых, сложных, неповторимых характеров!»

Действительно, столь богатой плеяды личностей история не знала (стоит при этом учитывать: они сделали революцию, а революция сделала их!), но как же их было мало на фоне необъятной России, и это тоже приходит на ум и поражает. «Горстка» юных революционеров повернула на новые пути всю историю современного человечества! Исторический факт. Единственное, но кардинальное уточнение: «горстка» юных революционеров, объединившихся в партию, «горстка» юных людей, сплоченных и вдохновленных великой идеей коммунизма.

Ленин имел право в 1920 году с гордостью за созданную им партию написать (эти слова мы найдем во втором томе «Рассказов...»): «...всякий раз, когда наступал трудный момент в войне, партия мобилизовала коммунистов, и в первую голову они гибли в первых рядах, тысячами они гибли на фронте Юденича и Колчака; гибли лучшие люди рабочего класса, которые жертвовали собой, понимая, что они погибнут, но они спасут поколения, спасут тысячи и тысячи рабочих и крестьян».

Партия единомышленников-коммунистов преображала не только тех, кто вливался в ее ряды. Она явилась тем кристаллом, который преобразовал структуру всего общества. Темные и забытые люди, о которых с тоской думал Зиновьев у Э. Казакевича, совершили чудеса героизма в революционной борьбе, проявили невиданную ранее сознательность в труде, выдержали напор считавшихся непобедимыми фашистских бронированных полчищ, первыми вырвались в космос...

Однако здесь нужна одна серьезная оговорка. Не всякая организованность, не всякое объединение способны на такие чудеса. История знает немало примеров того, как армии и народы, являющиеся, казалось бы, образцом монолитности и дисциплины, рассыпались под ударом первого же

серьезного испытания. Обычно это происходило тогда, когда нарушалась привычная связь руководства и подчиненных. А вот бойцы Брестской крепости (об их подвиге и о книге С. С. Смирнова еще раз подробно рассказывается в критическом обзоре Ф. Кузнецова), отрезанные от командования, отрезанные от всего мира, вели борьбу до последнего патрона, до последнего обломка кирпича под рукой.

Вот один только из эпизодов — он запоминается среди многих, составивших «плоть» двухтомника: «Прорвавшись с помощью гранат сквозь вражеское кольцо, Гаврилов спрятался в бывших конюшнях гарнизона, пять дней провел без пищи, питаясь комбикормом для коней, а когда, больного, обессиленного, его обнаружили немцы, бесстрашно принял последний бой. Трижды враги шли в атаку на его укрытие — и каждый раз отступали под разрывами гранат. Лишь раненного, потерявшего сознание, словно высушеного, до предела истощенного, взяли они его в плен».

А разве не столь же стойко боролся один на один с врагами и Веняка Малышев, герой повести Павла Нилина «Жестокость» (о нем тоже обстоятельно говорится в двухтомнике — в связи с литературными образами коммунистов)? «Что заставило Малышева идти на этот смертельный риск, неделями пропадать в тайге, забираться в самое логово бандитов? Что заставляло его продираться в глубины заскорузлой души Лазаря Баукина и воевать за то светлое, что теплилось в сердцевине ее? Ведь Лазарь Баукин чуть не убил в бою Веняку Малышева, а потом сбежал из Угрозьска... Убеждение. Истинно коммунистическое убеждение, которое было естественной плотью его души и характера: «Мы за все отвечаем, что есть и что будет при нас»...

При Малышеве всегда остается «командир», который погибает только вместе с ним самим, — его коммунистическая совесть. Организацию, состоящую из таких людей, можно уничтожить, но нельзя победить. Если же она сумеет повести за собой народ, то нет для нее непреодолимых преград.

Но повести за собой народ — задача не разовая, не однозначная, это задача неизменно трудная, если иметь в виду конечную цель — построение коммунизма. Только коммунисты берут власть для того, чтобы передать единственному, кто имеет на нее абсолютное право, — самому народу. Свергнуть власть царя и капиталистов —

это еще не означает передать ее народу. Народ надо еще научить быть хозяином своей жизни. Естественно то большое внимание, которое уделяется этой важнейшей проблеме в рассказе Александра Бека «Апрельские тезисы».

Приобщить трудящихся к реальному решению всех важнейших вопросов, к политике, развить в них чувство хозяина и умение управлять — главная забота Ленина всех зрелых лет его жизни. Это отражено в рассказе.

«Никакого правительства, кроме Совета рабочих и батрацких депутатов. Сказать о Коммуне — не поймут. Но сказать, что вместо полиции — Совет рабочих и батрацких депутатов, научитесь управлять — нам некому помешать, — это поймут. Искусство управлять ни из каких книжек не вычитаешь. Пробуй, ошибайся, учись управлять» — так Ленин разъясняет один из важнейших своих тезисов.

Того, что народ окажется организованным, научится быть хозяином, эксплуататоры боялись и боятся больше всего на свете. Ни недовольство масс само по себе, ни интеллигентское брюзжание, ни бомбы в кармане не пугают их всерьез. А вот приобщение народа к реальной политике, умение участвовать в политике — это на них наводит ужас. Всеми силами господствующее классы стремятся отвлечь народ от политики, не допустить до нее. Для этого и всякие политические инсценировки, на время создающие иллюзию «подключения» широких слоев к государственным делам, а на самом деле лишь маскирующие глубинные механизмы политики. Для этого и беспрерывные попытки внушить отвращение к политике. Дело это, дескать, грязное, нехорошее, зачем вам в него лезть? А поскольку политика эксплуататоров действительно всегда грязна, то убедить в этом, увы, нетрудно.

В ход умело пускаются и рассуждения об ужасах, о крови, которые несут революции (ужасы и кровь контрреволюций подаются как нечто ответное, «спровоциро-

ванное»). Умело пускаются в ход и ошибки революционеров. Это тоже действует, ошибки ведь реальные, сами революционеры их не скрывают, сами их болезненно переживают. Ленин не скрывал ошибок, но он умел видеть за ошибками главное: «Русский рабочий класс завоеует свободу себе и даст толчок вперед Европе своими полными ошибками революционными действиями — и пусть кичатся пошляки безошибочностью своего революционного бездействия».

Русский рабочий класс добился многого, но и «пошляки» даром времени не теряли. Еще К. Маркс указывал, что буржуазная пресса стремится внушить читателям отвращение к политике, увести их в болото обывательщины. Лавина «массовой культуры», захлестнувшая Европу и Америку, говорит о том, что буржуазной прессе во многом удалось реализовать свои цели. Проникают эти веяния порой и к нам...

В таких условиях очень полезно, более того — совершенно необходимо вновь и вновь обращаться к истории, ее поучительным урокам. История — это не один из предметов, подлежащих изучению для повышения интеллигентности. Это концентрированный опыт. Опыт, за который заплачено кровью, смертями, годами труда и недоеданий. Знание истории есть могучее оружие, без которого ничего не сделать в сегодняшней борьбе. За неумение извлекать уроки из прошлого, за утерю памяти всегда приходилось платить вдвойне. Потому что враги трудящихся только делают вид, что и они отрешились от прошлого. Они ничего не забывают и умеют извлекать уроки. А случайного «забывания» в классовой борьбе не бывает. Если оно произошло, можно не сомневаться: кто-то в этом был заинтересован и хорошо организовал данное «ослабление памяти».

История партии коммунистов за семьдесят лет — сокровищница бесценного опыта, от глубины осмысления которого во многом зависит будущее не только нашей страны, но и всей планеты.

А. НУЙКИН.



## ЖИЗНИ ЯРКИЕ ПРИМЕТЫ

О партии слово... Редактор-составитель Ю. Н. Верченко. М. «Советская Россия». 1972. 160 стр.

Каждый, кто изучал постановление ЦК КПСС «О 70-летию II съезда РСДРП», в полной мере ощутил глубину чувства благодарности партии за ее выдающиеся свер-

шения. История не знает другой партии, которая оказала бы столь огромное воздействие на весь ход мирового развития. Этим и объясняется величие задач, стоя-



щих перед художниками слова, — воссоздать в многоплановых произведениях весь героический путь нашего народа, руководимого ленинской партией, показать новым поколениям, как из сравнительно небольшой организации партия превратилась в могучую, сплоченную, почти пятнадцатимиллионную армию коммунистов — правящую партию первого в мире социалистического государства.

Семидесятилетний опыт деятельности КПСС дает возможность широко вести пропаганду ленинского учения о партии, показывать всемирно-исторический опыт КПСС по руководству строительством социализма и коммунизма, успехи в борьбе за единство и сплоченность мирового коммунистического и рабочего движения.

В большой, почетной работе видное место должны занять и занимают писатели, публицисты, все деятели искусства и культуры. В этом отношении особое значение приобретает книга «О партии слово...». Редактор-составитель Ю. Верченко привлек к созданию сборника известных советских прозаиков и поэтов, отличающихся не только по возрасту и опыту работы в литературе, но и представляющих разные ее области, жанры и направления.

Михаил Алексеев и Расул Гамзатов, Максим Геттуев и Николай Грибачев, Юрий Жуков и Вадим Кожевников, Георгий Марков и Сергей Михалков, Сергей Наровчатов и Николай Сизов, Константин Симонов и Анатолий Софронов, Александр Чаковский и Михаил Шолохов сказали свое слово о партии, о ее XXIV съезде, о подвигах коммунистов.

Писатели, конечно, не могут не говорить о литературе, ставшей ареной ожесточенной идеологической борьбы. Советская литература — детище партии. И потому полны глубокого смысла слова Михаила Шолохова: «Без ложной скромности можно сказать, что сделали мы очень много в смысле перевоспитания человека, средствами искусства воздействуя на его духовное пробуждение и рост. Общеизвестно, что наша литература — самая идейная литература. А назовите такую страну, чья литература могла бы соперничать с нашей в этом плане! Смело можно утверждать, что нет в мире такой страны и нет такой литературы!»

В чем же сила советской многонациональной литературы? На этот важнейший вопрос отвечает Георгий Марков: «Коренная особенность многонациональной

советской литературы — в ее единой идейно-художественной устремленности. Советская литература — воплощение морально-политического единства нашего общества, нерасторжимого братства народов СССР. Ленинские идеи интернационализма пронизывают нашу литературу, насыщают ее светом гуманизма, делают ее дорогой и близкой всем людям труда».

Литература — кровное дело партии, поэтому авторы сборника обращаются к проблемам и явлениям в литературе, видя в них отображение самого существенного, что характеризует современную духовную жизнь народа. В книге звучат ноты взыскательности, самокритики, ощущается желание создавать новые, высокого патриотического звучания произведения.

Особенно интересны и важны страницы, в которых слышится писательское слово о самой партии, о ее героической истории, о значении КПСС в жизни каждого советского человека. «Партия для меня. — пишет Сергей Наровчатов, — понятие всеобъемлющее. Оно охватывает многие другие огромные понятия, такие, как Родина, народ, творчество, без которых я не мог бы жить. Отчизна моя немислима без ленинской партии, выведшей наш народ к социализму и устремляющей его в коммунистическое будущее. Творчество мое неотделимо от свершений людей советской нови, объединяемых партией. Сверхплановая деталь на станке, добавочный колос в урожае, рационализаторское предложение, новая стихотворная строка — все это партия бережно вносит в общенародное достояние».

Сила партии — в ее единстве, идейности, активности, самоотверженности коммунистов. На протяжении своего героического пути наша партия неизменно руководствуется словами В. И. Ленина: «Мы должны стараться поднять звание и значение члена партии выше, выше и выше...»

Перед миром во весь рост встал новый человек, герой нашего века — коммунист. Скромный и мужественный, презирающий опасности, бесконечно преданный партии, готовый до последней капли крови бороться за дело Ленина, коммунист стал примером, вожак масс.

В сборнике «О партии слово...» приводятся многочисленные жизненные наблюдения писателей, наблюдения, сделанные в труде и в боях. Константин Симонов повествует о комиссарах — несколько страниц книги возвращают читателя на фронты Великой Оте-

чественной войны, где поднимали в атаки воинов комиссары, к тем дням, когда на передовой гремел призыв: «Коммунисты, вперед!»

Николай Грибачев вспоминает: «Летом 1942 года в Сталинградской степи, когда я собирался вступить в партию, комиссар сказал мне: «Хорошенько запомни — коммунисты, прежде чем жить во имя идеи, учились во имя идеи умирать!» И это верно. В начале века коммунистов была воистину горстка, и делом их были свирепые политические преследования, тюрьмы, ссылки, виселицы, расстрелы».

Вадим Кожевников посвящает страницы своего выступления рабочей теме — говорит о ведущей силе нашего общества, делится впечатлениями о поездках по заводам и стройкам, о встречах с делегатами XXIV съезда КПСС на самом съезде. «Счастье человека, — пишет Вадим Кожевников, — цель нашей партии. И мы гордимся тем, что слова «счастье человека» имеют в нашей стране силу закона... Мне, писателю, — продолжает он, — особо запали в сердце и разум слова Л. И. Брежнева о том, что ЦК партии принимал меры к тому, чтобы создать такую моральную атмосферу в нашем обществе, которая способствовала бы утверждению во всех звеньях общественной жизни, в труде и в быту уважительного и заботливого отношения к человеку, честности, требовательности к себе и к другим, доверия, сочетающегося со строгой ответственностью, духа настоящего товарищества».

Михаил Алексеев делится впечатлениями о работе XXIV съезда КПСС и рассказывает о делегатах-хлеборобах, о тех, кто обрабатывает землю. И тут писатель восклицает: «Земля! Когда мы пишем это слово с большой буквы, то разумею целую планету, ставшую обителью великого множества живых существ и, может быть, единственную в своем роде среди иных миров, со-

ставляющих Вселенную. Как бы сужаясь, слово это заключает в себе большое поле и просто горсть того загадочного вещества, не имеющего для нас какого-либо определенного вкуса, из которого, однако, в конечном счете рождаются все вкусы, все запахи, все виды жизни в их неисчислимом сочетании и разнообразии».

Взволнованные слова Михаила Алексеева о хлеборобе, перед которым партия открыла новую жизнь, сливаются со словами Анатолия Софронова о Доне, о кубанских хлеборобах и волнующих встречах с делегатами — рабочими и колхозниками, учеными и художниками на XXIV съезде КПСС.

Расул Гамзатов свое выступление в сборнике озаглавил «Уверенность». «Это крепкое слово — уверенность. В своих силах — уверенность. В победе — уверенность. В непоколебимой правоте нашей, дум наших, дел наших, наших мечтаний».

Слово это часто звучало с высокой трибуны Дворца съездов. Люди, произносившие его, уверены в завтрашнем дне нашей огромной Страны Советов, ибо, как сказал Леонид Ильич Брежнев: «Как мы живем сегодня и будем жить завтра — это зависит от нас самих, от наших трудовых успехов...» Писатель уверен: советский народ успешно выполнит задания нового пятилетнего плана, сделает новый большой шаг к коммунизму.

Оптимизмом, уверенностью полна книга «О партии слово...». В пору, когда КПСС, советский народ широко отмечают семидесятилетие II съезда РСДРП, книга о партии, написанная видными советскими писателями, так нужна в заводской и колхозной библиотеке, в читальнях. Она говорит о партии, о Ленине, о героической истории КПСС, вызывает у читателя гордое, светлое и радостное чувство.

Е. РЯБЧИКОВ.



## ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ

Даниил Гранин. Сад камней. М. «Современник». 1972. 284 стр.

Имя Д. Гранина часто встречается у нас в периодике среди имен писателей — «ответчиков» за литературные последствия научно-технической революции. НТР вызывает ныне большие изменения в экономике и производстве, политике и мо-

рали. Действительность обильно питает соками НТР современную общественную мысль. Читаем об информационном буме, лавинообразности потока сообщений, об экспоненте публикаций. Осваиваем гипотезы социологов, футурологов и фантастов.

Публицистика мало-помалу свыкается, а вскоре уж переходит на «ты» с идеями математизации знания, кризиса среды обитания, технозоны, технократии, технотронии — вплоть до «столкновения с будущим». Знатоки бодро клеймят позитивизм, структурализм, фрейдизм. Отвергают абсурд. Пеняют новой волне, новому роману, новой критике, новым левым.

Но это искусства следует законам своей акустики и родится почему-то не вдруг. Уважим законы, будем учиться слушать, призывает писатель Б. Анашенков («Вопросы литературы», 1973, № 1), пытаясь унять ненужный раж дебатов на тему об отставании искусства от жизни. Еще мы не в технотронии, еще тоща эстетическая плоть литературы об НТР.

Богатство теоретических альтернатив не застало врасплох писателя Д. Гранина. Его концепция нашей эпохи как «времени возвращения цельности» сообщает единство его статьям, выступлениям и книгам последних лет.

Невзирая на все испытания судеб, завещал нам пророк одной очень рациональной эпохи, «надо возделывать свой сад» (см. «Кандида» Вольтера). Д. Гранин возделал «Сад камней». Заглавное произведение, открывшее новый сборник повестей и рассказов писателя таким озадачивающе-притягательным названием, — жанр обманно легкого чтения, где хитроумно закамуфлированный диспут представляет себя вначале как невинный дневник недлительной поездки в Японию. Но «излучения» НТР отягчили наследственность книги Д. Гранина элементами философской повести.

Не все успели побывать в Японии, поэтому нелишне объяснить, что японская буддийская секта дзэн имеет в городе Киото храм под названием Рёандзи, а при нем — для углубленного размышления и созерцания — окруженную скамьями и усыпанную мелким песком открытую площадку с пятнадцатью древними валунами. Какой-нибудь один с любого места заслонен другими, и эта тайна художника-создателя постигается лишь умозрительно или при взгляде сверху: позиция божественная, но до нее еще надо возвыситься; один видит с самолета «землю людей», другой — лишь подходящие объекты тотальных бомбардировок. Таков Сад камней, кульминация путешествия в Японию советских спе-

циалистов: журналиста Глеба Фокина и физика Николая Сомова.

Атмосфера Японии, какой она предстает на страницах книги Д. Гранина, близка духу многочисленных научных публикаций о проблемах этого очередного экономического «чуда» и нашему собственному ощущению страны, если сверять его с очертаниями специалистов (Н. Федоренко, В. Овчинников, Н. Михайлов и З. Косенко) или с ее же оригинальным искусством: с фильмами, которые мы видели, с представительным и достоверным сборником «Японская новелла. 1960—1970» (М. «Прогресс». 1972). Случайные встречи в туристских потоках и дружеских контактах, осмотр города, знакомство с гейшей, посещение парка священных животных, храмов Будды, заведения для игры в «пачинко», телебашни, рыбного рынка и музея атомного взрыва — каждый эпизод, каждая зарисовка у Д. Гранина вызывают множество ассоциаций, тяготеющих к давним писательским пристрастиям автора. Проблемы «общества потребления», психологии масс и отчуждения личности, размаха мировой туристики, засилия слепого индустриализма, логики и смысла научно-технического прогресса — все повод сопоставить и выверить аргументы шутовой, хоть и не шуточной словесной дуэли Фокина и Сомова. Каждый из них — едва различимое, слегка очерченное лицо, но зато вполне определенная позиция некоей идеологической «дихотомии», где острова Японии служат как бы миниатюрной моделью современной «промышленной цивилизации» с ее материально-техническими, социокультурными и другими полярностями и «бинарностями».

«Японскую» повесть поясняют и заземляют помещенные в сборнике биографии физиков-исследователей Василия Петрова («Размышления перед портретом, которого нет») и Франсуа Араго («Повесть об одном ученом и одном императоре»); к этим трем примыкают еще четыре произведения о современных научных работниках: повесть «Кто-то должен» и рассказы «Дом на Фонтанке», «До поезда оставалось три часа», «Вариант второй». Возглавленные «Садом камней», они создают компактную и хорошо сложенную книгу. В ней умело охвачен большой «разброс» интересующего нас сегодня идейного хозяйства НТР.

С двух сторон ожидается у нас пришествие литературных «апостолов» научно-технической революции: от производствен-

ного романа и от прозы научно-художественного жанра. Писатель Д. Гранин воспитывался в строгом лицее второго. Он долгие годы писал о науке, любит ее людей. Но он писал художественную прозу. Объект был безразличен к наблюдателю, а позиция наблюдателя определяла увиденное. Последним теперь немного за этой зависимостью.

Современные эстетики, различно трактующие понятие прекрасного, согласны, кажется, в том, что высокое нравственно-гуманистическое содержание непреложно для идеала эпохи. В самом деле: сколь бы много подходов к искусству ни предлагала методология и ни подхватывала литература, верша свой суд над жизнью, одним из самых практически насущных остается для любого произведения решение этической проблематики — разными средствами, на разных уровнях, с разных позиций.

В книге Д. Гранина основные проблемные узлы определяет именно этот подход: наука при свете совести. Ученый исследует натуру вещей, писатель — натуру исследователя.

В судьбе русского ученого XIX века Василия Петрова и в богатой треволнениями биографии Араго сквозь все житейские передраги просматривается твердая направленность героев к духовной независимости, свободное предпочтение не слишком завидной доли ученого-одиночки и чудака всем преимуществам придворного лакейства и всем соблазнам наполеоновской авантюры. В этих повестях жизнь предьявляет ученым как тезис и антитезис невеликий, но жизненно устойчивый выбор: успех, благополучие, процветание — и ложь, цинизм, компромисс, уловки плотоядного эгоизма. Или: неуспех, отвержение, презрение удачливых интриганов — и обладание истиной, жертвенность, безоглядность, иной раз случайно кем-то оцененные, а иной раз и нет. Впрочем, в этих двух повестях выбор сделан давно: поработало время, проверив, отобрав и отдав нам своих героев. Годы и годы люди могут как-нибудь обходиться без них, как Итака без Одиссея, но вот герой возвращается и его опознают по богатырскому луку.

Современная «одиссея» выглядит в книге иначе: поскромней, покороче. Зато ее приключения многотиражны, как типически массовое (или массово-типическое?) переживание в условиях современной науки проблема выбора ветвится, дает мно-

го отростков. Конечно, для тех, кому есть из чего выбирать. За такими иезуитами карьеры, каковы у Д. Гранина Кравцов или Брагин в повести «Кто-то должен», никакой выстраданной научной истины нет; ловчить, политиканствовать — их талант, и точка приложения сил, и большие маневры, косвенно связанные с тем, что организационный статус науки, все усложняясь, встает в настоящее время — по масштабам и значимости — вровень с творческим. Кое в чем он производит подлинные перевороты и вызывает по меньшей мере несходные толки.

Вот, например, как различно писатель Б. Анашенков в упомянутой статье («Прогресс техники и «консерватизм» литературы») и Д. Гранин в повести «Кто-то должен» представляют проблему «целого» и «частичного» работника. Тревожная коллизия повести Гранина заключается в столкновении жизненно важных интересов окружения героя-изобретателя с интересом конкретной научной истины. Есть перспективная, но проблематичная задача — и есть производство, служба, план, семейный быт, которым она угрожает. Отставить ее или нет, пока сам «план» всей своей махиной где-то когда-то в нее фатально не упрется? Писатель заостряет конфликт, в лицах разыгрывает обе его возможности и не спешит с ответом.

У Д. Гранина — сфера научная, аспект — личностный. У Б. Анашенкова — сфера техническая, аспект — производственный, и это, конечно, разница, но есть общность, есть тенденция к сближению. О рабочем-специалисте, заменившем, по условиям конвейера, производство изделия производством операции, Б. Анашенков пишет: «...процессы специализации... в нашей литературе самодовлеющего значения не обрели... потери в одной сфере... тут же компенсируются у нас за счет других сфер: общественной активности, рационализации и изобретательства». Гранинский Селянин тоже хорошо «заместил» потерю научной задачи, что писатель преднамеренно и тщательно подчеркивает. Однако то, что у Анашенкова — компенсация, у героя Гранина — капитуляция. У Анашенкова — «осанна» технической неизбежности. У Гранина трезвое сознание этой неизбежности сопровождается ностальгическим предчувствием утрат, предстоящих индивидуальной творческой активности в процессе ее поглощения индустриальным левифаном. Талант-

ливый изобретатель Селянин перестает существовать как ученый и сознательно избирает жребий благодушного обывателя. Его «великий Отказ» вызван тем, что почетная роль творческой личности как демиурга и первоотчетка научного прогресса — а именно так герой рисовал себе, по традиции, свою миссию ученого — обнаружила себя в его жизненной практике как несостоятельная мнимость. Эта роль оказалась узурпирована сложнейшей иерархической организацией современной массовой «индустрии открытий», для которой Селянин — лишь не очень-то ловкий, «непластичный» исполнитель у неостановимой ленты научно-производственного конвейера.

Тут, как и в других сходных случаях, спорят противостоящие друг другу системы ориентиров; они сталкиваются в книге, в жизни, в позициях разных людей и в одном человеке. Иногда предпочтение той или другой — компетенция лишь совести ученого.

В рассказах Д. Гранина вектор нравственной работы часто проходит в границах психологии личности. В «Варианте втором» автор не поспешил на моральное воздаяние герою: тот защитил диссертацию от имени погибшего на войне аспиранта, отсрочив тем самым на год защиту собственной. Облегчая героям путешествие к лучшему в самих себе, писатель настойчиво сохраняет в сюжетах мотив памяти, преемственности, обязательности встречи с прошлым. В рассказе «До поезда оставалось три часа» небрежение прожитым оборачивается вдруг для одного из действующих лиц смутным нарастающим беспокойством, желанием что-то припомнить и тем вернуть утраченную часть себя. То же беспокойство в рассказе «Дом на Фонтанке» гонит двух ученых-приятелей — годы спустя! — в старую ленинградскую квартиру их общего друга юности: оба они уцелели в войну, в блокаду, а он погиб, и память о нем жжет их, как вина, вина, что они, живые, никому ни в чем его заменить не смогли — ни его матери, теперь уже давно умершей, ни тем, кто любил бывать в этом доме, ни науке, в которой друг всегда их вел за собой. И здесь прошлое возвращает героя...

В рассказах и повестях Д. Гранина мы находим остросовременную проблематику, слышим голоса «знакомых незнакомцев», узнаем характеры, вещи, ландшафты, фразеологию. Писатель умеет мельком «осво-

ить» нас с профессиональной спецификой техники или науки так, чтобы она присутствовала, но не мешала: «Меняли масло в трансформаторе. Стоя над душной глубиной пустого кожуха, Дробышев проверял заземление...» и т. д.

Но любопытно, в каком геометризованном, жестковатом рисунке представил нам автор свои картины, как велико воздействие «гравитационного поля» научного мышления на художественную организацию произведений писателя, на характер его реализма.

Понятие реализма достаточно масштабно и весомо, но едва ли однозначно определимо. Было попытки — неудачные — свести его к сумме тех или иных частных. Литературе от этого делалось худо. Но метод, весь растворившийся в отвлеченностях, не дающий себя опознать в конкретном явлении, — фикция. Если он есть, должны быть признаки, хотя бы не один из них и не явил себя как самодостаточный. Ученые ищут выход, оперируют широкой категорией историзма: метод связывают с известным набором качеств, подверженных изменению во времени. Философы, разрабатывая критерии научности, выдвигают, в свою очередь, интересную логическую гипотезу подвижного «пакетного понятия» («Вопросы философии», 1972, № 12). Она сослужит, пожалуй, службу и теоретикам литературы. Мы воспользуемся ею как возможностью простой аналогии.

В классическом реализме XIX века проявился и развился до высочайших степеней художественности отмеченный Энгельсом признак социальной, бытовой, психологической, языковой индивидуализации персонажей и признак типичности («...каждое лицо — тип, но вместе с тем и вполне определенная личность, «этот»...»). Однако и некомплектный набор этих свойств в «пакете» реализма может не изменить основного качества метода и необязательно снижает художественное достоинство произведения, что видно в прозе таких жанров, как научно-художественная литература, лирическая и философская повесть, идеологический и политический роман, детектив и т. д.

Так и в книге Д. Гранина «пластические» материи литературы скорей отсутствуют, нежели присутствуют. Полкниги прочитаешь, пока привыкнешь внешне отличать Фокина от Сомова, Филенкова от Гуреева, Брагина от Кравцова. Но нам куда важней

расположение героя относительно того или иного проклятого вопроса. Когда нерв этого вопроса поддет, все, что его не касается, лишь обременяет внимание.

Рассказы Д. Гранина не сопротивляются описанию в общепринятых терминах научно-технических работ: постановка проблемы, определение временных и пространственных координат, построение моделей, выбор методики, проведение эксперимента, формулировка вывода. Иное художественное произведение от такой насильственной операции хватил бы паралич. Так было бы и здесь, если бы самый реализм в данном случае не подвергся известной трансформации. Корни этого явления можно искать и в проблематике, и в родословном древе научной публицистики, но, откуда ни веди, не избежишь интеллектуальных кордонов современного «положительного знания».

Удивительно ли, что про книгу Д. Гранина не станешь говорить, будто она сложена слово к слову, как бревнышко к бревнышку, а скажешь скорее, что она именно сооружена, сконструирована. Видимо, от этой же эстетической инженерии — демонстративная нарочитость некоторых сюжетных положений (Савицкий — Николаев, Дробышев — Селянин), бездуховность женских «партнеров» действующих лиц и, быть может, отсюда же некий остаточный магнетизм научно-технической элитарности — от непрерывного пребывания персонажей в эмпиреях духа, творчества, «престижных профессий» и прочее.

Повесть о Японии в этом смысле наименее уязвима. Она предоставила все преимущества сильным сторонам дарования писателя и позволила избежать слабых. Здесь его метод одерживает не одну победу, мощно поддержанный многослойными глубинами каменной символики Рёандзи.

Легко, непринужденно сведены в повести две человеческие позиции, два времени, два географических региона. Она вобрала в себя всю гранинскую геометрию и множество «дуализмов»: физик — лирик, Россия — Япония, прошлое — настоящее, индустрия — ремесло, искусство — естество, стихия природы — стихия рынка, национальная гордость — национальная самокритика, обреченность исчезающих раритетов — и устойчивость мифологической архаики.

«Сад камней» подхватил старинную литературную традицию диалогичности, которая время от времени пребывает преимуще-

ственно в публицистике, но удачи случаются редко. Из двух собеседников А и Б один, как давно замечено, чаще всего немножко «доктор Уотсон», иначе говоря — простофиля. У Гранина эта роль отводится журналисту; более тяжелое, краткое и последнее слово остается за ученым, но перевес его невелик и резоны обоих значительны. Один в большей степени адепт абстрактных, всеобщих человеческих сущностей, другой — сущностей «экзистенциальных». Но черту, разделяющую их, не так трудно перешагнуть. Технократ Сомов не вовсе лишен «неразумных движений сердца», а ирония «лапотника» Фокина «делает его лиризм двусмысленным», как выразился бы автор. В самом деле, лирически настроенная критика может долго корпеть и замирать над пушкинским поэтизмом: «...пойдете кудри наклонять и плакать...» Но этой критике лучше не заглядывать туда, где, увидев на глазах женщины слезы, осведомляются деловито, как Фокин: «На какую тему она плачет?»

«Когда ж постранствуешь, воротисься домой...» Есть все же свой страх и своя надежда у этого путешествия. Есть тоска по «целому» человеку и его устройению на земле, то прекрасной, как причудливое разнообразие океанских созданий, то безобразной, как мусорная свалка современного мегалополиса.

Два наших ирониста избегают носиться со своими чаяниями, но проговариваются о них. Восхищаясь свободой храмовых священных животных, журналист воображает себе райские кущи и добавляет: «Сомова я поместил туда на всякий случай связанным», а после «развязывает» его за несколько добрых слов. Сомова же удручает другое: слишком многого ему уже не успеть, слишком жестко расписание отдельной человеческой жизни. Но воистину «кто-то должен» собраться за него на рыбалку, сменить специальность, выучить японский язык, дожить «до той поры, когда люди сумеют понимать друг друга без переводчика»...

В этой пока еще райски недостижимой возможности обуздывать по своему усмотрению всякую угрозу живому, в этой цепочке памяти и преемственности — единственный шанс героев вернуться в Итаку целостности, и здесь обретается один из близлежащих смыслов гранинского «Сада камней».

Г. ТРЕФИЛОВА.

## ЛЮБОВЬ И КИБЕРНЕТИКА

Сергей Залыгин. Южно-американский вариант. Роман. «Наш современник», 1973, №№ 1, 2.

Искусство минувших эпох выработало у нас привычку относить формулу «духовной жаждою томим» прежде всего к мужским персонажам.

Времена, однако, переменчивы; соотношение «пол сильный» — «пол слабый» утратило былую стабильность, и вот С. Залыгин в нарушение знакомых канонов сообщает черты взыскующего истины максималиста не герою, а героине. Именно ей, Ирине Викторовне Мансуровой, или, как ее именуют близкие, Ирочке, вьшала задача, участвуя в сюжете «Южно-американского варианта» наравне с другими персонажами, контролировать происходящее с некой верхней точки, соотносить существующее с должным, отыскивать закономерности в пестроте частных явлений и, разумеется, познавать себя, самоопределяясь в многосложном мире. Не исчезает ли при этом Мансурова-женщина в Мансуровой — аналитике и проблемисте? Пожалуй, нет. Во всяком случае, никому из окружающих не приходит в голову сравнить ее «с семинаристом в желтой шале или с академиком в чепце». Скорее напротив, по собственным наблюдениям Ирины Викторовны, «мужики в НИИ-9 пялили на нее глаза ничуть не меньше, чем два, три, пять, а может быть даже и десять, лет тому назад». И это при условии, что лет героине сорок пять, что она почти четверть века замужем, успела вырастить и проводить в армию сына, что в НИИ-9 под ее началом один из ключевых отделов. И если столь веские признаки «солидности» все еще не отрезвили впечатлительных сослуживцев, значит, не о «синем чулке» пишет С. Залыгин и, значит, роль аналитика и проблемиста неспроста доверена женщине.

Среди умственных забот Ирины Викторовны есть одна особенная неотвязная: нужно разгадать Его — доктора наук Никандрова. Очень близкого человека. Вопрос «что за человек — скажи?» звучит в ее сознании тревожным рефреном, но остзется без ответа. Даже пробного. Умственная, сердечная зоркость Ирины Викторовны терзает силу на дальних подступах к никандровской «сути», как будто заговоренной от чужого глаза. Тут-то, кстати, мысль героини, словно отразившись от глухой преграды, расходится множеством новых рукавов... Но об этом ниже.

Понятно, что вопрос-рефрен играет в повествовании отнюдь не второстепенную роль. Какую же именно?..

Оглядите ближайшее окружение героини: за вычетом унылой физиономии ее супруга, обрюзгшего как телесно, так и душевно, перед вами весьма симпатичные и неглупые лица. Разве лишь в их чертах чуть больше завершенности, прозаической ясности, чем того бы хотелось героине. С некоторых пор ее тяготит легкая предсказуемость чужих мыслей, душевных движений и доброхотных советов. Вот, скажем, Нюрок, близкая подруга и наперсница Ирины Викторовны, а заодно ее правая рука в делах служебных, — «особое явление, редкость»: проницательна, все понимает с полупапека, только слишком уж категорична в роли консультанта по сердечным делам. Тетушка Марина, «умная, образованная, здравомыслящая», только мертвой хваткой держится за концепцию, согласно которой «любви нет, есть обязанности», «а любовь... — это только обозначение обязанностей». Свекровь, «очень хорошая, очень заботливая», только со своим набором неукоснительных правил, а потому лбящая «всем и все объяснять». Есть еще коллега из НИИ-9 Валерия Владимировна — обладательница «умных, даже проницательных глаз»; о чем ни спроси, все знает, всегда готова провозгласить истину, «точную и безупречную, а в то же время — никакую»... Свет универсального знания, излучаемый этими людьми, для героини излишне резок, а концентрация предлагаемых ими ответов настолько высока, что рождается потребность в безответных вопросах. Здесь-то и вступает в сюжетное действие импозантный, исполненный мужественного обаяния Никандров, по определению институтских дам, «лапа», «голуба», вступает сначала на правах «предмета» в мир сердечных тревог и несмелых фантазий Ирины Викторовны, а затем в тишину зашторенных комнат тетушки Марины, которая не стала мешать позднему «роману» племянницы и в обусловленные часы находилась вне дома. Значит, вот она, структура повествования: на одном краю переизбыток ясности, холодный свет априорного знания, на другом — интимный полумрак тетушкиной квартиры и манящая неразгаданность близ-

кого человека? Нет, не так. Во-первых, царству интима здесь не дано особых льгот, а во-вторых, героиня вовсе не склонна возводить неразгаданность в верховную благодать. Она хоть и поругивает XX век за разгулявшуюся машинерию, но вне своей инженерной специальности себя не мыслит, с компьютерами ладит прелюбопытно и с горячим одобрением отзывается о Светлых Головах (так институтская молва окрестила группу инженеров — подвижников и энтузиастов технического прогресса). «Светлые Головы были именно теми людьми и даже тем человечеством, к которому Ирина Викторовна питала доверие, к которым она очень хотела бы причислить и себя», — уточняет С. Залыгин. И к такого рода акцентам необходимо прислушаться, ибо в противном случае есть опасность воспринять всю историю героини как великий плач автора о безответной «лирике», вконец замордованной молохом анализа.

Между тем если автор и защищает «лирику», то не с наивно-патриархальной позиции «пусть бука физик уйдет к своим приборам и не тронет наши души». Насчет людских душ автору ясно, что поток научно-технических преобразований их не обходит и не станет обходить стороной. К потоку у него претензий нет. Есть к душам. К тем, что за многими хлопотами себя не помнят. Но речь у Залыгина идет не о традиционной «бездуховности». Скорей о психологической рутине, притом новейшего образца. Ее формы тем трудней поддаются опознанию, что они производны от форм движения и не слишком наглядно захламывают его русло.

Среди героев С. Залыгина мы почти не встретим прямых носителей рутинности. Находясь на бойком месте научно-технического прогресса, они профессионально, увлеченно выполняют свою работу. Но и работа делает их... Какими? Утешительные ответы на самом виду. И, отнюдь не обходя эти ответы, писатель продвигается сквозь их строй, или устойчивый порядок, туда, где лежит зона его тревоги. А тревожит писателя в первую очередь автоматизм навыков, приобретаемых человеком в деле и полезных для дела, но способных распространяться вширь, незаметно подчиняя себе внутренний склад личности. Тревожит и рост психологических перегрузок, при котором современное сознание нередко переключается на защитный «режим экономии», отгораживаясь от обременительных

проблем и переводя рабочие гипотезы в аксиомы.

В своем романе С. Залыгин как раз и ведет бой против тех форм моральной косности, которые совсем не просто даются в руки, ибо соседствуют с умственной расторопностью, а порой и творческим поиском. Хотелось бы даже сказать: ведет бой во всеоружии своего писательского опыта, — если бы прежний опыт С. Залыгина достаточно внятно заявлял о себе в новом романе. Читатель помнит, до какого высокого драматизма поднимался автор в «Соленой Пади» и «На Иртыше». как крепко были у него затянуты узлы социальных и нравственных противоречий. Помнит и то, что душевных застой, слепота или ослепленность сознания попадали и здесь на самое острие авторского анализа. Причем анализ настигал их в часы «пик», заставляя полностью выговориться в прямом и остром конфликте, как, допустим, «выговорил» себя Корякин в единоборстве со Степаном Чаузовым («На Иртыше») или Брусенков в столкновениях с Петровичем и Довгалем («Соленая Падь»). Застойное или ослепленное сознание полностью выкладывало свои аргументы и вынуждено было отзываться на встречные.

В новом романе С. Залыгина ни явных конфликтов, ни прямой борьбы нет. Есть будничность, вполне уравновешенный ход жизни, есть взыскующая героиня, которая хочет идти вольным шагом к своей Большой Любви и остро вглядывается в окружающих: не укачало ли их, так сказать, на волнах прогресса, не слишком ли они втянулись в стихию прагматики? Ее собирательный противник — Власть Привычки, Консервативный Навык — бесструктурен и наглухо закрыт от любых метаморфоз. В сферу сюжета он входит, отвлекшись от главных занятий, оступив от неизбежной борьбы (где-то ведь и его позиции попадали под удар) и, значит, неуязвимый для проникающего анализа. Входит как замкнутая данность, подлежащая описанию, перебору примет... и, конечно, осуждению. На каком же принципе или способе строится здесь осуждение? Основной способ, заложенный в самой конструкции романа, восходит к опыту мелодрамы, где главный аргумент против зла — разбитое сердце жертвы.

Действительно, если «противника» Ирины Викторовны мы согласимся признать силой, то сама она — слабость и



уязвимость. Лицо по преимуществу страдательное. В этих условиях писателю приходится поменьше следить за внутренней логикой, самодвижением тех жизненных начал, какие сошлись у него в сюжетном действии, и поактивнее их продвигать по готовому руслу. Но с прежнего пути, когда его герои были полностью вовлечены в коллизию, С. Зальгин, видимо, сошел неспроста. Теперь его занимает человек, способный отвлечься от коллизии, дабы своей рукой набросать общий план происходящего, или вид сверху.

Такую задачу Ирине Викторовне тем легче выполнить, что любой факт для нее и предмет внимательного анализа, и трамплин к умозрению. В том числе факт собственной принадлежности к «слабому» полу. Из раздумий героини в их прямой или косвенной передаче мы узнаем, что «сколько она себя помнила — она была женщиной, сколько помнила — всегда готовилась быть ею еще и еще...», «а женщине, помимо всего прочего, надо спасать человечество, а для этого ей надо быть природой...». Кроме того, женщины — «тот якорь и тормоз, который удерживает людей в их природном существовании, а без тормозов люди стали бы... кем и чем угодно, какой-нибудь плазмой, например, но только не людьми как таковыми. Помимо женщин, людям нужно очень немного...» Конечно, всякое может прийти на ум героине романа, особенно в разгар сердечной драмы. Но смущает слишком уж отчетливая связь между «драмой» и вот этими натурфилософскими сентенциями про женщину — «природу», «якорь», «тормоз»... Вначале события шли как будто своим чередом, повинувшись обычной логике. Героиня полюбила. И так сложилось, что о «романе» начальницы узнал дружный коллектив отдела (сплошь женский). И пошли пересуды? Вовсе нет. Факт был принят поделовому, в манере «чем можем — поможем, что знаем — подскажем»: мол, при таком-то темпе жизни у всех внеплановые хлопоты; вот и любовь замужней к женатому тоже случается; значит, думать надо, искать оптимальное решение. Как же виновница тревоги? С одной стороны, ей, конечно, дорого внимание, а с другой, пройдя через столь авторитетный консилиум, прикоснувшись к столь твердому знанию самых разных разностей, трудно не повторить лишний раз: «Что за человек — скажи?» Отметим: героиня пока

внутри происходящего и сознает себя просто Ириной Мансуровой. Что же дальше? Заманчиво «непрозрачный» Никандров, словно получив консультацию у сотрудниц отдела, построил свои отношения с их начальницей-подругой на основе молчаливого «уговора»: дело затеяно вполне добровольное, кроме того, как бы факультативное, голову сушить не должно, поемому радость вместе, горести врозь. Знание исходных условий другой стороной принималось за самоочевидность. «Что за человек — скажи?» — вопрос, не закрытый лишь для героини. Нам ответ известен: Никандров — умница, эрудит, «голуба», но вдобавок человек очень твердого канона, привыкший за все доброе получать в единицах сервиса и морального комфорта. И нет ничего странного, что связь с героиней он рвет «по-голубиному» — тихой стопой уходит, избавляясь от нежелательных объяснений. На этой стадии внутренняя тема романа, по существу, решена. Респектабельный прагматизм принял на себя и обманул сердечный порыв к «идеальному», попутно оставив нам предупреждение о скрытых формах косности, способной неплохо ладить с высокими ритмами времени и ростом «положительных» знаний.

Итак, порыв обманут, надежды рухнули, фабульный цикл замкнулся. Здесь-то Ирину Викторовну и настигают глобальные умозрения о мужчине и женщине, чьи роли исказил, а частью перепутал бурный XX век. Или, вернее, так: поворот к абстракциям произошел чуть раньше, когда Никандров, разумея небурный, обоюдокomфортный характер их связи, назвал Ирину «хорошим парнем». Невпопад поощренная героиня тогда «обмерла: ей показалось, словно сердце замораживается у нее очень сильным наркозом». Как истолковать столь острую реакцию? Видимо, слух героини уловил опасный (для ее любви) мотив: «Благодарю, дорогая, за минимум неудобств»? Нет, подобная расшифровка подошла бы к более непосредственному строю чувств. А чувство Ирины Викторовны жило бок о бок с думой. Они и «обмерли» вместе — чувство и дума. Выходило, что Никандров не Рыцарь, ему чужд высокий взгляд на женское в женщине, что он «как все», как Мансуров (законный супруг) например, тоже награждавший жену титулом «хорошего парня». С открытием этой связи (Никандров — Мансуров) и начался отлет думы от чувства в сферу

«чистых» субстанций и первозданных истин о человечестве, земле, космосе, неизнеженном мужчине и женственной женщине. Героиню теперь все больше тянет оперировать такими необъятностями, как Существование, Космос, Жизнь и Антижизнь, Время, Природа. Причем если взять в расчет последовательность происходящего, то ее умственные труды — еще один упрек современному Адаму, который, уйдя в прагматику, и эти общегуманитарные заботы взвалил на Евины плечи.

Ну хорошо. Пусть филиппики Ирины Викторовны против мужского племени не блещут оригинальностью и наивны хотя бы в силу безбрежной широты своего адреса. Что делать, если именно так, а не иначе этот характер способен выразить себя в горе? Но в том-то и суть, что умозрения героини «обезболивают» ее сердечную драму. Ирине Викторовне явно не хватило непосредственности, чтобы стать Евой Страдающей, и внутренней значительности, чтобы стать Евой Размышляющей. Ближе других ей оказалась роль Евы Резонерствующей. Тем более что писатель без особой нужды поощряет ее словоохотливость. Временами он даже склонен брать у героини своего рода интервью, предлагая ей высказаться о проблеме экранизации классики, характере Анны Карениной, о царевне Софье и страсти горожан к разведению комнатных собак.

В пестроте речей и раздумий Ирины Викторовны встречаются очень серьезные мотивы, которые могли бы повернуть весь ход повествования в более глубокое русло. Есть, например, мотив «слишком скромного девичества», совпавшего с трудной порой войны. Ирочкина душа в те годы словно не успела доглядеть за собой и вот лишь теперь спохватилась. Однако, занявшись выстраиванием всякого рода отвлеченных систем, героиня еще дальше отодвинула от себя свое девичество, как бы возведя между ним и собой психологическую преграду. Причем у Ирины Викторовны есть особый враг, трудами которого преграда от главы к главе крепнет, — это ее язык...

«Мне кажется, — признавался недавно С. Залыгин, — разные вещи я пишу совершенно различным языком; роман «Тропы Алтая» об интеллигенции и повесть «На Иртыше» о деревне, например. А читатели говорят, что и там и здесь они узнают мой

язык»<sup>1</sup>. Можно утверждать, что на очень многих страницах «Южно-американского варианта» «почерк» автора повести «На Иртыше» и романа «Соленая Падь» перестал быть узнаваемым. Авторское слово, бывшее прежде словом-тружеником, твердо знавшим свою работу и место в смысловом ряду, принялось теперь как бы прихорашиваться, претендовать на хлесткость, эффектность, интеллектуальный «шик».. «Фокус» — так назвал С. Залыгин главу, где идет речь о терзаниях героини, которую бросил любимый человек. Читаем: «...Ирина Викторовна выпала из этого фокуса (оптического.— В. К.)... выпала навсегда, потому что ее персональный и главный в ее жизни фокус не удался». Каламбур с «фокусами», пусть горький, придает эпизоду водевильный привкус, что вряд ли входило в авторские планы. Но так уж устроена героиня, что в беде ли, в радости она стремится что-то внести от себя в сокровищницу «мудрых и полезных» мыслей. «Материнство — это ведь умение отчуждаться от своего ребенка», «Ненависть — та же любовь, только с обратным знаком», «Выше жизни — бога нет», «И вообще — что бы там ни было, лишь бы что-нибудь было!» — это образчики ее афоризмов: «...воображение ушло... в долгосрочный отпуск», «положенные на себя глаза», «вокруг этого оказался Мансуров... вокруг этого оказалась она сама», «чувствуешь себя амёбой наоборот», «люфт между собою и... человечеством» — таковы примеры «образной» речи Ирины Викторовны. Плюс к тому встречаются и жаргонизмы вроде «стопроцентный псих! Шизик! Февральки!». Трудно сказать, из чего исходил С. Залыгин, погружая свою героиню в стихию «интеллектуального» сленга. Возможно, таким способом он добивался ее профессиональной, психологической узнаваемости, попутно снижая избыточную торжественность Ирочкиных апелляций к Природе и Вечности, а также мелодраматизм фабульных положений. Во всяком случае, мысли и переживания героини вынуждены с трудом пробиваться сквозь пеструю речевую оболочку. И даже там, где оболочка тоньше или скромнее, не может не сказываться действие соседних страниц.

Свободней всего от словесных эффектов сравнительно автономная часть повество-

<sup>1</sup> С. Залыгин. Интервью у самого себя. М. «Советский писатель». 1970, стр. 41.

вания, обозначенная как «Южно-американский вариант» и давшая имя целому. ЮАВ (сокращение, принятое в романе) — история, возрожденная фантазией героини, можно сказать, из пепла и весьма прихотливо надстроенная; утешительный миф про нее (Ирочку) и Рыцаря, который никогда не назовет подругу «хорошим парнем». Рыцарь — лицо не вполне мифическое, имеющее прототипа (сотрудник МИДа, предлагавший совсем еще юной Ирочке поехать с ним в Южную Америку), — приходит к героине как строгая совесть и моральная опора в беде. В те моменты, когда он рядом, она пересматривает свою «женскую» судьбу, мысленно подставляя взамен негодных, но реальных вариантов (Мансуров, Никандров) годный, но нереальный.

Таким образом, финал, к которому пришла героиня (надежды на Большую Любовь не сбылись, их место заняли грезы, а в мир грез неожиданно вторглось известие о смерти человека, звавшего ее в Америку), невесел. Но логика характера сильнее фабульной. А живет характер — в слове. И хотел того автор или нет, сама Ирина Викторовна не позволит нам слишком унывать по поводу ее злоключений. Склонная к игре силлогизмами, к лихой словесной выходке в манере «черт меня

побери», она заметно отходит от фабульного стереотипа «жертвы».

...Вначале, как мы помним, была тоска по неразгаданному. Однако дальнейшее показало, что вопросы для героини — в общем-то, чуждая область. Ее мысль по природе своей утвердительно и больше тяготеет к вольной разработке «философских» догадок, чем к углублению в материи конкретные. «Мятежный дух», предъявивший счет безмятежному прагматизму, впал в суесловие и сам сбился с высокого счета.

Получилось как бы невольное подтверждение Ирочкиных «теорий»: женственность, озабоченная ущемлением своих исконных прав, должна ко всему прочему защищаться от новой обузы — привитого ей гамлетизма. Парадокс, быть может, занимательный для социолога (так какая же тенденция сегодня сильнее: «берегите женщин» или «берегите мужчин?»), но разъедающий изнутри всю «трактатную» часть повествования. И недаром, читая роман, испытываешь потребность спуститься пониже его «проектного уровня», туда, где господствует или просто встречается живой факт, осязаемая логика характеров, точная психологическая деталь. А высокая «надстройка»... В ней холодно и пусто.

В. КАМЯНОВ.



### Полигика и наука

## РАССКАЗ О II СЪЕЗДЕ РСДРП

Воспоминания о II съезде РСДРП. М. Политиздат. 1973. 166 стр.

«Большевизм существует, как течение политической мысли и как политическая партия, с 1903 года» — эти слова В. И. Ленина могут послужить эпиграфом к книге «Воспоминания о II съезде РСДРП», изданной к знаменательной дате в истории ленинской партии, в истории нашей страны, всего международного коммунистического и рабочего движения — семидесятилетию II съезда РСДРП.

Естественно, что нынешнему поколению дороги каждый штрих, каждая деталь, воссоздающие картину тех исторических дней 17 (30) июля — 10 (23) августа 1903 года, когда сначала в Брюсселе, а затем в Лондоне проходил II съезд РСДРП. И за это мы современники, должны быть благодарны в первую очередь Владимиру Ильичу.

«...если бы Ленин, — свидетельствует А. В. Шотман, — не следил так внимательно за работой съезда и не вел почти протокольных записей, очень многое пропало бы для истории нашей партии». Страницы книги, прежде всего ленинский «Рассказ о II съезде РСДРП», воспоминания его соратников вводят нас в атмосферу тех памятных дней, в горнило жарких идейных схваток вокруг создания партии.

Партия... От того, будет ли она создана и какой станет, зависела судьба рабочего движения в России, и не только в России. Никто не осознавал это столь отчетливо, как Ленин. «Владимир Ильич, — вспоминала Н. К. Крупская, — страстно мечтал о создании единой сплоченной партии, в которой растворились бы все обособленные кружки

со своими основывавшимися на личных симпатиях и антипатиях отношениями к партии, в которой не было бы никаких искусственных перегородок, в том числе и национальных».

Готовых образцов не было. Ведь не брать же за такой образец партии II Интернационала, которые были приспособлены к условиям классовой борьбы в доимпериалистический период и организм которых уже начал разведать рак оппортунизма и социал-реформизма. Международный ревизионизм перекинулся в то время и к нам — его разновидностью стал «экономизм» в рядах российской социал-демократии. На II съезде РСДРП Ленин прибыл со сложившимися представлениями об идейно-политических и организационных принципах построения партии. И в защите этих принципов Ленин был неуступчив, непримирим. Это проявилось прежде всего в знаменитом споре с Мартовым по первому параграфу устава. На съезде столкнулись две концепции о роли и характере партии. Выступая за расплывчатую, аморфную, в сущности, оппортунистическую организацию без всякого контроля и без всякого руководства, без каких-либо обязательств членов партии перед своей организацией, Мартов имел перед глазами партии II Интернационала.

«В партиях II Интернационала, — пишет в связи с этим О. А. Пятницкий, — члены партии пассивны. За них все дела партии обсуждают и решают руководство и актив, который подбирается руководством на длительный срок, независимо от его работы в массах и от того, что он делает для партии. Члены партии несут партийную работу лишь во время выборов в представительные учреждения, а социал-демократическая партия в целом является не боевой партией пролетариата, но избирательным аппаратом, приспособленным к парламентским выборам, к парламентской борьбе. Единственный контроль, который существует у этих партий, — это уплата членских взносов. Посещают ли члены партии партийные собрания, выполняют ли они партийные обязанности — это не проверяется. На партсобрания социал-демократов приходит мало членов; но это соответствует расчетам вождей: они могут на этих собраниях проводить все, что им угодно. Допустимо ли такое положение для большевистской партии...?»

Как бы отвечая на этот вопрос, другой участник съезда, М. Н. Лядов, так излагает

представления Ленина о подлинно боевой, дееспособной и централизованной партии: «Мы не должны гнаться за количеством членов партии. Она должна стать настоящей боевой, единомыслящей, чтобы каждый член партии отвечал за всю партию, а партия в целом могла отвечать за каждого члена партии... Становилось ясно, что только он (Ленин. — В. К.) твердо знает, что нужно партии и куда надо вести ее... Было ясно, что он стремится создать единомыслящую и единодействующую партию, а не просто случайное собрание всех, кто называет себя социал-демократами».

Ничего не было для Ленина выше, чем звание члена партии. «Тов. Мартов, — писал В. И. Ленин, — прикинул понятие «члена партии», оно же, по моему мнению, должно стоять высоко, очень высоко».

Создавая партию, В. И. Ленин исходил из того, что в условиях империализма и пролетарских революций рабочему классу необходим новый тип партии — подлинно революционной и коммунистической, которая должна коренным образом отличаться от партий II Интернационала. В этом смысле борьба Ленина на съезде за формирование идейно выдержанной и организационно крепкой партии, борьба за размежевание с оппортунистами — «экономистами», сепаратистами-бундовцами, примиренцами-центристами — была борьбой за партию нового типа в международном масштабе. II съезд РСДРП стал, таким образом, поворотным пунктом и в мировом рабочем движении. Создание большевистской партии открыло новый этап в российском и международном рабочем движении. Впервые пролетариат получил организацию, способную в новых исторических условиях успешно руководить его борьбой за свое социальное освобождение. Ленинское учение о партии — крупнейший вклад в сокровищницу революционного марксизма.

Во весь рост встает со страниц книги многогранный образ Ленина — прирожденного организатора и зоркого вождя, неустрашимого борца, умелого оратора, находчивого полемиста, настоящего товарища. «Чем дальше шел съезд, тем сильнее разгоралась борьба между искровцами, тем все выше вырастала в наших глазах фигура Ленина», — отмечает С. И. Гусев. «Все легло на Владимира Ильича» — в этой сжатой формуле Н. К. Крупской отражена

поистине титаническая работа Ленина по подготовке и проведению II съезда.

Самая характерная черта, которую выделяют в облике вождя его соратники,— это кровная близость к рабочему классу. «У Владимира Ильича,— пишет Н. К. Крупская,— была глубочайшая вера в классовый инстинкт пролетариата, в его творческие силы, в его историческую миссию... Это была не слепая вера в неведомую силу, это была глубокая уверенность в силе пролетариата, в его громадной роли в деле освобождения трудящихся, уверенность, покоившаяся на глубоком знании дела, на добросовестнейшем изучении действительности». Наша задача, вспоминает М. Н. Лядов слова В. И. Ленина,— чтобы рабочие ясно поняли, что мы собираемся строить их партию, рабочую партию.

Десятки наблюдений, сделанных участниками съезда, подмеченных ими сценок становятся выразительными штрихами к портрету Ильича. «Сила, выразительность, своеобразие и простота речи Ленина, отсутствие всяких «украшений», без которых Плеханов не мог произнести ни одной речи, великолепное спокойствие и улыбка Ленина, его поразительная простота в отношениях к товарищам, притом какая-то особая, ленинская простота, сильно отличавшаяся от интеллигентской простоты Мартова и Засулич, наконец, то, что наиболее резко отличало Ленина от всех Других,— какое-то высшее наслаждение и упоение, с каким он отдавался работе, не уступая ни единой крупичицы времени на какую-то «частную» жизнь и не считаясь ни с какими личными связями и симпатиями...» (С. И. Гусев). Ленин «ни разу не навязывал нам своих взглядов, не ругал инакомыслящих» (А. В. Шотман). «Впечатление от ясности его речи остается такое, что каждому начинает казаться, что Ильич высказал его мысль» (Р. С. Землячка).

Российские марксисты во главе с Лениным стали пионерами в создании пролетарской партии нового типа. Партия нового типа — это, подчеркивал Л. И. Брежнев, «высшее воплощение неразрывного единства революционной теории и революционной практики. Это величайшее наследие, оставленное Лениным всемирному революционному движению, строителям социализма и коммунизма».

Опыт КПСС по претворению в жизнь принципов ленинизма, по руководству революционной борьбой, строительством социализма и коммунизма стал достоянием всего мирового революционного движения. Теоретическая деятельность КПСС, ее принципиальная ленинская политика, последовательная борьба за единство всего международного коммунистического движения на основе марксизма-ленинизма, пролетарского интернационализма, против буржуазной идеологии, реформизма, правого и «левого» оппортунизма пользуются одобрением и поддержкой братских марксистско-ленинских партий.

С тех высот, на какие поднялось ныне мировое коммунистическое движение, со всей отчетливостью предстают вехи пути, пройденного после II съезда РСДРП. И можно только присоединиться к словам Р. С. Землячки, которыми завершается книга «Воспоминания о II съезде РСДРП»: «Теперь, когда оглядываешься назад... мы можем лишний раз с уверенностью подчеркнуть, что величайшие победы, одержанные нашей партией сегодня, являются результатом победы, одержанной Лениным на II съезде, и той упорной борьбы за чистоту рядов партии, за ее единство, которую со всей непримиримостью ведет партия».

**В. КУЗНЕЦОВ,**

*кандидат филологических наук.*



## РАЗМЫШЛЯЯ НАД КНИГОЙ

**Ю. Суровцев. В лабиринте ревизионизма (Эрнст Фишер, его идеология и эстетика). М. «Художественная литература». 1972. 334 стр.**

Недавно скончавшийся Эрнст Фишер еще при жизни обрел настолько печальную известность, что не оставил никакой возможности относиться к его имени согласно латинскому изречению: «De mortuis aut bene, aut nihil» — о мертвых или

хорошее, или ничего. В самом деле, достаточно познакомиться с докладами, статьями, книгами Фишера последних лет, а заодно и с произведениями других теоретиков этого ряда, чтобы обнаружить по меньшей мере странные, а для первого

впечатления прямо-таки неожиданные вещи.

Если верить подобным авторам, то неизбежен вывод: в XX веке все сколько-нибудь заметные явления общественной мысли, искусства, литературы возникали, как видно, лишь для того, чтобы проиллюстрировать собой несоответствие духовной действительности, а значит, и ее социальной основы учению Маркса, Энгельса, Ленина, реалистической эстетике и социалистической художественной практике. Это не поза и даже не просто чрезмерное уклонение в односторонность. Это активная компрометация под аккомпанемент театральных вздохов: мол, была великая теория, да вот отжила свой век, и что тут поделывать!

Фишер назвал себя «коммунистом без иллюзий», надеющимся, что вместо социализма, от которого он отрекся и против которого повел войну, явится в будущем некий новый, «подлинный» социализм. На поверку вышло, и это наглядно показано на страницах книги Ю. Суровцева: в нарисованном Фишером образе грядущего социализма, расплывчатом, далеком от цельности, содержится лишь то, что сегодня близко сердцу всякого мелкого буржуа, не имеющего духу выдержать объективную логику реальной классово-борьбы, утешающего себя и других мыслью, будто действительность является иллюзией, а истинен миф. Фигуры таких псевдокоммунистов известны рабочему движению. Энгельс писал о них: «Если «образованные» и вообще пришеельцы, происходящие из буржуазных кругов, не стоят полностью на пролетарской позиции, они только вредны»<sup>1</sup>.

Ренегаство беспощадно в первую голову к собственным жрецам. Оно сделало и Фишера врагом друзей, другом врагов, возвысило его ценой падения, создало ему славу бесславия. (Какая, между прочим, тема для современного романиста!) Здесь уместно вспомнить, как родоначальник оппортунизма внутри рабочего движения Э. Бернштейн писал, характеризуя свою деятельность, что она включает три этапа. Первый — когда он, Бернштейн, был марксистом, пропагандировал новое учение. Второй — когда все свои силы он положил на алтарь искажения, ревизии, опровержения марксизма. Третий этап был посвящен объяснению (или, точнее, оправданию) того,

как и почему он совершил такой зигзаг<sup>2</sup>. В конце своей жизни Бернштейн признал, что труднее всего давались ему последние два этапа. В этом смысле можно сказать, что Фишер перекрыл одного из главных своих учителей, ибо третьего этапа у австрийского теоретика не произошло, он освободил себя от каких бы то ни было затруднений и оправданий. В остальном он типичный эпигон бернштейнианства.

Если воспользоваться известным выражением Ленина, срывание всех и всяческих масок — первая задача критики, сталкивающейся с ревизионизмом. Книга Ю. Суровцева как раз и принадлежит к тем исследованиям, где с политических актеров, играющих (в меру доступной им натуральности) аполитичных приверженцев прогресса, постепенно, к великому их неудовольствию, слой за слоем снимается грим благопристойности, отчего истинные роли этих профессиональных хамелеонов предстают на исторической сцене во всей своей неприглядной нагоде. Не очень-то приятное занятие — продираться сквозь лабиринты ревизионизма, хотя бы в силу характерных для него, как отмечал Ленин, «неопределенности, расплывчатости, неуловимости. Опортунист, по самой своей природе, уклоняется всегда от определенной и бесповоротной постановки вопроса, отыскивает равнодействующую, вьется ужом между исключаящими одна другую точками зрения, стараясь «быть согласным» и с той и с другой, сводя свои разногласия к поправочкам, к сомнениям, к благим и невинным пожеланиям и проч. и проч.»<sup>3</sup>. Заниматься демаскировкой этого, по удачному выражению Ю. Суровцева, принципиального эклектизма и впрямь утомительная, но необходимая работа. Ю. Суровцев выполнил ее обстоятельно, с научной добросовестностью и полемическим накалом, благодаря чему предмет разговора становится для читателя по-настоящему интересен и важен. И он действительно важен.

Ю. Суровцев писал эту монографию в 1968—1971 годах, когда опасность ревизионизма возросла, когда идейная борьба между силами социализма и капитализма достигла исключительной остроты, а на фронте литературы, искусства, эстетики дошла, что называется, до точки кипения.

<sup>2</sup> См. Э. Бернштейн. Очерки из истории и теории социализма. СПб. 1902, стр. 3.

<sup>3</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 8 стр. 392—393.

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 35, стр. 372.

Если же говорить конкретно о Фишере, то во второй половине 60-х и начале 70-х годов он с каким-то особым неистовством торопился счесть все, чему в былые времена поклонялся, не забывая каждый свой шаг на этом финальном отрезке пути объявлять новым словом марксистской мысли. Недаром правооппортунистическая, а вкупе с нею и буржуазная печать все охотнее создавала ему ореол «самого-самого» из марксистов.

Сейчас на дворе год 1973, кое-что уже изменилось, и прежде всего стало для многих гораздо более очевидным подлинное лицо новейшего оппортунизма. чьи маскировочные одежды изрядно поблекли и поистрепались. Однако было бы заблуждением полагать, что ревизионизм, коего ревностным адептом и идеологом сделался среди прочих и Фишер, откажется от идейных и организационных попыток подрыва социализма. Борьба против концепций и методов, которые использовал Фишер и к которым по-прежнему прибегают после него, подключая его имя и наследие, не отошла в прошлое, она продолжается. Взгляды Фишера, читаем в рецензируемой работе, характерны не только для правых оппортунистов, но и для широкого фронта буржуазной социологической, политической и эстетической мысли.

Антимарксистская позиция Фишера и раньше получала отпор. Автор монографии, о которой идет речь, учел сделанное его предшественниками, но вместе с тем сказал во многих отношениях свое слово. Это оригинальный труд, материалом для него послужили главным образом вышедшие к тому времени новые и наиболее характерные для Фишера произведения, знаменовавшие его окончательный отход от социализма. Ю. Суровцев проследил не только, так сказать, генезис отступничества вплоть до кульминационной точки — он проанализировал и тесную взаимосвязь литературно-критического, эстетического, культурологического и общетеоретического аспектов ревизионистской платформы.

Фишеризм исследуется автором достаточно широко, что дает читателю возможность внимательно присмотреться к различным сторонам этого явления. Например, глава «Эрнст Фишер как интерпретатор художественной практики», интересная сама по себе, намного выигрывает благодаря предшествующей ей главе «Об эстетических» атаках ревизионизма на марксистско-ленинскую гносеологию». В свою

очередь, аргументация названных разделов опирается на положения, содержащиеся в главе «Социальные проблемы современности в ревизионистском освещении». Точно так же для характеристики ревизионистской литературно-художественной критики и эстетики оказывается весьма существенным предпринятый в монографии анализ концепции тотального отчуждения, действительных проблем и ложных ориентиров современной интеллигенции, чему посвящены вторая и третья главы.

Поскольку мы не ставим своей целью хотя бы отчасти исчерпать проблематику, которой насыщена монография, выделим здесь только два-три момента.

Как известно, в ревизионистских сочинениях содержится определенная, если угодно, психологическая установка — некая обращенность к читателю примерно в следующем духе. Почему, собственно, надо считать таким уж грехом то, что клеймится словами «отступничество», «ренегатство», «ревизия»? Не могут же топтаться на месте жизнь, искусство, теория! Неужели дерзкий поиск, прорыв к новому должны восприниматься в среде марксистов-ленинцев как криминал и даже как предательство?

Не стоило бы закрывать глаза на то, что эта установка ревизионистской литературы производит эффект — правда, лишь до тех пор, пока спекуляция не избалована. Про книгу Ю. Суровцева можно сказать — и это так и есть, — что она обладает своей, назовем ее также психологической, контрустановкой. Перед читателем возникает резонный вопрос: в чем заключается новое, творческое в подходе современных ревизионистов к бурно изменяющейся действительности, к обновленному искусству, эстетике, если конечный вывод получается неизменно старый, неотличимый от того, на чем еще в прошлом столетии стояли, а точнее, споткнулись столпы первого поколения оппортунистов?

Скажем, Фишер, что видно из разбора Ю. Суровцева, обнаруживает чистейшей воды догматизм, ибо любая его новация оборачивается одним и тем же: как только исчерпано, так сказать, предварительное словоговорение, подчас отмеченное наблюдательностью, яркостью деталей и даже некоторым блеском эссеистской фразы, нередко с приправой иронии, так сразу выдыхается искусно построенный «второй план» намеков, дело застопоривается и

кончается, ну, например, утверждением, что «концепция диктатуры пролетариата — это неверная идея, которая не может быть претворена в жизнь в рамках современного капиталистического общества»<sup>4</sup>. После открытия остается лишь сказать за Ю. Суровцевым: Фишер всего повторяет Каутского, где же здесь искусство и чего стоят остальные социологические и эстетические прорывы к новому, базирующиеся на этой позиции? Автор монографии мог бы в данной связи напомнить читателю, что за подобные откровения ренегат Каутский на склоне своих лет получил пожизненную пенсию от самого Гитлера. Надумай Фишер статью «коммунистом без иллюзий» в те времена, еще неизвестно, понадобилось ли бы ему в 30-х годах эмигрировать в СССР.

Даже в вопросах, которые Фишер ставил себе в заслугу, он заимствовал их суть, что свидетельствует прежде всего о логике судьбы: поскольку ревизионисты покушаются в конечном итоге на фундамент социализма и его учения, у них не остается ничего иного, как снова и снова возвращаться к больному для них месту и провозглашать открытиями то, что, как они сами знают, является лишь повторением их же трюизмов. Например, Ю. Суровцев подробно показывает несостоятельность фишеровского тезиса об утрате рабочим классом в развитых капиталистических странах функции боевого авангарда трудящихся, то есть тезиса об «интеграции» современного пролетариата, наступившей, по словам Фишера, потому, что «решающие слои рабочих никоим образом не нищают» и «это изменившееся бытие изменяет сознание, материальный базис воздействует на образ жизни, мышление, поведение». Можно было бы заметить: и здесь австрийский ревизионист по необходимости взял за исходное сказанное мною раньше Бернштейном, который едва ли не первым из «марксоедов» декларировал с циничной бравадой, что при «новом» капитализме «рабочий класс нагуливает румяные щеки и растит крепкие мускулы». Ю. Суровцев, в частности, доказал: Фишер не пионер в отыскании «аргументов», направляемых ревизионизмом против социалистических стран, против

марксистско-ленинской идеологии; он скорее собиратель таких «аргументов», их систематик, аккумулировавший и антисоветчину отовсюду, где она есть.

Почти то же самое можно сказать и о других новейших оппортунистах. Это неудивительно. Как люди, знакомые с марксизмом-ленинизмом, они и после измены ему не в силах не сознавать, что на стороне этого учения опыт истории и что отвергнуть его — значит, прийти в непродолимое, противоречие с жизнью, с поступью времени, с устремлениями трудящихся масс. Поэтому на деле ревизионисты никогда и не пытаются всерьез разработать некий новый, «научный» социализм, честь создания которого себе приписывают, а ограничиваются антикоммунизмом. Вот почему сквозь дымку неясности, внешней оригинальности их трудов всегда просвечивает плотная, темная масса банальности. Необходимость ее прикрытия доставляет оппортунистам поистине вечные хлопоты.

Ю. Суровцев в согласии с традициями нашей общественной мысли показал, что одно дело, когда искания, дискуссии ведутся теоретиками, заинтересованными в обогащении и развитии творческого марксизма-ленинизма на основе оправдавших себя методологических принципов партийности, диалектического и исторического материализма. Одно дело, когда они осуществляются сторонниками научной объективности, классово осознанной истины во имя укрепления сил нового мира и ослабления сил эксплуатации, регресса. И совсем иное, когда перед нами «понски» извратителей научного мировоззрения революционного рабочего класса, представляющие собой теоретические вихляния, заведомо подчиненные предвзятой цели — отрицанию любой ценой коренных положений марксистско-ленинского учения. Это такие «прорывы к новому», которые служат классовой дезориентации, проповеди в лучшем случае прекраснодушных иллюзий, а в подавляющем своем большинстве прямо и непосредственно содействуют интересам буржуазии.

Ю. Суровцев на примере работ Фишера и некоторых других аналогичных авторов дал убедительную картину того, как неизбежно смыкаются правый и «левый» оппортунизм, более того, как в современных условиях они уже не в силах рассчитывать на что-то, действуя порознь, они

<sup>4</sup> Цитата из нашумевшей в свое время статьи Э. Фишера «Проблемы диктатуры пролетариата», напечатанной в «Les Temps Modernes», 1968, novembre.



нуждаются в поддержке друг друга, выступают объединенным фронтом. Фишеризм характерно, в частности, тем, что в нем слились оба этих ревизионистских потока, размывающих почву социализма, независимо от того, говорится ли о художественной литературе, искусстве или о таких социальных материях, как отчуждение, роль классов в общественной борьбе, пути развития человечества. Вот почему Ю. Суровцев справедливо подверг критическому анализу не только ядро, но и «кожуху» ревизионистских писаний, разоблачая и в области собственно эстетических суждений типичные для фишеризма зигзаги мысли, тактические маневры, их антимарксистский смысл.

В монографии последовательно осуществляется принцип историзма и классового подхода к рассматриваемым явлениям. Но и еще одна особенность обеспечивает прочность позиции автора: критика ревизионизма ведется здесь одновременно с позитивной научной разработкой целого ряда актуальных вопросов. Каких именно и как — отсылаем заинтересованного читателя к самой книге.

Вернемся, однако, к ревизионизму.

Исторический опыт показывает, что оппортунизм может взмыть и в момент всемирной катастрофы, как это случилось, когда с началом первой мировой войны лидеры II Интернационала шовинистически поддержали национальную буржуазию, использовали авторитет социал-демократии, чтобы убедить рабочих в каждой из столкнувшихся стран биться за отечество до победы, то есть гибнуть за империалистический передел в пользу тех, кто из акул окажется сильнее. В этой связи Ленин говорил, что если бы II Интернационал «не был в руках предателей, которые спасали буржуазию в критический момент, то много шансов было бы за то, что во многих воюющих странах непосредственно с окончанием войны, а также в некоторых нейтральных странах, где был вооружен народ, революция могла бы произойти быстро, и тогда исход был бы иным»<sup>5</sup>. По-другому сложились события накануне и в годы второго мирового катаклизма: благодаря поражению, которое ленинизм нанес оппортунизму, благодаря факту победы социализма в СССР ревизионисты с их тяжело подорванным рено-

ме уже не решились открыто поднять голову. Зато оппортунизм счел для себя подходящим моментом вновь активизироваться в послевоенных условиях, особенно с началом разрядки международной напряженности.

Паразитируя на глубочайшем снии народов к миру и сотрудничеству оппортунизм новейшей волны взял курс на то, чтобы придать этой непреборимой тенденции характер сосуществования идеологий, то есть способствовать постепенному отказу от идеологии пролетарской в пользу идеологии буржуазной. То, что эксплуататорские классы не смогли вернуть себе ни военными средствами, ни политическими, ревизионизм вознамерился возвратить в мирных условиях идеологически. Что в действительности обстояло именно так, показывает, к примеру, стремительное превращение некоторых «марксистов» (среди них оказался и Фишер) в героев, если не сказать кумиров, буржуазной науки и прессы. Но дело отнюдь не ограничивалось судьбой тех или иных личностей — возникла серьезная опасность того, что наши идейные противники окрестили эрозией социализма. Оппортунизм справа, а вслед за ним и «слева» как ударный отряд буржуазии внутри мирового коммунистического движения развернул фронтальные диверсии. Чего только не родилось на волне этих бесчисленных нападков! Концепции различных «моделей» социализма, национального коммунизма, теории конвергенции, постиндустриального общества, плюрализма и другие правооппортунистические откровения, призванные заменить собою «устаревший» марксизм-ленинизм и «несостоявшийся» социализм, посыпались как из рога изобилия. В свою очередь, лидеры «новых левых» на своих знаменах, во многом напоминающих анархические, начертали рядом с именами основоположников научного социализма имена Бакунина, Троцкого, Маркузе, Мао Цзэ-дуна.

Коммунистические и рабочие партии на своих международных форумах ясно указали на оба фланга возникшей опасности и повели решительную борьбу против вакханалии отступничества, «отбрасывания» социализма и марксистско-ленинского учения. С новой силой подтвердилось ленинское положение о том, что вся борьба нашей партии и в целом рабочего движения должна быть направлена против

<sup>5</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. т. 40, стр. 204.

оппортунизма и что опаснее всего люди, не желающие понять, что борьба с империализмом, если она не связана неразрывно с борьбой против оппортунизма, есть фугата и лживая фраза<sup>6</sup>.

Из всей совокупности факторов, питающих бум ревизионизма, эскалация которого уже начала давать перебои, но еще далеко не закончилась, Ю. Суровцев в своей монографии сделал особый упор на едва ли не самое существенное обстоятельство. Он подробно показал, как для скорейшего разрастания эпидемии оппортунизма эксплуататорские классы и их пособники позаботились максимально открыть шлюзы перед стихией мелкобуржуазности.

Мелкобуржуазность, верво подчеркивает Ю. Суровцев, является идеальной почвой для произрастания и культивирования, для живучести оппортунизма. В свою очередь, последний является ее главным, самым активным разносчиком. То, что мелкобуржуазность выступает сегодня во множестве ипостасей, прежде всего его заслуга.

Действительно, современный поток мелкобуржуазности приобрел необычайно большие размеры, устремившись как бы в два основных русла, соединенных между собой сетью сообщающихся сосудов. На одном уровне — неутолимая потребительская агрессивность, погоня за призраком обладания. На другом, верхнем уровне многое в конечном счете схоже с тем, что и на нижних этажах, но выступает в элитарном облачении причудливых «измов», философских, художественных и прочих, с общим для них корневым словом «модерн». Представители «элиты» готовы быть снисходительными к «плебеям» или, напротив, высокомерно третируют последних, но парадокс в том, что первые поддерживают вторых, сбрасывая им со стола остатки своей духовной пищи. И хотя, перекликаясь со вспыхивающими то тут, то там всеотрицающими бунтами «низов», в верхнем слое раздаются рафинированные стенания на тему отчуждения либо время от времени делаются уколы в адрес тех или иных империалистических институтов, это не меняет существа дела: там и здесь торжествует мелкобуржуазность, внутренне и внешне враждебная всякой организованности, классовой определенности, агрессивности настроенная против всего, что

требует открытой связи с революционным пролетариатом, партией, научным мировоззрением, с реальным социализмом.

Одной из актуальных является подробно рассмотренная в монографии Ю. Суровцева проблема, своеобразие которой в том, что современный ревизионизм делает ставку и на... гуманизм — тот самый, который часто, и, наверно, не без оснований, именуют абстрактным. Ревизионизм разлагательно стремится угнездиться и здесь. Названием одного из разделов своей книги — «Эрнст Фишер в роли адвоката «демократизма» и обвинителя диктатуры пролетариата» — Ю. Суровцев точно определил суть этой оппортунистической «экспедиции». Ее цель состоит в том, чтобы разъять этику и политику, внедрить в сознание различных кругов интеллигенции мысль о возможности и даже необходимости жить, познавать, творить вне связи с классовой борьбой современности, которая де противопоставлена свободному творчеству, а еще более враждебен ему реальный социализм.

Учитывая, однако, показывает Ю. Суровцев, что тяга к марксизму захватывает сегодня более широкие слои, нежели ту часть демократии, которая уже мыслит, чувствует и действует последовательно марксистски, ревизионисты прилагают огромные усилия, чтобы ложно ориентировать это движение демократической интеллигенции к научному социализму, к марксистско-ленинской идеологии, к прочному союзу с компартиями. Оппортунисты провозглашают поэтому в качестве критериев гуманизма и демократизма «свободу интерпретации» марксизма-ленинизма, причем такую, которая, если ей следовать, неминуемо заканчивается прямыми атаками на социалистические страны, на Советский Союз, на КПСС и другие братские партии.

Ценность исследования Ю. Суровцева в том, что оно пополнило фронт книг, помогающих читателю осознать немаловажную истину: ни в одной стране нет такой сферы общественной жизни, будь то политика или экономика, идеология, эстетика или искусство, где бы с объективной необходимостью не господствовал надо всем вопрос о соотношении классовых сил на мировой арене, вопрос кто кого, вопрос, который Горький задавал своим коллегам в цивилизованных государствах: с кем вы, мастера культуры? Оппортунизм

<sup>6</sup> См. там же, т. 49, стр. 105—106; т. 27, стр. 424.

пытается изменить это соотношение сил в пользу буржуазии. Он ищет себе союзников, активных и пассивных, сознательных или обманутых, и прежде всего среди создателей духовных ценностей. Ревизионизм заигрывает с ними, чтобы помешать формированию из них стойких и преданных борцов за интересы народа, трудящихся, за социализм, против капитализма. Оппортунизм пытается дезавуировать самую ленинскую постановку вопроса о демократии — или это «демократия на почве частной собственности или на базе борьбы за отмену частной собственности?»<sup>7</sup>. Разобла-

чая ревизионизм в философии ли, социологии или эстетике, мы помогаем современникам независимо от национальности, возраста и профессии лучше почувствовать действительные потребности эпохи. ~~я~~ прогрессивные тенденции, глубже понять, что, как писал Ленин, строгая партийность есть спутник и результат высокоразвитой классовой борьбы, помогаем убедиться, что проблема классового выбора поставлена перед каждым самой историей, от этого нельзя спрятаться, уклониться, ибо третьего не дано, и что надо идти навстречу жизни, навстречу борьбе, в рядах тех, за кем будущее.

<sup>7</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 39, стр. 281.

**В. ДМИТРИЕВ,**  
кандидат филологических наук.



## КОРОТКО О КНИГАХ



**ИГОРЬ ШКЛЯРЕВСКИЙ. Воля. Новая книга стихов. М. «Советский писатель». 1972. 144 стр.**

В новой книге стихов Игоря Шкляревского есть повторяющиеся, несущие особый смысл слова, которые очень точно подходят и для характеристики самого сборника. Звонкий... счастливый... тревожный... Эпитеты, обозначающие и душевное состояние автора, и определенное его отношение к миру. Они не просто соседствуют на страницах книги, но и взаимодействуют между собой, образуют целостную систему. Эти (и, естественно, другие, подобные им) эпитеты являются у И. Шкляревского микроразделами, кирпичиками, из которых складывается остов стихотворения, цикла стихов, книги. Можно попытаться проследить по уже законченным и опубликованным стихотворениям, как рождалось их настроение, неотделимое у Шкляревского от идеи, мысли, сути стиха.

Сначала это необычное, непривычное соединение двух противоположных состояний: «Я с тридцатую зиму встречался нежно и тревожно». «Где-то в снах мой ликует крик». Затем — уже на более объемном пространстве стиха — сталкиваются интонации счастливые и тревожные, идет подсчет приобретений и потерь: «Куда пропала радостная дрожь — перед свиданьем, перед Новым годом, перед ударом гонга и восходом? Сож обмелел, и волос поредел». Наконец, и стихотворение в целом строится на психологических контрастах, на поиске «равнодействующей» для двух разнонаправленных, противоположно устремленных эмоций. Резкая переменчивость настроений передается звуками, светом, цветовой гаммой. Сборник «Воля» стереофоничен. «Синяя зарница как магний», «Алые зазубрины пожара», «И транспарант надуло ветром так, что город мой поплыл в простор весенний» — едва ли не на каждой странице встречаешь подобные «зримые» образы. Притом образы эти следуют плотно, в энергичном и напористом темпе.

На что устремлена эта энергия? Вопрос не лишний, поскольку в свое время он уже был задан рецензентами предыдущей книги И. Шкляревского — «Фортуна». Тогда

вопрос остался без ответа; ответить предстояло самому поэту — новыми стихами, новой книгой. Ответ этот мы находим в сборнике «Воля». Находим уже в самом названии сборника.

Одно из стихотворений И. Шкляревского заканчивается так: «Кого-то волна накрывала, и кровь отливала, звеня, но воля моя не дремала. Фортуна любила меня!» Воля «не дремала» и прежде, но путеводной звездой была все-таки фортуна, в которой воплотилось нечто большее, чем везение. Здесь были молодость, успех, любовь, здоровье — то звонкое и яркое жизнелюбие, которыми отмечены страницы и нового сборника И. Шкляревского. Но есть в нем и другие нотки, иные мотивы. Стихотворения «Наташа под дождем», «Мои прекрасные страдания», «Весенняя ночь в Могилеве» передают драматичность потерь, которые были бы невозможными, если бы не жадное, упрямое желание сохранить звуки и краски природы в словах, запечатлеть их в поэзии.

Отсчет времени сопряжен в стихах Шкляревского с ледоходом, листопадом, дождями. Поэт листает книгу природы, которая ему знакома, любима им и каждая страница которой все-таки таит в себе тайны и загадки. Но книгу эту он листает не как эстет; и главное, не ради холодно-рассудочных умозаключений о «суете сует» и бренности всего земного. Живой взгляд современного человека присутствует в самых масштабных, «космических» образах поэта:

Стало твердым от холода тело.  
Догорая, звезда пролетела,  
и вторая в полете погасла,  
будто стройка ночная идет —  
автогенами режут пространство,  
прикрепляют к земле небосвод!

Однако если И. Шкляревский далек от сентиментально-архаического восприятия природы, то столь же чужды ему и панибратство, самоуверенность по отношению к ней. Он — за бережное, мудрое, уважительное отношение к природе, такое отношение, которое является в нашей стране сутью государственной политики.

И еще одной гранью приоткрывается природа в стихах И. Шкляревского. Природа — как приметы родных мест, отчето

края, как неповторимый облик родины. Пейзажи конкретны, точны в деталях, четко обозначены во времени и в пространстве: «У пограничного столба на Запад рельсы разбегутся. Отчизна, родина, судьба в одно понятие сольются».

Судьба личная и судьба народная сливаются в стихах Шкляревского естественно и органично. И так же органично соединяются в них боль за утраты, которые понесла наша страна в многочисленных ратных сражениях, и гордость за мужество, трудолюбие, упорство ее людей.

Память о послевоенных годах неотделима в стихах И. Шкляревского от впечатлений детства. Но прошлое в его стихах — не экспонат, не застывшие кадры бытия. Прошлое — это фундамент современного, момент движения, фрагмент вечно движущейся ленты событий. Память у Шкляревского — социально активна, и в этом я вижу одно из проявлений гражданственности его лирики. Лирики, стремящейся преодолеть драматичность бытия. Лирики, отличительные черты которой — оптимизм, жизнелюбие.

Валерий Гейдеко.



**ЯКОВ БЕЛИНСКИЙ. Двое, идущие рядом. Книга стихов. М. «Советский писатель». 1972. 159 стр.**

Хорошо помню первую книжку Якова Белинского «Взятые города», я ее редактировал. Перед читателем действительно проходили взятые в кровавых боях, дорого стоившие и Советской Армии и еще дороже фашистам города и прославленные исторически с прошлого века такие места, как Шипка в Болгарии. Книжка была насквозь пронизана чувством победы 1945 года: «Осколочными! По Крупшу!» Она стояла в ряду многих солдатских книг — Гудзенко, Луконина, Межирова и других. Это поколение заявило о своем бытии с превосходным самообладанием. Каждый поэт своему продолжает жизненную дорогу.

И вот — «Двое, идущие рядом». Она и он: лирический герой выбрал свою лирическую героиню: дело неизбежное. Но, по правде сказать, не эта мелодия в новой книге поэта занимает меня, а другое: насколько сильна его двадцатипятилетняя память... И в самом деле: скажем, в цикле «Лица» все полно памятью войны. Это ощущаешь даже в том, что жизнь, «как скульптор», делает свое дело «по-микеланджеловски грубо».

У каждого русского поэта свой Пушкин. Поэтическая пушкиниана растет с каждым годом, и конца ей не предвидится. Об этом особо вспоминаешь сейчас, в преддверии 1974 года, когда Пушкину исполнится 175 лет: он на год старше XIX века Пушкина вспоминает Я. Белинский в двух стихотворениях. В московском Музее Пушкина на Кропоткинской улице — драгоценные реалии: «его чернильница и разрезальный нож, его одежда в шкафчике прозрачном, трость, папери, дуэльный пистолет...» Стихотворение кончается: «Апрельский ветр

свистит в ветвях рассвета, и, как Нева, шумит Москва-река...» Не очень-то верится сравнению Москвы-реки с Невой, но пускай, так услышал поэт, это его право. Второе стихотворение посвящено игравшей важную роль в жизни русских поэтов пленительной польке Каролине Собаньской: «Твой поклонник — великий поэт. Но не только великий — он ссыльный...»

А рядом — другая тема, это космос. Космос этого поэта: «...в круговерти окровавленных взрывами звездных систем». И желание нашу планету «ладонью от ветра прикрыть, как свечу».

Цикл «Таллинская тетрадь» привлекает обилием действующих лиц, новых знакомцев поэта в Эстонии: столяр Арно Виидема, капитан Энгельмар Розенкранц... «Сверхмощный циклотрон. Обут в бетон и в битум. Протоновый поток» — это современная, живая действительность, по праву ворвавшаяся в любовную лирику и своим вторжением оправдавшая любовные излияния поэта.

Историческая перспектива, уходящая в прошлое, — стихотворение называется «Две судьбы». Речь о Кафке и обреченном на казнь Фучике. «Еще недвижно Габсбурги царят...», «бенгальский блеск рождественских открыток...». Молодость Кафки, его начало. Еще не написаны его романы, он в здравом уме и твердой памяти и очень далек от трагедии будущего. А пока «видения, похоже на бред сомнамбулы, бредущей по карнизам...». Стихотворение привлекает острым видением того недавнего (или давнего — не знаю) прошлого, когда самого автора стихотворения еще и не было на белом свете.

По Блоку мы знаем: нет пути — нет поэта. Путь Я. Белинского — это подмосковные автострады с восьмерками разворотов, скоростные самолеты в дальние края. Путь поэта и его мир ясны. Предстоит продолжение, и этот отклик обрывается, как всегда, на полуслове и ни в каком случае не пожеланием «доброго пути!» Каждый причастный к искусству хорошо знает, как опасен и обрывист путь художника. Якову Белинскому я хочу пожелать только одного: оставаться солдатом в нашем общем боевом деле. И еще одного: помнить себя самого тридцатилетнего, который с Советской Армией вошел в Югославию и был поражен:

Я понял трудный их язык,  
Народа дух открыв,  
Язык, разящий точно штык:  
Срб. Смрт. Крв.

Это была заявка на сжатость и точность в слове и ритме. Яков Белинский не изменил ей. Читателям достаточно раскрыть новую книгу Белинского, чтобы понять поэта.

Павел Антокольский.



**АЛЕКСАНДР ИВАНОВ. Не своим голосом. Литературные пародии. М. «Советский писатель». 1972. 119 стр.**

Литературная пародия возникла через пять минут после возникновения литерату-

Имя пародиста, некоторая бездумность...  
Лив, и пародист не издевает-  
ся, а подтрунивает над его «издержками  
производства».

А вот пародия на Игоря Кобзева «Мос-  
ковский нарцисс»:

Вовек не поймут меня мещане...  
Под сердцем перлы лирики храня,  
Та женщина  
С красивыми плечами  
Влюбилась опрометчиво в меня.

Фиалково смеявшаяся губы...  
Жасминово снявшая нога...

Тут от добродушной усмешки не осталось  
и следа — слишком уж явственна преемст-  
венность якобы антимещанских, а на самом  
деле сочащихся романсово-мещанской «эс-  
тетикой» стихов от печально известных  
молчановских, когда-то беспощадно обстре-  
лянных и Маяковским и Архангельским...

Часто в пародиях А. Иванова — не только  
внешняя похожесть, но проникновение в  
суть стиха, в его стиливые и метафориче-  
ские особенности. Хочу особо выделить па-  
родии на Юрия Левитанского, Булата Окуд-  
жаву, Николая Сидоренко, Екатерину Шewe-  
леву, Беллу Ахмадулину, Сергея Викулова,  
Льва Ошанина, Сергея Маркова, Фазила  
Искандера, Сергея Острового.

Если согласиться с тем, что пародия — это  
своеобразная форма литературной критики,  
то пародии Александра Иванова — это се-  
рия остроумных и точных критических оце-  
нок. «Не своим голосом» — хорошее назва-  
ние для сборника пародий. Шестьдесят семь  
«не своих» голосов воспроизвел пародист.  
Но вслушайтесь повнимательней — и вы  
услышите его собственный голос, добро-  
душно вышучивающий одних поэтов и зло  
высеивающий других.

Владимир Лифшиц.



**МАРГАРЕТ ДРЭБЛ. Один летний сезон.**  
Роман. Перевод с английского М. Марецкой.  
М. «Прогресс». 1972. 188 стр.

Имя Маргарет Дрэбл ново для советско-  
го читателя. Роман «Один летний сезон»  
(«Год Гаррика» в подлиннике) — первое  
произведение этого серьезного, своеобразно-  
го автора, переведенное на русский язык.  
Всего на счету Дрэбл шесть романов. Де-  
бютом молодого английского прозаика был  
роман «Вольер для птиц», вышедший в  
1963 году. Затем один за другим последо-  
вали «Один летний сезон» (1964), «Жернов»,  
«Иерусалим золотой», «Водопад». Послед-  
ний роман «Игольное ушко» вышел в  
апреле 1972 года.

В каждом произведении Дрэбл варьи-  
руется одна тема, очень важная для писа-  
тельницы: молодая интеллигентная героиня  
и окружающая ее действительность. Поко-  
ление Дрэбл стало на путь протеста про-  
тив викторианских устоев английского  
общества, по-своему продолжив бунт  
Осборна, Уэйна и других. Героини Дрэбл

Историко-литературных примеров того,  
что великие не избегали пародий, множест-  
во. Но боюсь, что даже ссылка на Аристо-  
фана может сделать мои заметки чем-то  
вроде пародии на излишне фундаменталь-  
ные литературоведческие исследования. Со-  
слался же я на него исключительно для то-  
го, чтобы показать неправомерность отно-  
шения к пародии как к падчерице в семье  
литературных жанров. А такое отношение  
со стороны нашей критики, к сожалению,  
имеет место. Если большинство книжных  
новинок находит оценку на страницах ли-  
тературных журналов и газет, сборники  
пародий и эпитаграмм, изредка у нас выхо-  
дящие, остаются не замеченными критикой.  
Утешает, правда, то, что читатель не остав-  
ляет их без внимания.

Блистательные пародии Архангельского  
безошибочно попадали в цель. Они не нуж-  
дались в предварительных цитатах из па-  
родлируемых стихов. Мне думается, что они  
могли бы обойтись даже без упоминания  
имен поэтов, которых «осчастливил» та-  
лантливый пародист, — так точно выявлял  
он суть той или иной поэтической индиви-  
дуальности.

Почему же в последние годы редко встре-  
тишь стихотворную пародию, не утяжелен-  
ную громоздкой цитатой, а то и несколь-  
кими, вынесенными в эпиграф? Я объясню  
это тремя обстоятельствами. Иногда поэт,  
взятый на прицел пародистом, попросту  
лишен индивидуальности, не хорош и не  
плох, а потому и малоизвестен, и на па-  
родиста ложится неблагоприятная задача — при  
помощи цитат сперва ознакомит читателя  
со стихами своего подопечного, а затем уж  
их спародировать.

Вторая причина столь щедрого цитирова-  
ния — сомнение пародиста в собственных  
силах, в том, что читатель сумеет распоз-  
нать в пародии пародируемого поэта. И на-  
конец, последнее: бывает, что, «прицепив-  
шись» к образу, выражению или строке  
какого-либо стихотворения и вынеся эту  
выхваченную строку в эпиграф, пародист  
под видом пародии предлагает нам «осме-  
шленный» вариант стихов, на все лады обы-  
грывая какую-либо поэтическую деталь.  
Это не пародия. Иногда это развернутая  
эпиграмма. А иногда попросту зубоскаль-  
ство.

Среди пародистов, работающих сегодня,  
одним из наиболее талантливых мне пред-  
ставляется Александр Иванов. В его послед-  
нем сборнике несколько десятков па-  
родий — от добродушно-насмешливых до  
уничтожающе-язвительных. Все они — на  
ныне действующих поэтов.

Вот пародия на Виктора Бокова — очень  
«боковская!» Песенница (порой излишняя),  
легкость (порой переходящая в легковес-  
ность), некоторая необязательность поэти-

бросают вызов привычному укладу, господствующим нормам морального поведения. Автор намеренно пытается вести повествование на уровне мелких бытовых конфликтов и ситуаций, однако за обыденностью житейских забот стоит главное для автора — конфликт героини с окружающей средой. Именно это определяет основную тему романа «Один летний сезон».

Сюжет романа прост. Пользующийся известностью актер Дэвид Эванс получает предложение войти в труппу режиссера, завоевавшего репутацию видного и оригинального театрального деятеля. Труппе предстоит открыть сезон в новом театре провинциального английского городка. Вместе с Дэвидом едет в Херефорд и его жена Эмма, от лица которой ведется повествование.

Основное в жизни Эммы — борьба с «отполированной, отшлифованной обыкновенностью», стремление к независимости от мужа, от общества, от окружающего мира. В этом и заключается парадоксальность и трагичность ситуации. Эмма, которая, по ее словам, «мечтала о собственном заработке — чтобы швырнуть весь хлам в прекрасную морду» своему мужу, вынуждена отказаться от предлагаемой ей работы и ехать с мужем и детьми в Херефорд. Тонко, ненавязчиво и вместе с тем убедительно передает Дрэбл многогранные оттенки внутреннего мира своей героини. Мелкие, на первый взгляд незначительные детали дополняют и углубляют рисунок образов. Приемы автора разнообразны. Это острые и живые диалоги, портретные характеристики с яркими, запоминающимися эпитетами, размышления героини романа, иногда мягкие и лирические, а подчас иронические и язвительные. Удачное применение символики помогает автору снять маску высокоморальности и респектабельности с внутренне опустошенных людей, против которых так настроена Эмма. Однако бунт героини не идет дальше попыток «шокировать» ту среду, от которой она стремится оторваться. У нее не хватает сил разорвать путы норм и морали, навязанные ей с детства.

В финале романа, символически призывающем не замечать змей в «райских кустах», еще раз подчеркивается мысль о прочности пут общества: «бунтующая» Эмма терпит поражение, смиряется «ради детей». Но не исход бунта интересует Дрэбл, а сам факт его. Стремление к самоутверждению, попытка вырваться из порочного круга буржуазной действительности, критика нравственных устоев английского middle class — вот во имя чего написан роман. Написан в мягкой, доверительной манере, вызывающей чувство симпатии к героине.

И. Мороз.



НОРА ГАЛЬ. Слово живое и мертвое. М. «Книга». 1972. 176 стр.

В переводах Норы Галь мы читали «Американскую трагедию» Драйзера, «Смерть

Петра...», «Лишь ешь», «Литература», «Ванного литератора», «С практикой журналов и издательства, глубокой и ревниво любящего свою основную профессию — перевод художественной прозы, — все это отлилось теперь в небольшую книжку, материал для нее накопился годами.

Перевод прозы — искусство по-своему не менее трудное, чем перевод поэзии. Недавно на страницах «Нового мира» Н. Анастасьев и А. Зверев в своей статье выразили тревогу по поводу низкого качества некоторых переводов — в частности, по поводу недопустимой практики «исправления», приглаживания оригинала, необоснованных купюр и т. д. Плохо, когда переводчик сознательно искажает содержание подлинника, желая его улучшить. Ну, а если переводчик, искренне желающий быть добросовестным и точным, просто по неумению, недостатку культуры портит русский язык тяжеловесными оборотами, буквализмами, штампами? Это тоже очень плохо.

Нора Галь воюет с «мертвым словом», сознавая, какая высокая ответственность, не только творческая, но гражданская, лежит на переводчике. Круг читателей художественной литературы у нас необозримо велик. Немалую часть этих читателей составляет молодежь. «Мертвое слово», произнесенное по радио, по телевидению, западает в память миллионам людей.

Вслед за К. И. Чуковским Нора Галь предостерегает против зловерного «канцелярита», а также и против засорения русского языка ненужными иноязычными заимствованиями, против систематических стилистических несуразностей, которые, повторяясь в печати, незаметно могут стать языковой нормой.

В этой книжке идет речь не просто о стиле. От автора, переводчика, редактора требуется не только литературная, но и душевная грамотность. Если мы читаем, что люди «умирали преждевременно» (вместо «безвременно») или что «джунгли готовились дать последний и решительный бой», мы сталкиваемся тут прежде всего с отсутствием элементарного такта.

Отстаивая высокую культуру русского слова в переводной прозе, Н. Галь оперирует не одними лишь отрицательными примерами. Она привлекает опыт лучших советских мастеров, ссылается на И. Кашкина, В. Топер, Н. Любимова — на тех, кто сумел сделать произведения иностранных авторов фактом русской художественной литературы.

Книга Норы Галь может быть с большой пользой прочитана работниками литературы, редакторами, журналистами, она адресована и «просто читателям», которым дороги богатства русской речи.

Т. Мотылева.



**В. Д. ЕЖОВ. Записки очевидца. М. «Международные отношения». 174 стр.**

«День был на редкость морозным. Колючий декабрьский ветер не давал покоя собравшимся на аэродроме и заставлял даже самых терпеливых то и дело забегать в теплое служебное помещение.

Самолет должен был специальным рейсом доставить в Бонн первого советского посла в Западной Германии. Его сопровождали советник посольства и автор этих строк». Так начинаются «Записки очевидца» В. Д. Ежова.

Тогда, в декабре 1955 года, молодой советский дипломат Ежов в составе первого посольства Советского Союза прибыл в Федеративную Республику Германии, где и проработал без малого пять лет.

Семнадцать лет прошло с того дня, как по инициативе Советского правительства были установлены дипломатические отношения между СССР и ФРГ. Трудные это были годы. О том, сколько препятствий естественных, а нередко и искусственно создаваемых противниками разрядки пришлось преодолеть, как тяжело давалась нормализация отношений между двумя странами, прежде чем стал возможным договор 12 августа 1970 года, еще расскажут историки.

В книге В. Ежова не дается подробной картины развития советско-западногерманских отношений за те годы, что автор провел в ФРГ, да это и не входило в его задачу. Жанр «Записок» выдержан в полумемуарной-полуочерковой манере, но тем они и любопытны для читателя как живое свидетельство очевидца.

Немалое место в книге отведено работе нашего посольства в Бонне. Первые шаги советских дипломатов там оказались очень трудными. Приходилось преодолевать стену недоверия, предвзятость и даже откровенную враждебность, порожденную реваншистской пропагандой.

У многих граждан ФРГ сохранялись поразительно убогие представления о жизни Советской страны. Автор «Записок» вспоминает, с каким удивлением собравшиеся в боннском аэропорту разглядывали советский самолет, на котором только что прибыл первый посол СССР, как недоверчиво ощупывали руками приборы, ища фирменные надписи на английском языке, искренне изумляясь при виде незнакомых русских букв.

Надо было начинать с разоблачения мифов, созданных буржуазной пропагандой о Советском Союзе. На первом плане стояла широкая разъяснительная работа, без которой нечего было и думать о плодотворном развитии отношений между двумя странами.

В. Ежов принимал самое деятельное участие во всем этом, выступая с докладами перед учеными, промышленниками, рабочими и студентами. В описании многочисленных встреч автора книги и других сотрудников посольства с представителями самых различных политических кругов и слоев населения Федеративной Республики Германии, диспутов и острых споров отражены те усилия, которые пришлось предпринять Советскому Союзу, его дипломатии, для того чтобы шаг за шагом вывести отношения между двумя странами из состояния «холодной войны».

Чем больше узнавали рядовые немцы о Советской стране, тем менее склонны были они верить домыслам антисоветской пропаганды, тем сильнее чувствовали руководители ФРГ растущую волю западногерманских трудящихся к миру и сотрудничеству с СССР.

На отдельных, иногда вроде бы и мало-значительных фактах показывает автор рост этой тенденции в политической жизни ФРГ второй половины 50-х годов. И неожиданная «доброта» полицейского, не взявшего штрафа с советского дипломата за превышение скорости езды на дороге только потому, что накануне в СССР был запущен первый искусственный спутник Земли, и первые робкие приглашения советских дипломатов на встречи с западногерманской общественностью, и внезапно пробудившийся у фирмы Круппа интерес к советскому посольству — во всех этих, казалось бы, не связанных друг с другом эпизодах нашло свое отражение возросшее уважение к нашей стране, во многом еще не осознанное понимание необходимости установления связей с Советским Союзом.

«...Более полутора десятилетий прошло с начала тех событий, о которых рассказывает автор «Записок очевидца». Много воды утекло с тех пор. Важные перемены совершились в мире. В Бонне пришли к руководству политики, которые понимают необходимость и преимущества общеевропейского сотрудничества. Подписан Московский договор, растут и множатся деловые контакты ФРГ с СССР.

Особое значение для дальнейшего развития советско-западногерманского сотрудничества и утверждения мира на континенте имеют встречи на высшем уровне между руководителями СССР и ФРГ. Знаменательны последние переговоры Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева с Федеральным канцлером В. Брандтом в мае 1973 года, которые, по мнению большинства наблюдателей, знаменовали переход к новому этапу в советско-западногерманских отношениях.

**П. Черкасов.**





---

---

## КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



### ПОЛИТИЗДАТ

**В. И. Ленин.** Избранные произведения. В трех томах. Том третий. 864 стр. Цена 1 р. 38 к.

**В. И. Ленин.** Как организовать соревнование? — Великий почин (О героизме рабочих в тылу. По поводу «коммунистических суботников»). 40 стр. Цена 4 к.

**В. Красильщиков.** В начале будущего. Повесть о Глебе Кржижановском. (Серия «Пламенные революционеры») 456 стр. Цена 87 к.

### «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**Ю. Барабаш.** Вопросы эстетики и поэтики. 320 стр. Цена 1 р.

**Р. Гамзатов.** Сонеты. Перевод с аварского Н. Гребнева. 71 стр. Цена 21 к.

**Е. Долматовский.** Было. Записки поэта. 335 стр. Цена 79 к.

**Э. Котляр.** Акварели. Стихи. 126 стр. Цена 27 к.

**В. Кочетков.** Тепло земли. Стихи. 120 стр. Цена 32 к.

**Л. Леонов.** Пьесы. 543 стр. Цена 1 р. 58 к.

**Р. Магомедов.** Возвращение в горы. Стихи. Перевод с аварского В. Сикорского. 72 стр. Цена 21 к.

### «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**Н. Вирта.** Избранные произведения. В двух томах. Том I. Вечерний звон. Роман. 672 стр. Цена 1 р. 36 к. Том II. Одиночество. Закономерность. Романы. 752 стр. Цена 1 р. 46 к.

**А. Гурвич.** Литературно-критические статьи. Составитель А. Борщаговский. 280 стр. Цена 89 к.

**Живи, Египет!** Рассказы. Перевод с арабского. Составление и предисловие В. Кирпиченко. 256 стр. Цена 76 к.

**В. Каверин.** Избранное. Скандалист. или Вечера на Васильевском острове. — Исполнение желаний. — Перед зеркалом. 688 стр. Цена 1 р. 44 к.

**Я. Коллар.** Сто сонетов. Перевод с чешского. 247 стр. Цена 1 р. 21 к.

**В. Креве.** Предания Дайнавской старины. Перевод с литовского. 255 стр. Цена 51 к.

**В. Маяковский.** Стихи. Вступительная статья Г. Черемина. В качестве иллюстраций использованы «Окна РОСТА». Текст и рисунки В. В. Маяковского. 192 стр. Цена 32 к.

**Д. Самойлов.** Книга о русской рифме. 280 стр. Цена 53 к.

### «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**Ю. Друнина.** Не бывает любви несчастливой. Лирика. 208 стр. Цена 54 к.

**В. Колыхалов.** Июльские заморозки. Повести. Дневник путешествий. 349 стр. Цена 69 к.

**Т. Кузовлева.** Слог. Стихотворения. 34 стр. Цена 15 к.

### «СОВРЕМЕННОК»

**О. Берггольц.** Память. Книга стихов. 302 стр. Цена 1 р. 48 к.

**С. Данилов.** Бьется сердце. Роман. Перевод с якутского В. Литвинова. 351 стр. Цена 99 к.

**С. Михалков.** Избранное. 558 стр. Цена 1 р. 83 к.

**С. Тока.** Слово арата. Трилогия. Перевод с тувинского. 430 стр. Цена 1 р. 10 к.

### «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**И. Данилов.** Лесные яблоки. Повесть и рассказы. 94 стр. Цена 33 к.

**М. Колосов.** Буркун. Повесть. 64 стр. Цена 14 к.

**С. Лойтер.** Там, за горизонтом... Проблемы романтического в творчестве Л. А. Кассиля. 120 стр. Цена 56 к.

**В. Николаев.** Чтобы каждый стал человеком. Очерк творчества А. Мусатова. 111 стр. Цена 53 к.

**Н. Носов.** Повесть о моем друге Игоре. 143 стр. Цена 34 к.

**А. Очин.** Иван — я. Федоровы — мы. Героическая быль. 111 стр. Цена 59 к.

**Н. Хохлов.** Присяга просторам. Очерки о странах Африки. 223 стр. Цена 1 р. 20 к.

---

Главный редактор **В. А. Косолапов**

Редакционная коллегия:

**Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку** (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, О. П. Смирнов** (зам. главного редактора), **Ф. Н. Таурин, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77.

Почтовый адрес: Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

---

Сдано в набор 13/IV 1973 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 9/VII 1973 г.  
Формат бумаги 70×108<sup>1/2</sup>. 28,7 уч.-изд. л., 9 бум. л. (25,2 усл.печ. л.)  
А 02107. Тираж 170.000 экз. (1-й завод 1—70.000 экз.) Зак. 1343

Типография издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636